Цена 90 коп.

Индекс 70331

Читайте:

ЗНАМЯ 2 1989

Сергей ЕСИН. «Соглядатай». Роман

Георгий ВЛАДИМОВ. «Верный Руслан». Повесть

Сергей БАРДИН. «Ломбард». Рассказ

Стихи поэтов-фронтовиков

Рой МЕДВЕДЕВ. «Сталин и сталинизм». Исторические очерки

Статьи Юрия ФЕОФАНОВА, Е. СТАРИКОВОЙ

Знамя, 1989, № 1, 1—240

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1989

Январь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с 1931 года

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

Книга первая
ЯНВАРЬ
1989

Содержание

Москва
Издательство
«Правда»

Критика

В мире журналов и книг

Петр Войцеховский

СТИХОТВОРЕНИЯ



Когда последнее из тягостных столетий
Покажется из дымного вчера
И встретившихся двух тысячелетий
Соединившись, лязгнут буфера,
И зреющее в мире измененье
Лишь подойдет к невидимой черте,
И наша жизнь на краткое мгновенье
Зависнет в неподвижной пустоте —
Как нужно нам, чтоб было все готово,
Чтоб к нам Эпоха вовремя пришла
И наша мысль опередила слово
И действию стремление дала.



Умирает старик Валаам,
Станут щебнем кирпичные своды,
Поплывет по холодным волнам
Разоренное чудо природы.
Им исполнен постылый обет:
Полстолетья душою и телом,
Сбив до крови могучий хребет,
Он служил седокам неумелым.
Отшумели имен времена
И заполнили книжные полки,
Отступает с боями сосна —
Наступают невзрачные елки.
И невнятные думы плывут
Над крестами забытых строений,
Где забытые люди живут
В полумраке своих настроений.
Догадайся, о чем говорят
Лица этих людей молчаливых,
Что с привычной усмешкой глядят
На хозяев своих торопливых...

Снежинки

Кружатся снежные толпы
Возле фонарных огней —
Белый, оранжевый, желтый,
Пляшут — видней, не видней.
То повисают в бессилии
Выбрать свой ветреный путь,
То вдруг, томясь в изобилии,

Мчатся к земле отдохнуть.
Вихри бесплотные вьются
Перед оконным стеклом,
Плачут, стенают, смеются,
Мечутся там, за углом.
Пишет в пространстве движение
Нам, что укрылись в тепле:
Жизнь — это только мгновение
Плавного спуска к земле.

★

Когда возникнет мастерство
Из упражнений многократных,
Из приношений безвозвратных,
Проникновений в естество,
Из неустанного труда,
Отделки форм, мазков, звучаний,
Из утверждений, умолчаний
И мыслей, стертых без следа, —
Поднявши кисть, перо, резец,
Ждет мастер редкого мгновенья,

Когда мечта и вдохновенье
В душе сольются наконец
И на поверхности пустой
Возникнет образ отраженный
И, мастерством преображенный,
Вдруг обернется красотой...

Но как узнать, готов ли ты,
Сквозь пелену своих сомнений,
Средь бесконечных изменений
Принять явленье красоты?

★

Зло и невежество — два лика темноты,
Хотя сама она для нас безлика,
Из прошлого выглядывают дико
И мира ясного стираются черты.

Вот наползает мерзостный туман,
В трясине полуправд и полузнаний,
Тропой невероятных предсказаний,
Проваливаясь, шествует Обман.

Вослед живое мертвым поросло,
А впереди склоняется в угоде
Все то, чему с душой не повезло,
Ущербное, противное природе...

Недаром величают в среднем роде
Бесполые Невежество и Зло.

★

Поток пробивался сквозь скалы,
Играя избытками сил,
То брал водопадом завалы,
То медленно горы точил.

И волн непокорные спины
Несли из угрюмых логов
В просторы цветущей долины
Прохладную свежесть снегов.

Но волей безжалостной гений
Направил поток с высоты —
Разорвана связь поколений,
И лик искажен красоты,
Отчаянно вертит колеса
Свободная прежде вода,
Чтоб в струях унылого плеса
Забыть о себе навсегда.

Фолкленды

Вдали умирают мальчишки
За ложную славу страны.
Сегодня мальчишек излишки,
Излишки стране не нужны.

Полковников сытые рожи
В бинокли глядят с кораблей
И тем, кто подняться не может,
Радируют: — Парни, смелей!

Безумные мамы рыдают.
Ах, мамы, вы так далеки!
Отцовские руки сжимают
Бессильно свои кулаки.

Беседы ведут дипломаты,
Плакаты висят на стене,
А в скалах стучат автоматы
И гибнут мальчишки в огне.

Разбиты их юные лица,
Их волосы слиплись в крови,
Им богу уже не молиться
И женской не ведать любви.

Прижаты огнем пулемета
К чужой и ненужной земле,
Исходят от смертного пота
И тают в предутренней мгле.

Покуда нацелены пушки
И правят Землей старики,
Не стоим мы все ни полушки...
Ах, мамы, вы так далеки!

★

Отринь бесстрашно повседневность,
От вечных истин отступи
И нежность, пламенность и гневность
В единый сплав перетопи.

Чуть-чуть коснись предмета чувства
Касаньем вкуса и чутья—
Произведение искусства
Возникнет из небытия.

Оно бесплотное витало,
Пересекая многих путь,
И воплощенья ожидало
От осторожного «чуть-чуть».

Письмена

«Молчат гробницы, мумии и кости...»
И. Бунин

Не дикий и пещерный житель
Из мрака с нами говорит—
Времен древнейших мыслитель,
Создавший первый алфавит.

Идея странная какая:
Заставить слово отвердеть,
Бесплотность мысли облекая
В гранит, папирус, глину, медь.

Безумные хранили веру,
Что мы поймем их жизни суть,
Искали смысл, число и меру
И гибли, устилая путь.

Но руки стиснула цепочка
До наших дней со дна времен,
За строчкою рождалась строчка,
И плыли мысли без имен.

И если встал в цепочку эту,
Забудь название свое—
Ты принял жизни эстафету
Без права выронить ее.



Пока не созданы еще ни тьма, ни свет
И в помыслах грядущее таится—
Вопрос не задан, не готов ответ,
И безраздельно истина струится.

В миг откровенья на пороге лет,
Пока не произнесены навечно
Ни звонко Да, ни тягостное Нет,
Пока еще темно и бесконечно—

До этих пор возможно выбирать,
Куда идти, на чем остановиться
И по какой причине умирать
Уже потом, когда не возвратиться...

Но яркий свет нам освещает путь,
С которого уж больше не свернуть.

Сергей Есин

СОГЛЯДАТАЙ, или бег в обратную сторону

РОМАН

Сумаедов знал, что этот кадр в будущую картину не войдет. Река, текущая в низких и зыбких берегах, молочный туман, стоящий над водой. Ни птицы, ни движения ветра, ни выплеска волны. Луна ли, солнце ли подсвечивают этот молчащий, холодноватый мир? А может быть, там, наверху, пылает лишь одна огромная люминесцентная лампа? И все это огромный съемочный павильон, подвластный могущественному *режиссеру*? Жизнь — сон? А может быть, сон — жизнь? Почему же тогда этот фантастический кинокадр с Хароном видит он с такими поразительными подробностями? Воображение? Конечно. Но есть детали, которые человеческая фантазия не в состоянии представить. Где же он раньше видел эту мертвоструйную реку, лодку, бесстрастного гребца, низкий берег? Берег жизни? Берег смерти? И эти молчаливые фигуры, недвижно, словно скульптуры в музее, застывшие в мрачном баркасе перевозчика! Кого везешь, Харон?

И здесь — сбой воображения. Сумаедов все время пытается разглядеть лица и фигуры харонова экипажа, вглядывается, напрягая душевные силы, и ему кажется, что мелькают знакомые образы, ему чудится родное, привычное, сердце уже готово полно и удовлетворенно забиться, но уверенности нет. Отец, мать, дядя Григорий? Вы? Взываю! Может быть, живое желание вызвало легкую рябь, чуть напрягло свободный и вольный эфир? Медленно, не закончив движения веслом, Харон поворачивает голову, медленно досылает взгляд... Складки длинного хитона, словно мраморные, лежат вокруг сандалий. Капает с весла мертвая вода реки забвенья. Кто ропщет? Кто звал? Кто испытывает судьбу? И тут, при наступательной смене оптики, возникает чертовщина. Сколько лиц, удивительных типажей хранит он, Сумаедов, в своей памяти. В конце концов это лишь его профессионализм, он ведь кинорежиссер, и строительный материал его искусства — человеческое *лицо*, физиономия. Лица в картотеках актерских отделов киностудий, лица живых кино- и театральных актеров, лица почти всей виденной им мировой живописи, лица из *жизни*, которые, отсвечивая в его сознании с эскалатора метро, в уличной толпе, на телевизионном экране, врезались в его память. Он даже и представить себе не может, сколькими лицами он *заряжен*. И все равно, какую цифру ни назови, она окажется больше, потому что он, Сумаедов, помнит еще множество лиц из снов. Так что же, память, ты не можешь подобрать что-нибудь подходящее к случаю? Не можешь объяснить причину этих явлений? Но нет, какое-то зажигание не срабатывает, что-то не контачит, не происходит каких-то зацеплений. И каждый раз, когда Харон поворачивает свое лицо,— не сон это, не сон, потому что этот кадр, этот эпизод возникает перед внутренним взором Сумаедова как кара в суетливой повседёнке: на киностудии, на кухне, когда он жарит себе холостяцкую яичницу,— каждый раз он, Сумаедов, торопеет от каких-то неясных, но трагических предчувствий, потому что мифическое это лицо неизменно оказывалось лицом его, Сумаедова, уже совсем немолодого режиссера и актера: широкие бритые скулы, светлые глаза и крупный подбородок со стекающими по нему от опущенных губ, как у маски Пьеро, морщинами. Вдруг лицо это начинает кривиться, расплывается, будто в бочку, налитую до краев для поливки огорода, упал с дерева лист или сорвалась первая капля дож-

дя; и тут же возникает лицо другое, хотя те же широкие скулы, тяжелый подбородок, глаза, в которых предначертана судьба,— отец! Двойник? И почему оба этих лица вызывают в нем такой ужас? Кого из них он боится больше?

Отмотаем пленку, Сумаедов. Назад пошла лодка с перевозчиком, в обратную сторону машет веслом гребец, вспять течет вода. Как давно стали посещать тебя античные кошмары? Ты ведь, как и любой ребенок, пережил «страх смерти» в десять — двенадцать лет, так чего жмешься к покойникам, вспоминаешь былое и даже завел какие-то записки? Пусть писатели ведут свои дневники. Твои дии — в твоих кинолентах. С чего начался у тебя нестерпимый зуд к бумаге? Вот то-то! Дела совсем недавних дней. А кем была организована экспедиция по спасению режиссера Сумаедова? Она была организована режиссером Сумаедовым. Когда малыш прищемит свой розовый пальчик,— он бежит к маме. К маме, к папе? Чуткие родительские губы подуют — самая древняя и верная анестезия — и боль прошла. Экспедиция по направлению к папе и маме. Но лечение комплексов — это их самопознание. Значит, эти главы, ученические тетрадки с режиссерскими каракулями — страницы истории болезни? Невротик пишет исповедь, обвинительное заключение и самопризнание. Будет, будет вам, невротик, не торопитесь ли вы сами себя хоронить? Мы им еще, чертям, покажем. В этих пестрых тетрадях рукописных обид ваше, режиссер, будущее. Некий комментарий к будущему шедевру, где один сценарист, один режиссер и уже заранее известен исполнитель главной роли. Наши родные покойники и наши страдания нам не дадут пропасть. Только давай-ка, брат киномеханик, точнее сфокусируем первый кадр, завязку и точку отсчета. Значит так: междугородный звонок Лии Исааковны — это фабула. А сюжет будем закручивать с памятника, который в своих девственных полотняных покрывалах видится из окна гостиницы главному герою.

В чем истина? Может быть, она равна упорству искателя? И почему, когда устают и предают близкие, продолжают свой розыск чужие? Оказывается, обезножевшая старая женщина слабыми, как картофельные ростки, руками цепляющаяся за обода инвалидной коляски, может крушить бронзу и выгрызать плесневелые места из истории, словно несокрушимая мышь сырцую корку. Значит, действительно воздается не по силе, а по вере. Звонок раздался, как крик петуха. Вслушиваясь в полузабытый голос, он тогда подумал: «Как хорошо стало слышно Дальний Восток после введения в строй спутниковой связи». И какая дистанция между этой промелькнувшей в его московской квартире мыслью и завтрашним событием: цветы, речи, телехроника, пионеры, выстроившийся матросский экипаж. Дистанция в общем-то в десять часов полета и век жизни. Не правда ли, Харон?

Глава первая

Почему ты не отпускаешь меня? Почему с возрастом я так часто стал о тебе думать? Почему с каждым днем в моих воспоминаниях все явственнее и моложе твое лицо? Мы же молча, не обсуждая ничего, всё простили друг другу? Так будь великодушен! Пощади!

Я вижу тебя лежащим на зимнем городском асфальте в песке и снежном крошеве. Посторонние люди, милиция, в одной нейлоновой курточке, несмотря на декабрьский мороз, водитель троллейбуса. Очки, отброшенные при столкновении в одну сторону, каракулевая моя старенькая шапка «Иван-царевич» — мода шестидесятых — валяется в другой. И твое лицо, залитое кровью. Боже мой, как нелепо! Да, конечно, можно утешать себя: семьдесят пять лет и столько диковинного прошло перед твоими глазами. Вроде и в родных детях ты был счастлив. Мы теперь вдвоем с любимой сестричкой понесем твою кровь, генетический код твоего духа и физических привычек через эту жизнь. Понесем, понесем, папочка. То есть теперь уже Павлик понесет, внучок милый, уже два года отсидевший за наркотики, балбес. Прорежется ли в его будущей деятельности твое активное, революционное начало? Но, может быть, лучше, что ты не дожил до ответственных решений моей сводной сестрички, твоей родной дочки?

Наверное, имелся элемент самосадизма, эдакого интеллектуального мазохизма в том, как я, почти шестидесятилетний человек, собирал твои поминки. Перед лицом семьи все должно было выглядеть благопристойно. Перед лицом дружной общественности у популярного — скажем так, ненавязчиво и мягко,— у популярного кинорежиссера и актера все должно происходить, как и в любой семье. На этих примечательных похоронах в крематории будут жадно глядеть не только в лицо покойника, сыскивая на нем историю его смерти, но и в лицо самого кинорежиссера. Конечно, налетели сослуживцы, сердобольцы, почитатели таланта, молодые услужливые люди, пробивающие стальными бестрепетными руками себе путь. Если не помочь мэтру, то хотя бы застолбить в его сознании свое сочувствие. Застолбили, голубчики, но от помощи я отказался, от связей отказался, от возможностей лишь по одному телефонному звонку достать все к поминальному столу. Даже официанта из «Украины» или «Метрополя». А может быть, кроме гордыни, не хотелось проходить мимо еще одной возможности поизучать так называемую жизнь, народный дух, поближе приглядеться к мясистой и свежей натуре? Со стороны занятная картиночка: маститый деятель искусств прочесывает гастрономы и продовольственные магазины. Ветчина, буженина, любительская колбаса, маринованные помидоры и майонез. Хорошо, что в те времена еще не было заметных трудностей с водкой. Вот так компонуется кадр, над которым заплачут миллионы. Его надо самому прожить. Проиграть на собственной шкуре. Искупительная дань виноватого, нежелание никого подпускать к своему горю? Как по-разному можно интерпретировать один и тот же поступок! Но истина, она всегда неожиданнее и коварнее любых предположений. Признáюсь. Взять хлопоты на себя — это значило не остаться со сводной сестренкой. Не остаться один на один со своими мыслями.

Вы же сильны в анализе, знаменитый кинорежиссер, значит, могли уже и тогда разгадать причины дорожной катастрофы на улице, факты, конечно, не прямые, улик не имеется, однако... Вы уже тогда сообразили, что надо лишь сопоставить направление, по которому в то утро двигался полуслепой, с катарактой, отец, и день, вернее число, когда он вышел из дома... Не праздновал ли ты, сынок, накануне торжественный день рождения, на который забыл пригласить родню?

Вот когда припечет, тогда и взываешь к совести, кинодеятель? Когда привычная жизнь соскользнула с наезженных рельсов, тогда и ищешь опору, чистишь душу, бичуешь ее? А с чего ты, собственно, зарабатываешь денежки? С души, с собственного сердечка, которое умеет колотиться в резонанс с элитарным и неэлитарным зрителем. Так, значит, число и направление?

Следовательно, повернем сюжет на тропу, проторенную классиками. Каковы были побудительные мотивы у Смердякова? О счастливцы, творящие на вечной, общечеловеческой основе! Классикам не приходилось иметь дело с признаниями-письмами, открытыми лишь через сорок лет, и так густо черпать из собственной биографии. Итак — биография? В свое время трусливый мальчик так боялся родительских писем, что, не распечатывая, складывал их в маленький жестяной ящик в «темной» комнате. Но что же мешало ему уничтожать эти письма совсем? Ну, сжечь, как положено в классических романах, было достаточно трудно. Только в романах всегда под рукой растопленный камин или тлеющие угли. В те далекие времена у запуганного мальчика в распоряжении был только керогаз на общей кухне, даже природный газ в столице в те времена не был всеобщим достоянием. Предположим, можно было разорвать на кусочки, обрывки аккуратно сунуть в помойное ведро или опустить в урну на улице. Так что останавливало мальчика? Ощущение, что все равно найдут, отыщут, узнают, доберутся. Обрывки выведут на недозволенное чтение, скорее в обрывках больше предосудительности. Конечно, как говорится, сын за отца не отвечает. Но зачем же хорошему сыну вчитываться в лагерные поучения плохого отца? Допустим, не плохого, но дыма без огня не бывает, мудрый советский закон в чем-то разобрался. Так за что же, папочка, ты мне испортил биографию? Да, кажется, ты был неплохим отцом. Что мы там помним — зоопарк, эскимо, Первомайскую демонстрацию (это еще в Петровске), кукольный театр и елка для детей совслужащих в твоем, папа, окружкоме. Страсть у сына к искусству прорезалась уже тогда. К искусст-

ву? К лицедейству? Пятилетний мальчик протолкался к елочке, к Деду Морозу, чтобы им со Снегурочкой рассказать: «Колокольчики мои, цветики степные...» Может быть, именно тогда зацепили за сердце, за детское честолюбие первые аплодисменты? Через отца, через папочку? Значит, ему он обязан и искусством. Но ведь и самым первым, а значит, самым острым позором. Эхо этого позора еще и сейчас румянит щеки. Утром, когда закончился обыск и он, тогда еще совсем маленький Денис Сумаедов, вышел во двор теткиного дома и, торопясь внедрить свою версию, сказал своим дворовым друзьям: «Мой папа уехал в командировку».

Но прелестные и одинаковые, как варежки, близнецы Варенцовы, которые всего лишь месяц назад так же ночью отправили в долгосрочную командировку своего папу, на что он, младший Сумаедов тогда же сказал: «А я знаю, что вашего папу арестовали», так вот в ответ на его, Сумаедова, нехитрую ложь прелестные близнецы Варенцовы поправили своего товарища: «Твоего папу арестовали и увезли». Как же тогда запунцовели у него, у Сумаедова, щеки. О, этот грандиозный слалом по социальной лестнице! Разве ему было в конце концов жалко отца? Да и знал ли он его тогда, испытывал ли к нему привязанность? Просто считалось, что отец любит его, Дениса, своего единственного отпрыска, а Денис, считалось, любит своего родителя, по крайней мере когда отец целовал Дениса, то Денис целовал отца.

Но уже тогда, конечно, не знанием жизни, а детской интуицией маленький Сумаедов понимал: все это означает, что отец уже не вернется в Петровск. И кучер Василий, подъезжавший по утрам к их дому на лакированном, оставшемся от прошлой жизни шарабане, уже никогда не покатает его по улице.

И все же откуда эта так рано появившаяся в ребенке неприязнь к собственному отцу? Мальчик взвешивает лишь тот стыд, который испытал однажды утром, те жизненные неудобства, которые должны последовать за этой «командировкой». Господи, сколько радости было в голосах Варенцовых, сколько исступленного торжества, мальчишеской быстрой мести. Справедливость все же восторжествовала. «Мы знаем, мы знаем,— закричали радостные Варенцовы,— твоего папу арестовали и увезли».

А может быть, истоки этой неприязни в раннем видении и понимании, что «этому папе», по сути, ничего не было нужно, кроме его очень увлекательного руководящего дела, кроме воплощения в реальных связях юношеских сказочных идей. Эти грандиозные идеи построения нового, стерильного в своей командной логике мира, это себялюбиво-эгоистичное стремление быть каменщиком и архитектором, когда лапотно-сермяжный мир — это еще развороченный и грязный котлован. Откуда же ты взялся, папочка, такой прямой и бескомпромиссный, на каких своих каторгах воспитывался и учился, кто влиял, кто вдохновлял тебя?

Все это, конечно, позже реконструировалось из обломков разговоров, из обрывков семейных преданий. Сейчас в памяти встают картины, почти кинематографические образы: и старуха с плоским слезящимся лицом, принесшая свое снадобье в склянке, и маленький допотопный самолет, который должен был взлететь, но так и не взлетел, потому что не то шла предвыборная кампания, не то по всему автономному краю делали прививки, не то боролись с неграмотностью, или сдавали пушнину, или спешили отослать в центр сводку. На крошечный самолетик претендовали, могли претендовать все, кроме самого большого в округе начальника и распорядителя, в ведении которого, собственно говоря, этот самолетик и находился.

Боже мой, уроженцем каких немыслимых краев был знаменитый, почти с европейской известностью, кинорежиссер. Ему, Сумаедову, страшно даже взглянуть на географическую карту. Это все там, направо, на востоке, где за Сибирью коричневое, желтое и зеленое резко обрывается, превращаясь в нежно-голубое и синее. Где кончается земля и начинается океан, в самом устье огромной реки, мешающей здесь свои пресные таежные воды с соленой морскою. Тогда, пятьдесят лет назад, там стоял поселок, старинное село, выросшее из фактории, оно же — столица будущего национального округа, сейчас ставшее портовым городом. И хотя он, Денис Сумаедов, со своих детских, лепечущих времен был в этом городе лишь раз, как ни странно, он его неплохо знает. Стоп! Может быть, это указующий перст? Запасной вариант судьбы? Ах, как к этому надо прислушаться! К этому внезапному сбою сердца, когда в памяти, как мираж, только что возникло это село, городишко, город. Надо немедленно достать старые фотографии из заветной, теткиной еще папки, чтобы были под руками. Так игрок всегда предчувствует выигрыш. Нет, он знает город не только по сентиментальным открыткам и фотографиям. Выцветшие картинки: домики, «туземцы», их быт — время будто стремится размыть, засосать в омут, втянуть в космическое небытие. Он недаром смотрел дальневосточную кинохронику с пристальной, патологической жадностью. Он, правда, тогда считал, что двигало им в этих случаях лишь любопытство да тяга к родимым местам, утоляемая за государственный счет. Кинофотоархив по собственной истории. А впрочем, какие расходы, когда снимался такой супергигант, как двадцать его, Сумаедова, телевизионных серий «Биография страны»! Не с этой ли «Биографии», удачно сработанной для телевидения, началась его собственная творческая, режиссерская биография? В Петровске-на-Амуре по сценарию ему нужен был лишь один эпизод, один кадр, который можно было подобрать в кинотеке. Но он послал в город целую киногруппу. Снять город, окрестности, новые улицы и заложный камень — будущий памятник. Да и сам сорвался с места. Тогда, просмотрев отснятый материал, кстати, очень неплохой, он про себя решил: пусть еще полежит в кинохранилищах, потомится... И хотя кадры эти в знаменитую двадцатисерийную ленту не вошли, любопытство его было удовлетворено — нетленная «малая родина» «законсервирована» в пожарозастрахованных архивах, предчувствие оставалось: «малая родина» еще раз всплывет в его творческой биографии, а может быть, и выручит столичного жителя.

Но семейное предание о самолете родилось в еще неприметном поселке: больная кроха, которую называют Денис Сумаедов, росточек человека. Детская кроватка, табуретка накрыта крахмальным полотенцем, на полотенце градусник, стакан морса, под салфеткой блюдечко с рисовым отваром. Как будто, чем тщательнее расставлены эти предметы ухода за больным, тем скорее уйдет болезнь. Ручонки разбросаны по одеялу. Жар. А в уголке кадра женский профиль с гладко зачесанными по моде того времени волосами — мать. И вот семейное предание повествует, что когда этот больной мальчик совсем обессилел, когда фитилек жизни стал подрагивать, как в лампе перед тем, как выгорит весь керосин, вот тут-то местная фельдшерица и сказала, что надо мальчика и мать везти в Хабаровск на переливание крови. Прямое переливние крови считалось тогда серьезной медицинской процедурой. Но стояла крутая зима, и как же попасть к этому врачу в эти больничные покои?

Снова в кадре женский профиль с гладко зачесанными волосами, а напротив него другой — тяжелый мужской, с массивными скулами и низковатым упрямым лбом.

— Павел, надо везти Дениса в Хабаровск.

— Ну и вези.

— Нужен самолет.

— Это невозможно. Ты знаешь сама.

— Но это твой сын, Павел.

— Неважно. В ситуации, которая сложилась в округе, я бы не дал самолета даже ребенку. Значит — и своему.

— Павел, гражданская война давно закончилась, а ты все еще не можешь расстаться со своими принципами. Над тобой уже смеются...

Сегодня этот диалог звучит почти героически, эдакая революционно-романтическая неколебимость, эдакая прямодушная принципиальность. Но ведь в обмен на вовремя доставленную сводку о выборах или в срок попавших по назначению учебных пособий могла исчезнуть жизнь его, Дениса Сумаедова. И не было бы фильмов, фестивалей, зарубежных стран, славы, орденов, премий, удовлетворенного тщеславия. Ничего бы не было. Пустота, летите, в звезды врезываясь?

Но провидение все же с детства водило его, Дениса Сумаедова, за руку. Из каменного века появилась спасительница — старуха с плоским монголоидным лицом местной жительницы. Видно, старой парке не надоела еще ее однообразная работа. Парка принесла с собою скляницу. Она вынула сосуд из своих меховых расшитых одежд. Яд или панацея?

Беззубая старуха с черного хода зашла в дом окружного начальника и потребовала разговора с матерью. (Боже мой, уже весь седой, а мать все еще мама, мамочка. Почему до сих пор хочется, чтобы кто-нибудь заслонил, уберег, огородил от напора жизни? Ма-ма. Что в этом слове?) Конечно, нужна была смелость, чтобы пробовать действие таинственного варева на крохе. Видимо, старая колдунья это понимала. Но она, дьяволица, отчетливо понимала, что рискует, а значит, была уверена в своем отваре. Что же тушила она, ведьма, в горшке? Какие травы и тертые коренья сыпала, бормоча древние заклятья? Какие жертвы приносила духам?

— Однако у начальника сыночек хворает?

— Болеет.

— Однако, говорят, животом мается?

— Мается.

— Однако мне говорили, что совсем жидко ходит парнишечка...

Как доверила мать, с ее страстью к гигиене и боязнью микробов, доверила свою ненаглядную кроху старой ведьме?.. А вдруг на кончике взгляда этой туземки притаится зараза или «сглаз»? По законам драматургии уместна была бы трехкратная просьба и трехкратный отказ. Перебивка кадров с молодым и старым лицом. Одно будто бы вырубленное из дерева, почти без мимики, почти равнодушное. А другое — прекрасное, на котором — о эта тонкая филигрань настоящей, истинной актерской игры, когда она не копирует жизнь, а становится над нею,— на котором любовь, отчаяние, надежда на чудо и... недоверие. Безысходность заставила мать согласиться. А самолетик тем временем дребезжал своими фанерными крыльями, возя сводки, учебные пособия и пропагандистские материалы.

Что руководило чадолюбивой паркой, когда она принесла под полой свое снадобье, сваренное на сорока травах из сорока оврагов? Подслужиться к начальнику или к жене начальника? Но ведь старуха потом исчезла. После чудодейственного выздоровления будущего кинорежиссера она не объявлялась. Не пришла за наградой, не стала сбирать дань восхищения. То ли растаяла в низких берегах и туманах, то ли умчалась на своих собачках в снежную тундру, в дымные яранги? Да и была ли она? Но остался живой, шустрый, хотя уже и приговоренный поселковой фельдшерицей малыш, будущий кинорежиссер.

Ну, а что было на другом плече этого коромысла? Что противостояло диковатой безымянной гуманности? Что оказалось ценой выше на рынке человеческих страстей? Папочкина щепетильность? Папочкина партийная скромность? Папочкина гордость? И еще целый набор моральных цацек: его, папочкино, чувство чести, его достоинство, его возможность высоко и гордо носить голову. Но все это его! А жизнь-то — моя, и стоит ли одно другого? Его достоинство! Ах ты Робеспьер пополам с Маратом! А где было мое сыновнее достоинство, когда я выносил ночные горшки, потому что, вернувшись по зачетам из лагерей, Марат боялся выйти в коридор коммуналки? Разве до сих пор не стоит в ноздрях у него, Сумаедова-младшего, этот родной отеческий запах?

Как же в одном сердце сосуществуют любовь и ненависть? Как уживаются они в нем? Может быть, в одном желудочке живет ненависть, в другом — любовь?

А все-таки крепко забили гвоздики в сознании кинорежиссера скорые на язык братья Варенцовы в то мглистое утро.

Конечно, во дворе во время «казаков и разбойников», салочек или просто мальчишеских шалостей никто не спрашивал у юного Дениса Сумаедова, есть у него папа или нет и где он. Дворовым и школьным товарищам были безразличны чужие родственные отношения. Сам-то он, Денис, знал, что в его крошечной пока биографии появился некий дефект, изъянец. Нежный барашек, бегавший по лугам в стаде таких же юных и невинных барашков, он почувствовал себя меченым. Поэтому задача барашка заключалась не в том, чтобы, как и положено юному веселому существу, выделиться статью, качеством шубки, острыми рожками или высокими прыжками, а напротив — слиться с погодками, так же глупо блеять, так же нелепо таращить глаза, жадно пощипывая траву. Стать чем-то среднестатистическим, без особых примет и признаков, рядовым сыном своей отары.

Но иногда этого среднестатистического барашка охватывала звериная тоска. Таким чувствовал он себя ненужным и неприкаянным, таким изгоем и отщепенцем, что хотелось сорвать привычную маску и прорыдать высокую волчью песенку.

Ему, маленькому мальчику, не с кем, как всем мальчикам, вечерами столярничать, клеить авиационные модели и вырезать из бумаги каравеллу «Санта-Мария». Может быть, даже и не отец ему нужен как мужское организующее начало, как авторитет и защита, объект любви и преклонения, а чтобы, как у большинства, не был его отец «врагом народа». Тоска по отцу или тоска по другому отцу?

Как же сейчас, с дистанции прожитых лет, может он определить тот нелепый поступок, который совершил тогда, в школьные годы? Тоска, одиночество без надежд или стремление взять реванш над своими сверстниками?

Все случилось довольно внезапно. В хитроумной голове вспыхнул план. Авось кто-нибудь увидит, расскажет, и этот возвышающий его, маленького Сумаедова, слух, разнесется по двору, по всей улице? Того пацанчика, того маленького Дениса Сумаедова можно понять. Не каждый день в их округе днем, пешком появляется ге-не-рал! Настоящий, с малиновыми лампасами и в серой каракулевой папахе. Этот генерал, конечно, давно уж истлел в своей генеральской могиле под генеральским гранитом на полуправительственном кладбище. И слезы по нему уже высохли, и резвые наследники уже отправили его фотографии на чердак генеральской дачи, доставшейся им по наследству. Но вот до сих пор остался этот портрет в нежной творческой памяти.

Ой, не часто на этой улице, хотя и центральной, вполне респектабельной, появлялся в дневное время генерал. Не в легковой машине, низкой эмке, за зеркальными стеклами. Не на сиденье военного газика, так сказать, по-домашнему, по-свойски. Хорошо, пусть под вечер, пусть даже пешком, но обязательно в сопровождении младшего офицера, почтительно несущего генеральский портфель. Теперь можно только гадать: не было ли это явление воинского чина среди бела дня некой лирической паузой? Генерал, не доверяя своих романтических тайн ни адъютанту, ни шоферу, втихаря смывался из своего Главного Военного учреждения и — на свидание к любимой женщине ехал, заметая следы, на штатском трамвае, а потом шел по переулочку, совсем по-молодому поскрипывая снежком. А мог случиться и иной вариант. В своем Главном Военном учреждении генерал почувствовал себя плохо, ударила боль за грудиной, затяжелела голова, и, не желая волновать ни личного шофера, ни адъютанта, который был верным агентом и доносителем генеральской жены, ни собственного лечащего врача, генерал решил заняться самолечением: уйти пораньше с работы и — по-молодому, пешком, пешком. Так сказать, прогулка в терапевтических целях. А может быть и так, что именно в середине дня, по грузино-византийской моде того времени, у генерала кончился рабочий день, начавшийся поздно ночью, и, одурев от папирос «Казбек» и дыма «Герцеговины Флор», опять же, чтобы продышаться перед тем, как кинуться в тягучий, как отрава, сон, генерал совершал «утреннюю прогулку»? Возможно. Теперь уже не важно, чем вызвано было явление генерала, но тогда... Когда на родной улочке появился самый натуральный генерал, ступающий, как и все грешные, по земле, маленький мальчик последней военной поры, почти сирота, теткин племянник, с полевой сумкой через плечо вместо портфеля бросился догонять военного. В крошечном умишке сразу возникла нестандартная ситуация, кто-нибудь из дворовых товарищей спросит: «А с кем это ты шел вчера по улице?» И... вариант уклончивого, многозначительного ответа: в зыбких словах упаковывался то ли туманный образ высокопоставленного дяди, то ли героического отца, то ли фронтового товарища отца. За его одинокой фигуркой с оттянутым полевой сумкой плечом сразу вставало сильное мужское плечо, человек, который не даст в обиду, вытрет слезы, а то и сопливый нос. Театральный эффект отсвечивал в повседневную мальчишескую жизнь.

Ну, а почему та иллюзия, которая на мгновение угнездилась в мозгу, не могла оказаться некой романтической реальностью? И действительно, ведет тебя, тягостно ждущего суровой домашней выволочки, реальный отец из школы. А что? По отцовским чинам до ареста все могло случить-

ся: и папаха, и малиновые лампасы, и серая шинель из генеральского касторового драпа! Так насладимся иллюзией, малыш, и дадим восхититься зрителям увлекательной картинкой, если они только найдутся и высунут свои любопытные конопатые носы из дворов. Итак! После педагогического тет-а-тет с классной руководительницей, которая много любопытного, не щадя ни лампасов, ни папахи, рассказала о резвом сыночке, заслуженный боевой отец ведет сына к суровой домашней присяге. Отобрали у сына портфель, вызвали из Главного Военного учреждения, прочли нотацию: «Армиями, дескать, командуете, а сыном распорядиться не умеете». Что же теперь будет, ой-ой-ой! А почему бы хоть ненадолго не оказаться ему баловнем судьбы? Ах, как полубеспризорнику хочется побыть капризным поздним ребенком в обеспеченной семье! Сортир и ванная комната, выложенные сплошным кафелем, утренний завтрак на скатерти, легкие сырнички, которые вносит нянька в белом фартуке, музыка или английский на дому после занятий и т. д.

Итак, чуть скошенный по диагонали кадр. В одном углу крупная фигура военного, в другом — школьник тех далеких времен с полевой сумкой в руках. Но школьник точно держит дистанцию. Ни ближе ни дальше. Вроде бы оба они идут и раздельно, каждый сам по себе, и вроде бы вместе. Но между ними ниточка, токи отношений. Школьник довольно точно тогда сыграл. О маленький лицедей! У мальчика распахнутое пальтишко, чуть сбита шапчонка и вид такой расчетливо-уморительно-понурый, что сегодня невольно вспоминается репродукция из «Огонька» — «Опять двойка!».

Итак, идут они молча по улице: один впереди, а другой чуть сзади и сбоку. Сзади и сбоку настолько, чтобы вроде бы к нему, к мальчику, от впереди шагающего никаких претензий, но все же так близко, что для всех очевидно: лишь какой-то домашний разлад не позволяет соединиться и идти на устойчивом, предписанном корабельным уставом расстоянии — крейсеру и маленькой занозистой канонерочке.

Тот шаловливый поступок детства ему не принес ощутимого результата. Ни один конопатый нос не высунулся из окна, ни один смущенно-завистливый вопрос задан не был. Но ощущения остались незабываемыми. Что же главное в этом марше? — Точно рассчитанная дистанция, как на автомашине зазор в электрораспределителе. Чуть он больше, чем следует, — контакт исчез, чуть меньше — нет искры. Чувство дистанции. В жизни и в кино. В избранной им профессии.

А может быть, да-да, самое впечатляющее от того эпизода — впервые испытанное сладострастнейшее удовольствие от лицедейства? Наверное, что-то похожее испытывают пилоты тяжело груженных реактивных машин, благополучно сажая свои корабли на взлетные полосы. Все внатяг, на лезвии, на пределе риска. О изысканнейшее чувство грамотного полета!

Бедный мальчик репрессированных родителей! В этот момент он почувствовал себя избранником жизни! Теперь он может ответить на любые вопросы. И о родителях тоже. Сказать правду и не залиться краской, солгать и глядеть невинным глазом. Генеральская десница легонько подтолкнет в спину, приподнимет над сверстниками. И тогда лети в жизнь, расправляй крылья и чувствуй себя повелителем. Человек проходит как хозяин...

Это тогда. В момент обжигающего пилотажа, совместного полета по родной улице.

Вот потом было плохо. С годами. Когда один вынужденный обман наслаивался на другой. Когда, через сколько лет после этой игры в «отцы и сыновья» он задумался о том, почему его ранняя юность началась с обмана и самообмана. Зачем и кому была нужна эта себялюбивая ложь? А может быть, он лжец по своей природе? Или по природе искусства? Но потом пришел и стыд, тайный, а потому особенно жгучий, как тайный грех. К этому времени поводов для стыда оказалось более чем достаточно. Технология греха — от одного ко многим.

Позже, когда бывший мальчик бессонными ночами перебирал в памяти некоторые свои поступки, у него краснели щеки. Он чувствовал это по приливам крови. Если бы был индикатор, которым можно измерять стыд, как бы вспыхнула лампа этого индикатора от мечтаний о сырниках на белой скатерти. Сытая фантазия на уровне прислуги: стать господами! Энергия

этого стыда вполне могла бы осветить маленькое зальце. Так забывается ли такое, папочка?

Или хорошо, или ничего. Это о мертвых. Разве у живых, у разумных, у все помнящих могло быть иначе? Мои дорогие покойники, мне кажется, что в моей жизни вы теперь играете еще большую роль, чем тогда, когда были живы. Я до сих пор пользуюсь вашими советами и вашим опытом. Так, может быть, не исчезают души? Летают где-нибудь невидимыми бабочками, этакое закрученное в восьмерку и излучающее благоухание электрополе. А может, это невидимые электрические ленты, плывущие в эфире, словно водоросли в океане. Потому-то я все чаще ловлю себя на споре с вами, в поворотах своей судьбы все чаще усматриваю вашу волю. Если откровенно — то до сих пор я не могу простить вам многое и в своих неудачах виню и вас.

Ну что же, папочка, продолжим наши счеты?

Давай по-мужски обсудим наши проблемы. Да, допускаю: твоя жизнь закончена, моя — проигранная, могла сложиться иначе, выявление всех причин и следствий имеет для нас теперь чисто академическое значение. Но объясни, что же случилось с матерью твоего сына? Не правда ли, в постановке вопроса уже брезжит некий ответ?! Так, может, вообще жизнь — свалка порушенных судеб? И все это, кажется, называется историей?.. И киноисторией.

Главное действующее лицо — тридцатилетний Сумаедов, т о т человек, который через пару-тройку десятков лет, станет э т и м. Не было у героя ни особой хватки, ни напора, ни «волосатой руки». Скорее счастливый поворот обстоятельств. К этому времени уже была снята самостоятельная дебютная картина. Игровая короткометражка. Смонтирована необъятная хроника для телевидения. Правда, через пару десятилетий выяснилось, за эту хронику лучше было бы и не браться, потому что шутить с историей — это все равно, что гасить пожар газетной бумагой. После молодых успехов случился перерыв, который надо было не затягивать и приступать к первой большой картине. Имелся сценарий, но в кино, как при женитьбе, важны не предварительные договоренности, а печать в загсе.

К венцу, к венцу... И тут внезапно возникло осложнение. Вот она, диалектика быта! Дело в том, что парадную юбилейную хронику решили послать на кинофестиваль в Ханой. Естественно, вокруг этой поездки закрутилась половина студийного и телевизионного начальства. Роскошные начальствующие дамы и с телевидения, и из недр кинематографа конструировали туалеты. Охота им пощекотать усталые нервы экзотикой. Сумаедов знал, что имеет бесспорные права на поездку, и внутренне радовался, что вся эта суматоха его обошла. Он знал: его час не пробил.

В совсем туманном далеке, при вступлении в комсомол, кто-то на бюро предложил: «Пусть расскажет об отце». Разве не готов был Сумаедов к этому вопросу? Готов. Вопрос почти наверняка зададут. И — все же он как-то надеялся, что все обойдется, как-нибудь бочком, бочком и его, Сумаедова, пронесет. В те времена в комсомол в школе вступали все, это был акт благонадежности. Он, Сумаедов, был положен на наковальню, над которой уже занесли молот. Да, он ждал и не ждал вопроса, и вопрос этот все же был задан каким-то дотошным комсомольцем. Сумаедов не потерял самообладания. Правда, нежданные слезы вдруг потекли по сухим и горячим щекам. Тем не менее, не запинаясь, он сказал: «Мой отец репрессирован». Он не очень понимал это слово, но тетка Антонина обычно на вопросы соседей об отце племянника показывала на маленького Сумаедова глазами, поджимала губы и говорила тихо, если, конечно, не могла послать к черту спрашивающего: «Отец мальчика ре-прес-си-рован».

Слово было произнесено. И оттого, что оно было не дворовое, не очень понятное для тех невинных душ, собравшихся на комсомольское бюро, ответ прозвучал вполне невинно. И тут кто-то из членов бюро, возрастом постарше, а может, поумнее или пообразованнее, или пожалостливее — глазки у Сумаедова от слез ничего не видели — сказал примирительно и весомо: «Сын за отца не отвечает».

И атмосфера разрядилась, потому что известно было, кому принадлежал этот византийский афоризм. Конфликта не возникло, можно было не таить обиду на комсомольское бюро и членам этого бюро можно было не раздражаться при виде Сумаедова из-за того, что в свое время, выведав

у него семейную тайну, они не приняли мальчонку в свой политический союз.

А сам Сумаедов очень хорошо запомнил то умилительное чувство благодарности, которое возникло у него после этого заседания. Все же приняли, все же не отвергли! У него возникло и чувство восхищения мудрым и всезнающим человеком, который сказал эти замечательные и справедливые слова. Сидит он в своих златоверхих теремах, курит трубку и рассуждает обо всех и о каждом. В том числе и о нем, о Сумаедове. Хорошо, что на этом бюро не спросили еще и о матери.

Но тогда же, после этого бюро, когда спала первая эйфория от того, что он, как все, что он в общем гурте, возникла в душе Сумаедова обида на то, что судьба пометила его вторым сортом. Ну, за что? И еще вспомнилась та крошечная пауза, то мгновение между вопросом и благополучно найденным ответом, когда — да разве можно описать всю гамму чувств — когда ярость, смятение, жалость к себе, стыд, вдруг все навалилось на него! Мгновение, но в нем для него, для Сумаедова, сошлось больше, чем в ином году. Может, из этой перчинки образовалась вся его жизненная горечь. Из этого сорнячка развился в душе целый ядовитый плод. Забыть? Такое он забыть не сможет. Такое, как порок, как тайное уродство, навсегда засело в сознании и всплыло наружу страхом, когда кинематографические дамы собрались представлять в Ханое его фильм. Но тут американцы нарушили перемирие и двинули на Вьетнам армады бомбардировщиков.

Дамы тут же поубавили свою любознательность. Пусть лучше едет автор фильма! Во-первых, он человек молодой, пускай посмотрит мир. Во-вторых, кинематографическое общение на международном уровне ему пойдет на пользу. А в-третьих, и здоровье, дескать, у нас, у дам, не железное, чтобы терпеть азиатскую жару и многочасовые авиарейсы. Дамы защищали интересы молодежи, смотрели на дело по-государственному широко, предлагая вместо себя Сумаедова, фигуру в высшей степени достойную, прогрессивную и талантливую.

В первую минуту у него, конечно, сердце екнуло. Боже мой, увидеть эту легендарную страну, пролететь над Китаем — тогда в Ханой летали через Пекин, — пагоды, маски, Хуанхе, Меконг! Но потом жесткий, очевидный, как капуста, страх поостудил его пыл. Заноза с того памятного заседания бюро накрепко сидела в сердце, и в 51-м, поступая в институт, он написал в анкете: отец погиб во время войны. Ну, что же, был некоторый резон. Письма от отца нераспечатанными Сумаедов складывал в оцинкованный ящик из-под спортивных патронов. Так что он не очень лгал. Гроб в конце концов мог быть и цинковый. А когда поступал на студию работать, — ах, как быстро вызревали надежды после 56-го — начиналась новая жизнь, и стоило ли разбавлять ее неправдой? Да и разве он, Сумаедов, ожидал, что отец вернется? Разве предполагал, что дело его пересмотрят?..— Так вот, когда поступал на студию, рискнул: в его анкете уже стояло звучное иностранное слово — «реабилитирован». Ах, какое легкомыслие! Ведь хорошо известно, кто трудится в отделах кадров и других разнообразных инстанциях. Окопались! Так ли уж сильно для них отличался «сын репрессированного» от «сына реабилитированного». Одним миром мазаны, значит, что-то было, да и вообще затаенная обида наверняка саднит и у отца, и у сына: нереализованные, дескать, возможности. А где обида, там уже некоторая возможность вербовки, компрометирующая рабочее государство болтовня. Они, эти люди, знали все лучше всех. Партия решала общие вопросы, а они — конкретные.

Тогда же худшие опасения Сумаедова подтвердились. Как же он поддался надежде и легкомысленному желанию! Ему бы сразу на заманчивое предложение ответить: «нет». Но разве в простодушном сердце не найдется уголка для традиционного «авось»? Разве искоренимо ожидание справедливости? Поддался. Времена, дескать, другие — разберутся, ведь ни в чем он, Сумаедов, не виноват, ни в чем предосудительном не замешан, в конце концов формула должна быть универсальна на все времена: сын за родителей не отвечает. И разве кто-нибудь до сей поры обращал внимание, кто у него родители? Чей он сын, внук или правнук? То-то. А загранки, поездки, симпозиумы, кинофестивали — это уже, так сказать, блюдо сверх меню, так что нечего здесь и предъявлять претензии. Почему же Сумаедов сразу не сослался на занятость, на подточенное творчеством здоровье, на

семейные причины? Он, как овечка, заполнил все анкеты, принес все справки, фотографировался на загранпаспорт, а подошло время ехать — и равнодушное вокруг молчание, вроде бы его и не уговаривали, не приманивали роскошными субтропическими красотами, древней культурой, не ссылались на государственную необходимость и его долг художника. Так, значит, сын отвечает? Значит, он еще не доказал своей лояльности перед этими, полными сил и нерастраченной энергии отставными полковниками из кадров? Значит, ему еще надо горбатиться и горбатиться, прежде чем они забудут об изъяне в его происхождении и примут з а с в о е г о? А не они ли еще двадцать лет назад молодыми, жаждущими отхватить у жизни кусок послаще горячими лейтенантами распоряжались чужими судьбами, решая на основе «закона и правосознания», кто в р а г народа, а кто пока не враг? Но хватит об этом, Сумаедов. Бог с ней, с зарубежной поездкой. Не в этом дело. Но теперь он стал н е в ы е з д н ы м. Еще и невыездным.

После пяти-шести картин это был бы эпизод, с которым можно лишь смириться — некая политическая пикантность, своеобразная демонстрация политической терпимости. А в начале пути — это конец карьеры. Полковники бестрепетными руками брали за горло его судьбу. Но невыездному никогда не дали бы самостоятельной картины. Дали бы никогда ранее не выезжавшему. Он мог на повороте обойти судьбу. Разве он не любил Клавдию? Разве он не испытывал к ней никаких симпатий? Он долго думал, прислушивался к своим чувствам. Это было миросозерцание мыши, все же нашедшей выход из ловушки. Он сделал Клавдии предложение. Тридцатилетний жених, очень немолодая невеста с первой брачной ночью за десять лет до свадьбы. А зять Клавиного отца не мог быть невыездным.

Как занятно все обернулось: на одной чаше весов невесомое слово, родившееся в кузницах бюрократии, — н е в ы е з д н о й, а на другую взгромоздилась и несчастная Клавина судьба, и его сын Павлик, с которым он почти незнаком, и вся его собственная жизнь, когда каждый день надо было доказывать свою лояльность. Сможет ли он вновь подняться?

Вновь и вновь думает он, Сумаедов, о причинах твоего ареста, папочка. Не поторопился ли ты прыгнуть сам в эту пропасть? Как это связано с гибелью мамы? Почему в ночь е е ареста тебя не оказалось дома и где ты был, неутешный вдовец? Можешь ли ты ответить мне на эти вопросы?

Но так хочется быть со всеми в мире! Так хочется жить, как все, без подозрений, улыбкой встречать каждое лицо. Так почему же с неприязнью он должен вспоминать родного отца? Но он, сын, готов был однажды преодолеть себя и простить. Он бы и простил, но опять открылась бездна, еще один непростой кадр в кинокартине твоей жизни, Сумаедов?

Отцу сделали операцию. Позвонила Онька, Анисья, мачеха: Павел Васильевич в больнице. Оперировали по подозрению на рак простаты. Он считал, что эта болезнь подрывает его мужское достоинство: и обследование, и операцию ото всех скрывал. Операция прошла тяжело. Ему, Денису, следует съездить к отцу.

Сумаедов сразу представил отца. Маленький, седенький, как воробушек, с непокорным хохолком на затылке. Эдакий старый князь Болконский советской эпохи. Князь лежит в гигантской палате среди десятка таких же никому не нужных стариков. Безнадежный, бесперспективный и бессильный. Огромный равнодушный больничный барабан сейчас перемалывает это худенькое, потерявшее жизненную цепкость тело. Родное тело. Господи, ведь родная кровь!

Умрет отец, не выплывет после безжалостного ножа, и прощай. Тогда их распри, взаимные обвинения, семейные тайны — все исчезнет. С его смертью опрокинется последний редут, отделяющий его, Дениса Сумаедова, от смерти. Дальше — его очередь. Он следующий. Смерть на него, Дениса, наводит дуло.

Сумаедов помнит, как торопливо, трясущимися руками прикалывал к борту пиджака лауреатские медали. Может, услышав боевой звон, исходящий от сына, лишний раз подадут утку отцу. В зеркало глядело на него усталое, старое лицо с дергающимися от волнения щеками. Почти старик сын идет к старику отцу.

В вестибюле кинулась к нему четырнадцатилетняя девчонка Зойка, сводная сестра, почти ровесница его собственного сына. Уткнулась головой в грудь, как бы, касаточка, не поцарапала щечку о медали. Худенькие пле-

чики, на спине можно пересчитать все позвонки. Еще отщелкает, как затвор фотоаппарата, десять с небольшим лет, выживет после операции отец, умрет сравнительно молодой Онька, повзрослевшая, уже побывавшая замужем Зойка, после кофе, который отец, как камеристка, подаст ей в постель, пошлет его, старого, с катарактой на глазах, за лампочкой в магазин «Свет». Через дорогу.

Все оказалось почти таким же, как представлялось Сумаедову. Старинная больница с высокими палатами и коридорами. Строили раньше хорошо, воздуха хватало. Но и палаты, и коридоры были переполнены. Отец лежал на койке, второй от окна. И даже не лежал, а полусидел в подушках. Желтая кожа просвечивала сквозь волосы на голове, лицо было сухоньким, обтянутым от внутреннего жара. В глазах отца что-то дрогнуло, когда он, сделав усилие, сначала увидал, а потом и узнал Дениса. Может быть, представил в этот момент мальчика в коротких штанишках с помочами, в матроске и в белых чулочках? Или себя — ладного, затянутого в кожу комиссара, со светлыми немигающими от веселой молодой ярости глазами? Или третья, женская фигура, появилась рядом с комиссаром и мальчиком? Очень смутно вспоминается Денису мать. На мягкой, коричневатого тона старинной фотографии спокойное лицо с круто очерченными и чуть по-татарски поднятыми скулами. Оно выражает уступчивость. И только опытный наблюдатель, вглядываясь, понимал, что за несуетностью и добротой этой женщины стоит, как почти у каждого сговорчивого человека, железное «до». Уступать, прощать, входить в обстоятельства «до» определенного предела. После этого предела для нее оставалась смерть.

Отец долго смотрел немигающим глазом на бывшего, в белых чулочках, мальчика. Седенький воробушек с фарфоровым чайничком-поилкой в руке. Он что-то бормотал. И Денис сквозь слезы, размывающие изображение, видел, как из носика поилки, поддерживаемой обессиленной рукой, капает морс на одеяло и простыню. «Папа, папа,— шептал он, находя в этих словах полузабытый аромат детства,— папа, папа, успокойся, все будет хорошо. Мы еще выпьем с тобой по рюмочке». Он, Сумаедов, нагнулся, чтобы приподнять у поилки носик, и тут вслушался в бормотание. Лишенный правильной артикуляции рот, из которого анестезиологи вынули зубной протез, бормотал: «Раньше они нас стреляли, а теперь мы их перестреляем...» И рука слабо, как автоматом при пулевой стрельбе, поводила носиком чайничка... туда-сюда, туда-сюда.

Глава вторая

Разве единожды удивлялся он, Сумаедов, тому, как все в этом мире взаимосвязано. Стал бы он писать эти записки-исповедь? заметки к будущему сценарию? психотерапевтические упражнения? — если бы не позвонила Лия Исааковна? Или все гораздо сложнее: звонок, приход Коробкова, решение сестренки и собственные неудачи, вызвавшие страстное желание всем доказать?..

Приблизительно дней через десять после того, как случилось это событие, Сумаедову позвонил Коробков. Многомудрый Коробков, естественно, как давний соратник и друг, звонил и раньше. Но тогда был быстрый звонок на всякий случай, чтобы не терять коммуникации,— деловой коробковский ход. Привет, привет, не обращай на случившееся внимания, все перемелется, главное — работа. Позвонил, несмотря на все события. Хотя сам-то он, Коробков, естественно, на стороне победившего большинства.

Теперь, через эти самые десять дней, звонок, довольно лаконичный, свидетельствовал о другом. Коробков говорил, что надо бы встретиться, у него есть идейка, которая, может быть, Сумаедова заинтересует. Все это означало, что или новые административные звезды кино, среди которых были и его, Сумаедова, ученики, подобрели, или скорее всего они решили, что человека с таким именем и опытом, как Сумаедов, со счетов так просто не скинешь, а может быть, кое-кому пришла в голову шальная мыслишка, что Сумаедов еще пригодится: будут ли фильмы молодых гениальны — это вопрос, это проблематично, а то, что он, Сумаедов, каждый свой немудреный фильм сделает профессионально — это бесспорно. Не исключено, что наверху заступились. Коробков, не рассчитав, ни одного шага не делает.

— Ну, так как, Денис, у тебя со временем? — Коробков был настойчив.

— Я пока дома, копаюсь в бумагах.

— А может сегодня? — сценарист ковал по горячему. В конце концов ему, Сумаедову, надо знать, что делается в стане врага. А для этого лучшего человека, чем Коробков, нет.

— Можно и сегодня. Заходи.

Вся ситуация раскладывалась и по-другому. Своим быстрым и миролюбивым «заходи» он окончательно уверил Коробкова, что не видел, когда тот после речи Мальчонки на собрании, уже в фойе, кинулся от Сумаедова подальше. С усмешечкой Сумаедов в перерыве вышел из зала, чувствуя, что идет, как уже отвык, один в некоем вакууме — ни взглядов со стороны, ни вопросов, ни реплик, требующих его ответа, и тут, в этот момент, ему сделалось плохо. Боль в левой половине груди, и мгновенно выступивший пот, и слабость. Он ожидал этого, трубочка с таблетками была зажата в кулаке в кармане. Но он предполагал, что приступ случится в машине, не раньше. Он оперся о стену, быстро, пока еще оставались силы, вытряхнул таблетки, добрался до ближайшего кресла, поискал глазами кого-нибудь из знакомых. Сейчас ему нужна была помощь: человек, который выполнил бы роль собеседника, покивал бы ему, подыграл бы в мимической сцене. И тут он встретился со взглядом Коробкова — тот наблюдал за ним издали. Коробков такой, мать будет помирать — не пропустит ни одной детальки, чтобы вставить потом в сценарий. Неужели он не заметил, как Сумаедов бросил в рот горсть таблеток?

Коробков отвел взгляд и тут же быстро заскакал прочь. А по фойе уже пробирались в белых халатах врач и медсестра, вызванные кем-то из предусмотрительных распорядителей. Но Коробкова, видимо, мучило, заметил ли Сумаедов его взгляд.

Ах, Коробков, Коробков, маленькая суетливая душа. Впрочем, не без таланта.

У Мальчонки был, как известно, личный резон нападать на Сумаедова. Но Мальчонка гордый — об истинных причинах с трибуны ни гугу: все недоказуемо, величины слишком разновелики. Холмик в чистом поле не может заслонить Монблан, мастер, как считается, не может украсть идею у подмастерья. Кто поверит в это? Да и была ли кража? Сюжетец, блеснувший в учебной работе Мальчонки, был прояснен и развит старшим и более опытным товарищем.

...Мальчонка заканчивал институт и в недрах институтской учебной киностудии снял свой первый коротенький фильм. Так, легонькую кинозарисовочку о женщине, пробивающей себе путь в столице. Эдакой хваткой и современной девице. Жизнь торопится, летит, и надо скорее ее ощутить, взять, добыть в собственность, давай, давай!

Может, таким был и сам автор, Мальчонка? Портрет или автопортрет? А может, вообще художник должен быть с нахрапом? Тогда, после своего первого успеха, Мальчонка день за днем ходил в объединение, которым он, Сумаедов, руководил, но не требовал, чтобы худрук взял его к себе по распределению и дал снимать картину, он пока лишь, скромник, просил, чтобы Сумаедов посмотрел его дипломную трехчастевку. Посмотрите и решите. Милый вежливый мальчик, преодолевающий робость. О эта сокрушительная, как отмычка, вежливость!

Ему бы тогда следовало заказать в институте копию, привезти на студию и одному вечерком взглянуть в просмотровом зале на сочинение робкого гения. Но один раз — «мне некогда», другой — «занят», в третий — «на той неделе», вежливые просьбы Мальчонки его добили... Можно тянуть неделю, полгода, но если юное дарование пунктуально и не дает живого повода вспылить, этим оборвав отношения,— ты уже должник. Наступил момент, когда яуфы с картиной оказались в аппаратной, киномеханик не пьян и на месте.

О эти первые секунды, когда под потолком гаснет свет и из окошка проекторной, как дым, валят на экран цветные тени. Будто это сама живая, могучая сверхжизнь — если это, конечно, искусство, если нет — счет другой. Все на грани. Или покоряешься, несмотря на сопротивляющуюся

себялюбивую натуру, или... Они решающие. Как взгляд двух будущих любовников, в котором все предопределено.

Сумаедов понял, что робкий Мальчонка не так-то прост. Ему бы экономней расходовать свою идею, не дожевывать, больше доверять зрителю, не такой уж зритель дурак, да и героиню можно было бы выбрать помягче. Спал небось с этой девахой Мальчонка, не утерпел, вот и крутит ее перед камерой. Эх, молодость, молодость. Постельку нужно кончать до начала смены, а в съемочный павильон должен приходить только художник. В общем, работа нормальная, может быть, чуть избыточная. Молод, глуп, разбрасывается. Ему бы, Сумаедову, эту избыточность. Но больше всего привлекло Сумаедова к картине то поразительное ощущение времени, которое Мальчонка чувствовал, как собака свежий след. Среди эстетствующей публики это не всегда ценится, но он-то, Сумаедов, знает — здесь одно из драгоценнейших качеств настоящего художника. Его не воспитаешь, оно дается с рождения. Как чувствительность к цвету или музыкальный слух. Природу можно, конечно, подправить, подразвить. Но это будет уже другая природа. С запахом синтетики.

И все-таки Сумаедов знал, что Мальчонку к себе в объединение не возьмет. От него так и катили волны несогласия с авторитетами. Это был сложившийся и яростный нонконформист. Вид невинного петушка такого опытного наблюдателя, как Сумаедов, обмануть не мог. С этим талантливым бычком слишком много бы пришлось хлебнуть. А ему, Сумаедову, некогда было разбазаривать время. Он не нянька и не пожарный гаситель пламени и дыма. У него нет желания уговаривать юное дарование, внушать ему свою точку зрения. Объединение должно выпускать доброкачественную продукцию, но не спорную. Спорят пусть в других местах. В гениальном всегда есть некий привкус, душок, как в слишком остром сыре. Гениальные фильмы для смотров и фестивалей будет выпускать лишь один человек — руководитель объединения, художественный руководитель. Но был и еще один небольшой нюанс: картина Мальчонки Сумаедову не просто нравилась, а нравилась очень. Что-то очень личное засветило ему от этого сюжета, сердце вдруг ёкнуло, а такой глухой, со сладкой болью толчок для Сумаедова всегда означал верную дорогу и творческую удачу.

Все это в одно мгновение пронеслось в мыслях у Сумаедова, и он очень быстро понял, что́ составляет суть фильмика молодого соискателя. Он понял и что именно привлекает в этой талантливой, но несовершенной ленте, даже прикинул, что бы он тут подправил, доснял, дожал, переделал. Но разгуляться своей фантазии не дал: все впереди. Он сидел в темном просмотровом зале и подбирал аргументы, которые собирался изложить настырному юнцу. Главное — все предельно мягко, нежно прихохатывая, не только вполне вежливо, по художественным, так сказать, достоинствам отказывая соискателю, но и, по возможности, разрушая в нем уверенность в себе, легонькими пассами размывая цельность художественной натуры. Нечего рваться в гении. Пока список не требует продолжения. Чтобы попасть в гении, пусть потопает с наше, научится подавать стул режиссеру и подносить от машины до перрона его чемоданы.

Стоит ли вспоминать состоявшийся после фильма разговор? Стоит, стоит, выздоровление наступает после кризиса. Мальчонка оказался крепким турнирным бойцом и хорошо держал удар. Ему бы тогда же, Сумаедову, догадаться, что Мальчонка ни минуты не верил, будто Сумаедов может сказать о его фильме хорошо, хотя и видел, что фильм ему все-таки понравился. Мальчонка ставил опыт, тестировал одного за другим старых мастеров. Какая реакция! Мальчонка, вторя ему, тоже стал прихохатывать. Появилась самоирония, дескать, один фильмик снимем похуже, а другой — получше, не сегодня, так завтра. Не даст, дескать — все в третьем лице, как о явлении, как о персоне,— не даст, дескать, снять фильм в своем объединении глубокоуважаемый Сумаедов, так не откажет Кукушкин или Пересыпкин, а нет, так найдутся и другие студии, другие объединения, другие мастера, есть на худой конец и телевидение, тоже со своей производственной базой и немалым зрителем. Разговор получился опасный. Но он, Сумаедов, постарался его поскорее забыть, выбросить из памяти, стереть. О, как часто мы горим на мелочах!

Через неделю Сумаедов еще раз вызвал короткометражку из фильмохранилища и спокойно посмотрел ее один. Второй просмотр не разочаровал. Он, Сумаедов, оказался прав: в фильмике Мальчонки было зерно совершенно нового материала, зародыш социального, не отмеченного никем пока явления, контуры своеобразного характера. Как же он сам, старый черт, этого не углядел! Ах, этот проклятый творческий патент! К свежей идейке еще бы и умелость опытного мясника! Увы, эти сокровища, цену которым Мальчонка, кажется, знал, были крепко огорожены титрами, словно тыном: и фамилией режиссера, и фамилией автора рассказа, по мотивам которого был написан сценарий. Один сочинил, другой прочел и увидел. Здесь нужно было что-то придумать, чтобы вывести этих шустрых молодцов-удальцов из игры. И тут Сумаедов вспомнил про вечно голодного, как шакал, тогда еще молодого Коробкова.

Какая хватка, какое удивительное стремление пробиться было в ясноглазом молодом сценаристе по фамилии Коробков. Сумаедов читал его сценарии, которыми он подзаваливал студии. В них были и почти новые характеры, и почти свежие диалоги, и написано это было всегда почти по-писательски. Но... недобирал чего-то Коробков. Корявости что ли, которой не стесняются мастера, размашистости грубого, выразительного мазка. И еще: всегда в его сценариях маячило что-то смутно знакомое, будто прежде читанное. А может, и права была молва, представлявшая Коробкова стервятничком, готовым урвать у другого кусок и поживиться за чужой счет. Слыл он эдаким кусочником: дескать, у них, в литературе, много, немножко у каждого отщипну — и не заметят! Режиссура, впрочем, Коробкова любила, потому что его фильмы быстро проходили по инстанциям, получали прессу, высокие категории. За коробковские сценарии бралась обычно крепкая средняя режиссура, воображавшая себя большой. Подобное познавалось подобным. А Коробков, видимо, мечтал о настоящем, о большом соавторе, который способен был приподнять его облегченный текст. Вот ведь есть порода, всегда лепится к кому-то!

Коробков прибыл к Сумаедову на студию по первому зову. В дверях кабинета появилась фигура в позе ложного подчинения, как Подхалюзин в бессмертной комедии Александра Островского «Свои люди — сочтемся». Эдакое «чего-изволите-с»! Но «изволили-с» только то, что могло дальше протолкнуть по пути успеха. Для Коробкова в ту пору уже не имело значения, что и за сколько делать, важно было — с кем работать!

Балет с Подхалюзиным длился довольно долго. Сумаедов добросовестно, но, естественно, не впрямую, а эдаким скользящим манером рассказывал Коробкову, что́ ему хотелось бы видеть в новом сценарии. И все время удивлялся, до чего же непонятлив этот молодой и продуктивный сценарист. Он, Сумаедов, ставит перед ним совсем простенькую задачку: сценарий о лимитчице, о пробивной бабенке, о девочке-щучке, а этот сценарист, как приготовишка, все время заставляет его повторять и повторять. И Сумаедову приходится без конца в некоторых камуфлирующих выражениях обсказывать фильм Мальчонки. А может быть, он плохо объясняет? Может, не хватает слов? Или отказала логика — простенькое и безотказное орудие его работы? Уже позже, как всегда, прокручивая про себя этот давний студийный разговорчик, Сумаедов понял, что Коробков его просто-напросто «сделал». Как следователь в дешевом детективе. Его, мудреца и доку, вывел в конце концов на прямой пересказ фильмика. Подробный, почти покадровый. И тогда воскликнул:

— Ну, что-то вроде того, что в учебном фильмике этого...

И Сумаедов брякнул:

— Правильно! Что-то вроде того, как у...— фамилия Мальчонки была названа.— Только масштабно, на полнометражный художественный фильм.

Да, сплоховал друг Сумаедов, признался, сердешный, в плагиате. Коробков был готов на воровство, но во что бы то ни стало хотел заручиться признанием соучастника. Он, умница, страховался. Более надежного сообщника, чем соучастник, нет. Подельщик в случае чего отмажет, выручит, загородит широкой спиной.

Почему такую силу взяли над человеческой жизнью крошечные фотографии, снятые на прозрачной ленте? Почему ради сомнительной славы люди идут на подлог и преступления? Что это за подозрительное искусство, собирающее своих верующих в темных залах. Как же материализуются эти тени и в какую роковую силу и власть превращаются? Разве не обладает душа строгим чутьем на истину? Почему тогда вымысел теснит действи-

тельность и, может быть, все наши воспоминания, это не цепь фактов, а лишь вольная их интерпретация, гирлянда полувымысла? Эдакий эпический кинофильм, который сознание сняло, озвучило, смонтировало лишь для одного человека?..

Когда Сумаедов отворил дверь, то навстречу ему шагнул не бывший поденщик и интерпретатор чужих замыслов, а его брат, ровня! Подхалюзин, видимо, ныне исчез из репертуара доблестного и маститого Коробкова. Несчастия и крушения уравнивают людей. Для развратного лакея разорившийся барин уже лакей.

Коробков не вошел в прихожую, он упал в объятия Сумаедова. Сцена была сыграна с большим воодушевлением. Какой вид, какое дорогое пальто, какая печальная сдержанность! Как величественно и привычно садится в кресло, соглашаясь на чашечку кофе и рюмку коньяка, как мудро приподнимает брови, как изысканно причмокивает — истинный ценитель! — пропуская между нёбом и языком глоточки огненного бразильского напитка.

Ну что же, на скорбно подьятые, как у мима, брови Сумаедов может поднять и свои, да и почему бы не подыграть ценителю искусств. Лазутчику с той стороны? Нет, не лазутчику, а перебежчику, двурушнику. Двойной агент. Что ж, ситуация стандартная и человек стандартный.

— Вы зря принимаете все так близко к сердцу, Денис,— начал со штампа Коробков.

— Сердцу не прикажешь,— ответил тоже стереотипом Сумаедов.

— Как это все несправедливо,— посетовал сценарист, выводя его, Сумаедова, на откровенность.

Еще побаловались, будто обнюхивались.

— Что вы собираетесь снимать? Над чем размышляете? Надо быть бодрее. Ничего так не лечит, как работа. Да никто и не позволит такому мастеру находиться в простое.

А действительно, разве у него нет замыслов? Разве художник может не иметь замыслов? Разве неудача не лучший стимул для работы?

Ну, заворочалось в сердце.

Он, Сумаедов, хорошо помнит этот обжигающий комок гнева после выступления Мальчонки на собрании. Маленькая речь, испортившая жизнь. Подожди-ка, он, Сумаедов, прожует «справедливые слова». Каждому, кто пробивался в их жестоком, так называемом артистическом мире, приходилось вдоволь хлебать горячее дерьмо. Ладно, он все это сглотнет. Это, так сказать, демократический налог на его должность художественного руководителя. В конце концов выборы бывают раз в пять лет. Один раз в пять лет можно стерпеть, а потом все опять пойдет по-старому. Пусть экстремисты выговорятся, и он снова ими же будет руководить. Налог на удовольствие. Платить, конечно, не хочется, но таков порядок. Он, естественно, выплатит этот налог, чтобы опять работать, но теперь уж держитесь и вы, милые! Заплатите за свое велеречивое торжество сполна, звонкой и полновесной монетой. И сценарист, который воротит морду и не замечает взгляда товарища с мольбой о помощи, и Мальчонка, который путает правду низменной жизни со все озаряющей правдой искусства. Этому его искренность обойдется недешево. Око, как говорилось раньше, за око. Но впереди еще необходимая «демократическая процедура».

В конечном счете любые самые обидные слова — это лишь слова. Тогда, в фойе, во время перерыва когда рыхлое сердце бежало отчаянный марафон, он отчетливо понял, что еще пару оплеух ему придется пережить. Пламенная речь Мальчонки, конечно, взбудоражила общественность, обиженные и озлобленные неудачники еще покричат, помитингуют, помашут руками, но разве вокруг него только враги, только завистники? Мало ли он, Сумаедов, в жизни делал и хорошего? Помогал, жалел, оста[illegible]лял возле себя, миловал. Но люди есть люди, и на подошвах у всех грязь. Жил сам и давал жить другим. И теперь эти люди, к которым он благоволил — его тайная гвардия? Нет, они не враги себе, они, конечно, понимают: где он, там п р и в ы ч н а я, в хорошем смысле слова рутинная жизнь. И лучше с ним доживать свои маленькие творческие жизни, чем остаться один на один с волчьим аппетитом молодых и голодных.

Разве он, Сумаедов, требует, чтобы все до единого его любили? Он понимает, что он не всем по душе. Со всеми не наздравствуешься, всем одинаково мил не будешь. Ну и пусть голосуют себе в соответствии с духом

времени! Пусть вычеркивают из списков, пишут на избирательных бюллетенях гадости, все это, даже число «против» в конце концов забудется довольно быстро. Распоясавшаяся горстка демагогов и диссидентов! Пусть побалуются, посамоутверждаются. Поиграют в демократию, а потом все пойдет, как было. Всегда находится какой-нибудь исступленный критикан. Говори, говори, Мальчонка. Но студийный ареопаг тот же самый или почти тот же самый, все эти главные редакторы, руководители объединений, худруки, испытанные окопники соберутся завтра, после этой самой демократической процедуры, чтобы к о л л е г и а л ь н о, сообща, определить, какие иллюзии и картинки на целлулоиде нужны родной стране. Так неужели в этом случае первенство будет отдано крикунам и фанатам? Говори, говори, Мальчонка!

Он думал, что все обойдется, но тогда он не все знал. Воистину судьбы наши лежат в тумане. Он справился тогда со своим сердцем, и с нервами, и с психикой. Разве по утрам он делал зарядку и бегал трусцой по тихим улочкам, чтобы прожить до ста лет? Нет. Чтобы суметь выдюжить в такие вот мгновения.

Своим ходом он отправился в медпункт, отлежался на жесткой кушетке, вытерпел укол и, когда сквозь плотные двери и занавеску услышал звонок в зал на голосование, встал и, как боец, пошел исполнять свой гражданский долг. Если каждый начнет пренебрегать своими обязанностями?.. Хотя бы один голос за себя на этих выборах принадлежал ему, и он обязан этот голос использовать. Свой бюллютень он получит и опустит. Но он еще не знал, что судьба готовит ему новый сюрприз.

Какая удивительная жизнестойкость у человеческой психики. Какие мощные предохранители, замечательно сблокированные схемы и надежнейшие аварийные реле стоят на этом «приборе», выполненном слепой природой! Очень надежные страхи у хрупкого и капризного тела. Сумаедову человеческая душа, этот сгусток запретов, желаний и фантазий, казалась иногда мощным фантастическим роботом, способным погружаться в расплавленные магмы и кипящие кислоты. Что за броня, что за панцирь, охраняющий от немыслимых температур и давлений нежные соты хранилищ памяти! И все же и здесь бывают срывы.

Тогда, после оглашения результатов голосования, волна такого отчаяния залила сердце, что казалось, ему, Сумаедову, не выгрести, сердце сдаст, клетки мозга сгорят. Не было больше смысла жить и терпеть.

Да и была ли у него в организме хоть одна молекула, которая не вопила от боли? Он тогда даже удивился, почему он выдержал, почему не рухнул на него, как меч ангела, карающий инфаркт, не оглушил, лишая разума и памяти?..

Чего было больше — страдания и муки, или ненависти, или уязвленного самолюбия? После подсчетов и подведения итогов сальдо оказалось не в его пользу; привычно действующая машина голосования вдруг дала невиданные сбои. Ему стало ясно: биография окажется незаконченной, надежды на будущее не оправдаются, творческий путь знаменитого кинорежиссера Дениса Сумаедова не завершится.

Словно через ночной тоннель, ослепляемый резкими всполохами встречного движения, Сумаедов пробирался после конца собрания через вестибюль, по переходам, холлам, вниз по лестнице, где-то на пути взял пальто, дал традиционный рубль вахтерше, предъявил пропуск охране и сказал шоферу: «Домой!»

О, как это все запало в память!

Он шел через толпу, сохраняя маску, ловя жадные, смакующие его унижение взгляды, он слышал какие-то слова и даже на всякий случай запоминал голоса, улыбался независимой улыбкой, за которой чувствовался свинец, делал вид, что на всю эту демократическую кутерьму ему в высшей степени наплевать.

...В машине, когда он сел, как обычно, на за[illegible]чее левое место, упершись невидящим взором в привычный казенный пейзаж за окном, боль раскаленными кузнечными щипцами схватила сердце! Конец. Благодатная, все зачеркивающая и возвышающая смерть. Может быть, действительно, от жизни можно устать? Может, действительно, лучше сломаться, чем продолжать мучения? Эквивалентна ли жизнь мучению жить? Так прощай, огромный белый свет! В конце концов мы все лишь временные жиль-

цы, оплачивающие своими делами аренду текущих дней. К чему это крохоборство, делящее секунду на доли. Миг боли и — свободен! А сколько будет разговоров, трепки чужих нервов, склок и приказов: затравили, сжевали талантливого человека! Сколько народа примажется к его смерти и ею разделается с собственными врагами. Смертью смерть поправ. В его, Сумаедова, смерти будет и его месть, в пышности похорон, в их дешевых декорациях будет заискивание перед ним, мертвым, мольбы о прощении. Собственной смертью он надругается над завистниками и врагами. Но стоят ли все казенные мраморы и самые торжественные некрологи одного золотника жизни? Боже мой, есть луг, небо, море и солнце. Так, может быть, от этих воспоминаний и отпустило, пронесло? Путешествие по узкому, сужающемуся коридору, кажется, отменяется. Жив! Жив, курилка! Он осторожно пошевелил пальцами, потом повел плечом, качнул шеей. Да и ноги сгибаются в коленях? Теперь оставалось самое главное — речь. Он собрался с духом и услышал самое себя:

— Юра, гоните, миленький, не слишком сильно, мне что-то не хочется погибать в автомобильной катастрофе.

Жив! А он уже мысленно представлял свои похороны, речи заклятых коллег, как наяву, видел дележку имущества знакомыми и незнакомыми наследниками: Клавдия ото всего откажется, а Павлик, сын, все пропьет. Он уже простился со славой и бесславием этого мира, а оказалось, что все стерпел и жив! Да есть ли что-либо выше возможности просто дышать, мучиться — пусть! — и знать, что ты жив, твой разум рождает мысль. Аве! И тут же этот повеселевший, будто проснувшийся мозг выдал тысячу вариантов, как и в этих обстоятельствах быть счастливым. Как жить и отомстить.

Рядом с привычным о т о м с т и т ь, не спасовать, взять реванш вдруг возникло э т о и пропало. Какие-то потусторонние силы тронули, встряхнули его...

Ну, ну, Сумаедов!.. Веселее... А чем еще может отомстить художник? Он же в конце концов не злодей с кистенем. Искусство — вот плацдарм его мести. Оказывается, в обидах тоже импульс для творчества! Отомстить, чтобы подняться заново, прежним, блестящим, нахрапистым, чтобы, когда шел, все завидовали. Ничего художнику не дается даром. Может быть, в этом падении его, Сумаедова, взлет. Он чувствует уже шелест крыльев за своею спиной. Белоснежные, мощные крылья проказницы музы.

— Давай, Юра, быстрее. Время не терпит, скорее домой. Есть хочется, — поделился он с шофером, — ужасно.

И сразу же перед глазами Сумаедова встал кадр: седобородый Харон медленно, как гондольер в Венеции, напрягает свое весло...

Глава третья

Можно ли в сознании отделить правду от вымысла? Где граница между тем, что было на самом деле, и тем, что «быть может»? Не наши ли иллюзии, сотканные воображением, зыбкие, будто из тумана, фигуры, и есть квинтэссенция действительности? Вкус или послевкусие? Воспоминание документа или воспоминание души?

О Харон, подожди, оставь мне из своего эфемерного груза лишь самую малость, несколько бликов, свивающих из колебаний знакомую до боли фигуру! Мама! Дай спросить, Харон, где быль, а где небыль.

Как охотно и убедительно мы лжем сами себе! Взывая к памяти, зашториваем, заворачиваем в черную, непроницаемую для света бумагу куски собственной жизни и собственных воспоминаний, уверяя, что сдаем собственное проинвентаризованное прошлое на сохранение. А на самом деле надеемся, что никогда не вернемся более к постыдным или грязным кускам собственной жизни. Веселее и безопаснее для душевного самочувствия вздувать угольки под всеобщей историей, нежели ворошить собственную семейную правду. Однако эксгумация чужих, даже в мантиях, покойников — дело все же менее легальное, надо согласиться, чем инспекция собственных могил.

А не слишком ли поздно, Сумаедов, начинаешь ты размышлять, перенастраиваешь душу, берешься за приведение в порядок рабочего инструмента? Новая заточка? Ты понял, после того, как тебя трахнули по голове, что старый резец в новых условиях не будет уже снимать золотой стружки с действительности? Стараешься, милок, поспеть за временем в его страсти к самоочищению? Прикидываешь, как «в новом свете», «в новом видении» создашь еще одну государственную биографию? Или тебе не хочется лизать в аду раскаленную сковородку и ты каешься перед собою и близкими? О наивный апокриф средневековых мучений! Двадцатый век придумал для человеческой души почти электронную пытку рефлексией.

Стой, Харон! Отдай мне моих покойников! Отдай мне мою Эвридику! Оживи на мгновение или позволь воскресить мне! Ты ведь так и не постарела, мамочка. Самая молодая, самая красивая, самая первая. Ты до сих пор тайный мой идеал в выборе не только киногероинь, но и возлюбленных. Сколько раз я браковал на пробах самых знаменитых актрис, потому что в них не было или твоего всепровидящего взгляда, или твоей пленительной манеры печально и отчетливо выговаривать слова. Сойди с лодки, мама, и, как Христос по водам, приди на помощь ко мне. Погладь, навеки черноволосая, мою уже седую голову. О мама-дочка, мама-внучка!

Но хватит, Сумаедов, сладкого холода расплывшихся видений. Искусство, как и жизнь, весьма конкретно. Выкатывайте на экран сознания свои грехи. Разве сформулировать — это не покаяться?

Картина первая, начальный эпизод, назовем его, пожалуй... Как назовем? «Отречение». Слово довольно нейтральное, с оттенком притягательного в наше время аристократизма. Можно, конечно, чтобы быть еще конкретнее, назвать эпизод — «Предательство», но здесь чрезмерная определенность, низкосортный детектив, никакого разгона для игры воображения, а посему к этому энергичному слову, пожалуй, приложимо невинное определение — «Первое юношеское предательство». Не правда ли, мило, дорогой, многомудрый и знаменитый Сумаедов? Как говорят англичане, «скелет в шкафу». Это понимать надо так: в каждой биографии есть темная комната, а в ней шкаф, а в этом шкафу некая тайна, названная из-за стыдливости скелетом. Утешает, конечно, что англичане полагают, будто скелет есть в каждой биографии. Итак, скелет на анатомический стол!

Из чего соткан в моем сознании твой образ, мама? Где тот праматерик, на котором воздвигнуто все построение?

Все мертво: мамина дамская сумочка, брошка, золотое кольцо. Мертва ее книжка в тяжелом переплете, которую она читала в день ареста, тоже лежащая в левой тумбочке теткиного трельяжа, и мамины безделушки, вот уже полвека прячущиеся в темном ящике. Все мертво: и тяжелый вишневый отрез креп-сатина, из которого она так и не сшила себе платья, другой — «еще, — говорила тетка, перебирая вещи сестры, — подарок твоего деда» — отрез китайского шелка с голубыми хризантемами, ее крошечные ножницы и наперсток для рукоделия, и даже ее девичья коса, завернутая в пергаментную бумагу. Но это все тлен, лишь стареющие вещи, теряющие постепенно свой цвет и фактуру. Но жив запах матери. И пока он, слабея год от года, еще курится над ее вещами закрытый в тумбе старинного, из грушевого дерева, трельяжа. Сумаедову хочется думать, что и душа ее, словно облачко газа, витает вблизи этих любимых ею когда-то предметов. Пахнет не духами «Коти» от почти пустого флакона, в котором за притертой хрустальной пробкой на донышке сохранилось чуть-чуть темно-лиловой густоватой жидкости, не старинной рисовой пудрой из китайской, с рассыхающимся, потерявшим блеск лаком пудреницы. Пахнет не кожей, не шелком, не пыльным ароматом засушенного пятьдесят лет назад цветка, положенного в книгу. Пахнет неповторимым и родным запахом молодой женщины, которая когда-то звалась его матерью. Мамой. Запах жив, он незримыми живыми нитями соединяет с ушедшим, он предупреждает, врачует, поддерживает. Как благодать, как эманация души. И это знает не только он. Недаром отец, когда вернулся из лагерей, изредка приходя после многократных предупреждений по телефону в бывшую теткину квартиру, к которой позже, после теткиной смерти, присоединил кинорежиссер, став знаменитым, две огромные соседские комнаты, просил: открой. Они вдвоем шли в спальню, где среди современной мебели и дворцовых, исполненных руками крепостных — штатная обстановка творческой интеллигенции, — кресел и столиков стоял скромный, начала века, без претензий, вер-

нее, с одной претензией — удобство и функциональность, — трельяжик, отправленный в свое время малой скоростью из Петровска-на-Амуре. Он, Сумаедов, отмыкал ключом левую боковую тумбу, ставил напротив нее стул для отца и выходил. Какие бдения устраивал здесь отец?

Однажды он не рассчитал время, слишком быстро вернулся и, когда открыл дверь, увидел, как седой отец, стоя на коленях напротив разверзнутой, как могила, тумбы, закрыв свои полуслепые глаза, вдыхал, тянул ноздрями запах, витающий в этой черноте. Он, Сумаедов, еще подумал: в кино такой эпизод был бы излишне сентиментален, а значит, неправдоподобен. Но столько подлинности было в этом и правда была так страшна, что он осторожно, чтобы не скрипнула — слух плохо видящих людей обострен, — прикрыл дверь. Какие же бури разыгрывались в душе его семидесятилетнего отца! Что говорил, о чем напоминал ему этот, похожий на запах тленья едва уловимый аромат?

В темном ящике хранился и раритет, осуществлявший некую мистическую связь между сущими, живыми и ею, уже уплывшей в лодке Харона. Во время нечастых ревизий этого ящика — здесь всегда было ощущение спуска по ступеням в склеп — Сумаедов боялся брать в руки небольшую, но тяжелую коробочку — это был старинный, еще середины прошлого века будильник, «каретные часы». Боялся потому, что следующим, предписанным традицией действием было взять ключ и завести: пойдут или нет? А если нет? У него существовало ни на чем не основанное предчувствие, что его жизнь как-то синхронизируется с этим старинным, еще без анкерного хода, механизмом. И одновременно он не мог принудить себя не думать об этих часах, не доставать их из темноты, не открывать футляра. Эти часы были из детства и, пожалуй, единственный предмет жизненного обихода, до которого мама не разрешала ему дотрагиваться. Она вообще дорожила лишь двумя предметами: этими часами, которые, кажется, принадлежали или ее матери, или даже еще ее бабке, и обручальным кольцом. Маленькому Сумаедову на эти часы было лишь разрешено смотреть, и поэтому мама никогда не заводила их без своего сына. Это было торжественное, в две недели раз случающееся действо.

Часы эти, размером с полукилограммовый пакет сахара, а может быть, даже и больше, всегда хранились в жестком, оклеенном коричневой кожей футляре. Одна сторона этого футляра была застеклена, и через это окошко смотрел квадратный, белой эмали циферблат с римскими цифрами и тяжелыми резными стрелками, а под этими стрелками внизу — другой крошечный циферблатик, где куцая стрелочка обозначала время, когда должен был грянуть веселый звонок. По бокам футляра виднелись следы ремня, за который эти часы вешали в карете: должен же предмет оправдывать свое название. Голова шла кругом, когда представлялось, что именно эти часы медленно покачивались на почтовых трактах где-то между Харьковом и Киевом, может быть, упрямо доезжали и до Петербурга. Чей родственный взгляд, молодой или старый, торопил или, наоборот, тормозил время?

Сумаедов никогда не забывал об этих часах! Он их берег, старался умилостивить, но один раз снял в своей картине о войне 1812 года — это было, конечно, анахронизмом, но удержаться не смог.

Тогда за окном кареты молоденькой девушки, спешащей к раненому жениху, проносился удручающий в своей однообразной красоте зимний пейзаж: русские равнины, озера, верстовые столбы. А перед нею повешенные на медный крючочек на ремешке покачивались часы (футляр для этой съемки киношные умельцы сделали новый, потому что переделывать старый, с обрезанным ремешком, с вытершейся от прикосновений родных рук кожей Сумаедов не разрешил). Тоненькой в запястье девичьей рукой в перчатке молодая героиня снимала часы, открывала верхнюю крышку и за бронзовую дужку вынимала прелестную, изысканную вещичку.

Вынутые из футляра, часы эти представляли собой как бы фонарик — в каркас со всех четырех сторон были вставлены толстые, отсвечивающие свинцом стекла. За ними механизм. Это было так же увлекательно, как если бы наблюдать через окошко, как бьется сердце. Время, цепляясь за медные зубчики, ползло дорожками часовых стрелок. Как пульс, подрагивала стальная ниточка, намотанная на булавку. Бычились, напрягая шею, толстые ходовые пружины. Маршруты зубчатых колес были таинственны, хотя и закономерны, как пути лесных муравьев.

В то время он, Сумаедов, придавал этой сцене смыслоорганизующее фильм начало. Тонкая рука... пейзаж... ровный бег коней... судьба... и тонкие бронзовые зубчики, терпеливо перемалывающие и превращающие былое в воспоминания, в миражи, в просвечивающие одна сквозь другую картинки на целлулоиде...

В фильме эта сцена имела и еще одно значение. Героиня задумывалась, часы внезапно падали с колен. Когда она их поднимала, то тоненькая, на игле пружинка, уже не дрожала. Часы остановились... И тут же перебивкой планов — смерть раненого жениха... Сейчас бы все это он сделал по-другому, но ведь в искусстве с приходом мудрости уходит свежесть.

Тогда, в детстве, мама доставала из футляра фонарик, подносила часы к уху сына, и он, скосив глаза, слушал, как внутри стеклянного домика кто-то бил молоточком и тряс крошечные серебряные бубенчики. Потом мама доставала продолговатый ключик сродни тому, какими сегодня орудуют проводники вагона, ее узкая рука поворачивала ключ один раз, второй, третий... Сумаедов и сегодня еще удивляется, как это в прошлом веке создавались такие красивые, прочные и хитроумные вещи: завода в каретных часах хватало на две недели! Боже мой, две недели могут передвигаться стрелки и своевременно звенеть серебряные колокольчики от энергии нескольких движений руки. О, если бы можно было так распределить свою жизнь!

Один раз — это был летний день, полный света, как картины Серебряковой, — света было так много и, отражаясь от предметов, он так больно бил по глазам, что эти самые предметы почти теряли цвет, и мир, казалось, весь был из одной ослепляюще-радостной субстанции и воспринимался лишь прищуренным глазом — они в маминой спальне у открытого окна заводили часы. Мама достала ключик, открыла заднюю дверцу, и в этот момент что-то случилось на кухне или в комнате — все это Сумаедов помнит лишь отчасти, вспышками, — мама схватила на руки сына и вместе с ним выбежала из комнаты. А когда они через несколько минут вернулись и взялись за часы, то увидели, что внутрь механизма яркая, как весеннее утро, заползла крошечная букашка, божья коровка. Какая удивительная картинка: движущееся живое и движущееся неживое. И пока мама травинкой выковыривала непрошеную гостью на вольный божий свет, он, маленький Сумаедов, сочувствовал этой алой коровке.

Еще одним источником семейных знаний была стопка открыток, хранившихся в том же трельяже, мамин архив. Для него это была скорее пачка столь любимых ныне кроссвордов. Открытки тогда назывались по их полной функции — открытое письмо, poste-carte, тогда не принято было от вороватой почты, от соблазна соседей, с которыми делишь почтовый ящик, или от любознательной письмоносицы прятать эти открытки в почтовые конверты. Да и почта, судя по штемпелям, работала побыстрее. Больше прогресса — меньше удобств.

Сколько вечеров потратил он, Сумаедов, разглядывая эти картонные номиналы далеких отношений! Воистину, словно решая кроссворды, он сопоставлял и сравнивал даты и почерки. Правда, до того, как из лагерей вернулся отец, ему не у кого было проверить ответы, добиться подтверждения своим догадкам. Но и потом, разве потом когда-нибудь он решался спросить о матери у отца?

Уже сами по себе эти картинки, напечатанные на дорогом и легком картоне, были восхитительны. Далекая жизнь представала в самой своей непосредственной обывательской усредненности. Полунагие девы, пылкие поцелуи на террасах, увитых виноградом, умилительные, «под народ», малороссийские сцены: парни в свитках и дивчины в оперных лентах и монистах. Как живучи оказываются простенькие символы «возвышенных чувств», и какие крепкие и длинные корни у медальонов в виде сердечка, и целующихся голубков, у мрачных замков, где в башнях у окна плачут ундины. И все это, не стесняясь, гнали типографии в малых и больших губернских городах, в обеих столицах, поставляли французские, австрийские и немецкие партнеры. Естественно, до четырнадцатого года.

Иногда среди этих глянцевых символов элегантности и возвышенной жизни попадались картины Клевера, фотографические пейзажи средней России и Кавказа, виды городов, даже топографические карты уездов.

Среди картинок мелькали и старинные фотографии. Как правило, на жестком с золотыми разводами и вензелем паспарту. То пухлая девичья мордашка, то студент с пробивающимися усиками и надутым до отчаянности выражением лица. И между десятков фотографических карточек этих своих молодых знакомцев и соучениц — мама. Что-то в ней было разительное. Предчувствие ли ранних катастроф или особая пристальная серьезность, с которой она вглядывалась в этот коварный божий мир? Что-то было неожиданно значительное и даже трагическое в чуть удивленном повороте небольшой головы на длинной, какой-то неземной, как на средневековых портретах, шее. Будто эта шея должна была склониться перед силой, а эти глаза то ли от презрения, то ли от боязни должны опуститься долу.

Какого цвета все же были у мамы глаза?..

Годы на этих фотографиях, будто слои в археологических раскопках, выказывали свой неповторимый норов. То «культурный слой» пышнее, значительнее — воротнички, высокие прически, смеющиеся лица на пикниках, то аскетические платья сестер милосердия и длинные до пят юнкерские и солдатские шинели. Но молодость — она всегда и во всем молодость. Под казенным сукном, как и под вполне расхожим батистом, бьется все то же неукротимое сердце, горят желания. И вот из-под уставной косынки сестры милосердия ненароком выбивается нежный, как весенний подснежник, испуганный завиток, а на милом мальчишеском лице, в тени фуражки, такое желание любить, обладать и быть любимым!

Но фотографий усатых лжевзрослых мальчиков становится все больше. Будто свершается некий ритуал: надеть форму, сфотографироваться, прислать почтовую карточку... и умереть! О, галицийские поля! Если не так, то куда исчезли эти бедные мальчики? Какая совершенная мясорубка поглотила их молодые жизни? Где тот куст боярышника, который вырастет на могиле? Что тянет их всех к этой тонкой шее, к этим печальным глазам, предопределяющим свою гибель?

Сколько знаний о жизни приобрел он, Сумаедов, разглядывая эти бравые лица и расшифровывая текст на обороте фотографических карточек. Закидаем, победим, вернемся, спляшем на свадьбе. Вернемся ли? Спляшем ли? И тогда же, разложив все эти фронтовые и госпитальные весточки по годам, Сумаедов заметил: как-то настырно, раздвигая всех крепеньким плечом, зачастил в ряду претендентов подтянутый, в фуражке с молоточками молоденький реалист. Ученик реального. Реалист претендовал.

Это, конечно, удача, что люди ставят на письмах даты, а иногда на открытках с ангелочками посчастливится заметить и год изготовления. Без этого человек не может применить индуктивный метод. Если нет данных — не движется и кроссворд. Семейные события пятидесяти- и шестидесятилетней давности проваливаются в зыбкую трясину. В общем, при сличении что-то образовывалось.

Сначала определилось, что папочка, упорный реалист, был годочка на четыре-пять моложе своего почтового адресата и уже в четырнадцать лет написал свое первое вежливо-любовное послание. Что вкладывают в отточенную, без единого лишнего слова поздравительную рождественскую формулу? А вкладывают то, что вкладывают. И говорить об особых чувствах тут начинает старание пишущего, кудрявая закрученность, когда рука не хочет распроститься, лаская каждую букву.

Увы, сейчас о перипетиях этого почти в том столетии начавшегося романа спросить не у кого. Четырнадцатилетний крепыш — и уже взрослая девушка, сначала гимназистка, а потом студентка в Харьковском мединституте. Оставим в покое возникшую симпатию, но как они встретились, как сумели перейти барьер сословного отчуждения? Кажется, мать крепыша убирала в хоромах городского врача? Но куда поместить эпизод гражданской войны, когда подросший крепыш, уже в красноармейской форме, в той же квартире принимал участие в обысках, а потом и репрессиях своей будущей довольно близкой родни? А что там говорят открытки, воспоминания тетки, справки о реабилитации и другие материалы к биографиям? Имеются и такие сведения: расслоение одной патриархальной купеческой семьи на богатых и бедных. Есть в семейных преданиях намеки, будто когда-то, после смерти родителя, при разделе купеческих капиталов один брат обманул другого. Каин и Авель. И вот этим, обманутым братом, был его, Сумаедова, дед. Власть денег, власть тьмы.

Теперь, когда ясна политическая расстановка сил и очерчены социальные позиции, можно пофантазировать по поводу знакомства. Мальчик, которому на господской кухне мать втихомолку наливает кружку молока и сует кусок ситного. И тут открывается дверь, и входит господская дочь. Нисходит по ступенькам вниз на кухню. Белая блузка, бархатка на длинной шее. Два взгляда. Нет, взгляд один, от кружки, покрытой ломтем хлеба. Другой взгляд не задержался на мальчике. Что же было в нем, этом робком первом взгляде? Что увидел сын кухарки или горничной? Какую неизбывную и неиссякаемую женственность и прелесть, если долгие годы ничего другого не хотел видеть. И не ради ли этого взгляда не щадил единокровцев, чтобы разрушить и незримый социальный барьер между собой и спустившейся вниз, на кухню, красавицей?

Сцена, подобная этой, могла происходить и по-другому. Пасхальная уборка, свернутые ковры, лужи воды, босой крепыш, пришедший помочь матери отодвинуть от стен мебель и наносить воды для мытья полов, и хозяева, внезапно вернувшиеся из церкви, с дачи, от родни — не из театра, шла страстная неделя — и тут опять два взгляда. Стыд за свои грязные босые ноги, за свой жалкий вид, жгучий стыд, этот позор произошел на глазах барышни, и злость, и стремление к реваншу, и немыслимое желание дотронуться, нет, сломать, чтобы было слышно, как согнется стебель, хрустнет позвонок.

Так что обозначало это первое поздравление, первая открыточка еще от реалиста в фуражке с двумя позолоченными молоточками? Восхищение, обожествление или первый лисий шаг к будущей жертве? Чистосердечный восторг или тонкая ложь? Поцелуй Матфея или поцелуй Иуды? А и то, и другое, все вместе, любовь и злость, продолжение жизни и смерть.

Интересно другое, как произошло приручение, как удалось жалкой собачке укротить своего дрессировщика. Ведь надо, чтобы наверху хотя бы запомнили твое имя и незначительное лицо. А все ясно: упорство и еще раз упорство. С каким терпением последовательностью, без единого пропуска, на каждый праздник поступали поздравления. Выверенное количество слов, выверенное обращение, «художественная открытка», и сколько почтения, подчеркнутой приниженности, ни малейшего стремления перешагнуть границу, отделяющую двух этих молодых людей друг от друга.

Как сумел, как оттеснил остальных конкурентов-претендентов на любование лилейной шейкой? Легко было бы ответить: при помощи любимейшего оружия такой борьбы — вниманием и нахрапом. И так оно, наверное, и есть, если оставить в стороне все стыдливое, сентиментально-сыновьи соображения, путающие картину. У него, у Сумаедова, имелась на руках еще одна данность: стопочка других открыток.

Уже тридцать лет прошло с того времени, когда эти открыточки вместе с другими изъятыми при обыске бумагами были вынуты из специальных папок, извлечены из нумерованных лабиринтов бетонных хранилищ и подняты наверх к дневному свету. Папин архив. Личные письма и бумаги, изъятые при аресте и возвращенные после реабилитации. Особое совещание в роли архивариуса. Отцу тогда еще негде было держать свои документы, и, уезжая за уже беременной Онькой, Анисьей, он оставил все на хранение сыну. С тех пор он, Сумаедов, подбирает одну к одной эти открыточки, бумажки, листки из записных книжек, которые чудились кому-то сначала шифровками и шпионскими донесениями, а оказались тем, чем они действительно были: клочками бумаги с пометами для памяти и со словами любви.

Так вот еще раз: за тридцать лет, вдыхая острый, как наждак, запах бумажного тлена, Сумаедов из всего этого информативного богатства выделил стопочку фотографических карточек: «ухажеры» — мальчики в гимназических фуражках, в легких летних соломенных шляпах, называемых канотье, в спортивных кепи. Какие многоожидающие от жизни лица, сколько юного задора и ощущения неизбывности здоровья! Какая там смерть и тяжелая доля! Где-то один-два года отделяли эти счастливые школьные и студенческие времена от других мод и эмблем на фуражечках. Теперь эти фуражечки шли в комплекте с серыми шинелями и папахами младших офицеров и фельдфебелей первой мировой.

В отобранной пачечке памятных фотографий все те же молодые, жаждавшие восторгов и счастья лица оказались переодеты и украшены други-

ми атрибутами и аксессуарами. В молодцеватой военной форме, подтянутые, героические и молодые, они сфотографировались, почти все дублируя новыми своими обликами прежние полудетские фотографические воспоминания. Но общим и прежним было одно: вожделение, с которым они глядели в объектив старомодной деревянной камеры, представляя, что глядят в глаза той, которой предназначалась фотография. Ведь считалось, что взгляд имеет магнетическую, некую оккультно-ритуальную силу, которая не исчезает бесследно, передается на расстоянии и способна и на расстоянии заставить сильнее забиться чужое сердце. Так, может быть, фотографическая карточка способна материализовать взгляд и нести его сквозь чересполосицу фронтов, ад артиллерийских канонад и ипритовых атак?

Как быстро в принципе мужает человек! Или обстоятельства его торопят?

Он, Сумаедов, цепко вглядывался в эти молодые лица на фотографиях. Иногда в сознание вязло пустое: а ведь один из этих молодцов мог стать его отцом! А вдруг, а может быть! Нет, даты, целые годы не сходились. Как быстро в принципе и гниет человек. Как мало нужно, чтобы разрушить, разодрать эту поразительную гидросистему, выкованную тысячелетиями. Достаточно повредить одну из трубочек, по которым идет животворная жидкость — кровь, или разомкнуть один из главных проводов — нервов, питающих импульсами отдельные агрегаты. Почему так несовершенен по сравнению с гигантским слоном или с панцирнокрытой черепахой человек? Всего десять сантиметров легкопроникаемой плоти отделяет основной мотор — сердце. Так сколько же металла потребовалось, чтобы извести этот цвет юношества и стопочку фотографий, волшебную проекцию живых превратить в проекцию воспоминаний? Горсть, две?! О, проклятый гений человеческой пытливости!

И все же среди этих стартовавших, невинных, с пухлыми щеками херувимов один оказался с судьбой более счастливой. Действительно ли это было везение, счастье, или в те годы отца сопровождала отталкивающая металл рука, отводящая смерть сила? Он, может быть, даже раньше всех, первым прислал свою фотографию, стал фундатором тоненькой стопочки, этот сын посудомойки, а потом с настойчивостью (будто на фронте у него не было других задач, как бриться и идти в ближайшее местечко к фотографу и затем придумывать текст к сопроводительному письму или открытке) писал и посылал, писал и посылал. А может быть, он хотел создать некий мистический частокол из повторений своего имени и образа?

Скромненький реалист, в затянутой ремнем гимнастерке, рядовой в папахе, рядовой с Георгием прямо на солдатской шинели, а вот уже младший офицерский чин все с теми же горящими честолюбием, отвагой, тайной и еще детской страстью глазами. Не случайно лежит рука молодого офицера на шашке. Но вот две самые редчайшие фотографии! Впрочем, они все, с десяток, уложились в узкий сектор времени: 1911 — 1918.

Есть ли предопределение у человеческой судьбы? Если есть, то для него, Сумаедова, оно в одной из этих фотографий. На этот раз на фирменном картоне с золочеными медалями, вензелями и харьковским адресом художественно-фотографического салона. На изысканном шоколадно-матовом, с балюстрадами фоне — две фигуры.

С особой пристальностью Сумаедов всегда разглядывал эту фотографию. Это было «первое упоминание» в его индивидуальном жизнеописании: будущие родители сфотографировались вместе. Как первое упоминание города в летописи.

Неужели эта юная, лет на сорок моложе его, сегодняшнего, женщина его мать? Высокая шляпа с темным блестящим пером, по моде тогдашнего времени, длинное, до пят пальто с частыми пуговицами, маленьким воротничком, подпирающим шею. Неужели эта крошечная ножка в остром башмачке, выступающем из-под пальто, имеет отношение к нему? И по этим глазам, округлым, с бездонными зрачками, смоделированы небесным создателем глаза его, Сумаедова? Руки ее спрятаны в муфту. Может быть, так глубоко прятались эти ручки в муфту, чтобы не лежать на чужой, демонстративно согнутой в локте руке, на сером рукаве поручицкой шинели?

Поручик стоял во всей красе: в новой, с иголочки, офицерской шинели, с Георгием на полосатой ленте. В левой руке — стек для изящества или легкий костыль, на который он опирался при ходьбе?

Какую удивительную эволюцию претерпело лицо молоденького героя-поручика? Скромненькая физиономия оказалась лишь подмалевком, на котором решительная кисть начертала иное выражение. Трезвой, но победительной мощи. Как твердо сжаты губы. Откуда такая решительность?

Да, дистанция между бывшим реалистом и господской барышней была неизмеримо большей, чем у барышни и офицера, героя войны. Но все же и здесь были барышня, потомственная дворянка — и сын поломойки. Пахло ли по-прежнему бедностью в старом подвале, где у матери остановился приехавший на побывку раненый георгиевский кавалер? И что заставило барышню пойти на этот фотографический сеанс с героем? Милосердие, патриотизм, а может быть, к этому времени у нее тоже стало чуть чаще, чем обычно, биться сердце?

Но хватит улик! Ведь кое-что разворачивалось и на его, Сумаедова, глазах. Фотоувеличение: большая столовая с квадратным столом и низко опущенной над столом лампой, буфет в углу, на полке которого стоят миски с винегретом, солеными грибами и огурцами, все местные деликатесы. Барские, как говорила мама, итальянские окна. Он, Сумаедов, потом бывал в Италии и все глядел, пытаясь среди стрельчатых, широких и узких, в переплетениях решеток окон во дворцах, виллах, бедных строениях отыскать такое «итальянское» окно.

Окна комнаты большие, все наверху в мелких квадратиках. Наверное, дом уже после революции реквизирован у купца или городского начальника. Деревянный, он своей замысловатостью напоминал дачное строение на берегу Финского залива, где-нибудь под Стрельной.

В окна светит, отражаясь в оплывах наледей, тот мимолетный час, когда зимнее краткое солнце все заливает багрово-желтым пламенем, будто разогретым медом. Вершина дня, около часа, воскресенье, обед.

Смутно Сумаедов помнит — а может быть, конструирует в своей памяти? — за итальянским окном серый мрак и изморось. серый мрак и крупные, как клочья мокрой шерсти, хлопья снега, сползающие по стеклу, будто прильнувший к теплому окну, последний желтый лист...

Но неизменно хранила память свет лампы над столом, — зимой ее зажигали уже к середине обеда. К тому времени — кухарка? няня? — лица Сумаедов уже восстановить не может, только длинный, как у сестер милосердия, белый передник, белый же, почти гимназический воротничок и нарукавники, — вносила дымящуюся суповую миску.

Четыре лица: отец, мама, дядя Гриша Гоголев и дядя Вася Кромкин. У них у всех были хорошие, простые лица. Медленно, как во время следственных просмотров в детективных фильмах, останавливая эти лица на экране своей памяти, Сумаедов каждый раз думает, а мог ли он кого-нибудь из этих людей, с их простыми добрыми лицами — мама, конечно, не в счет — вывести в своем фильме в качестве отрицательного героя?

Им всем было за тридцать: поздние браки, поздние дети. Но как были они самостоятельны, как уверены в своих оценках, от которых зависела жизнь других людей, даже жизнь близких!

Седенький дрожащий старичок с прозрачными веками, прозрачными пальчиками, ушками и носиком, жадно вдыхающий таинственные запахи молодости из открытого ящика трельяжа, и плотный красавец, расхаживающий по крашеным половицам в мягких, низко спущенных на икрах сапогах возле накрытого стола в ожидании друзей-товарищей по этому забытому богом месту, полупоселку, полугороду, где власть его безгранична. Впрочем, так же и он был беспомощен в руках безграничной чужой власти. Этот черноволосый, чуть покачивающий плечами от переизбытка сил красавец и дрожащий старичок. Неужели это один и тот же человек?

Воскресный ритуал был отработан и доведен до высшего уровня единообразия. Его, Сумаедова, приводили с гулянья. Чьи-то женские руки — мама? нянька? домработница? — раздевали, выпрастывая из одежд, и запускали в большую комнату, где уже протопили печку. Вызовом заснеженному берегу дикой реки, нартам и собакам на улицах, оленьим дохам, вспышкам трахомы, шаманским обрядам была эта жарко натопленная комната с итальянским окном, большой дубовый стол с белоснежной накрахмаленной скатертью и расхаживающий между столом и печкой затянутый в шерстяную гимнастерку низкорослый красавец с мягкой, как у рыси, походкой. О, пролетарская эпоха красных командиров!

Пятилетнего Сумаедова в зелененькой, специально сшитой гимнастерочке, подпоясанной кавказским, с бляшками, висюльками и заклепочками ремешком, в сухих, домашней выделки, чесанках запускали в комнату, где стоял накрытый стол. Он, раскрасневшийся от мороза, подбегал к отцу и тыкался головой в отцовское бедро. Отец подавал ему ладонь, и малыш Сумаедов вкладывал в нее свою ручонку. Они молча и чинно ходили, как на бульваре, вдоль комнаты.

Первым из гостей приходил дядя Гриша Гоголев. Он был жилист, высок, подтянут, так же, как и отец, носил военные бриджи и гимнастерку, аккуратно, несколькими крупными складками собранную сзади. Лицом Гоголев был кругл, выпирали скулы, глаза смотрели мрачнозато из-под коротко подстриженной челки. Гоголев жал руку отцу, потом чуть наклонялся, подхватывал крепко под мышки малыша Сумаедова и подкидывал его раз, другой, третий.

Сердце у Сумаедова уходило в пятки, в воздух взлетал белобрысый чубчик, бренькал ремешок, сверкали восторженные глаза. Мальчонка заливался боязливым смехом, но, каждый раз падая и цепляясь за воздух руками, он чувствовал, как аккуратная и сильная ладонь Гоголева своевременно подхватывала его.

Аттракцион повторялся — входил дядя Вася Кромкин. Это уже потом Сумаедов из рассказов отца, из рассказов Лии Исааковны узнал, что Кромкин был не только другом, но и давним сослуживцем. Но где же они вместе служили, на каких фронтах?

Перед тем как войти, как бы испрашивая разрешения, Кромкин секундочку топтался на пороге. В прихожей он всегда оставлял сапоги или валенки и входил в столовую в шерстяных, пегих, из черной и серой шерсти носках. Брючата, заправленные в носки, темная, вышитая по вороту синими и алыми цветочками косоворотка, крученый поясок на узкой талии. Ай да Кромкин, ай да молодец, ай да начальник местной опричнины!

Итак, входил Кромкин, пахнущий морозом, веселый, открытый. И начиналась своя игра.

А может быть, на этих воскресных обедах он, Сумаедов-младший, был самый главный? В конце концов на своем специальном деревянном креслице он сидел выше всех. По крайней мере до того, как глазенки у него начинали слипаться и мама говорила домработнице: «Вера, унесите мальчика», — мальчик многое успевал увидеть и запомнить. Но разве он специально запоминал? Он просто видел, а виденное запомнилось, потому что тогда все было впервые. А может быть, все так запало в память, потому что тогда было счастье, которое он, еще не понимая, что это такое, чувствовал, ибо тогда была гармония, и его детский мозг не различал в поступках взрослых скрытых или враждебных друг другу мотивов.

Все начиналось с того, что входила в комнату мама, переставляя из буфета на стол стеклянные салатницы с огурцами, капустой и винегретом — водка в графине притворялась беззащитной водой и водичкой, — вносили из кухни тарелки с салом, медвежьим окороком, плошки с красной икрой, все рассаживались, и мама говорила: «Вера, вносите пирог».

Вот с этого разрезания пирога и начинался обед, который для него, Сумаедова, правда, почти на этом же и кончался: бульон с пирожком, каша, кисель.

Но что он, Сумаедов, помнит еще? Веселые, раскрасневшиеся мужские лица, споры и размахивание руками, стук кулаков по столу. И еще — мать, гладко зачесанные волосы, собранные в пучок. Сдавалось, что этот тяжелый пучок оттягивал голову назад, и поэтому приподнятое лицо казалось величественным, даже надменным. И еще он помнит глаза, которыми глядели на все сидящие за столом мужчины.

Боже мой, значит, и за этим столом проходила линия классовых битв! Все враги: эсерка и дочь эсера, кулацкий прихвостень, мелкобуржуазный разложенец. Все погибли. Неизвестно, где находятся их могилы, и только закладной камень будущего памятника Васе Кромкину — дважды Герою и первому Строителю — уже двадцать лет назад стоял на маленькой площади далекого городка Петровска-на-Амуре.

Значит, всеми ими руководила классовая нетерпимость. Значит, справедливость толкнула к ненависти. Тогда что означали лица, дружеские похлопывания по плечу, совместные трапезы, зимняя охота?

А как же большая и сильная ладонь Гоголева, лежащая на запястье матери? Как же его, маленького Сумаедова, недоумевающий взгляд и тихая реплика матери — о, это вечное заблуждение взрослых, что дети ничего не понимают: «Осторожнее, Гриша». Он, Сумаедов, даже помнит, как мама тихим, незаметным движением высвободила свою руку и подняла ее вверх, как бы поправляя в волосах шпильку.

Но он, Сумаедов, хорошо помнит, что, кроме его взгляда, на этой руке сфокусировал свой, как «прожигательное стекло», еще один человек — Кромкин.

Это было в самой середине обеда, когда он, маленький Сумаедов, предчувствуя, что скоро его отправят в недра дома на дневной сон, начинал требовать к себе внимания. Все уже утолили первый голод, и первые рюмки завихрили сознание, как всегда после изнуряющей закуски, домработница Вера убирала тарелки, и мужчины выходили курить в кабинет, а маленький Сумаедов раскапризничался. Мама принялась его кормить из ложки. Помогать ей, помогать Вере остался Гоголев. И сколько же десертных ложек бульона было выпито: пять, шесть? «За папу», «за маму», «за дядю Гришу Гоголева», «за Веру», «за дядю Васю Кромкина», «за зайчика»? На «зайчике» или «на Вере» мама поднесла руку к голове, чтобы опять поправить в волосах шпильку, взгляд ее внезапно осекся, будто кто-то затушил горевший в глазах фонарик, и ее шею, поднятую кверху руку стала заливать краска. Тогда он, маленький Сумаедов, обернулся: в дверях, как всегда нестрашно, не как волк, а как медведь, как мишка, улыбался дядя Вася Кромкин.

Но это все лишь экспозиция, одна-две картинки, мимолетности, выхваченные из пасти всепожирающего молоха времени. Но разве кино — это не борьба все с тем же беспощадным молохом? Разве художник не пытается вытащить из забвения уже наполовину исчезнувшие и распавшиеся фигуры, чтобы, переведя в другой, более стойкий материал, попытаться сохранить хотя бы иллюзию отблеска отшумевшего? В конце концов искусство оттого вечно, что материал его нестоек. И движение памяти как первая акция искусства, начало бессмертия.

Итак, игровой эпизод в тех же обозначенных в экспозиции декорациях. Ведь именно интерьеры и пейзажи — пленительный гарнир к былому. Но поступок — вот царь воспоминаний.

Свет в этой сцене — другой. Итальянское окно не источает отгоревший жар, все серенькое, вытертое расползается по углам. А может быть, это память, врожденное чутье гармонизируют пейзаж и содержание сцены по самым примитивным законам психологического соответствия. Не хватает еще, как в плохом кино, грозы и проливного дождя. А в самом деле, искрился за окном снег? Или лето плескало в распахнутые окна свежую зелень?

И тем не менее пусть все будет, как сложилось, отсеялось на решетах, сейчас идет не проверка прожекторов и софитов, а отбор главных деталей.

Лампу все еще не зажигали, серый день затягивал вязкостью все углы, и, наверное, из-за этого мама опрокинула огромную — из сервиза — супницу на колени дяди Васи Кромкина. Мама вскрикнула. Но маленькому Сумаедову все же показалось, что, принимая от домработницы Веры тяжелую фаянсовую супницу, мама не промахнулась мимо стола, а намеренно уронила ее на колени Кромкину...

Но только что же произошло раньше: исчезновение дяди Гриши Гоголева или инцидент с суповой миской?

Уже не один год Сумаедов укрупняет этот план, пытается разглядеть подробности. Остался ли дядя Гриша Гоголев за кадром, выпал из детского сознания, или его, дяди Гриши, вообще не было на съемочной площадке? Каков был подлинный мотив мести: только ли за любящего и, может быть, любимого человека, или еще за предательство, подлость, за возможность подлости? Ну-ну-ну, не круто ли, Сумаедов? Но в кадре лишь те же персонажи: мама с внезапно побелевшим лицом, за ее спиной всплеснувшая руками домработница Вера, тоже вскочивший, со сжатыми, поднятыми вверх кулаками отец и, как внезапно распрямившаяся пружина, подпрыгнувший на стуле дядя Вася Кромкин. Потом кадр более подробный: Кромкин катается по полу, обхватив руками низ живота.

Он сам, Сумаедов, виноват, что не получился третий, общий план. Чего он тогда испугался? Глаз матери, в которых мистический ужас был смешан с торжеством свершенной мести? Или поднятых кулаков отца — он замахнулся на мать? Выпученных, вылезающих из орбит глаз Кромкина? Протяжного, на одной ноте воя Веры?

Что тогда случилось с ним, с маленьким Сумаедовым, отчего он потерял сознание? Ах, эти несложные вопросы, на которые некому ответить!

Он проснулся, когда уже было совсем темно, в своей кроватке, стоящей в спальне родителей. На комоде горела бронзовая керосиновая лампа. Он уже был раздет и лежал, накрытый подоткнутым с боков одеялом. Как дорого он дал бы сейчас, чтобы точно знать, состоялся ли тот диалог между родителями или он сам придумал его? А может быть, он, Сумаедов, сочиняет литературный сценарий «про собственную жизнь»? Какая безвкусица!

...Мама собирала чемодан, огромный, как сейчас говорят, кофр, из нерпичьей кожи. Таких чемоданов — пятнистой шерстью наружу, с коричневой лакированной кожей на углах и тяжелыми медными замками и заклепками — Сумаедов больше никогда в жизни не видел. Наследство барственного деда? Может быть, именно с этим чемоданом и уехала мама из родительского дома с бравым прапорщиком? Красным командиром? А может быть, этот чемодан входил в приданое, как каретные часы, флакон духов «Коти», серебряные ложки и отрез китайского шелка в голубых хризантемах?

— Сына я тебе не отдам! — раздался голос отца.

В запомнившемся и прокручиваемом сейчас диалоге первым начал отец. Он сидел без гимнастерки, в брюках, заправленных в короткие сапоги с собранными чуть щегольски под икрами голенищами. Вырез полотняной нижней рубахи подчеркивал сильную мужицкую шею.

— А чему ты сможешь сына научить? — Через полуоткрытые глаза Сумаедов видел, как при замедленной съемке, движения матери. Она закладывала каретные часы в кожаный футляр, слушал ее спокойный голос. — Сын многому научится, живя с тобой и твоими прихлебателями. Пить водку ты его научишь. Предавать ты его научишь. Григорий был твоим другом еще с гражданской.

— Мне тоже кое-что известно, — сказал отец. — Я знаю, почему ты его защищаешь.

— Я защищаю твою молодость и твое прошлое.

— Мы с ним разошлись в оценках классовой борьбы.

— И только из-за этого ты поторопился дать согласие на его арест?

— Это была формальность. Из края уже звонили, был сигнал. Он был обречен. Я не мог его защитить.

— Но ты ведь не бездумный исполнитель, ты крупный советский работник, ты партиец, большевик, член бюро окружкома.

В нехитрой драматургии этих фраз два слова доподлинно сказаны голосом мамы: «арест» и «исполнитель». Это ее лексикон, ее слова, еще не понимая их значения, он услышал их из ее уст.

Но тут же было произнесено и еще одно слово... Он, Сумаедов, отчетливо видит артикуляцию, с которой мама это слово выговаривает, глаза отца, его медленно поднимающуюся длань. П р е д а т е л ь с т в о? Удар! Быть может, если бы мама тогда ушла от отца, все же собралась и уехала, Сумаедов не остался бы так рано сиротой. Была у него родная рука, которая может погладить по голове и подоткнуть одеяло. Но слово было сказано, он, маленький Сумаедов, закричал и потерял сознание, и уж потом пришел к нему кошмар, который сопровождает его с тех пор всю жизнь.

Ему всегда снится один и тот же огромный, как иконостас в соборе, часовой механизм. Медленно вращаются медные валы, похожие на стволы вековых деревьев, размером с мельничные жернова проворачиваются зубчатые колеса, дрожит толщиной со швартовный канат пружина, жалящая, как объевшаяся стальная змея, себя в хвост, с заводским шумом, с лязгом паровозной сцепки ползет время. Все это похоже на ход мироздания, как его изображали в средние века, на движение планет по зубчатым рельсам их орбит.

Но самое поразительное, что в этом механическом аду циклопических осей и шестеренок всякий раз Сумаедов видит и себя. Эдакий мальчик

из города «Динь-динь», из музыкальной табакерки. Очень ладненький такой паренек, в хорошо сшитой гимнастерочке, подпоясанной по многозначительной моде того времени кавказским ремешком, в ладных мягких сапожках и даже в эдакой кубано-кавказской папахе. Как белочка, этот паренек перепрыгивает с одного времянесущего зубца на другой, раскачивается на стальной пружине, отрубающей по секунде. Как акробат в воздухе, делает сальто, зная, что к завершению разворота подойдет к его протянутым рукам спасительная трапеция. И вот во время самого отважного прыжка, когда мальчик протягивает руки к выплывающему ему навстречу медному зубцу, на который он и должен приземлиться, в этот момент, в момент полета, весь огромный и грозный завод застывает.

Сведя вместе ноги, довернувшись, летит он на выплывающий медный зуб, на медную площадку и в воздухе понимает — площадка уже не подойдет к нему и он, Икар и пасынок судьбы, рухнет вниз, в сужающееся ущелье стали и меди.

Глава четвертая

...Еще раз обменялись с Коробковым словесными фейерверками. Картинки были славные: звезды горели, осыпаясь искрами, мельницы крутились, шутихи бабахали. Все, казалось, было полно глубокого смысла и значения, а подул ветерок, прошло небольшое время — и нет ничего, даже порохом не пахнет. Повеселились. Эффект от таких разговоров известен.

У доблестного Коробкова нервы сдали у первого. Он был и помоложе, а значит, менее опытный. Он сложил отдельные детали своей мордочки в грустную и серьезную маску и произнес:

— Дорогой Денис, дорогой учитель и мэтр. Не правда ли, друзья познаются в трудную минуту, и я пришел напомнить, что вам пора начинать работать.

Чрезмерная решительность тона как бы скрывала внутреннюю робость младшего товарища, вынужденного в силу искреннего волнения за старшего обращаться с ним без должной почтительности. Встряхнуть, взбодрить! Придумано и выполнено неплохо. Только сколько здесь заботы, а сколько личной заинтересованности? А может быть, боевые рубежи подвинулись, и в районах, где охотится Коробков, тоже запахло паленым? Страхуется в поисках возможного союзника? Не так уж это глупо. В конце концов сценарий по мотивам, «позаимствованным» у Мальчонки, написал не он, Сумаедов, а Коробков. Не исключено, что Мальчонка, входящий в силу, захочет поставить к стеночке и соучастника. Общественное мнение ему в этом поможет. Коробков свой проходняк печет, как пирожки в столовой: сверху обжарено, пахнет приятно, но жуешь — резина, а сжуешь — изжога.

Тогда, при и з ъ я т и и у Мальчонки его права на художественную собственность, выявились жизненные принципы знаменитого сценариста: нахрапистость, наглость, знание темных сторон человеческой натуры. Как уверенно Коробков ответил тогда ему, Сумаедову: «Мальчонка ерепениться не станет. У меня на рецензии сценарий его нового фильма». Но как долго и осторожно «доворачивал» Коробков Сумаедова, чтобы тот в конечном итоге так прямо и выложил, не стесняясь, как соучастнику по грабежу, чего он хочет!

Он, Сумаедов, чувствовал себя вполне честным человеком. Лично он ничего плохого не сделал и не требовал от своего соавтора. Он просил написать сценарий «вроде того фильма, который он видел», развивающий аналогичную проблему. Разве проблема принадлежит автору? Она принадлежит времени, автор ее лишь формулирует, выносит на суд публики. Его грех, что он несколько отстранился, когда Коробков стал бесчинствовать, умыл руки и... оказался втянутым...

Они с Коробковым много работали над сценарием о пробивной бабенке. «Дожимали» одну сцену, поправляли другую, фантазировали, придумывали детали. Он тогда думал: ну, пусть немножко похоже на фильмик Мальчонки, но на съемочной площадке фильмы разойдутся в разные стороны. Ведь несоизмеримы опыт, мастерство и возможности их обоих. Именно поэтому он согласился — теперь уже поздно говорить, что попутал бес, —

на щедрое и, в общем, справедливое предложение Коробкова поставить рядом с его свою фамилию в сценарий. На деньги он, Сумаедов, позарился, да какие уж там деньги, хотя опыт и жизненная практика показывают — никакие деньги не бывают лишними. И славы особой нет. Скорее всего действительно бес, шелудивая жадность, — они и подвели. А потом и разразился скандал, точнее предскандалье. А все из-за того, что Коробков пожелал из этой ситуации выжать все. Он решил еще и напечатать сценарий будущего фильма. И когда запорхало в коридорах студии нечистое слово «плагиат», Сумаедов и потребовал уже не только коротенький фильм конкурента, но и его литературный сценарий. И обомлел: близость этих двух сочинений — Коробкова и Мальчонки — так бросалась в глаза, была так очевидна, что ему стало страшно. Это грозило потерей репутации. Близость оказалась не только тематической, но и стилевой. Коробков поленился даже переписать отдельные сцены. Он сразу тогда бросился к сценаристу. Но тот уже был готов к этой атаке. Да, он не рассчитал, да, он промахнулся, да, он оказался под обаянием чужого стиля, он натура восприимчивая. «Да как же ты смел втянуть и меня в такое?!» — орал на него Сумаедов. Тогда Коробков и сказал, что если сам Мальчонка в склоку не полезет, то склоки и не будет.

— А если?

— А если полезет, тогда надо будет взять на работу в объединение жену Мальчонки. Она у него художник по костюмам.

— А если?

— Тогда этот сценарий, который на рецензии, надо будет запустить в объединении у Сумаедова.

Из инцидента надо было выпутываться.

— А почему бы вам, — как змей искуситель, Коробков развивал свои идеи, — почему бы в самом деле не взять на работу и Мальчонку? Он автор одной только картины — вы дали ему «шанс», попробовали, а теперь констатируете, что мнение о талантах молодых преувеличено. Наша с вами картина к этому времени отшумит, о ней уже все забудут. Или же она станет классикой, а о классике, как о покойнике, ничего, кроме хорошего.

— Но ведь до сих пор я его в объединение не брал, отказывал. Пойдут разговоры.

— Разговоры к делу не пришьешь. Но есть еще причина, по которой вам следует Мальчонку взять. Если он делает хороший фильм, то автоматически — он ваш ученик, вы, создатель школы, способствуете приходу в кино свежих сил. В первом случае нельзя плохо говорить о благодетеле, а во втором — о мастере, об учителе.

Разве тогда Сумаедову не было стыдно проворачивать всю эту комбинацию? Но именно тогда в полной мере ощутил, какое освобождение наступает после маленького компромисса. Он взял к себе в объединение Мальчонку, и сразу же исчезли чувство страха, неловкости, предощущение позора. А может, есть другое значение у слова «компромисс»? Может, это просто умение делать себе хорошо? Но как в конечном счете обернулось это «умение себе делать хорошо»? К чему все это привело? Не так уж безобиден оказался этот мелкий пакостник, хотя и не без способностей. С ним надо держаться настороже.

— Так ты говоришь, Артамон, что надо продолжать работать? — начал Сумаедов свою разведку. — А зачем? Художнику иногда важно остаться на уровне сделанного. Абзац в энциклопедии мне обеспечен, стоит ли суетиться? Мои молодые коллеги совершенно верно подметили, что последние десять лет я ставлю фильмы, которые ниже моих возможностей и хуже моей классической «Власти судьбы». Значит, я больше таких фильмов делать не буду. Молодые ценители искусства будут счастливы.

Фразочка о молодых ценителях была не так проста. Коробков, как известно, с молодежью не работал, она его не принимала. А тех, кто постарше и кого могли интересовать железные конструкции Коробкова, было не так уж много. Если из их ряда выбывал Сумаедов, то оборачиваемость продукции энергичного Коробкова становилась ниже. Причем эта тенденция к «выбытию» с годами усугубляется. Так что же вы запоете теперь, милый Коробков?

— Мы же сейчас говорим о зрителе и искусстве, — несколько высокопарно ответил Коробков. Он все понял, и ему нужно было время, чтобы перегруппироваться.

Интересно, что Коробков хочет продать, что у него в портфеле? Какую байку он украл, сложил, стачал своими ли, чужими ли руками? Строчку-то в энциклопедии, может быть, вы и заработали, высокочтимый мэтр, но настоящее искусство так мало прогнозируется. Может быть, главные удачи впереди? Поднять кверху лапки и сдаться прожорливой молодежи не задача...

Очень осторожно Коробков вползал в тему:

— Строчку в энциклопедии вы, наверное, действительно, мэтр, заработали, и денег, возможно, у вас хватит на всю оставшуюся жизнь. Но ведь профессия дает нам еще массу возможностей и, значит, вы предаете не только профессию, но и себя, обязанность полностью реализоваться и право получать новые острые впечатления.

Положение разъяснилось. Словечко «впечатление» приоткрывало завесу над далеко идущими планами сценариста. Сумаедов краем уха ранее слышал, что Коробков собирает политическое шоу, международный детектив, действие которого происходит во многих странах мира. В центре его — исторический деятель революционной эпохи, дипломат и миротворец, жизнь которого из истории проецируется на наши дни. История одного, но намеки на другого. Коробков, значит, решил устроить себе путешествие вокруг земного шара за счет кинематографических денежек. Сама по себе идея эта, быть может, и не так плоха, ибо путешествия, как известно, продляют жизнь, но причем здесь он, Сумаедов?

Со сроками только сценарист немножко запоздал: времена переменились, и теперь для этого многоязычного и многостранного замысла нужен мощный толкач, способный своим именем освятить несколько пересоленную открытой конъюнктурой идею, затраты и выбить валютные поездки. Конечно, искусство служит народу, времени, а кино как государственное искусство еще и государству, но Коробков задумал послужить лицам. Коробков, видимо, считает, что, убитый и сраженный, он, Сумаедов, бросится, схватится за любую конъюнктуру? Да и в служении лицам есть свой смысл. Служение есть иногда сопротивление их честолюбивым амбициям. Сколько раз слишком явная реклама унижала, а порой и изничтожала человека в глазах общественного мнения? Но сколько репутаций для истории сохранено несговорчивостью художника, и как быстро, словно в вазах цветы, опадают после смерти мнимых героев крикливые апокрифы их деяний.

Значит, Коробков намыслил красочный путеводитель по местам жизни и деятельности одного революционного героя, но с намеками и подстановкой, как перемена партнера в кадрили, на другого, уже современного. Комплимент с переодеваниями. А «впечатления» — это Лозанна, Милан, Париж, Лондон — первое, что вынула память из «исторической корзины», — места деятельности и боевой славы революционера, дипломата и бывшего князя. Князь — это хорошо, это контрасты, это старина, а быть может, и бал с массовкой в шелках и перьях. Умеют же некоторые выламывать из истории самые лакомые кусочки!

— Ох, ох, какие уж здесь в моем возрасте «впечатления»! — Сумаедов осел, одряхлел, пусть Коробков не забывает, что имеет дело еще и с выдающимся актером современности. — Какие уж здесь впечатления — «наш удел катиться дальше, вниз». А что вы конкретно, дорогой Артамон, имеете в виду? — Пусть покрутится, поелозит, пусть порассказывает, поформулирует.

Теперь давай, сынок, излагай, ври, изворачивайся.

Сумаедов закрывает глаза. На его расслабленном, как в парикмахерской, лице одна из самых вдумчивых и заинтересованных масок.

— Конкретного, уже окончательно сформулированного предложения у меня нет, — балетным вкрадчивым шагом начинает свои кружения Коробков. — Я просто подумал, — продолжает он, — что вам, с вашим колоссальным опытом и знаниями, было бы интересно участвовать в создании крупной кинематографической фрески, широкого многосерийного валютного полотна...

Почему такая страсть у современных деятелей искусств снимать, пи-

сать, собирать материал, рисовать, лепить и читать лекции за рубежом? Почему бывший босоногий подпасок с Украины охотнее поет где-нибудь в Барселоне или в Южной Америке, нежели в Одессе или даже Большом театре? Неужто веселые импортные наклейки влекут чуткое сердце художника? Но ведь главные события жизни все же вершатся и проходят дома. Здесь складывается репутация, накапливается умение. Высшее признание — в своем профессиональном кругу, а не где-нибудь в культурных центрах третьего мира. Но сколько же раз он, Сумаедов, видел, как талантливые люди бросали интересные замыслы, выношенные идеи, откладывали на неопределенный срок картины, которые, получись, могли составить и славу, и имя творца, бросали и по первому валютному зову ехали снимать слонов, обезьян в Кению или русскую экзотику в павильоны Римской Чинечитты. По средним коммерческим сценариям ехали на месяцы в непривычный климат, окунались в атмосферу обитания, для которой у них не было элементарного биологического иммунитета. А может быть, он слишком плохо думает о своих товарищах и коллегах? Может быть, их толкает чувство риска, которое всегда свойственно художнику, стремление испытать себя в других условиях, наконец, обычное человеческое любопытство и желание доказать своему отечеству: и мы, сермяжные, не лыком шиты, вот, мол, я каков. Просвещенные Европы и Америки мной интересуются, а вы мне тарификационную ставку поднять не можете. И все же стыдновато, да-да, стыдновато бывает видеть, как коллеги берутся за любые подряды, если в условия игры входит три-четыре зарубежные командировки. Значит, Коробков в глубине души считает его обычным ремесленником от кино, к которому несколько раз подваливала удача. Будто удача может подваливать просто к ремесленнику! Ремесленнику, который в трудную минуту согласится на все, продаст свое первородство за чечевичную похлебку. А ведь он, наверное, еще думает, что благодетельствует. Ну что же, оставим дарующему его суетные иллюзии.

— Дорогой Артамон, а что вы все же имеете в виду под словами «новые острые впечатления»?

Определенно эти киносценаристы, эти плохо пишущие литераторы, которые энергией локтей пробились в кино, но не смогли все же войти в настоящую серьезную литературу, эти знаменитые мэтры раскадровок очень не любят таких простеньких вопросов. Их удел и стихия — полунамеки, словесные кружева, движение по касательной, молчаливый сговор. Замечательный сценарист Коробков счел, наверное, его вопрос неделикатным. Ишь как чешет, как распространяется!

Но на этот раз коробковский набор был самый традиционный. Сумаедову даже показалось, что тот подзабыл, с кем говорит. Не спутал ли он его, Сумаедова, квартиру с начальствующим кабинетом? Какие выдает плюхи о преемственности поколений, о долге перед историей, об обязанности искусства и кинематографа, в частности, высвечивать темные и затхлые углы истории. Пора его, говоруна, немножко сбить с изящного полета. Мягко, деликатно, но врезать, чтобы не забывался. Пора расшалившегося в самоупоении сценариста переводить на запасной вариант. Коробков не таков, чтобы приходить лишь с одной идеей. Как у настоящего торговца щепетильным товаром, у него многовариантный бизнес. Пощупаем, пошевелим запасы?

Сумаедов вальяжно меняет позу, отхлебывает из чашки поостывший за разговором кофе, изрекает:

— Я с тобой согласен, Артамон, ты очень правильно говоришь, но почему ты думаешь, что светить темные углы надо начинать в Вене или Будапеште? Мне бы, с моим рабоче-крестьянским происхождением, чего-нибудь попроще.

Тема закрыта, Сумаедов ее отрубил.

Лицо Коробкова даже не дрогнуло. Только на мгновение Сумаедов уловил в сломавшихся бровях собеседника искреннее недоумение: ведь не за страх, а за совесть! Лучшую, сахарную кость принес. Как же так, Вена и Будапешт могут быть неинтересными? А Париж, а Стокгольм? Но Коробков будто был готов к такому ответу. Будто бы эту ситуацию он проворачивал на всякий случай, про запас, как цыган, который «на авось» будет стараться сбыть хромую кобылу, а уж потом предложит что-нибудь понадежнее. Ладно, не получилось — будем ориентироваться

на другое. И Коробков без пробуксовки, легко и непринужденно перепорхнул к следующей своей коммерческой идее, уже внутренней. Небольшая лисья головка сценариста с ласковым, умильным выражением лица вмещала в себе немыслимый запас тем, образов и сюжетов. Она была так устроена, что могла скомпоновать все из вся. Из трагедии Медеи — актуальную историю матери-алкоголички, в пьяном угаре порешившей своих детей; из короля Лира — кинопособие по принудительному размену жилплощади в случае невозможности совместного проживания; из «Горя от ума» — драму интеллигентного диссидента. А уж сюжеты «большой» и «малой» литературы горели у него в руках.

На этот раз Коробков был неподражаем. Идея его была остроумна и в духе времени агрессивна. Высвечивать темные углы так высвечивать! И не просто, а с политическим подтекстом. Чтобы отблески от темных углов истории светили и в наши уголки. Коробков предлагал обратить его, Сумаедова, творческое внимание всего-навсего на Малюту Скуратова, этого Берию шестнадцатого века. Но он — лишь ядро, сюжетослагающее начало. А вокруг, естественно, опричнина, опричники, немножко тирании, исторический валютный антураж, иконы, соборы, вышивки, кони, колокола, иконостасы, пытки, удаль, кудрявые парни, русокосые девицы, набранные из ансамблей, страдающий светлый народ и музыка какого-нибудь авангардиста.

Какая удивительная все же у Коробкова страсть к соавторству с кем бы то ни было! От кого бы ни поживиться! По мнению Коробкова, Эйзенштейновы пляски опричников уже несколько подзалежавшийся, но годный к новой интерпретации материал. Личность тирана освещается немножко иным светом, с использованием неона и других современных светотехнических средств.

Поразительно! Люди отдают друг другу долг в двадцать копеек и без малейшего угрызения совести воруют идеи. Раньше публиковать означало — впервые сообщить публично. Но попробуйте в компании литераторов или киношников изложить сюжет — не успеете дойти до собственного дома, как уже бойкие перья и ушлые кинокамеры начнут писать свои вензеля по вашим следам. Не коллективная ли работа научила нас так беспардонно относиться к личной собственности? Где же интеллектуальная гигиена художника? А можно ли ощущать себя художником, творцом, зная, что, по сути, ты жулик?

Так почему же тогда он, Сумаедов, так переживает? Сценарий действительно был даже по самым мягким языковым нормам обработан им и Коробковым. В профессию мага входит разоблачение, а квартирный вор должен всегда бояться накладки: всегда могут внезапно вернуться хозяева. Они с Коробковым считали, что Мальчонка всю жизнь будет молчать, что после «благодеяний» он все позабудет? Он утешал себя: «Я столько ему сделал». А ничего он ему не сделал. Просто Мальчонка пробился, как в свое время пробился он сам. Надо отдавать себе отчет в том, что взволновало его больше — эта знаменитая разоблачительная речь или сам поступочек? Что слова?

Во все времена эти «поступочки» заключались только в одном: нарушить правила игры, пойти против течения, сделать по собственному разуму и велению. Этика или эстетика вели Мальчонку? А так ли это важно? Когда человек бросается на амбразуру пулемета, это что: честолюбие, этика, мораль или просто нарушение правил? Основной закон живого: сохранить себя, свой вид. Война, конечно, есть война, но и здесь почти любая ситуация оставляет если не возможность выбора, то некий шанс. Ну, хотя бы не противиться счастливому случаю. А тут у молодого человека никакого счастливого случая быть не могло.

Ладно, произнес скромный русоволосый парнишечка свою речь. Медленные неторопливые фразы, факты, выводы.

Десять минут — и баста, регламент. И из-за этого — ах, ах, таблетки горстью в рот, нитроглицерин под язык! Да мелочь это все. Георгиевские кавалеры из президиума это бы ему простили, и он, Сумаедов, тоже бы простил. Посовещались бы, пошушукались в директорском буфете за чашкой кофе и выдали бы Мальчишечке кусок: пора, с характером человек, надо двигать, принимать в свою компанию. Но эта речь была как безрассудная штыковая атака. Мальчонка наговорил больше чем на кусок для

себя — о коррупции мастеров на студии, о родственных связях, о зарубежных поездках, которые своеобразно распределялись. Он тронул самые большие авторитеты — а это означало смерть в кинематографе. Можно было потирать руки. Самоубийство совершилось. Через пару месяцев пассаж о плагиате, один абзац в речи забудется, и все опять покатится по-старому. Но они, старые окопники из президиума, недоучли силу самосжигающего примера. Речь Мальчонки стала камешком, который вызвал лавину. Крепостные от искусства восстали против своих господ. И нет уже гренадерского президиума, в клочья тумана превратился редут. И все же, и все же впереди был еще один поступок Мальчонки...

Интересно устроено человеческое сознание. Сколько веков и сколько людей бьется над изучением его тайн. Но каждый раз, когда приоткрывается завеса, за нею возникает три других. Зеркало в зеркалах. А может быть, сознание — физический орган, живущий по тем же законам, что и любой орган, как, скажем, печень или почки, но источающий удивительный, неосязаемый и неуловимый секрет — мысль. Секрет без объема, удельного веса и температуры. А может быть, все это есть, но система измерения и приборы наши так несовершенны, что неуловимыми остаются ее физические параметры. А сколько феноменов и загадок таит в себе этот удивительный и коварный орган — мозг! Ну, например, почему человек никогда не думает только над одной проблемой? Даже в минуты самой высокой сосредоточенности не может намертво зафиксироваться лишь на одной идее? Тут же в сознании всплывает и другая. И вот уже две мысли, как лодки во время гонок на реке, идут параллельно друг другу.

Сумаедов в момент разговора с Коробковым легко удерживает в сознании смысл журчания коробковской речи, вдумчиво кивает и одновременно размышляет о своем. Мысли набегают друг на друга, а боль — постоянна. Эта боль возвращает Сумаедова все время к одному и тому же.

Коробкову невдомек, что Сумаедов уже принял решение, уже, как совершенно неприемлемое, отбросил дурацкие рассуждения об опричнине и теперь сидит, почти не вдумываясь в смысл звучащего. Ах, сценарист, сценарист, инженер человеческих душ. В водопроводчики ты и то не годишься!

Но Коробков-то как разошелся! Может быть, настоящий актер — Коробков, а не он, Сумаедов? Не просто разговаривает, а играет эпизод. Будто проверяет на зрителе новый сюжет. Сумаедов, как на съемочной площадке, смотрит «кадр». Все происходящее отстранено: кабинет, обстановка, пейзаж за окном, спесивый Коробков.

Разве это кабинет для вдумчивой и серьезной работы? Здесь мало что напоминает «комнату под сводами». У мэтра, в его «репетиционном зале», в его лаборатории негде повернуться. Такое обилие предметов материальной культуры, будто дух воспаряет только среди мебели стиля буль или рокайль. Разве его письменный стол из драгоценной «карелки» с бронзой и инкрустациями — это стол для работы? За него и сесть-то страшно. Да это музейный столик, для показухи, для дамского претенциозного будуара. Можно ли сосредоточиться в этом царстве антиквариата! К чему, зачем? Книги в шкафах? Как и все, он читал всю жизнь лишь несколько книг, да перчил их современной модной периодикой. А ведь все время умножает, растит эту широковещательную книжную выставку собственной интеллектуальности. Интеллектуальные декорации. Это не кабинет артиста или художника, это всего лишь интерьер, некий символ, долженствующий всем сообщить, что сие помещение есть храм, где витает муза, башня, в которой творит, работает, готовится к новым свершениям талант. А его собственный скульптурный портрет из уральского мрамора, водруженный на драгоценную павловскую консоль? Фу, какая безвкусица! Какой дурной тон, будто находишься в квартире у директора комиссионного магазина. Интерьер не для того, чтобы в нем жить и работать — работает он, Сумаедов, в машине, на кухне, когда по утрам жарит себе яичницу, на совещаниях, когда делает вид, что слушает докладчика, а сам на клочках бумаги чертит раскадровки. Интерьер, созданный для демонстрации утонченности, величия и гениальности. А надо ли это было кому-нибудь внушать? Разве он сам не знает себе цену? Не верит в себя? Поверив в свое предназначение, разве всю жизнь он не раздувал

уголек собственного дара? Но сколько времени было потрачено на суету и показуху! Случалось, он снимал средние или неудачные фильмы — у художника могут и быть обязаны неудачи. Ну, а когда угодничал, суетился, выбивал себе лишнюю премию и медальку?.. Тогда он терял свою репутацию, чувствуя это, начинал нечестничать, бояться, что у него могут что-то отнять. Что это было? Ужас перед воспоминанием о голодной юности, когда он пробивался? Страх, что цепь унижений может повториться?

Но довольно! С интерьером закончено. В кадре, выражаясь на бессмертном южном жаргоне, блеск и шик. Н-да, стыдновато, артист! Будем убивать время дальше, под милое журчание Коробкова — лексика у него вполне культурного человека, но интонация — продавца апельсинов, надо до конца разобраться с действующими лицами этой сцены «в кабинете знаменитого деятеля искусств».

Во-первых, сам деятель. Лицо довольно благообразное, широкое, несколько оплывшие щеки, небольшие глаза под седоватыми бровями. Скажем прямо — достаточно противное, когда смотришь на него во время бритья по утрам: мешки под глазами выдают не только возраст, но и вчерашнюю невоздержанность с закуской и всем прочим. Но тем не менее в этом лице есть что-то заставляющее цепенеть, к примеру, гаишников, не требующих с него документов и штрафов, когда он поворачивает не на тех перекрестках. С этим вполне заурядным лицом у народа связаны такие эмоции, такие восторги духа, что мешки под глазами, большой и печальный, как у клоуна, рот, усталая кожа — все это в глазах зрителя всего лишь досадные помехи, на известном каждому, знаменитом кинопортрете. Вот так! Себя тоже важно уметь как следует оценить. Дать истинную товарную цену, а не как на сезонной распродаже, лишь бы избавиться от завалявшегося товара.

Теперь другое лицо. Тоже знакомое до изумления. Кто это бегает, машет руками, суетится, вздыхает возле книжных полок, кто там с лицом голодного сластены? Ба, да, кажется, это известный сценарист, которого он, Сумаедов, неоднократно созерцал витийствующим о нравственности по телевизору! Сценарист что-то занятное высказывает об историческом прогрессе. Вслушаемся. Какая удивительная галантерейная смесь из детской энциклопедии и философского словаря. В мешанину подпущено немножко, кажется, Ключевского, немножко Карамзина и немножко, для запаха, Соловьева. И это предлагается ставить в кино? Ян Амос Коменский еще в семнадцатом веке издал увлекательную книжку «Мир в картинках» *. Опять картинки? Значит, теперь чуть ожившие картинки — но принцип тот же! — увлекаемые кислым воображением сценариста, школьные картинки должны стать знаменитым кинофильмом. Так сценаристу видится! О, легкокрылая неименованная муза кинематографа, избавь, дорогая, от кровосмешения с плоским учебником истории. Сластена ошибается: за такую похлебку из подтухших субпродуктов нынче не дают вожделенных премий. Надо быть очень смелым человеком, чтобы думать, что даже жэк осмелится, после голосования между дворниками и мусорщиками, предложить премию собственного имени!

И этот, с позволения сказать, сценарист, с вкрадчивой походкой аукционщика в своей молодящей курточке, свитерке и джинсиках из «Березки» трясет энергичными загребущими ручонками и ходит вдоль его книжных полок с томами театральных классиков, мимо портретов знаменитых лицедеев, развешенных для напоминания вдоль стен! И этот мозгляк — властитель дум?

Нет, над этим кислым бредом пусть работают более молодые и честолюбивые конкуренты. И в худшие годы он, Сумаедов, не опустился бы до такой белибердистики. Эту лже-опричнину нельзя брать даже в резервный материал. Память тоже не помойка. Он так и скажет драгоценнейшему Коробкову. И минута эта близка. Судя по затуханию красноречия, Коробков, кажется, и сам понимает тщету своих героических усилий продать несвежатинку. Кушайте сами! Но пока ни слова этому шакалу от кинематографа. Пусть выговорится, и только тогда, выслушав, он, Сумаедов, медленно поднимет на него взгляд, вкладывая в него свое отношение к предмету и легкое, снисходительное, как бы скрываемое и оттого

* «Мир чувственных вещей в картинках».

особо ядовитое вежливое презрение. Все свое недоумение, вызванное этим захватывающим предложением. Как? Та-ко-е ему? Предлагать? Где здесь настоящие страсти? Где подлинный драматизм? Но это чуть позже.

Временная перебивка в киноленте.

Тогда, на памятном собрании, все готовились провести свои привычные манипуляции с избирательными бюллетенями. Все они, господа артисты и художники, отшагавшие по красочным дорогам кинематографа не одну тысячу километров, мысленно потирали ладони. Все. Конец мучениям и позору. Он, Сумаедов, и его маститые друзья-гренадеры из президиума уже полузабыли обидную речь Мальчонки, временно, естественно, потому что она была вытеснена другими сиюминутными раздражениями, требующими сил и энтузиазма. Правда, они уже в глубине души предвкушали, как нежные косточки Мальчонки хрустнут под их мощными, тренированными челюстями. И вот когда был прочитан хорошо известный им список руководителей студии и худсовета для голосования и они в соответствии с многолетней, безошибочно работавшей демократической процедурой собирались вновь оккупировать эти привычные места на весь очередной пятилетний — а там как бог даст — срок, тут-то разные хунвейбинствующие элементы стали выкрикивать фамилии из голоштанной мафии! Сумаедов — на этом заседании он председательствовал — деликатно, одним ноготком постучал по микрофону и сказал: «Друзья мои, вы называете чрезвычайно авторитетные имена, ни я, ни кто-либо не против, но предложенный список уже полон, мы сами проголосовали за количество членов нашего совета и за количество кандидатов в этом списке. Так стоит ли нам самим нарушать наши собственные установления?»

Вот тогда-то меланхоличный Мальчонка с великой прытью выкатился из задних рядов зала к трибуне, нагнулся к микрофону и гортанным, залитым волнением голосом прошептал в зал: «А разве мы не хозяева своей судьбы? Разве мы не можем проголосовать за то, чтобы расширить список? Разве не справедливо составить совет из людей, получивших большее количество голосов, чем их конкуренты? Лучших, но не валом, а качеством». И зал, который устал безмолвствовать, проголосовал.

Сколько раз он, Сумаедов, видел эти дружно поднятые под бдительным оком президиума руки. Да, случались, как и положено в эмоциональном искусстве, отдельные лихие камикадзе, но кто принимал их всерьез! Разве кто-нибудь не был уверен, что при существующей демократической системе не окажутся избранными наперед согласованные люди? Сколько раз лес единодушно вскинутых рук приносил ему, Сумаедову, командную возможность по собственному усмотрению распоряжаться не только судьбами, талантом, временем и заработком своих избирателей, но и своей собственной судьбой. Как хочу, так и ворочу! Милые, добрые, родные, послушные мои избиратели! Сейчас было поражение. Раньше не имело особого значения: сотня-другая голосов больше, сотня — меньше. Друзья, нужные люди, подхалимы, прислужники, почитатели таланта, равнодушные — главный и самый мощный резерв, все они давали ему необходимую для избрания квоту, половину и какой-то перевес над этой необходимой половиной. А соотношение — пятьдесят один процент или девяносто девять — «за», эти мелочи никого не интересовали. «Невыборы» были обречены. Дистанцию всегда бежали одни и те же кони, и ставили на них одни и те же игроки. Все были довольны, никто не оказывался в накладе.

Теперь эту дистанцию ему, Сумаедову — он понял сразу, — в зачетное время не пробежать. Ему не оказаться на призовом месте. И сил может не хватить, да и затрут, собьют дыхание, уже не расступятся, как бывало, давая дорогу, только благоговея перед его именем и остерегаясь напористой поступи. Слишком долго он оттирал от кормушки молодых жеребцов. При совместном, с равными возможностями, как на марафонских соревнованиях, старте ему не сдобровать. Ай да меланхолический Мальчонка! Все очень неплохо придумано. Мальчонка оказался расчетлив и проницателен, как первый Ротшильд, и смел, смел, как царь Леонид. Крах!

И все же не посторонние, а, как утверждает Библия, домашние — вот главные наши враги... Запомним это. А тем временем перебивка закончилась. Что там вещает и вышевеливает губами Коробков?

Сумаедов уже давно сидел с сосредоточенным и бесстрастно-вежливым лицом Будды. Почти не мигая, он глядел на Коробкова и всем своим видом изображал внимание и сосредоточенность. Иногда он напрягал определенные мышцы на лице, означающие выражение тех или иных чувств, приподнимал вопросительно бровь или начинал чуть скептически покачивать головой. Но в это время Сумаедов думал о своем. Судьба, работа, счастье, предательство...

Наконец Коробков закончил свою жаркую речь, состроил самую сладкую из своих гримас, долженствующую означать подчинение, а также умильное восхищение мудростью и жизненным опытом собеседника.

— Ну как, Денис Павлович? Не правда ли, любопытно? Не кажется ли вам, что это и в духе?..

Время на размышление, собственные мечтания и мысли кончились. Режиссер и актер ото всего отгородился, сосредоточился, поставил себя в предлагаемые обстоятельства. В душе самоспровоцированное, как в колбе алхимика драгоценный металл, появилось неподдельное золото гнева и презрения, бровь величаво дрогнула и медленно поползла вверх, изгибаясь трагически-недоуменной молнией, губы, сохраняя косую гримасу презрения, разомкнулись, и бархатный голос барина с аристократизмом и отчуждением произнес:

— Как, милый Артамон, эту детскую шараду вы всерьез предлагаете мне снимать в кино? — И засмеялся.

Но нежный, издевательский, рокочущий смех стал уделом лишь одного зрителя. «Такой смех пропадает», — с досадой подумал Сумаедов.

И все же, как ни приятно было видеть растерянность Коробкова, сценарист не та фигура, которой можно было бы пренебречь в игре. Эндшпиль — дело серьезное, в его возрасте некогда особенно выжидать, вербовать новых союзников и отыскивать нетореные дороги. Надо воевать с тем войском, которое имеется. А Коробков вполне мог служить подходящим резервом. Поэтому та прекрасная недоуменная маска, маска-месть, маска-издевательство, которую Сумаедов сотворил, как пирог к празднику, качалась в воздухе, пугая, сбивая с толку и раздражая Коробкова, несколько минут. Ап! — мышцы на лице Сумаедова перегруппировались, и мэтр, уютно устроившийся в кресле, старый всепрощающий клоун с добрым виноватым лицом и грустным совестливым взглядом, мягко и извиняюще сказал:

— А может быть, мы, Артамоша, подумаем над чем-нибудь иным? — Сумаедов сложил руки на груди. — Твоя идея с опричниной довольно интересна, но хватит ли у меня на это знаний, эрудиции? Я никогда не спускался в историю глубже девятнадцатого века. И последнее, но, может быть, самое важное соображение. Ты планируешь четыре серии, но подниму ли я такой груз? Успею ли? Мне ведь за пятьдесят. Не должен ли это делать кто-нибудь помоложе?

Сумаедов, конечно, предполагал, что сценарист представляет себе актерские возможности своего собеседника. Коробков неоднократно ощущал их на себе, и все же, несмотря на это, он поверил, а значит, зыбкий мир был восстановлен. Правда, Коробков не тот человек, который уйдет, ничего не урвав. В его прожорливую пасть надо было бросить хотя бы карамельку. Здесь, в кино, всем что-то надо. Он, Сумаедов, уже знает, чего он хочет; волна, предшествующая рождению замысла, удаче, уже прошла и отсигналила душе. Уже появился Харон на том далеком берегу. Но разве только на божественное, на интуитивное должен надеяться художник? А если не получится? Если не сойдутся, не завяжутся в узел судьбы и сюжеты? Значит? Значит, и Коробков может пригодиться. В конце концов Коробков профессионал, который даром не плюнет, по его сценарию непрофессиональной картины не может получиться. Да и ему, Сумаедову, надо держаться на плаву, пока окончательно не вызреет его главный, покаянный труд. Тогда держитесь, милые! Рубцами на сердце создаем мы свое искусство!

У Коробкова, кажется, засветились надеждой глазки. Он стал похож на дворового пса, которому показали неободранный мосол. Ему тоже важно сохранить рабочие отношения с Сумаедовым. Он почтительно и умиротворенно глядит на мэтра. Он ждет команды, крошечного намека,

подсказочки, чтобы знать, в какую сторону крутить, а алкающие глазки мигают, как индикаторы на счетной машине, готовой к поиску вариантов.

— А в каком духе вы хотели бы, Денис Павлович, поискать, — извиняющимся за свою недогадливость тоном спрашивает Коробков.— В разрезе Феллиниевой гофманиады или в плане социально-разоблачительном, как у Креймера? А может быть, что-нибудь в исконном духе?.. — И, дойдя до рубежа, за которым открывались уж совсем разоблачительные предложения, замолчал, напрягся, выжидая, как сеттер перед птицей.

— В исконном, в исконном, — со всей серьезностью кивает Сумаедов. Что ему Гекуба? Решающую битву надо вести среди родных холмов. Не всегда, правда, в искусстве родные стены помогают, как и родные души, но, впрочем, победу следует добывать там, где проиграл. Чего рядиться в маскарад веков? Время действия — наши дни, здесь круче всего накипает на сердце. Вы хотели, миленькие, чтобы Сумаедов не занимал постов, не лидерствовал. Дескать, на этом потерял талант. А вы забыли о времени, в которое он жил, пока вы учились? Ладно...

Ему, Сумаедову, кажется, что личный, почти биографический материал он сможет уложить неожиданно так, что он захватит всех и каждого. Тогда и посмотрим, кто кого! Но все это не надо пока трепать, он еще слишком мало думал, не следует фантазию пускать по плохо отпечатавшемуся следу. И обо всем этом ни слова Коробкову. И все ж на всякий случай необходимо запасное поле. Так пусть Коробков роет окопы на этих резервных равнинах, пусть грызет ходы сообщения и строит эшелонированную оборону. Искусство вещь жестокая. В конце концов Сумаедов всегда может сказать, что Коробков его не так понял, что у него не получилось нового качества. Так что же, можно держать в резерве? Что ему будет нескучно делать? Что?

И тут Сумаедов стал вспоминать о том, каким успехом в свое время пользовался их совместный фильм о разбитной и нахрапистой бабенке. Для Коробкова это тоже был взлет, парение на уровне мастеров. Он поддакивает, подсыпает детали к стариковским сумаедовским мемориям. «Ты помнишь?..» «А премьера в Болгарии?..» — восклицает Коробков. Это как название любимой книги. В памяти сразу всплывают подробности и переживания. «А пресс-конференция в Лондоне!» — Сумаедов торопится приобщить и Коробкова к радости минувшего и тут же осекается... «В Англии я не был, — вздыхает Коробков. — Меня не взяли». Сумаедов действительно в ту парадную командировку Коробкова не взял. Соображение было самое простенькое: «Будет везде соваться». Сумаедов тогда был в силе. А сейчас он приобъяснил: «Тогда на студии было очень плохо с валютой».

Потом эти воспоминания приобрели более системный характер. Поговорили о феномене того фильма. Что же все-таки привлекало в картине? Быт? Узнаваемость? Но ведь кино не литература, может быть, зрители, наоборот, ходят в полутемные залы кинотеатров, чтобы ничего не узнавать. Недаром кинофабрики в начале века называли кузнями грез. Красивые актрисы и актеры? И все же в фильме о лимитчице было попадание.

В образе энергичной бабенки была социальная точность. Одни увидели в ней врага, в ее нахрапистости угрозу, которая способна снести их интеллигентный и привычный мир, а для других — это был образец, героиня, с которой надо было делать жизнь. Только так, утверждали они, и можно пробиться. Совесть? Нравственность? Слова все это, выдумка. А реальность — надо есть, пить, одеваться, иметь бабки и почет от окружающих.

Потом, по спирали, беседа снова вышла на Мальчонку. Так два разбойника в шинке, сойдясь в веселом застолье, нет-нет да и заговорят о грабеже на большой дороге. «Да как он смел, пацан!», «Да как мог!» Порядились, повозмущались, посетовали и вдруг внимательно посмотрели друг на друга. Каждый что-то хотел добавить к своим суждениям, и оба осеклись — одна и та же мысль пронзила обоих. Господи, как же они не догадались раньше! Чего ждали, чего искали, коли самый волнующий тип эпохи здесь, рядом, под боком. Мальчонка! Он самый! Правдолюбец, правдоискатель. Символ бурного времени. Вот он, тот, который один за всех. Живой, непридуманный!

И опять, как у стрелка в момент выстрела, еще до того как осмотрены и проверены мишени, у Сумаедова появилась несокрушимая уверенность в точности попадания. Сумаедов понял, что и это ощущение темы, удачи, человеческого типа, находки он зафиксирует и постарается все это накрепко, во всей полноте сегодняшних ощущений запомнить.

— Так, может быть?! — первым, как бы резервируя приоритет на задумку, воскликнул Коробков и посмотрел на Сумаедова осторожно-выжидающе, еще не совсем веря удаче.

— Может быть, — собранно, стараясь не размягчаться, не расплескать первого впечатления, сказал Сумаедов, — здесь есть тема, в характере героя есть современная и, наверное, симпатичная черта.

— Надо покидать варианты, — по-деловому, чтобы не спугнуть нечаянной радостью удачу, но тем не менее продолжая столбить тему, свой приоритет, сказал Коробков.

Интересно устроен мир! А может быть, он устроен именно для таких ловких ребят, как Коробков? Однажды, правда, не без помощи его, Сумаедова, он обокрал Мальчонку, а теперь собирается на нем же, на Мальчонке, заработать! И именно на том, что его обобрали! Во всем этом было очень современное, новейшее извращение. Разбогатеть на жертве. Но для него, для Сумаедова, в этой ситуации тоже было что-то притягательное, какое-то веление судьбы. Заставить собственного палача привести себя к победе. Чувство судьбы возникло еще, видимо, и потому, что и за этой ситуацией стояло много личного, почти биографического. А зритель всегда чувствует нерв творца.

— Надо придумать ему «дело», «профессию».

Коробков идет по точному, правильному пути. Характер. Дело. Любовь? Это уже и для публики общие места. Разве она, любовь, наиболее полно раскрывает современного человека? Сейчас легче порядочно вести себя на «rendez-vous», чем противоречить начальнику. Современный человек живет в каком-то безысходном рабстве у дела. Бушуют страсти, существуют нежность к детям, тоска, ярость, но все это после восьмичасового рабочего дня. На одного — затравленного собственными лирическими чувствами, ревностью, подозрением, изменой — приходится десяток тех, кто вешается или травится из-за неправедного начальника или коррумпированного распределения жилой площади. Дело, профессиональная занятость, работа — вот настоящая жизнь, вот истинная любовь, страсть, «среда обитания» современного человека. А разве он, Сумаедов, больше всего на свете не любит свое дело?

Его личная жизнь? Его семья? Все — видимость. И для известной общественной деятельницы, и для знаменитого кинорежиссера так удобнее. Дражайший тридцатилетний сын Павлик звонит, только когда ему что-нибудь нужно. Пока был жив дед, отец Клавдии, Павлуша, выросший с пеленок по казенным, министерским дачам, выезжавший в детский садик на правительственной «Чайке» или на разгонной «Волге», родного отца и знать не знал. Потом, когда деда с бабкой не стало, существовала дедова библиотека из нечитанных, но вовремя закупленных и поднявшихся в цене книг. Отец — в качестве резерва. Правда, и отец всегда готов был откупиться. Но это уже после того, как Павлик прошел все наркологические больницы, отбыл свои то ли за торговлю, то ли за использование наркотиков два года, стал позванивать: «Папа, у тебя нет лишней шапки?» или «Папа, у тебя нет лишнего пальто, а то холодно?» У папы нет лишней шапки, у папы нет лишнего пальто, но папа отдает и покупает себе новую шапку и новое пальто, зная, что к следующей зиме все повторится сначала. Если только еще раньше без предупреждения не приедет рысьеглазая, неопрятная сожительница сына: значит, нужно сто, двести, триста — сел в ЛТП, в больнице — на передачу, платить за комнату, ей — на еду. Тогда он звонит Клавдии: «Ты слышала, что Павлик в больнице?» «Возможно, — отвечает Клавдия. — Ты ведь знаешь, у меня нет материнских чувств. Это, наверное, случилось во время моей командировки в Стокгольм. Мне сейчас некогда этим заниматься, я баллотируюсь в члены-корреспонденты». «Своих пед-наук?» «Это тоже науки».

Вот таковы семейные итоги.

Сумаедов и Коробков долго сидят и «пробрасывают» профессию своего будущего героя, придумывают имя, фамилию. Эдакая первая инвентаризация. Фундамент — дело серьезное. Профессия, биография должны наиболее выгодно и органично проявить характер героя. Профессия дает «выходы» на проблемы и на взаимоотношения с другими персонажами, из других социальных рядов. Профессия определяет: какие начальники, какие сослуживцы, какие знакомые, какие конфликты.

За окнами давно темно, Сумаедов задернул шторы, включил лампу у журнального столика. Он уже ходил варить кофе на кухню. У машины, даже интеллектуальной, должно быть горючее. Покопался в холодильнике, соорудил бутерброды с рыбой и финской колбасой. Все по нынешним меркам довольно изысканно, но это уже последняя роскошь, дары специального распределителя, в котором он состоит не как участник художественного руководства студии, а как член коллегии Министерства кинематографии. Теперь-то уж с довольствия снимут, начнут в соответствии с демократией прикармливать молодежь.

Сумаедов уже второй раз вносит поднос с едой и кофейником в кабинет. Чуть поблескивают позолоченные корешки энциклопедий, словарей, стекла книжных шкафов. На каждом будто притаилась какая-то птица. Это не просматривается, а скорее угадывается на каждом шкафу бюстик кого-нибудь из великих — в свое время, создавая интерьер, он, Сумаедов, специально ездил по комиссионкам, подбирал что-нибудь позаковыристее, но не очень претенциозное. Отблеск от лампы падает и на его собственный «монумент» — мраморное повторение с выставочного бюста работы начинающего пробиваться скульптора — глупый, тщеславный лжемудрец наших дней! Фу! А в центре комнаты лампа очертила круг — словно цирковую арену, — в середине которого стол, два кресла и над листом бумаги голова Коробкова. Умеет работать.

Сумаедов ставит поднос на стол.

Они уже напридумывали — на отдельном листке целый ворох фамилий. Кто он, их будущий главный герой? Журналист? Писатель? Конечно, им обоим хочется переместить действие куда-нибудь на металлоемкие производства: печи, краны, рельсы, пневмомолоты, ухающие, как филины в ночи, вагранки, пламя — выразительна вся эта заводская жизнь, живописна до умопомрачения, но эту область оба знают плохо, в основном через программу «Время», и оба чувствуют, что для задуманной работы им лучше не выходить из привычного круга. Художники? Дизайнеры? Архитекторы? Ученые? На худой конец педагоги высшей школы?

Коробков чертит на листках схемы, рисует, как полководец на картах, стрелы, ставит скобки и значки. Возникает скелет будущего сценария, его леса. Кто кого любит, кто кому изменяет, кто кого подсиживает и кто за кого. «И даль свободного романа...» Кинодраматургия — это алгебра, жесткий, как при самолетостроении, расчет. Коробков — он уже овладел положением, он уже, как ему кажется, законный соавтор — что-то чертит, вписывает, а Сумаедов, будто метрдотель перед важным клиентом, стоит с подносом в руках, и вдруг Коробков поднимает голову и буднично, вяло, по-рабочему говорит:

— А не сделать ли нам его артистом балета?

— Чего?

— Балета.

Слова Коробкова звучат как озарение. Находка была на уровне гениальной.

— Молодой способный человек танцует, как говорят в балете, — «у воды», в конце сцены, у задника. — Коробков снова поднял голову, старательно разглядывая выражение лица Сумаедова. — Всем очевидны его возможности, его талант, феноменальные профессиональные данные. Сам по себе он уже представляет угрозу. Но своими собственными силами он пробиться не может. И тогда он вспоминает, что может говорить...

Он, Сумаедов, отлично понимает, что такое возраст. Утром с каждым днем все труднее «завести» себя для работы. Уже брошено курево, раз в неделю баня, зарядка, бег трусцой, дорогостоящий массаж. В исключительных случаях он позволяет себе рюмку, старается пораньше лечь. И все же по утрам, как раковые клетки в здоровую ткань, все чаще безразличие и усталость вторгаются в желания, все глуше физиологическая радость от жизни. Он уже забыл, когда собственное тело не напоминало бы о себе.

Как-то в гараже он увидел разорванный, размонтированный радиатор от автомашины. Трубки, трубочки и капиллярчики, в которых охлаждается жидкость, поступающая от огнедышащих цилиндров, на изломах все покрыты густой коркой накипи, окаменевшей, желтой от ржавчины. Он тогда спросил у своего шофера: «За сколько же лет набралось это безобразие?» — И показал на осадок на стенках. — «Года за три». Так сколько же всякой гадости накопилось за десятки лет на стенках аорт, вен, сосудов! Как же устала живая ткань каждый день потреблять, а потом выбрасывать соли, шлаки, накипь жизни.

Ну, бог с ним, с гибкостью членов, с подвижностью, с неутомимостью в желаниях. Но ведь думаться стало хуже. Мозг, как старая мясорубка, долго прокручивает данные, прежде чем выдать первый вариант.

Это все так. И все же... Как старая боевая лошадь, услышавшая звук полковой трубы, он, Сумаедов, готов откликнуться на любой творческий импульс. Любой, который посылает ему судьба!

Перед его глазами проплыла сумрачная пластинка вынужденного молчания. У него уже есть и внутренняя ассоциация — луврские «Рабы» Микеланджело. Движение, которое хочет обособиться, отделиться от скрывающего его мрамора. Мысль, которая лишь проснулась, слово, которое только наклюнулось. О, невысказанные, недоформулированные, разрывающие грудь слова! А может быть, и нерожденные, существующие еще в слабых звукоподражаниях, как мычание немого, и есть самые дорогие? Самые точные.

Он уже видит тип героя. Эдакого сумрачного, отнюдь не рафинированного крепыша с сосредоточенным неулыбающимся лицом. Молодой Васильев с лицом покойного Урбанского. Он уже видит вмонтированную в фильм балетную хронику и подснятые сцены из сегодняшних героических балетов. Он уже видит широкие, могучие, но будто подсеченные на лету арканом прыжки. И грациозные женские хороводы. А за этими хороводами — черная и суетливая человеческая возня. И новое, мужественное, героическое содержание балетных сказок, которое чувствует этот мощный молодой парень «у воды». Он хочет воплотить его на том языке жестов, на котором с детства привык говорить. Но, может быть, в его будущем фильме этот парень ничего говорить и не будет? Может быть, герой не танцовщик, а балетмейстер? Человек, сочиняющий танцы? Он формулирует в танце то, что не может сформулировать на собрании, во время худсоветов и препирательств высокопоставленных балетных самолюбий. Итак — навеянное Мальчонкой? Но есть и другой, правда, более примитивный ход: маленький пожилой балетный артист, который мечтает станцевать крошечную сольную партию. И наступает последний год, когда он эту роль может станцевать, он стареет, надвигается ранняя балетная пенсия. И вот интриги вокруг этой роли. Сшибка самолюбий. Нет, не только. Суть в другом — реализуется до конца человеческая жизнь или не реализуется? Маленькая уступка, маленькая роль может дать человеку ощущение завершенности его дела, ощущение счастья. Нет — катастрофа, смерть, самоубийство, жизнь прошла зря.

Главное — не растерять! Каждый из этих вариантов надо теперь держать в памяти. Любой может понадобиться, любой — сокровище. О каждом надо молчать, молчать в своей профессиональной среде — украдут. Слава тебе, массажист, разминатель замыслов, Коробков. И все же будет слишком жирно, если Коробкову сказать об этом напрямик. Таких своеобразных людей, как милый сценарист, лучше держать на голодном пайке, чтобы не потеряли чутья. Да и воображению этих людей не надо мешать окончательными выводами, а вдруг сей сочинитель выдаст что-нибудь сумасшедшее? А потому ответим на предложение сценариста уклончиво. Широкая, но грустная улыбка, добрый, открытый жест руками.

— Ты молодец, дорогой Артамон. Твое предложение дает массу интересных решений. Но профессия, даже балетная, это еще не сюжет.

Сумаедов аккуратно — у него уважение к дорогим вещам, комплекс бедной юности — берет с подноса тонкую фарфоровую чашку, протягивает Коробкову, пододвигает тарелку с бутербродами.

— Нам с тобой, Артамон, — продолжает уводить Коробкова от переоценки собственной идеи Сумаедов, — для работы необходим конфликт. Характер у нас вроде должен получиться, по крайней мере мы знаем, к чему стремиться. Есть «дело», а значит, среда, почва для конфликта. Конфликт нужен, сюжет, осложнения сюжета.

Сумаедов будто малое неразумное дитя учит Коробкова основам, азам. Складывается ощущение, что Коробков готов к такому продолжению разговора. Он ни капельки не смущен. Будто у него в кармане еще двадцать запасных вариантов. Он внимательно рассматривает бутерброды на тарелке, выбирая лучший, берет, откусывает.

— А что если нам, — из-за еды речь его не совсем внятна, но нахальна и напориста, — а что если нам, — говорит Коробков, — героя превратить в героиню. Ножки, пачки, туфельки, любовь, цветы.

— Еще один фильм про милую козочку, трогательную солистку балета? Боюсь, что и козочкам в балете, помимо неутомимости стального носка и качества верчений, локоточки, видимо, тоже нужны. Так всю жизнь можно проплясать в последней линейке кордебалета и тебя не заметят.

— Хорошо. — И опять глаза у Коробкова лукавят. — Все оставим по-старому. Предлагаю такую схему. Парень не может прорваться в первую линейку солистов. Не может, и все тут, а годы идут. У них в балете промежуточек для танцев коротенький. И тогда он женится, чтобы уехать из страны. Не может выговориться и — фьють, гоп — свалил за бугор. Не было арены, чтобы накричаться, и людей, чтобы его услышали. И нет в стране таланта. Вы-мы-ва-ние. А тут подвернулась какая-нибудь англичанка или шведка, раскатала губы на его белокурую гриву и сильные ляжки и подумала, что детишек ей иметь от такого производителя совсем неплохо. Но женится он без любви. Не правда ли, — напирал Коробков, — ситуация случается. Знакомая ситуация, да? И глаза Коробкова светились неприкрытой радостью молодца-садиста. Да?

Определенно этот дурень не соображает, чего мелет, обрадовался Сумаедов. Ведь это еще один повод разделаться с ретивым и разговорчивым молодцом, сведя его до уровня традиционного диссидента. Дескать, вот из таких говорунов и возникают предатели Родины! Здесь можно хорошо проплясаться. Однако каков шустрец! Намекает, как высчитал, как догадался? Кто сказал? Зойка не могла проговориться. Она ведь кремень, иначе как смогла бы провернуть такое дело? А может быть, Коробков дьявол? Сумаедову почудилось, что у Коробкова возле ушей, пониже того места, где на черепе разливалась лысинка, на мгновение мелькнули остренькие, как у козленочка, рожки.

Глава пятая

Разве в молодости мы когда-нибудь размышляем над понятием «родная кровь»? Взгляды на родню весьма прагматичны: мы допускаем, что родные должны нас любить, позволяем, чтобы они нас любили. Снисходим до того, что пользуемся этой любовью?

Но почему же под старость, когда санки, набирая скорость, стремглав летят с горы, все чаще оглядываемся мы по сторонам, с надеждой отыскивая и вглядываясь в родные лица? Ищем фамильные черты, которые молодость понесет дальше? Но какое имеет значение для твоей разрушенной плоти, что в жалком и смутном отражении земных зеркал она еще чуть-чуть бликует? Или это боязнь последнего порога? Тайная надежда, что в миг потери желаний и воли, когда твоя жизнь, недоумевая, остановится у порога, в этот мучительный миг твоя немеющая рука нащупает ободряющую и теплую родственную руку?

Почему к концу жизни так з нимают нас душевные свойства и черты оставшихся после нас? Мы надеемся всерьез на долгую память, на заинтересованное — а вдруг! — собеседование этих живых с нашими затухающими в эфире, как усталые радиоволны, душами? Но смогут ли эти потерявшие земную оболочку души, лишенные четких обликов, эти тени минувшего задавать свои вопросы? Может быть, не совсем честно все валить на покойников? Наша веселая живая плоть порой талантливо списывает свои крепко поперченные поступочки на счет ушедших.

Так что это, Сумаедов? Очередной пассаж из исповеди от авторучки и листа бумаги? Порция грехов и обвинений? Сойдутся ли здесь сальдо с бульдо? Что же в итоге, где оставлено местечко для суммы прописью? И не вспыхнут ли, как на страшном суде, огненные цифры и буквы? Но, предвидя этот итог, позволь спросить тебя, мой милый друг Сумаедов, позволь пробулькать всего один крошечный вопросец: «Так что же, беспорочный и высокоталантливый режиссер, получатель наград и призов, кумир толпы, ее сновидец и хранитель миражей, что же, чья судьба тебя беспокоит: собственной сестры — поздний грех отца твоего, или твоя собственная? Итак, крошечный, как портновская булавка, вопросик, ниточка с узелочком, потянув за которую на свет божий можно вытащить и весь клубочек. О, какой же прихотливый сплетается здесь из этих ниточек узор.

Итак, чем же ты был так занят, когда внезапно из лагеря вернулся твой родной отец? Ты ведь вроде бы и не ожидал его появления. Порядок жизни уже установился, самые опасные рифы были пройдены, будущее определилось. Ты старательно делал сценические этюды и краем глаза, как норовистый конь, косил в сторону: вокруг уже бродили, приглядываясь, примериваясь, миленькие ассистентки из кино. О, эти соломенные волосы на ранних твоих фотографиях, подчеркнутое молодое мужество на лице, будто отлитом в бронзе, сильная шея в расстегнутом вороте рубашки! Плакатная юность, словно созданная специально для будущего «целинного» кинематографа.

Тогда уже были в ходу разговоры о «культе личности». До этого в обиходе царило другое привычное словосочетание — «роль личности». В истории, в истории... А теперь слово «личность» казалось синонимичным слову «человек». Вообще, сколько новых, живших на периферии словарного запаса слов за его, Сумаедова, жизнь вплыло на первую линию человеческого общения, заняло гипертрофированное место в общественном сознании. «Культ», «волюнтаризм», «эскалация». Теперь вот новое — «стагнация». Он, Сумаедов, впитывал их. Он даже снимал картины, которые, пожалуй, не назовешь иначе как более или менее точными иллюстрациями к этим словам. Но картины, театральные постановки — это позже...

Говорят, что все тогда, в далекую эпоху, жили только этим, нет, культ — культом, а жизнь — жизнью. Он, Сумаедов, жил тогда почти реальными надеждами на удачную продажу плакатно-вдумчивого взгляда и умения, как свои, говорить чужие слова. «Мосфильм» готовился снимать фильмец «Десятый класс», и, похоже, ему светила роль. В эпоху малокартинья каждая ролишка сулила начало пути и будущую карьеру.

Чудовищна профессия актера. Воистину, как это не одну сотню раз подмечено, она сродни самой первой человеческой профессии. Независимо от твоего настроения, самочувствия, жизненных обстоятельств, как говорится, давай план. Надо быть естественным, нравиться, быть органичным, но все время знать, что с тебя не сводят взгляда. Надо быть самим собой, но постоянно помнить, на какой репертуар тебя присматривают, в каком именно амплуа видит тебя их величество режиссер. Но сколько в кино зависит еще и от модных, симпатичных и крикливых молодых женщин: помощников режиссеров по актерам, по реквизиту, по костюмам, от ассистентов. Как осторожно надо вести себя с ними, как лавировать, контактировать, заискивать, казаться влюбленным, но независимым; уверенным в себе, ищущим поддержки, но опытным; верящим в свою звезду, но надеющимся только на милые женские руки и женское внимание, быть всезнающим, но прислушиваться к совету. Быть, казаться, имитировать и знать.

И все это в постоянном страхе, что найдется более удачливый конкурент, все на нервах, в атмосфере зависти сокурсников, выкраивании часов для съемок, проб, репетиций среди уплотненного студенческого дня, в мелком вранье, компромиссах, в зализывании ран, в схватках и драках с недоброжелателями, в добывании денег, сдаче зачетов и экзаменов. Но с надеждой, что вот-вот выскочишь из этой круговерти, выплывешь на чистое пространство, а там впереди простор и — ветер в твои паруса.

Такова экспозиция, расстановка сил, как в античной драме, за сценой. Зритель, конечно, посочувствует твоему персонажу. Но сам-то персонаж

знает, что ему нет прощения, потому что другой герой драмы, с посохом и сумой, стоит у порога — отец...

Когда он рано утром в одних трусах открыл входную дверь и увидел отца, первым чувством была не радость, а страх: как же он теперь скоординирует еще одно условие жизненной задачки со всеми остальными? Коробочка переполнилась. Как?..

Вспоминая ту встречу, Сумаедов думает: быть может, он, Сумаедов, некий выродок и вкусить сыновьего чувства ему не дано? Может, и он из рода Каинов и чувства семьи не ведает? Ну, откуда ему было родиться, этому чувству семейному? Из ненависти к человеку, лишившему его нормального детства, лишившему его, Сумаедова, матери? Не достаточно ли аргументов для неприязни? Разве сегодня тысячи сыновей не ненавидят своих запойных и никчемных отцов? Разве тысячи детей не проклинают своих матерей, оставивших их в детприемниках или в родильных домах? То-то. Универсальность сыновьего почтения и сыновья признательность — лишь в библии. Да и то хитроумная Ревекка подсунула под благословение старого Исаака вместо сына Исава, любимчика Иакова. И нежно-покорный Иаков спокойно пошел под это мистическое благословение, обманув и брата, и любимого старого отца. Любовь — это правда, и ничего более. А если ее нет — нет ничего.

Значит, тогда, в дверях надо было высказать всю правду милому папочке. Спросить его прямо там, у порога, как возникает, по его мнению, и как крепнет сыновья любовь? Что есть базис, а что есть надстройка?

Он, Сумаедов, знал, что на все решение у него секунды. За папочкиной спиной огромный общий коридор бывшей гостиницы, превращенной еще в двадцатые годы в обычное коммунальное жилище, но позади, в комнате, за темной без света прихожей, копошилась, убирая постель, тетка. Он был между Сциллой и Харибдой, а времени, как на космическом старте, — мгновение. И в это мгновение надо было придумать исчерпывающую формулу.

Тогда сыновье чувство не дрогнуло. Не приближаясь, не переступая порога, загораживая собой вход в комнату, он, младший Сумаедов, лихорадочно, как лисица в капкане, соображал, что ему делать, как поступить, тем не менее одновременно цепким глазом будущего артиста и кинорежиссера фотографировал лицо стоящего перед ним человека.

Может быть, это его собственное лицо в старости? Землистый цвет, пористая кожа, оползающие на скулы подглазники, вот взгляд вроде помоложе: едкий, сверлящий.

Отложились в памяти детали — в будущем фильме все сгодится — серая, зашитая на плече суровой ниткой, телогрейка, холщовые штаны, в правой руке старая солдатская, из искусственного меха шапка. Запомнились и ботинки: грубые бутсы, завязанные на бантик сыромятным шнурком. Такие бутсы сразу после войны носили ремесленники.

И память сразу выдернула, как его, мальчишку, хотели отдать в ремеслуху.

Он, наверное, был не самый послушный, и тетке приходилось с ним тяжело. Всю войну промыкаться с чужим ребенком, обстирывать, обглаживать, кормить, ходить на родительские собрания в школу. Она верила всему написанному, а еще пуще — ежели текст был от лица учреждения, значит, государства. Именно поэтому в какой-то момент ей привиделось, что так, как пишут, все и будет в этом ремесленном училище: фуражки, физкультура, чистые подворотнички, румяные лица. Ей пригрезилось эдакое реальное училище, кадетский корпус, лицей для мальчиков, желающих получить серьезную профессию. На общей, на двадцать пять семей, кухне, видя, как тетка бьется с нерадивым племянником, сердобольные женщины и посоветовали ей сбагрить парнишечку на шею государству. Разве справиться ей, одинокой, без мужчины, с этой безотцовщиной? Да он же и сейчас никого не считает за авторитет, а что будет дальше! «Ты, Антонина Сергеевна, подумай: вырастет мальчишка, с тебя же спросит». Толстая, необъятная тетя Тося, стоя с кастрюлькой в руках, начинала моргать фарфоровыми, как у куклы, глазами, нелепыми на ее большом добром лице, и соглашалась со всеми. На этой кухне и высказывались самые поразительные проекты по его, маленького Сумаедова, трудоустройству. Суворовское? Техникум? Ремесленное училище?

У бедной тети Тоси, конечно, положение было не из легких. Да и вообще, как она продержалась всю войну, как сумела не потерять комнату в центре города, как смогла устроиться бывшая представительница цензового элемента на работу бухгалтером в военную академию? Все-таки очень доброму, не желающему зла и порядочному человеку масть иногда идет в руку. Господь простирает над праведником свою длань. Да и самой же тете Тосе, как понял Сумаедов позднее, было нужно немного: новая книжка, журнальчик, иногда киношка, еще реже — МХАТ или Малый. А юбчонка, кофточка, какая-нибудь шляпка или муфточка — все это старенькое, чистенькое, аккуратненькое. И только. Она, старая дева, была счастлива и в голоде, и в холоде. И вот только одно ее очень беспокоило — племянник, сын сестры. Впрочем, сколько таких племянников было разбросано по детским домам и разным семьям!

В трудах, в заботах тетка умела, как птичка, жить и радоваться божьему свету, но мысль о племяннике сидела в ее сознании постоянно. И все это усугублялось тем, что воспитывала она своего приемыша без мужской руки. Как бы с девочкой поступать, она сообразила, а вот мужской психологии добрейшая тетя Тося не ведала. Мужчин она боялась. Мужской мир был для нее, никогда не бывшей замужем, притягателен и враждебен.

Возможно, именно поэтому, признавая, что мальчику требуется особое воспитание, она и решила трудоустроить племянника. Несомненно, тетя Тося перебрала все доступные ее разуму варианты. Сына врага народа вряд ли взяли бы в суворовское. В техникум он вряд ли попал бы из-за низкой успеваемости. Значит, оставалась ремеслуха.

«Обеспечиваются обмундированием», «обеспечиваются проездом на городском транспорте», «обеспечиваются общежитием», но сразило тетю Тосю «трехразовое питание». Может быть, ей грезилось это трехразовое питание в виде роскошного табльдота с накрахмаленными, в серебряных кольцах салфетками, с переменой блюд, официантками в кружевных наколках, стол с «пориджем», сиречь овсяной кашей — любимым утренним кушаньем англичан, с пудингом и стаканом свежайшего молока вечером. Она нарисовала в своем романтическом и доверчивом воображении эту замысловатую картину, а потом поверила в нее, в разумность такой чистой и размеренной жизни, когда румяные мальчики под руководством опытных наставников живут целеустремленной, в меру сытой жизнью, изучают специальность, не чураются здоровых развлечений и готовят себя к высокому поприщу квалифицированного рабочего. Но и рабочий этот тетке представлялся в виде дореволюционного мастера, надевающего на пасху тройку английского сукна и поигрывающего золотой цепочкой на жилетном кармане.

Но у добрейшей тетки, единственной в то время распорядительницы его, маленького Сумаедова, души и тела, единственной дарительницы крова и пищи, несшей перед ним и законом всю полноту ответственности за молодую и неокрепшую душу, все же шевелились в сознании тени сомнений. А может быть, здесь сыграло и вечное чувство неуверенности в том, что именно нужно для мальчика, и тут тетка написала письмо отцу в лагерь. В конце концов — он отец, его право решать.

Сам молодой Сумаедов не был индифферентен к своей будущей судьбе. Музы, правда, не распластали еще над ним своих крыльев, но вся его молодая душа протестовала против ремеслухи. Черт с ним, с этим трехразовым питанием и бесплатным проездом! В повседневной практике эти самые ремесленники не были похожи на героев нашумевшего тогда фильма «Здравствуй, Москва!». Он их страшился. Он-то знал, что в ремесленное отправляют безотцовщину, двоечников, ребят, выгнанных из школы за курево и хулиганство. С одной стороны, он боялся, что эта среда очень быстро распознает его слабину, сделает из него изгоя, а с другой — интуитивно понимал, что это и конец его будущего. Но больше всего он страшился того, что наденет серую хлопчатобумажную форму и ботинки с вечной, из сыромятной кожи, шнуровкой.

Но вряд ли эти школьные воспоминания охватили его тогда, на пороге коммунального коридора.

Какая тогда объявилась бездна доброхотов! Почему соседи, люди далекие и близкие, так настойчиво старались запихнуть его, Сумаедова, в ремеслуху? Расхваливали порядки, питание, простыни в общежитии, ква-

лификацию обслуживающего персонала. Вспоминали, кто из этих трудовых резервов вышел и какой пост занял впоследствии, начисто забыв бесконечные разговоры на общей кухне, как эти самые «резервы» снимали в проходных дворах и в переулках шапки и часики у женщин. А скольких из них — о, эта возникшая в войну безотцовщина! — судили за хулиганство или воровство?

Во всех этих разговорах соседей о судьбоустройстве была лояльность по отношению к тете Тосе, но за счет его, Сумаедова. Соседушки-сударушки даже намекали, что, освободившись от племянника, сдав его на гособеспечение, да при наличии такой жилплощади, она еще сможет «устроить свою жизнь». Выйдет, дескать, замуж, да не за какого-нибудь лейтенанта, а за солидного интенданта или артиллериста. Все это будило в бедной тетке туманные грезы и фантазии. Но Сумаедов, конечно, не дремал, обещал начать хорошо учиться, т. е. не приносить домой двоек, хорошо себя в школе вести, т. е. не приносить отчаянных посланий в дневнике от классной руководительницы, он обещал все, даже мыть полы. Но разве мог он справиться «со здравым смыслом»? На его обещания и колебания теткиного жалостливого сердца окружающие призывали «здравый смысл». По этому самому смыслу все, наконец-то, будут счастливы: мальчик ухожен, обут-одет, получит профессию, сможет дальше, если захочет, учиться, а самое главное, вместо дворового лоботряса, под мужским надзором вырастет достойный гражданин.

Наконец, как и всегда бывает, общественное мнение победило, здравый смысл восторжествовал! Сейчас он, Сумаедов, не смог бы вспомнить последовательности событий, всех коленец замысловатого сюжета по его трудоустройству, но как результат запомнилась принародная сцена, когда его — дело происходило в их с теткой огромной комнате — обрядили в мышиного цвета неуклюжую форму, в штаны мешочком сзади, в гимнастерку с просторным подолом, перепоясали ремнем, надели на ноги казенные носки и казенные ботинки, и все соседки, все эти жительницы коридора, в который выходили гостиничные номера, эти женщины-матери, у которых тоже были дети и которые берегли их от любой казенщины, потому что понимали ее смысл, все они стали восхищаться его, Сумаедова видом, прицокивать языком, трепать его по голове и так радоваться, будто определили собственную судьбу.

Возбужденные соревнованием в доброте, восторженно перебивая друг друга, они схватили бедного Сумаедова под руки и подтащили к зеркалу, чтобы теперь он сам, Фома неверующий, убедился, как прекрасен и внушителен его новый, не школьный вид. И он убедился.

В мутноватом от старости, но не потерявшем золотистого свечения венецианском старинном стекле отражался такой скверный мальчик, так нелепо сидели на нем штаны и гимнастерка, так жалко, ложно-франтовато блестела бляха на ремне, что он, Сумаедов, не выдержал и заплакал. Он был похож на клоуна Карандаша. Голодного клоуна без собаки Кляксы. Даже ботинки были такие же огромные, как на настоящем клоуне.

Что же свершилось потом? Может быть, он сказал слово «ненавижу» и наплевал в рожи окружавшим его соседкам? Или случилось что-нибудь другое? Он помнит только умиротворяющий сумрак, тихую лампу, светящуюся у постели, на обеденном столе тетка собирает в узел его новую казенную амуницию. Сложила, завязала в простыню. Как она потом договорилась с местным начальством из доблестных трудовых резервов? Какие выслушала тирады и соображения по поводу своего легкомыслия? Бедная старая дама, которой легче тянуть лямку, чем быть в несо асии с самой собой!

К этому времени, правда, письмо в лагерь уже было написано и ответ от отца — получен. Все свершилось не так быстро. Многодневный жернов почты уже совершил полный оборот. Каллиграфические строчки тетки, промятые в прописях гимназических уроков чистописания, полетели через лагерную цензуру, через коллекторы и фильтры барачного начальства, через почтальонов и бригадиров, конвойных и бугров и достигли, наконец, адресата, который извлек из них судьбоносный смысл: «выгодно», «полезно», не только для сына, но и для всех людей, завязанных в мероприятии, а особенно и для него, Сумаедова-старшего, если он когда-нибудь вырвется из этого царства бывших имен и порядковых номеров.

Собственно говоря, переписка с отцом до этого времени у Сумаедова шла регулярно. Еще в первом классе, едва он научился выводить первые каракули, тетка сказала ему: «Денис, ты должен написать отцу». Для будущего актера и кинорежиссера это был непомерный труд. На призыв тетки маленький Сумаедов мог ответить только одним способом, которому взрослые дали весьма определенное название: саботаж. Это был саботаж не по принципиальным мотивам, а от неумения, от незнания, как взяться. Саботаж по идеологическим мотивам возник позднее. Мальчик еще не знал, что собственные, не из учебника, мысли, можно уложить на бумагу. Мальчик еще ничего не знал о счастье владения словом, о пленительности диалога через километры и даже через годы. Но тетка напомнила один раз, потом другой. А как-то вооружила племянника листом бумаги в косую линейку, ручкой с перышком 86-го номера, чернильницей-непроливайкой и стала диктовать: «Дорогой папа...»

Сама тетя Тося писала отцу раз в неделю. Для нее в понятие долг, коли она взялась воспитывать племянника, входили и письма к его отцу. Это проистекало строго методично, как еженедельная баня. Она сообщала об отметках, о самочувствии мальчика, о меняющихся размерах его обуви и одежды, измеряла на косяке двери полугодовые зарубки и сообщала рост, писала о его склонностях, привычках. Так, наверное, классные наставницы и директрисы в пансионах писали родителям и опекунам своих подопечных. Так же регулярно тетя Тося приучала писать и племянника.

Письма отца для младшего Сумаедова являлись лишней докукой: бывший ответственный работник, осознающий безусловную важность всех своих указаний, зудил нравоучениями, которые не отличались оригинальностью, все это было из категории «не ходи с мокрыми ногами», «утром и вечером чисти зубы» или «не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Особое неприятие вызывала их вязкость и нравоучительный тон.

Но разве кто-нибудь может определить все причины неприязни? Как она рождается, откуда начинает бить черная подпочвенная вода? Только ли за достоинства мы любим и ненавидим за недостатки? А может быть, мы любим только любящих, а отвечаем неприязнью на неприязнь? Доблестные законы физики учат нас: ничего не возникает из ничего. Здравый обывательский смысл формулирует это по-другому: нет дыма без огня. И он, Сумаедов, может утверждать сейчас с позиций своего опыта и возраста, что мстительный дымок давно щекочет его ноздри. Не всосал ли он ненависть к собственному отцу с молоком матери? Допустим, не ненависть, но неприязнь-то у матери была? Нет документов, подтверждающих семейные тайны? Но художник должен верить своей интуиции, а документы найдутся. Так вот, неприязнь была. Короче говоря, при этом не самом добром освещении он и читал отцовские письма!

Кроме последнего. Но после этого последнего Сумаедов отцовские письма не вскрывал. Лишь складывал в цинковую коробку из-под патронов для спортивной стрельбы.

Но еще раз вернись, Сумаедов, назад, еще раз прокрути ролик судьбы. Тетей Тосей еще задолго до того, как произошла сцена с узлом и ремесленной формой, вдруг овладели совестливые сомнения, она закуксилась, затомилась духом и наконец, когда решение вызрело, сказала племяннику: «Коли у тебя, Денис, душа к ремесленному училищу не лежит, а справиться я с тобою все равно не могу, то пусть моральную ответственность несет за тебя отец. Я напишу ему письмо, посмотрим, что он на это скажет».

Никогда с таким нетерпением Сумаедов не ожидал письма от отца. Письма всегда приходили разнообразными путями. То какой-нибудь странник в телогрейке либо в старой солдатской шинели приходил и вручал письмо, которое не обязательно находилось в конверте, а иногда оказывалось и зашито в холстинку. То, как капустка, один самодельный конвертик, склеенный мылом или хлебным мякишем, в другом, казенном, покупном, письмо приходило по почте из Хабаровска или Владивостока, или с транссибирской магистрали, и адрес был написан незнакомой рукой. Позже он, Сумаедов, понял, почему так извилист был путь, которым шла эта почта. Путь солидарности, а может быть, и подкупа. Письма выносились из зоны за пазухой, в сумках вольнонаемных, под телогрейками расконвоированных. В момент получения они пахли чужим потом, скученностью в желез-

нодорожных вагонах, ружейным маслом, лесным костром, махорочным перегаром.

Это письмо, последнее, от которого он, как крепостной крестьянин от барина, ждал освобождения, было на редкость чистеньким, шуршащим, написанным так гладко, будто не из зоны.

Вечером, когда он уже был в постели, тетка в халате, серьезная и величественная, подошла к нему и, стоя под абажуром, сказала: «Отец написал тебе письмо. Я тебе его, если хочешь, прочту».

Сердце тут у него, конечно, забилось. Далекий, полумифический отец, из-за которого он уже принял свою порцию мук, поймет его, подтвердит его, Сумаедова-младшего, правоту; отцу, конечно, не все равно, кем станет его сын и как сложится его судьба. Этим письмом отец поддержит его маленький бунт против тетки и ремеслухи. И поэтому он, Сумаедов, со скрытым чувством злорадства и мести приготовился слушать. Пусть теперь и тетка понеудобствуется, ишь, родного племянника, собственно говоря, по матери потомственного дворянина, отправляет в мастеровые. В какие-то там каменщики, слесари или токари. А не будут ли вас, тетушка, преследовать по ночам и мучить привидения, не придет ли в сером арестантском халате ваша родная сестра спросить с вас за своего сына? Вот такие у него, у Сумаедова, тогда были мысли, но он, как и полагается воспитанному мальчику, сказал:

— Конечно, тетя, я хочу, чтобы вы прочитали мне вслух письмо папы, я плохо разбираю его почерк.

Господи, неужели это родной отец? Письмо папочки было напичкано сентенциями, будто создавалось в недрах Совинформбюро для самых доверчивых зарубежных читателей. Папочка даже упомянул имя Верховного Жреца и носителя мудрости, аргументируя его прозорливостью создание этих училищ для таких бедолаг, как его сын. Может быть, для цензуры создавал папочка это письмо, для лагерного начальства? Там были рассуждения о долге и о молодых руках, которые народ назовет золотыми.

Почему социальная демагогия оказалась так прилипчива? Почему узник недостойно лобызал бичующую его руку? А может быть, во всем этом суесловии была обыкновенная нерешительность, нежелание взять на себя хоть малую толику ответственности?

Решайте сами, поступайте как знаете, переваливайте ответственность на государственные обширные плечи, но снимите ее с грешного меня. О, хозяин, ставший узником! Почему так быстро хозяева в несчастьях приобретают лакейскую психологию?

Конечно, тогда он, Сумаедов, так рассуждать не мог. Услышав несколько фраз, прочитанных теткой с выражением и точными логическими ударениями, он понял, что желанного освобождения это письмо не принесет, оно не даст ему вкусить чувства правоты, все его бои с теткой — это бои местного значения, никак не сказывающиеся на диспозиции его собственной судьбы. И тут он заплакал.

И еще две маленькие сцены, связанные с этим эпизодом ранней юности будущего мэтра. В копилке его, Сумаедова, сокровенных переживаний вряд ли найдется еще несколько таких же запомнившихся, а главное, основополагающих для формирования его характера событий. Вряд ли отыщутся сходные по тяжкой горечи и сладкой, разряжающей боли инциденты. Потому что в основе этих двух состояний были слезы: двоекратно осознанные слезы сиротства. Звучит, конечно, это, может быть, и выспренно, но что делать: что было — то было.

Тетка величественно дочитала письмо, ее, видимо, увлекла звонкая риторика адвокатского красноречия и библейская торжественность минуты: пастырь наставляет агнца. А она сама — были в письме фразы, посвященные ее гуманной миссии, — она сама представлялась себе вещуньей. Но, по сути, все эти фразы наполнены были только специфическим пустопорожним радиосмыслом. В нем маленький Сумаедов не увидел главного. Его судьба под влиянием обстоятельств и вечного желания взрослых «сделать как лучше», сосчитать наверняка, вымерить — будто судьбу можно вымерить и сосчитать — входила в слишком крутой вираж, на верхней точке которого его, Сумаедова, может снести, как при автогонках, на обочину, в кустарник, на жадных до катастроф и происшествий зрителей. Он, выросший без мужского надзора у теткиного подола, боялся новой среды, в ко-

торую насильно втискивают его, боялся стриженых, активных, из таких же, как и он сам, неблагополучных, но по-другому неблагополучных семей, их кулаков и нахрапистости, он боялся того, что не сумеет дать отпор, а главное, все увидят его слабость, и он заранее себя видел парией и изгоем. Этого вы, любящие меня и кровные, хотите?

Слезы, которые, как пишут в возвышенных романах, не хлынули, слезы тогда у Сумаедова просочились из глубинности существа, не могли не просочиться, несмотря на противоборствующие усилия воли и стыдливости, которые Сумаедов проявил в момент грустной читки письма.

Это были угодные богу слезы сиротства. Обида на судьбу, творившую несправедливость. Ну почему меня? Почему наказан сомнительной биографией именно он, Сумаедов? В основе этих слез лежала еще и жертвенная детская мстительность. Мстить близким в этом возрасте можно лишь одним, традиционным, известным в жизни и в литературе способом: «Вот умру, буду лежать в гробу молодой и красивый, тогда помучаетесь, что не жалели меня! Потерзаетесь, что были ко мне несправедливы. Кто будет теперь лелеять и хранить вашу старость?»

Вот так приблизительно он, Сумаедов, думал во время чтения отцовского послания. Но реакция мальчика была непонятна тетушке. Неблагодарный какой! Отец пишет ему буквально из преисподней, а он противится отцовской воле. И поэтому тетушка сказала:

— Какой ты жестокосердный, Денис. Твоему отцу виднее, как с тобой поступить. Страдальцы — они все знают, им провидение дано, а ты — ревешь.

Тетушка, всегда чувствительная, сделала вид, что к этим слезам, — наверное, это была самозащита — отнеслась, как к слезам детским, быстрым, скоросохнущим. Но тем не менее неприятие теткиного и родительского совета, эти слезы как символ непослушания и укор — все это было вызовом, который не забылся и к утру.

Неблагодарный мальчик проснулся в очень дурном настроении.

— Здравствуй, Денис!

— Доброе утро, тетя Тося.

И все. Надулся. Но здесь, впервые в жизни, и тетушка — в воспитательных, конечно, целях — обиделась.

Отношения продолжались, но пропала их родственная сердечность, и оба страдали. Может быть, поэтому подчеркнуто выполняли они весь привычный ритуал. «Денис, ты не чистил зубы». — «Хорошо, тетя Тося, я почищу». — «Денис, вынеси на двор помойное ведро». — «Хорошо, тетя, я пошел». В этой подчеркнутой сговорчивости и вежливости был тот дипломатический холод, который существует между не воюющими, но недружескими державами.

Непримиримость подчеркивалась предельной покладистостью сторон, удивительной заботливостью одной и безукоризненной исполнительностью другой. Никогда еще тетя Тося так не следила за режимом племянника, никогда еще так заботливо не подтыкала под него в постели одеяло. Но никогда еще с такой готовностью и Денис не летал в булочную, магазин или аптеку, во двор с помойным ведром, как скорый поезд в мирные дни: быстро, аккуратно и пунктуально. Но из-за этой пунктуальности и произошел сбой.

К счастью, эти карточки были тогда на последний день последней декады месяца, к счастью, и денег было не так много. Но само по себе преступление было чудовищным. Потерять карточки и деньги! Когда ж это случилось? В последний месяц войны или в сорок шестом, сорок седьмом, перед тем как карточки отменили?

С ним, с Сумаедовым, подобного раньше не случалось. И страха потерять карточки раньше не было. Эта осмотрительность, похлопывание по карманам, внезапный жар оттого, что положил карточки мимо кармана, промахнулся или оставил на прилавке, страх этот появился позже, уже после конфликта. Он, наверное, и привел к этой потере. Может быть, тетка и не послала бы его в магазин отоваривать последние талоны, она все же предпочитала это делать сама, но их конфликт, их временное отчуждение заставляли искать предлогов для контакта.

— Денис, сходи в магазин, надо отоварить последние талоны на мясо и крупу. Если по мясным талонам будет яичный порошок, возьми.

— Хорошо, тетя, я одеваюсь.

— Пожалуйста, будь внимателен, не потеряй деньги и карточки.

— Хорошо, тетя, я положу во внутренний карман и заколю булавкой.

Он все так и сделал, но по дороге им овладел страх, вернее, предчувствие потери, он в ужасе сунул руку под полу пальто, схватился за карман — ни денег, ни карточек не было. На улице, на морозе, зажав варежку в зубах, он расшпилил булавку и сунул руку в карман. На ощупь деньги и карточки были на месте. Он достал и удостоверился. До сих пор помнит размер, косую линию обрыва, корешки карточек и красный цвет тридцаток. У него отлегло от сердца. Он запихнул все обратно, заколол булавкой. Уже у прилавка обнаружил, что карточек в кармане нет. Каким образом он умудрился положить карточки поверх нагрудного кармана? Но он так хорошо запомнил последовательность своих движений, как сунул руку в первый раз, как зубами зажал рукавицу, как вынул бумаги, посмотрел и положил обратно. Одна рукавица выпала, он нагнулся, поднял ее, обе зажал под мышкой. Должно быть, в этот момент он или сунул руку мимо кармана, или, вынимая ее, вытащил случайно и бумаги, а уже потом закалывал пустой карман.

Ему кажется, что ничего более жуткого он не переживал. Это была роковая потеря, мистическое наказание его за гордыню, за непослушание, за нарушение теткиной воли, за пренебрежение отцовскими наказами. Но главное, это не помещалось в сознании: ведь только что он держал эти карточки в руках, только что пересчитывал деньги и помнит на купюрах фиолетовые чернильные цифры — пометки кассира. Куда все это подевалось, куда испарилось? Он пробежал, внюхиваясь, как собака, во все выбоины пути, он обшарил и тротуар, и подворотни, где он проходил, и лестницу и коридор, и снова вернулся в магазин, спросил кассиршу и уборщицу, разгребал ногой кучу мокрых опилок, с которыми уборщица подметала магазин, — ничего.

Он пришел домой уже почти ночью. Тетка ждала его в подъезде, накинув на халат зимнее пальтецо. Наверное, ему лучше было бы удавиться или не приходить совсем. Какая кара его ожидает? Его мало растерзать и убить! Он даже побоялся взглянуть на тетку, поднять голову. Он не знает, как это получилось, но мгновение — и он уже у тетки в объятиях, он уже плачет, прислонившись щекой к вытертому до основы ее пальто.

Дальше — все в тумане, какая-то тяжелая марь забвения. Ощупывая его, целого, нашедшегося, тетка учуяла высокую температуру. В ту ночь у него началось воспаление легких. Мир, природа, школа, потери — все осталось наверху, «до болезни». Это потом он увидел сквозь болезненный сон, сквозь прихлопнутые ресницы, как тетка собирала узел с новенькой формой.

...Вот это все с пулеметной скоростью пронеслось перед Сумаедовым тогда, когда в дверях, стоя в одних трусах, разглядывал он своего отца. Этот чужой, в ватнике, небритый мужик — сердце не ответило, не содрогнулось — претендует на отцовство? Претендует на любовь своего сына? Значит, рассчитывает на сыновнюю помощь, поддержку? Значит, еще и капитал приобрести! Значит, сейчас он, Сумаедов, папочку признает, начнутся объятия, тыканье в небритую, «непродезинфицированную» после лагерей и общих вагонов щеку, значит, сейчас из дыма, из небытия, из воспоминаний явится некто, которого следует не только любить, поддерживать, но за которого надо будет отвечать! Не слишком ли велик груз, который собираются водрузить на его молодые, еще не окрепшие плечи?

Маленькая речь неожиданному пришельцу была готова:

«Слушайте, милый дядя, называющий меня сыночком. Возможно, вы действительно мой папочка и ваши неповторимые черты, как кошмар, я вижу в себе, и даже более того, полагаю, что буду носить их всю жизнь. Что делать! Но мы столько лет были в разлуке! В детстве я не успел полюбить вас и почувствовать вашу заботу. Так стоит ли нам возобновлять знакомство и родственные отношения? Пока вы были в горе и в несчастье, я позволял тлеть родственным иллюзиям. Позволял тешить ваше тщеславие дешевого моралиста. Это мой добровольный взнос в фонд человеколюбия. Но баста. Я не чувствую зова крови. А поэтому тихо и скромно иди, мужик, откуда пришел. Я тебя знать не знаю».

Вот этот монолог должен был произнести молодой атлет, только что

вставший с постели в одних трусах. Молодой, сильный и, как свидетельствуют фотографии той поры, красивый. Произнести, поигрывая при этом хорошо тренированными мускулами. Перед человеком в телогрейке.

Но в этот момент из глубины квартиры послышался ангельский голосок тетки:

— Денис, кто там пришел?

«Маленькая речь» не была произнесена. Но впереди засветилось нечто непредсказуемое: через несколько лет он, Сумаедов, станет старшим братом крошечного существа моложе его почти на тридцать лет. Непроизнесенная речь стала вестницей рождения Зойки.

Глава шестая

Ангел, ненаглядная бабочка появилась на следующее утро нежданно.

Может быть, Коробков действительно что-нибудь пронюхал? Сначала раздался телефонный звонок: дочка, сестренка щебетала, просила утренней аудиенции. Еще и пошутила: «Позволь мне, дорогой, присутствовать при твоем утреннем «леве». Шуточка, но с подковыркой: «леве» — ритуал вставания у французских Бурбонов, дескать, а чем хуже прославленные кинорежиссеры? Но поинтересовалась: «А кроме леве, что-нибудь похожее на легкий салатик, стакан апельсинового сока или чашечку кофе не будет?» «Будет, будет, дорогая попрошайка», — сказал он, Сумаедов, в обычном братско-отеческом тоне.

Но эта профессиональная привычка слушать не только текст!

В голосе этой обаятельной плутовки звучала скрываемая неуверенность и легкая агрессивность. Значит, это милое сокровище кое-что от него потребует. Характер весьма живой, в маму, да и покойный батюшка не отличался особой деликатностью. Значит, прелестная сестричка пойдет в атаку. Ну что ж, атака с развернутыми знаменами и пением флейты всегда надежнее, чем скрытые контрмарши. Видишь лицо неприятеля и начинаешь соображать, как с ним следует обойтись.

Посмотрим, дорогая, как тебе удастся испортить карьеру своему старшему и единственному, горячо любимому братишке. Раньше на этот случай существовало хорошенькое словцо — «запятнать»!

Конечно, время поменялось, надолго ли? Сколько раз он уже наблюдал эти перемены даже на протяжении его, Сумаедова, жизни. Недавно у них на студии хозяйственники списывали портреты, оставшиеся от прежних времен. Все вроде на глазах, все вроде известно, но среди этих портретиков, выполненных «сухой кистью» в недрах Художественного фонда, оказалось несколько, которые не такие уж глупые и аполитичные хозяйственники не смогли узнать и в акте на списание начертали: «портреты неизвестных вождей». Наверное, в любое время власть враждебна творцу. Но во времена, когда что-то еще продолжают решать «неизвестные вожди», художник должен быть вдвое осторожен.

Итак, были обещаны некие разносолы к завтраку. Все, как обычно, в стиле старшего братца, знаменитого кинорежиссера при почтительном щебетании глупышки-сестренки, нежной дурочки, восторженной капризули, ничего не знающей о жизни и не желающей разбираться в ее хитросплетениях. Как будто она и не слышала о происшедшем скандале, как будто и не знала о низведении режиссера-небожителя в рядовые. Будто бы?! Ой-ля-ля! На карнавале жизни они оба одинаково квалифицированные участники. Педант Пьеро и прелестная Мальвина! Девочка с голубыми волосами, собирающаяся в третий раз выйти замуж! Эдакая искательница, женщина-путепроходец!

Каких иногда нечеловеческих мук стоит поступать по совести! Какую бездну роскошных альтернатив предлагает сознание. Как завидует он, Сумаедов, людям с безошибочным инстинктом совести. Тысячу раз прав классик: раба приходится выдавливать из себя ежеминутно и всю жизнь. Бедный, усталый раб! «Усталый раб, замыслил я побег». Но убежишь ли от себя? Все пространство твоего жизненного подвига между «да» и «нет». Но между этими полюсами, между стужей и торосами севера и пальмами и раскаленными песками юга есть еще и «быть может».

Так, быть может, несмотря на всю очевидность непреложную, как смена дня и ночи, девчушка решила слинять, спрыгнуть за борт, изменить

ход собственной истории? Но ведь времена действительно поменялись! И разве у них в кинематографе мало подобных примеров? Разве китеныши, вильнув хвостами, не уплывали от своих родителей китов в открытое море? Ну и что?! Изменились ли от этого выверенные маршруты непотопляемых китов? Может быть, и с ним все обойдется, как-нибудь пожурят и забудут, а потом подойдет его очередь, его необходимость ехать на очередной кинофестиваль... Исчезнет Зойка, улетит райская птица, упорхнет... и будет петь, раскачиваясь на иных тропических деревьях. Но ведь привык! Но ведь любит! А с другой стороны: как же без ее сладкоголосого пения будут лежать дорогие покойники? Не заскучают? Что за счастливый характер — так легко уходящий от ответственности! Кто послал папочку через дорогу за лампочкой в магазин «Свет»? Может быть, ей неизвестно, что он, Сумаедов, знает? Или сестричка хочет перегрузить невостребованные пока укоры собственной нечистой совести на братишку?

А что же еще запаковано в антидиалектическое «быть может»? Ровно столько, сколько лежало между утренним звонком в дверь и вопросом тетки из глубины квартиры «кто там?» Конспективно: звонок, появилась тетка, потом, через несколько недель, возникла Онька, дворничиха, и в этот момент линии судеб скрестились, планеты сблизились, Венера и Марс, как боевые корабли под всеми парусами вошли в одну акваторию, в один порт, в зону «Рыбы». Под каким знаком Зодиака родилась Зойка? Мартовский, весенний ребенок, значит, Рыба.

Ангелочек позвонил в дверь в назначенное время. Длинный, веселый, тру-ля-ля, звонок, эдакие, чуть слышные паузы-переливы, возникающие под шаловливым пальчиком: «Я иду, я иду». Потом дверь распахнулась, облако дорогостоящих ароматов, шорох мягкой кожи, драгоценное мерцание влажных мехов, блеск на ручке, блеск на ушке и, словно на стебельке, на тоненькой шейке румяная и свежая, как лицо матрешки, мордочка. Реснички: хлоп-хлоп! Шарман. Явление хариты. Сопливка, парвеню. Да и что могло получиться из брачного союза дворничихи и бывшего зека? Ах, этот румянощекий плод!

Каждый раз он, Сумаедов, восхищался небывалым разнообразием появлений сестрички. Если бы его актрисы, народные, заслуженные и просто подающие надежды так исполняли на съемочной площадке свои роли! Анфан-терибль, сорванец, монашка, распутница, синий чулок, продавщица, маникюрша, стюардесса, вагоновожатая — его сестренке подвластен любой современный репертуар!

Сам он, Сумаедов, в фартучке, оставшемся от Клавдии, эдакий кобелек-старичок, отводя за спину руки, измазанные тестом для сырников, подставляет хорошо выбритую и умащенную английским кремом щеку. Целуй, дитя! Он тоже играет — никуда не денешься — профессия, но за этой игрой есть и кое-что посерьезнее. Каждый раз, когда он, Сумаедов, обнимает свою сводную сестренку и под его ладонью трепещет тоненькое, как крылышко цыпленка, плечико, когда его ладонь скользит по детской спинке, ощущая пальцами желобок и каждый позвонок, когда спускается до талии и прижимает к себе с братской нежностью этот росточек родной плоти, то сердце у него начинает биться совсем не по-родственному. Да что же это такое! Почему так нравятся ему ужимки, взмахи ресниц, тонкий голосок и лукавое коварство этой девочки? Каждый раз он силится понять и, подойдя к краю, к пределу, отступает... Все какие-то лезут в голову безнравственные ответики. А может быть, все просто: не чувственность на молодость в его почти шестьдесят лет, а просто — единственный близкий ему по крови человек. Поэтому-то он так и строг к сестренке. Быть может... Но сейчас не до фрейдизма и не до психоанализа. Чувствами жил век прошлый!

Они сидят за завтраком, на кухне.

Зверюшка быстро взяла хозяйство в свои руки. Хватка у нее, конечно, крепкая, народного замеса, не смущается, что на пальчиках свежий маникюр, да и блузочка сшита не в ателье на улице Герцена, а скорее у Кардена или у Ив Сен-Лорана. Если бы ему, Сумаедову, так же обшивать актрис, как обшивают эту паршивку. Ловко отдраила пару кастрюлек, вымыла с порошком мойку, протерла плиту; так иногда проведешь пальцем по пыльному стеклу, и вот уже кусочек заиграл, задышал. Плацдарм раздвинулся: стол заблестел, мило и уютно выстроились тарелки, вилки, кофейные чашки — и уже не по-холостяцки выглядит кусочек кухни, на плите шкворчит яичница с салом; накрытые тарелкой, томятся на сковородке сырники. У девки все в руках горит. Может, поэтому так и модны на Западе русские жены! Все функционально, высшего качества.

— Ну, так чем же удивит братика любимая сестренка?

Сестренка молотит салатик, мажет сливочным маслом хлеб — никакой диеты, под тридцать, а фигура балерины, — одновременно трещит, как весенний скворец. О модах, о скрытом подорожании продуктов, о выступлениях фигуристов, о трудностях преподавания русского языка иностранцам. Братик, конечно, уже все знает. Еще до Коробкова слухи просочились. Даже в такой огромной столице все как-то друг у друга на виду. Прелестную сестричку-вострушку уже неоднократно в и д е л и. Он, Сумаедов, за свою жизнь перезнакомился с массой людей, со многими дружил, сидел за столом, оказывал мелкие услуги, приглашал на премьеры, а разве что-нибудь ценится так высоко, как знакомство и дружба со знаменитым художником, артистом! В и д е л и? Ему, Сумаедову, стоило только минут сорок поиграть с телефонным диском, и информация, робкие намеки и туманные догадки приобрели достаточно неприятные в своей конкретике очертания. Выяснилось, что сестренка собирается сочетаться законным браком с неким весьма чиновным и, видимо, не бедным, коли он ездит на «мерседесе» последней марки, господином, имеющим вдобавок ко всему еще и дипломатическую неприкосновенность. Слава богу, как стало ведомо из того же информированного источника и того же ведомства, господин этот старше сестренки лет на двадцать, имел свой дипломатический паспорт не в качестве служебного щита, не в качестве «крыши» для вершения иных, менее пристойных и щепетильных, нежели дипломатические, дел. И сестренка вроде бы уже целый год находится в поле обаяния господина, чья молодость на последнем излете. Ох, этот столь модный пробный брак! Судя по всему, проба подошла к концу. Тогда же, во время усиленной телефонной вахты, он, Сумаедов, спросил у своего чиновного приятеля: «А на какой стадии эти предосудительные отношения?» — «На стадии оформления брака и выезда за пределы социалистической Родины». — «Ну, а имеются ли возможности этому браку помешать?» — «Возможности, — четко, по-гвардейски ответил Сумаедову телефонный собеседник, — есть, а оснований, чтобы помешать, нет». — «А может быть, есть какая-нибудь зацепка, юридическая закавыка?» Гвардейский голос разъяснил: «Только одно, родители могут не дать письменного согласия на выезд из страны. Ведь считается, в старости дети должны содержать своих нетрудоспособных престарелых родителей». — «К сожалению, — ответил Сумаедов. Одновременно он и страховался в глазах начальника. — К сожалению, этой возможности у нас нет: у сестры родители уже умерли». — «Значит, законных оснований отказать в браке и выезде, — сказал начальник тоном, выражающим сердечность и теплоту, — никаких нет». — «А не известно ли, — теперь Сумаедов придал своему голосу некую светскость, — как, каким образом моя шкодливая сестренка задружилась с представителем, так сказать, свободного мира?» — «Отчего же не известно? Известно все очень хорошо. Ваша сестренка преподавала этому зарубежному любителю свежей листвы русский язык, и вот так все закрутилось». — «С того же началось еще у одних. Книжки вместе читали». — «А кто такие?» — вежливо, но настойчиво поинтересовался у Сумаедова собеседник. — «Это я к слову. Франческа и Паоло. Жители Италии. Жили пять веков назад». — «Ну, это уже не по нашему ведомству».

Прав классик. «Ученье — вот чума...» Если бы не настойчивость покойного папочки в стремлении дать сестренке высшее образование, ему, Сумаедову, сейчас не пришлось бы вести с ней уклончивые разговоры под сырники.

О, Харон, проводник мертвых! Позволь поговорить с моими родными тенями. Сними печать с их уст! Останови свою многопечальную ладью, дай с этого берега вопросить их. Почему мы, живые, не можем получить последнего исчерпывающего знания? А может быть, твоя ладья — это лишь клубящийся туман? Может быть, легкие и дорогие мне образы — это лишь шевеление электрических сил в моем сознании? И значит, лишь собственную бесплотную душу я вопрошаю? Но как же получить ответ? Как поступить наверняка, чтобы не повредить родной плоти? Можно ли судить

отца, так неукротимо взнуздавшего судьбу дочки — во что бы то ни стало — в иняз! Что сейчас сказал бы ты, папочка, узнав о результатах своих трудов? А ты, дорогая дворничиха, милая Онька, Анисья, что скажешь ты? Не будет ли тебе от того неуютно, что где-то там, на другом краю континента, находится твое кровное и родное потомство? И могилам этим никогда не быть рядом!

Молчит старик Харон, стекают медленные капли с его весла, и дорогие тени не оборачиваются, не тянут руки на живой голос. Свежий утренний ветер разметает клочья ночного тумана, тают, размываемые радостным светом, весло и ладья.

Не слишком ли быстро в этой жизни все вообще происходит? Только что он, Сумаедов, рефлектировал перед входной дверью коммунальной квартиры, размышляя, не следует ли ее захлопнуть, не оборвать ли истончившиеся в лагерях родственные связи, а вот уже и новообразовавшейся сестренке исполнилось семнадцать.

Тогда папочка, который вновь обосновался в первопрестольной, добивал его телефонными звонками об устройстве малого ребеночка. О, если бы в детстве кто-нибудь так любил его, Сумаедова! После смерти Зойкиной матери старший Сумаедов заменил дочурке всех. Определенно пребывание в этих суровых местах человека учит многому. Разве какая-нибудь современная дамочка так заквасит капусту, как этот бывший зек, заштопает носки, подошьет подол дочкиной юбки, сварит щи, уберет, выметая и выскабливая все углы, квартиру, испечет пирог! А может быть, с такой охотой он и занимался домашним трудом, любой работой потому, что тосковал по этим тихим и мирным проявлениям жизни?

В то время он действительно стал для Зойки всем: и отцом, и матерью, и репетитором, и нянькой. До третьего класса он даже косы ей заплетал. Сумаедов, изредка вспоминая о существовании отца, думал: как медленно и монотонно тащится у того жизнь. Собственно говоря, жизнь как что-то непредсказуемое, прелестно случайное, оборвалась у него за несколько лет перед войной, дальше — чужая воля. Подневольность следственного изолятора, вынужденность барака, а теперь вот еще надо вырастить дочь. Ребенок спит, ребенок идет в школу, ребенка надо вести на фигурное катание, на верховую езду, на гимнастику, на французский. Тебя-то самого воспитали как, реалист? Снег небось зимой расчищал, носил из колодца воду, дрова к печам, помогал матушке во время генеральной уборки на пасху, двигал в господском доме мебель. Так зачем же ты впрягся на старости лет в эту брачную телегу, и разве не эта семейная ноша раздавила тебя?

Но, видно, и тогда, в дверях, папочке показалось, почудилось, наверное, здесь человеческая интуиция его не подвела — отрезанный ломоть не приставишь, сын как бы исчез. А почему исчез? Потому что вместе с собственной кровушкой родители передали ему и некоторые собственные весьма занятные свойства. А разве у сына не было и дополнительных счетов к нему? Если говорить по совести, то только приличия заставили его, Сумаедова, долгие годы поддерживать отношения с отцом. Сыновний долг, он ведь базируется на долге отеческом. Отдают ведь, по сути, только то, что было взято. Но, видимо, так хотелось бывшему зеку, чтобы не пресеклось древо, в будущее, в бессмертие закинуть свое семя, свой образ, свою манеру думать. Вот и выхаживал, лелеял. А он сам, Сумаедов-младший? У него братско-родительские чувства вызрели позже. Причины здесь тоже ясны. С возрастом все отчетливее чувствуешь одиночество, все больше хочешь опереться на ближних. Выясняется даже, что и привязанность, и любовь — не совсем пустые звуки, и они не только потребны в литературе и искусстве. Выдумка художников и поэтов оказывается реальностью, и даже не безобидной.

Тогда отец звонил в состоянии страшной тревоги: Зойка недобрала одного балла на вступительных экзаменах. «Ну и что? Некоторых вообще в институт не пропустила мандатная комиссия». Здесь он, Сумаедов, изящно намекнул на эпизод из собственной жизни. В свое время председатель мандатной комиссии института востоковедения посоветовал ему забрать документы: сын за отца, конечно, не отвечал, но отец тем не менее во внимание принимался. «Чего ты сравниваешь, — отец не принял ни дискуссии, ни сыновней обиды. Как бы предложил списать за истечением срока давности. — Ты мужик, ты все равно пробьешься, а если я умру, кому она без образования будет нужна?»

Этим «я умру» папочка действовал, как ломом. А против лома, как известно, нет приема. И вот, разукрашенному медальками и орденами, а самое главное, с лицом, довольно часто отсвечивающим на экране телевидения, пришлось ему, Сумаедову, идти к ректору. Отец в тот тревожный день в общей сложности просидел под дверями ректорского кабинета часов двенадцать. Ректор приезжал, уезжал, принимал преподавателей, родителей, секретаря приемной комиссии. Но списки новых студентов-первокурсников еще не были подписаны. Здесь надо было выбрать минуту, чтобы и у ректора никого не было. И вот наконец отец прозвонился на студию: лети!

Отец-то оказался артистом похлеще сына.

Глубокий летний вечер, почти ночь, темень за окном, шелестят тополя, двое застыли на высоких жестких стульях. Раздувает ноздри, демонстративно барабанит пальцами по столу, возмущается секретарша, пусто в ректорской приемной, распахнуты двери в гулкие коридоры, ректор на секундочку, давно ожидаемый, измученный, прячущийся от родителей, звонков, абитуриентов, на секундочку влетает и, пока пересекает приемную, направляясь в кабинет, конечно, сразу же, хотя и бывалый человек, покупается на еще не превратившуюся в старый валенок, но уже примелькавшуюся на кино- и телеэкране его, Сумаедова-младшего, мордашку. Ах-ах! Какая неожиданность! В связи с поздним временем разговор с ректором-киноманом состоялся не за стаканом чая в тяжелых подстаканниках, а тут же, стоя в приемной с расцветшей немедленно секретаршей. Эдакий пресс «а-ля-фуршет», блицтурнир!

Но блиц этот при всей деликатности ректора не закончился семейной победой. Любитель кино был мил, но весьма тверд: не хватает одного балла, четверка по профилирующему предмету — он ничего сделать не может. Несколько восторженно глядя на него, Сумаедова, ректор говорит: «Ничего не могу поделать. К сожалению, ничего не могу поделать. Я искренне огорчен, но это выше моих возможностей».

Он-то, Сумаедов, на эту неловкую и просительную сцену пошел неохотно, скорее чтобы не спорить с отцом, он и не ждал ничего от этого визита, но надо было проделать телодвижения, сказать слова, и это должно было успокоить, смирить отца с создавшейся ситуацией, показать, что и он, отец, и его сын сделали все, что в их силах, и даже больше. Это должно было успокоить и Зойку. И поэтому, заканчивая блицтурнир, он, Сумаедов, даже помогал ректору завершить ритуал, и вроде помог, и вроде бы все уже закивали головами, смущенно заулыбались, согласились на более удачливую встречу через год, на продолжение милого знакомства. Удовлетворенный кинорежиссер протягивал свою знаменитую руку, и ректор тянул свою просвещенную, а милый седой старичок, просидевший как часовой почти шестнадцать часов, тоже вроде начал растягивать губы во всепонимающей и всепрощающей улыбке. И оба, Сумаедов и ректор, стали поощрять его, словно ассистировать при рождении улыбки, как вдруг эта неродившаяся на старом, морщинистом лице улыбка закаменела и, как в кино при обратной съемке, исчезла, вобралась в губы. Сквозь благостную маску эдакого старичка-лесовичка проступило жуткое лицо лагерника, с побелевшими от бешенства глазами, обожженное морозами и кострами. Ернический глумливый голос урки дико завизжал:

— Значит, не можешь ничего, падла! Значит, я в лагерях мотал свои сроки зазря? Значит, в своем пиханном институте ты только блатных писух принимаешь? А то, что я в партии с 19-го года, это тебе ничего? И если я гражданскую оттрубил — тоже значения никакого не имеет? Да я тебе, падла ученая, за дочку все глаза выбью!

Нет, такого занятного лицедея, с таким самоспровоцированным гневом он, Сумаедов, актер и режиссер, не знал ни за пять лет «до», ни двадцатью годами позже. Этого визжащего, брызжущего слюной старичка, хищно растопыривающего буквой «V» сухие пальцы и тыкающего ими, как хулиган из подворотни, прямо в глаза остолбеневшего ректора. И такого животного испуга, как на лице секретарши и ректора, этого всего Сумаедову забыть не удастся.

Но интеллигенция на то и интеллигенция, чтобы отступать и сдаваться под флагом победы, щадя или делая вид, что щадя собственное самолюбие. В конце этой лагерной мистерии ректор сделал шаг навстречу в надежде, что противник отступится сам: «А где ваша абитуриентка?» Но ректор не знал психологии человека, всю свою зрелую жизнь проведшего на нарах. «Наша абитуриентка в коридоре»,— произнес Сумаедов-старший. Надо сказать, что и у девочки терпение было ангельское: с утра, с десяти часов, до одиннадцати вечера в розовеньком свежем платьице просидеть перед приемной на стуле. На всякий случай. Не мытьем, как говорится, так катаньем...

Воспоминания прервались. Он, Сумаедов, снова выплыл в действительность.

...— А разве любимая сестренка не может чем-нибудь удивить дорогого и единственного братца? — уже сильно возмужавшая Мальвина очень аккуратно отделила кусочек яичницы, полила его капелькой соевого корейского соуса, подцепила вилочкой и — ам! — только тогда подняла взгляд. Глазенки у Мальвины были не очень радостные.— Сестренке немножко поднадоело мыкаться одной и жить для себя.— Судя по началу, сестренка хорошо подготовилась к разговору.— Сестренке тоже хочется немножко тепла,— продолжала ненаглядная бабочка,— ей хочется стирать кому-то рубашки и качать колыбель. «Колыбель» прозвучала несколько книжно. Зойка почувствовала это и сразу сменила тактику. Теперь она смотрела прямо брату в глаза — взгляд затуманился и наконец первая капля ринулась по щеке, по хорошо наложенной косметике. «Боже мой,— подумал Сумаедов,— какой бы был кадр!»

— Ресницы потекут,— сказал он.

— Черт с ними, с ресницами!

— Ну, так чего ты горюешь? — Как, интересно, сестренка приступит к главной части программы? — Бери молодца, приводи, знакомь и — «запируем на просторе». Дело житейское, не переживай, лишь бы человек был хороший.— И дальше он, Сумаедов, не давая сестренке вклиниться, стал развивать свой сюжет. Он понимал: с каждой его фразой ей будет все труднее приступать к главному.— А, дай бог, детишки пойдут! Эх, если бы жив был дед, как бы он радовался! Ты только рожай, сестренка, скорее, я твоим будущим детишкам такие костюмчики, шапочки разные, коляски, игрушки из-за границы понавезу — подруги и знакомые твои от зависти подохнут. «Будут внуки потом, все опять повторится сначала».

Самовнушение — обязательно в природе творческого человека. Разжигая себя, он выходит на такую святую веру в то, о чем говорит, что в этот момент совершенно реальные картины встают перед его внутренним взором. Реальные до того, что он и себя видит как действующее лицо в сочиненной ситуации. И он, Сумаедов, совершенно реально увидел, как где-нибудь в Жаворонках, Переделкине или на Акуловой горе купит, потряся свои сбережения, дачку с огромным, в соснах, участком. И заживет там дорогая сестренка, и будут гулять карапузики в разноцветных панамках. А вечером, при свете оранжевого абажура, станут пить чай на веранде, и тяжелые мотыльки будут биться в стекло. «О, если б навеки так было!»

Но в природе творческого человека есть еще и некий душевный холодок отстраненности, который позволяет ему существовать как бы в двух жизненных плоскостях одновременно. В нереальном, часто противоречащем привычной логике внутреннем мире и одновременно в материальной сфере своих собственных, конкретных, а часто и не очень возвышенных интересов. И поэтому несколько злорадно Сумаедов подумал: как же сестренка вывернется из ситуации, как сумеет разрушить эту душевную атмосферу мечтаний? У него даже возник планчик погрузить ее «туда», в прошлое, в ее собственную юность. А впрочем, расстаемся ли мы с ним в быстротекущем настоящем?

Снова нырок. Декорации те же: приемная ректора...

— Зоя,— на всякий случай Сумаедов-старший позвал, не выходя из приемной, а только высунув голову за порог,— иди сюда.

Розовое платье бесшумно, как сильфида, появилось в дверном проеме и остановилось перед ректором. Без тени кокетства, одна строгость, опущенные долу глаза. «Вы изучали в школе английский?» — спросил ректор.

Не поднимая взора, скромница ответила по-английски довольно бойко. «А другие предметы как?» Опять, не меняя позы и монашеского выражения лица, ответила уже по-французски, но с запинкой.

— Ну, это уже кое-что,— сказал ректор. О, высокое искусство интеллигентской ретирады! — Но ведь у нас не совсем обычный институт,— добавил доброжелательно, но в глазах у него, в глубине, вспыхнули на мгновение кошачьи довольные охотничьи огоньки.— Насколько я понимаю, девочка хочет на переводческий факультет, а у нас...— в голосе ректора уже слышалась вожделенная победа — у нас институт режимный,— и тут ректор, уже сыграв в доброту и отзывчивость, почти ласково взглянул на Сумаедова-старшего,— здесь, как я понимаю, могут возникнуть сложности, особенно в будущем...

— Да какие здесь могут быть опасения,— мягко, с мудростью много пожившего человека заговорил папочка,— тяжелые времена минули, у моей внучки вполне заслуженные родители.— И папаня улыбнулся ему, Сумаедову-младшему! Вот видишь, дескать, знаменитый сынок, старый лагерник, кажется, оказался прав.

Итак — в прошлое! Как уже раз было сказано: «За мною, читатель!»

А существует ли вообще так называемое настоящее? Даже наши вины — это обиды прошлого. В настоящем — только наши проступки. И не из них ли рождается наше счастливое будущее, которое газетчики кликают грядущим. Какое-то у него, у Сумаедова, правда, недоверие к этому слову. Как к слишком довольным людям и слишком громким обещаниям. Собственно, все его поколение — пленники «грядущего». Вы только покуда, ребята, потерпите, послужите, поработайте, простите и помилуйте нашу не совсем ладную сегодняшнюю действительность, чуть-чуть, лет двадцать — вы еще все так молоды, что там двадцать лет из отпущенных семидесяти или шестидесяти?! — а уж потом даруем мы вам блаженство. А блаженство, как заем, отсрочили. Терпели мы, а кто получит вечное блаженство? Так чего же у милого папочки в свое время было больше — социального пессимизма или лагерной осторожности, опытности, догадки о результатах в игре с «лучшими временами»?..

Отец еще до той сцены у ректора называл его, Сумаедова, только по имени-отчеству. В этом было намешано много: ирония, самоирония, почтение (возможно), самоуничижение, вероятно, была и прямая насмешка, но было и подчеркивание ведущей, главенствующей роли сына в семье. Мал золотник, да добычлив, да дорог.

Вспомнился еще эпизод. До окончания Зойкой школы. Институтская предыстория.

Тогда отец позвонил — мы углубляемся на слой ниже, так археолог, раскопав одну бревенчатую мостовую, находит под ней другую, более древнюю,— позвонил по телефону и сказал: «Денис Павлович, ты не мог бы заехать ко мне домой? — Во фразе звучал тревожный императив, но отец, видимо, почувствовал крутизну требования и добавил помягче: «Мы тебя с Зойкой давно не видели».

У него, у Сумаедова-младшего, сердце сжалось: «Началось». Отцу тогда только что сделали операцию, удалили аденому простаты, сначала все было хорошо, биопсия ничего тревожного не показала, он, Сумаедов, к этим мелочам приглядывался зорко. «Все потом повторится сначала» — не следовало забывать про генетику. Но Сумаедов все время ожидал худшего, и ему показалось: вот оно, наступило. Он уже прикинул, как устраивать отца в клинику к Лопаткину. «Срочно?» — спросил Сумаедов. Отец ответил: «Как будет время». «Сегодня?» — «Если хочешь, завтра».

Когда он, Сумаедов, вошел в квартиру, отец встретил его в фартуке. Он тер морковку, и руки были в желтых пятнышках. Пятнышки виднелись и на стеклах очков.

— Ты стал вегетарианцем?

— Это я кормлю Зойку, она ведь слабенькая, ей нужны витамины.

После рождения Зойки Сумаедова всегда удивляло, что его отец, когда-то худо-бедно — общественный деятель, полностью перестал интересоваться чем-либо, кроме собственных и семейных дел. Отбили ему интерес, что ли, к политике? С другой стороны, разве сам Сумаедов не оказался навеки перепуганным в юности? Значит, оба они — продукт времени? Продукт неизжитого страха? Один боится случившегося, а другой того, что

случилось с первым. Но ведь он, Сумаедов-младший, все же занимается самым политизированным из искусств. Недаром оно важнейшее. А может быть, он тоже занимается им на уровне домашнего хозяйства, как отец?

Тогда они вместе с отцом довольно долго толклись на кухне. Шла разведочно-позиционная борьба. Мотив здоровья отпал сразу. Все крутилось вокруг жизненных планов самого Сумаедова-младшего, и попутной темой шло его отношение к Зойке, к сестре. Папочка здесь проявил себя психологом.

Потом пришла из школы Зойка. Двенадцать лет, бантик, фартучек. Веночки и жилочки голубенькие, ручки на запястьях прозрачные. Он в который раз удивился хрупкости сестрички. И когда она обняла его за шею, скрестив, как большая, на его затылке ручонки, он впервые встрепенулся от щемящей родственности этой невесомой плоти. И удивился стоицизму отца: держать в чистоте и холе эту девочку и квартиру в его-то годы!

Как же отец предложил ему удочерить Зойку? Как он его к этому подвел? Он начал так: «Денис Павлович, я ведь уже старый человек». Отец тер это самое морковное пюре, жарил мясо, потом накрывал в комнате стол, резал хлеб — все-таки редкий и почетный гость, хоть и сын, а все это время он, Сумаедов, ходил вслед за ним, и отец говорил об ощущении своей близкой немощи, о своем страхе за будущее Зойки, о том, что с ней будет, если он внезапно умрет, и т. д., и тут же через маленькую паузу, когда он как бы отвлекся и заговорил о другом, вдруг остановился, посмотрел прямо ему, Сумаедову, в лицо и сказал: «А знаешь, Денис Павлович, ты должен Зойку удочерить. Я тогда умру спокойный». Он, Сумаедов, удивился этой блажи, начал отказываться — как это стать отцом собственной сестры, но у папочки были и аргументы, оказывается, он уже хорошо изучил всю юридическую сторону дела. Матери у Зойки нет, он отказывается от прав отцовства, а Денис Павлович, удочеряя свою сестру, их на себя принимает. Бросит ли он, Денис Павлович, сестру, если с ним, Сумаедовым-старшим, что-нибудь случится? Нет, не бросит. Долговечен ли человек, почти двадцать лет просидевший в тюрьме и лагерях? Нет, недолговечен. Значит, надо быть реалистом. Они так рассудили... И вот пришла из школы Зойка. Она потерлась щечкой о его шершавую щеку и скрестила ручки на его шее.

И когда он, Сумаедов, вдохнул этот родной и волнующий детский запах, вдохнул до головокружения, до обморока, он сказал:

— А что скажет Клавдия?

— А Клавдии, Денис Павлович,— сказал Сумаедов-старший,— все равно, я с нею уже говорил.

Сыграло ли какую-нибудь роль это удочерение в его жизни? Нет, не сыграло. Отец прожил, к счастью, долго, и к тому времени, когда случилась эта автокатастрофа, Зойка побывала уже раз замужем, давно закончила институт, была взрослой, отвечала за себя сама. А кого сейчас интересуют родители, реабилитированные после пятьдесят третьего? Значит, старик зря завел многотрудную юридическую волынку с удочерением? Опасения его оказались напрасными. Лишь единожды — в институте «выстрелило» это удочерение. Но, может быть, этот институт, среда как раз и решили ее судьбу? Значит, не то предвидел старик? А может быть, провидел он одинокую могилу, к которой некому будет прийти весной с цветочной рассадой? Бурьян, сухая полынь и ржавая ограда... И все же в этом, еще недавно казавшемся ему бессмысленном удочерении, есть, оказывается, хитрый расчет мертвых против сиюминутного прагматизма живых! Не так все оказалось просто, и сейчас ты, Зоенька, ласточка, на это выйдешь. И не дадим мы тебе покинуть родных могил. Для того чтобы сочетаться законным браком со своим дипломатом, тебе потребуется согласие з а к о н н о г о отца, и не просто устное бормотание, символизирующее уступчивость, нет, милочка, письменное согласие, а значит, решение ответственное, взвешенное и продуманное. Ну где у тебя в сумочке лежат наготове соответствующие бумаженции, доставай, открывай тайные карты.

Так на чем же мы остановились, блуждая по цепи воспоминаний? Хорошо сказано — «цепь». Ничего, наверное, так крепко не держит человека, как эти милые, удивительным образом скрепленные друг с другом колечки.

Схватишься за любое — и рано или поздно вытащишь из колодца всю цепь, если только у нее есть конец. А мы здесь стоим только у начала.

Ночные бабочки, белые мотыльки тяжело бьются о стекло террасы и летят на оранжевый абажур.

Ночь, луна, залитый мерцающим светом сад, семья, собравшаяся у круглого обеденного стола, шелест листвы, резкий, одурманивающий запах душистого табака. Это хорошая площадка, на которой не грех потоптаться. Все-таки сестренка крепко любила отца. А кого ей еще было любить, вон даже волчонок любит родителей. Кто кормит и ласкает, того и любят. Он, Сумаедов, еще круче завернул сентиментальную пружину; убеленный сединами патриарх и внуки. А рядом прекрасная, как Рахиль, «дочка», раздувшая все-таки огонек рода. (Правда, сердце сразу защемило. А Павлик? Значит, будет цвести и плодоносить боковая ветвь? Значит, все надежды у него, Сумаедова, на потомство сестрички? Ее белоголовым детям — «внукам» отойдут библиотека, слава и трельяж грушевого дерева? Ну что ж, с горечью надо согласиться: от наркомана и его сожительницы вряд ли стоит ожидать чего-нибудь путного!) Но на этой замечательной картине одно место оказалось затенено. Где тот ушлый Иван-царевич, принц-консорт, пенечек, от которого вознеслась вверх дерзкая веточка, а говоря грубо, где на картине тот счастливый мужичок, который сделал веселую мужскую работу и теперь, сидя на террасе, попивает из блюдечка чаек и глядит на копошащееся у его ног в разноцветных импортных комбинезончиках потомство? Ну, так надо прояснить это пятно, вывести его из теней, оживить колер. И почему бы, собственно, не пофантазировать на тему этого родовосстановителя? Ну, так вперед, раскинь, жар-птица, свою фантазию! Что-нибудь в пределах доступного, среднестатистического. Но это чуть позже. Пока актуальнее другое. Похоже, что сестричка готова продолжить диалог, и надо возвращаться в сегодняшний день.

Дорогая Мальвина приводит в порядок свои ресницы и решает: попереживать ли ей еще или, пока яичница горячая, все-таки доесть ее. Перед решающей фразой Сумаедов быстренько, двумя-тремя штрихами, рисует портрет. Кинопроба, эскизик. Возможны варианты.

— В общем,— говорит он,— мы с тобой, сестренка, все-таки на этом свете самые близкие люди, и ты не должна меня стесняться. Твои интересы и твое спокойствие мне ближе всего. Тебе сейчас сложно, все-таки ты собираешься выходить замуж в третий раз. Я ведь понимаю, что это не из-за развратной натуры, а из-за обстоятельств.

И тут он, Сумаедов, начинает разводить турусы на колесах. Зойка не могла и предвидеть что-нибудь подобное. Он говорит о ее первом муже — журналисте, что парень он был ничего, но что можно ждать от человека с такой гибкой психологией? Вот поэтому они и расстались. Он говорит, что и второй ее муж, киноактер, тоже был парень видный и веселый, но на какой, собственно, интеллект можно рассчитывать, если парень привык, как свои, произносить чужие слова? И правильно, витийствует он, что сестричка выгнала этого человека, меняющего мысли, как змея кожу. И он, Сумаедов, надеется, что теперь-то уж его сестричка-вострушка, вооруженная опытом и драгоценными знаниями, возьмет в сберегатели ее красоты и женственности, в истопники семейного очага или, что моднее нынче,— камина, не какую-нибудь интеллигентную свистульку, порхуна и себялюбивого сказителя, не щелкопера или лицедея, а человека основательного, с подходом к жизни грамотным, долгоприцельным, мужика, труженика в какой-нибудь передовой и перспективной отрасли быстроразвивающегося народного хозяйства. Да, он, Сумаедов, мечтает о настоящем, рукастом, без всяких рефлексий и мерихлюндий зяте, чтобы с ним не то что с предыдущими хлюпиками, чтобы с этим новым зятем можно было и водочки выпить, и покурить, обсуждая настоящие мужские проблемы про хоккей или продажу легковой автомашины. И ты, сестренка, не стесняйся, вся эта словесная белиберда лишь камуфляж, профессия не имеет значения, лишь бы тебя любили, детишек хотели, в доме должно не кафками и маркесами пахнуть, а щами да пеленками. Будь он, этот твой красавец, даже слесарем или шофером — обтешем, выучим, если потребуется, доведем до высших кондиций. И на зарплату, и на эти свитерки, джинсики, тачки, колеса — все наживное — ты не смотри. Твой брат ведь не Кощей,

чтобы копить и прятать в сундуке, и свадьбу вам сыграю, и в жизни, хотя у кого особенно лишние деньги? — помогу. Лишь бы человек был хороший.

За время этого монолога сестричка, видимо, кое-что поняла, а если и не поняла, то догадалась, все-таки происходили от одного, и не такого уж простого корня. Одному генетика поздоровее досталась от молодого родителя, а другой — родительский многохитрый опыт. Поэтому пока он, Сумаедов, горячо и искренно, как и подобает хорошему актеру, говорил, сестренка привела в порядок реснички, бровки и красочный слой на щечках, подуспокоилась, доела яичницу, аккуратно собрав соус корочкой хлеба, и когда братец-папочка на расхожей патетической ноте о «хорошем человеке» закончил, сестричка подняла свой ясный взгляд недотроги и отличницы:

— Что ты, милый братик, варишь залипуху. Я ведь тебя знаю, чувствую, ты все уже разнюхал и решил. Смеешься, устраиваешь представление? У тебя есть ко мне претензии? Чем-нибудь недоволен? Я что, не могу уже по-своему решать жить, а только с твоего согласия? Ах, тебе не совсем удобно, тебе бы хотелось, чтобы я замуж вышла за токаря седьмого разряда?

Стоп! Сознание работает, как при ускоренной съемке. «Я бы хотел, чтобы ты вышла замуж за золотаря, но по любви». Фраза для ответа сестричке готова. Осталось только ее произнести. Милая фразочка, вполне имеющая право существовать в качестве реплики в семейной киносцене. Надо, кстати, запомнить. Хотя киноискусство демократично, а «золотарь» как реальность из жизни исчез. Значит, и слово постепенно отплывает от реального берега. При редактуре золотаря заменим на дворника, а для Зойки сойдет и так, даже сильнее, в конце концов она с филологическим образованием, следовательно, кое-что из прошлого века почитывала. Веселый золотарь с бочкой и черпаком, которым выхлестывает сортиры и нужники. Слово-контраст. Ничего себе золотишко! Но в отстраненном наборе слов, образов и понятий промелькнуло «отчаливать». Это как таинственный звук в кино, предшествующий появлению главной фигуры. Свинцовая гладь воды, туман, поглотивший и ладью, и пассажиров, лишь смутно угадывается костлявая фигура водогребщика. Защита. Ты охраняешь, старик, свое чадо? Ты встал из могилы, чтобы предостеречь меня? Наказать? Не дать совершить несправедливость? Проявить милосердие? А разве я, папочка, не твой сын? Разве нельзя пожалеть и меня? И что за презумпция виновности у покойников по отношению к живым? Нет, не поднимай весла, чтобы ударить. Выслушай. Давай, пока фраза не произнесена, отправимся в воспоминания.

Он, Сумаедов, тогда, как впрочем и всегда, стоял на распутье: очередной фильм, им были «Красные командиры», был уже готов и проходил инстанции, а новый был еще неясен, Сумаедов ожидал импульса, внутреннего движения, которое захватит душу художника, искал сюжет и тему. Это не просто время бестемья. Здесь художник свободен в предчувствии следа, готов на всякие авантюры. Тогда он даже подумал: а не попробовать ли детектив? В странное положение он поставит всех своих критиков и врагов. Но мастер всегда мастер. Он, Сумаедов, готов дать бой и на чужой площадке: вы ждете новый историко-революционный сюжет, а я вам, голуби, детективец! И теперь пишите о кризисе жанра и исчерпаемости художника.

Об этом своем мстительном желании Сумаедов довольно широко раззвонил. И естественно, друзья, знакомые, пок іники и любители его монументального искусства принялись пособлять. Помощь эта была довольно дилетантской, пока из уголовного розыска не позвонил один знакомый генерал и не предложил: «Давай, дескать, художник, приставим тебя к какой-нибудь оперативной группе, на какое-нибудь крупное дело, глядишь, и загоришься. А не загоришься, так все равно о жизни кое-что узнаешь. Здесь не как у тебя в кино: цвет не только красный». Практически это вылилось в несколько поездок на происшествия, с точки зрения криминалистики вещи обычные: убийства, крупные кражи, взломы, золото, понятые, испуганные люди. Не было предмета для исследования. Но вот один раз что-то засветилось. Потому что субъектом преступления оказалась молоденькая девчушка, нежное, улыбающееся созданьице, владеющее вдобавок ко всему парочкой иностранных языков. Впрочем, все это выяснилось позже.

Ему тогда, это было ночью, позвонил дежурный по городу: «Денис Павлович, здесь наметилось очень неожиданное дело. Мы высылаем оперативную машину, но она заедет за вами. Старший в машине — начальник одного из отделов. Вы там сами догадаетесь, какого. Зовут его Василий Петрович. Выходите, если свободны, к подъезду».

Василий Петрович оказался таким громилой, что занимал полмашины. Спереди сидела девчушка в вязаной шапочке. Василий Петрович был в штатском, под пальто и раскиданным на груди шарфом угадывались галстук и белая рубашка. Свет фар следующей сзади машины сопровождения выхватил белокурую гриву волос. Василию Петровичу было лет тридцать.

По дороге выяснилось: ограбили иностранца, в посольстве. И, кажется, помимо ценностей — почти как у Конан Дойля — пропал и некий документ. О важности дела говорило то, что звонил посол. Пикантность сюжета: вора видели, злоумышленник был гостем хозяина. А сидящая впереди девушка — переводчик, зовут ее Алевтина. Условились, что сам он, Сумаедов, — сотрудник розыска.

Начало истории было просто началом фильма.

Место происшествия — трехкомнатная квартира в посольском доме, улучшенная планировка, бесшумные лифты. Вошли впятером — еще было два сержанта с портфелями. В квартире их встретил посол и пострадавший: стройный, загоревший, несмотря на зиму, мужчина лет сорока пяти.

Посол, предупредив о конфиденциальности заявления, рассказал, как было дело. Его друг и коллега, уважаемый мистер — посол назвал фамилию — вчера приехал в Москву. Мистер, естественно, имеет дипломатический иммунитет. Его миссия неофициальна, но у него в бумажнике лежало письмо от главы правительства к одному из высокопоставленных членов нашего правительства. Может быть, самому высокому. Как переписываются члены правительства — это их дело. Мистер остановился в одной из квартир посольства, но сегодня вечером решил развлечься. В баре одной из центральных интуристовских гостиниц мистер познакомился с прелестной молодой дамой, говорившей по-английски. После ужина мистер пригласил эту молодую даму выпить кофе и посмотреть апартаменты, в которых он обосновался. Дама с удовольствием выпила кофе, все было чрезвычайно мило, и спор у них зашел только из-за очередности, кому первому обладать ванной комнатой. Здесь дама пропустила вперед кавалера. Но когда в халате с полотенцем через плечо кавалер вышел из ванной комнаты, он обнаружил пропажу дамы, а также некоторых его личных вещей: золотого портсигара, золотой зажигалки, и его норковой — да, да, мужской! — шубы — здесь посол тонко улыбнулся, — ведь Россия славится морозами, — но главное — бумажника. Ценность для мистера представляет даже не бумажник, а письмо. Потому что в письме приватная просьба о приватном человеке.

Слушая эту историю, кинорежиссер, известный человек, сердцевед думал, что он и не догадывался о таких сторонах жизни. Все это ему казалось книжным, придуманным. Оказывается, как легко могут жить люди! Налегке ездить из страны в страну, выполнять сложные, с его, Сумаедовской, точки зрения, поручения и не забывать при этом еще и развлекаться. Они — живут. Он-то воспитан на долге. На том, что «надо». Надо стране, надо Родине, надо искусству. Но ведь надо и человеку. Бог с ним, с этим гедонистом. Но каково чувство свободы, чувство непринужденности в чужой стране. Пока нам морочили головы какими-то провокациями, и мы в редких зарубежных поездках по пятеркам ходили друг за другом, поворачивая головы направо и налево лишь по команде гида, они раскованно обшаривали все закоулки мира. Господи, сколько же он не посмотрел, потому что боялся: не поездил в метро Нью-Йорка — говорят, там нападают на пассажиров, не прогулялся по портовым улочкам Марселя, в Кельне почему-то боялся вечерами ходить в музеи, хотя там они открыты допоздна. Не оттого ли он и в искусстве был так же робковат! А чего, спрашивается, боялся, где сейчас эти вершители судеб художников? Подул ветерок, и все сгинуло. А зато эти, вечно сопротивляющиеся, имеющие собственное мнение, кажется, выжили. Откуда берется трусость в душе? Ну, в его-то, Сумаедова, случае ясно, откуда. Может быть, папочка, старый Харон,

из-за тебя проиграна жизнь? А из-за чего проиграна она у тебя самого? Но к делу, к делу. Сюжет привлекателен тем, что стремителен.

«Приватный» человек сидел и, ничуть не смущаясь, улыбался. Посол говорил, он, Сумаедов, внимательно слушал, морщил лоб, примерял сюжет для кино.

Василий Петрович задал несколько вопросов лицу с дипломатическим иммунитетом: как звали даму, сколько ей приблизительно лет, как одета? Дипломатическое лицо доброжелательно, точно и вежливо ответило на все вопросы, запнувшись только на сложных русских именах. Василий Петрович подумал и, как компьютер, собирая, сортируя и обрабатывая информацию, обратился к сержанту с портфелем: «Сидоров, давай альбом».

Приблизительно на четвертой странице с фотографиями роскошных красавиц, снятых, впрочем, судя по сюжетам, не в фотоателье, мистер опознал свою прекрасную незнакомку. Она была просто милашка: робкий взгляд, челка, спортивная курточка.

— Старая знакомая,— сказал Василий Петрович и с облегчением тряхнул своей льняной гривой — это Ирка по кличке «Морг»,— и тут же Алевтине: «Этого переводить не надо. Скажите, что мы постараемся разыскать его вещи».

Воистину, то, что происходит в жизни, не втискивается в кино. Все, что случилось дальше, для кино показалось бы слишком неправдоподобным. Уже через час в той же компании, но уже вместе с Иркой Морг Сумаедов сидел в этой квартире. И мистер повторил: когда он в халате вышел из ванной, то этой милой дамы, сидящей сейчас вместе с ним и украшающей их компанию, а также этих милых безделушек — портсигара, зажигалки и бумажника — при виде бумажника, который тоже из портфеля Сидорова перекочевал на стол, глаза его мгновенно блеснули, он чуть торопливее, чем было нужно, взял его, расстегнул молнию сбоку и не достал, а только потянул на себя и удостоверился, что лист плотной бумаги, на котором было начертано письмо, на месте. Какое счастье, что этот инцидент разрешился! Не желают ли господа что-нибудь выпить?

Но за час до этого светского предложения они молча вышли из подъезда и сели в автомобиль. По дороге, поднимая воротник своего кожаного пальто, Василий Петрович, как бы ни к кому не обращаясь, сказал: «Ирка сейчас у Кота?» — «Кроме как у Кота ей быть негде,— ответил Сидоров. Так жрец-авгур расшифровывает высказывание Пифии.— А на пересылку Кот повезет бронзулеты только завтра»,— дополнил Сидоров.— «Тогда едем на Каретный»,— сказал Василий Петрович.

Изящно выражаясь, жениха Ирки Морг звали Тараканом, и он, проживая в кооперативе работников искусств, занимался не балетом или драмой, а всего лишь аппаратурой для цирковых номеров и прочими делишками, позволяющими ему поддерживать жизненный уровень и не быть зависимым от благодеяний циркачей. Они приехали вовремя. Таракан, благодушествуя, смотрел по видику вместе с Иркой какую-то волнующую их обоих драму.

Когда оперативная группа вместе с понятыми — дворником и лифтершей вошли в квартиру, знаменитая шуба аккуратно висела на вешалке, а портсигар, зажигалка и бумажник как свежие трофеи лежали на столе. Здесь и отпираться было бесполезно. Опытная в этом цыганском деле Ирка Морг пожелала немедленно сделать чистосердечное признание. Это заняло минут пять; Таракан сказал, что вещи ему не принадлежат, а с Иркой Морг он едва знаком.

Итак, вернемся в посольскую квартиру: «Не желают ли господа что-нибудь выпить?» — «Отчего же не выпить»,— сказала Ирка Морг, ничуть не смущаясь, а даже бравируя ситуацией.— «Обойдешься.— В голосе Василия Петровича весенний цветочный мед смешался с пахучим свежим дегтем.— За проституцию мы много не даем, потому что она как социальное явление у нас отсутствует, а вот за хищение предметов лет шесть приварим. Переведи-ка, Алевтина».— «Как интересно,— сказал мистер, выслушав лопотание переводчицы,— не правда ли, законы чужой страны обогащают наши представления о справедливости в стране собственной? Но не многовато ли — шесть лет? Ведь это шесть лет из жизни».— «Закон есть закон,— счел необходимым откомментировать высказывание иностранца Василий Петрович.— Сидоров, пиши протокол опознания вещей».— И снова Василий Петрович обратился, но теперь уже официальным тоном к мистеру: «Признаете ли вы эти вещи принадлежащими вам?» — Мистер отпил глоточек и, пока Алевтина переводила, поставил стакан на стол, взял со стола бумажник, вынул из него роковое письмо и положил в карман пиджака, потом взял портсигар, автоматически достал и размял сигарету, повертел в руках зажигалку, прикурил, положил на стол, затянулся, и, глядя в лицо Василию Петровичу и очень вежливо, натурально улыбаясь, вкрадчиво, мило сказал: «Это не мои вещи. Похожие, но не мои».— Прелестно разыгранная сцена! — «Очень хорошо,— не моргнув глазом, сказал Василий Петрович,— вещи пойдут в бюджет государству».— «Надеюсь, государство от этого сильно обогатится»,— съязвил мистер.— «Какое безобразие, беспокоят занятых людей,— встрепенулась Ирка Морг.— Я им, главное, тоже говорила, что эти вещи вижу впервые. Зашла в гости к приятелю и увидела эти блестящие предметы. Может быть, вороны через форточку наносили. Вороны любят блестящие предметы».— «Цыц, лахудра»,— сказал Василий Петрович и стал подниматься, корректный и улыбающийся, как метрдотель в дорогом ресторане.

Во всей этой вспомнившейся сейчас истории было заслуживающим внимания следующее: веселая искательница приключений училась в одной группе с его сестренкой-дочкой. Может быть, рассказать ей этот эпизод, спросить, а как ты, милочка, добыла свой денежный иностранный сундук? Можно, конечно, и порассуждать о дорогих могилах...

Продолжение следует

Андрей Вознесенский

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

★

«Я автоответчик
в вашем распоряжении одна минута
отвечайте после сигнала»

— Звонила Алла.
Подпишите приветствие борющемуся Сенегалу.
— Поговори со мной. Мне худо
— в вашем распоряжении одна минута.

— Ответишь за Шагала,
паскуда,
в твоем распоряжении одна минута.

— Я вам послала поэму.
Спросить Эмму.
— Записывай. Я глас Оттуда,
небесной информации утечка.

— Я Марфута.
Группа «Епос»
приглашает в Старую крепость,
как вы насчет узбечек?

— Верните ссуду.
— Говорят поэты из «Вертепа».
Небо — слепо.

— Вы автоответчик Вознесенского?
Говорит автоответчик Таривердиева.
Наших хозяев пора к стенке.
Да здравствует международная солидарность
автоответчиков!

— Как же! Ответил волк за овечек!
Я за им гналаси,
а он восвояси.
— Ответим на происки Хайле Селассие!
— Вы меня не знаете. Я — Афанасий.
Убили отца. Кишиневская мафия.
Разрубили до паха.
— Ответьте Нагорному Карабаху!
— Верните поэму.
Спросить Эмму...

Я автоответчик.
Я отвечаю
за век увечный вопросов вечных,
от Черной речки и до Камчатки,

за чадо малое, за пошлость, «чао»,
за радиацию в брикетах чая,
за порн парнасский, за звук фонящий,
за крик твой порванный, Афанасий...

Талмуды. Будды. Христы. Иуды.
В вашем распоряжении одна минута.
Отвечайте после сигнала...
После сигнала...
слепо...
гналаси...
слепослепослепослепослеПОСЛЕ
гналасигналасигналаСИГНАЛА



Зеки шьют кресла Аэрофлоту.
На преступленьях мои полеты,
мнимых и страшных. Из крепкого репса.
Аэрофлоту зеки шьют кресла.
Катапультировать бы из рейса!
Мне не заснуть в затененном отсеке.
Нитку насильник кусал большерото.
Оговоренная портила веки.
Аэрофлоту кресла шьют зеки.
О незнакомом молю человеке,
что, матюгаясь, шила мне кресло.
Боже, погибла или воскресла?
Небо, Свобода, Божьи чресла.
Аэрофлоту зеки шьют кресла.

Сонет (регтайм)

Сна нет.
Спать спать спать
Сон стек с пят
сон синь Спас
Спит скит
Спит стыд
Клоп куснул
и уснул.
Бог спит.
Спать спать спать
Телефон. Опять.
«Общепит»?
— Б....!
— Б....?
Телефон
137-18-25
— Ты, мой сон?
Так-с...
Три, два, ать!
Кроссовки «SPEED»
Такси!
(Дом) «МИД»
«ТАСС»

— Мать спит.
Тсс...
Спать, спать,
Ты — мой сон...
Экстаз...
Спать спать...
Телефон.
«Общепит»?
— Б....!
— Б....?!!
Так-с!..—
Три, два, ать.
Кроссовки «SPEED».
Такси!
«ТАСС»
«МИД»...
Спать спать спать
Телефон.
«Общепит»?
Сна нет.
Ты — мой сон
Сна нет.

Джордж Оруэлл

ДВА РАССКАЗА

Недолгая жизнь Эрика Артура Блэра (1903—1950) вместила в себя на редкость многообразный социальный опыт: колониальный Восток, ряд случайных занятий в Париже и Лондоне, Гражданская война в Испании, антифашистская пропаганда на Би-би-си во время второй мировой войны. Аристократ по рождению, он взял в качестве псевдонима подчеркнуто обыкновенное английское имя — Джордж Оруэлл, закрепив таким образом свой внутренний выбор: быть как все, разделять общие тяготы. Детство и юность писателя прошли в Бенгалии, в семье, принадлежавшей к английской колониальной элите. Вечный бунтовщик, еретик, он и «бремя белого человека» понимал как требующую искупления историческую вину колонизаторов. По окончании привилегированного Итонского колледжа Оруэлл несколько лет служил в Британской полиции безопасности в Бирме. Литературный успех ему принес роман «Бирманские будни» (1934). Настоящая же слава пришла через десятилетие, с публикацией антиутопии «1984» (1949) — напряженная, на износ, работа над этой книгой привела к преждевременной смерти писателя.

Идейным родством связан роман «1984» с романом «Мы» Евгения Замятина. Есть нечто общее и в духовном облике авторов: оба они, как бы восстанавливая равновесие, всегда выбирали ту сторону, где не было в этот момент ни силы, ни власти — сторону слабого, сторону жертвы. «Я входил в тюрьму с таким чувством, что мое место внутри, а не вне ее,— вспоминал Оруэлл о службе в Бирме.— Только раз я видел смертную казнь, и судья, вынесший смертный приговор исходя из законоположения, был для меня в нравственном отношении ниже осужденного, преступившего закон».

Предлагаем вниманию наших читателей два «колониальных» рассказа Джорджа Оруэлла из документальной книги «Как я стрелял в слона», увидевшей свет в год его смерти.

Казнь через повешение

В Бирме был сезон дождей. Промозглым утром из-за высоких стен в тюремный двор косыми лучами падал слабый, напоминавший желтую фольгу свет. Мы стояли в ожидании перед камерами смертников, похожими на клетки сараев, с двумя рядами прутьев вместо передней стенки. Камеры эти размером примерно десять на десять футов были почти пустыми, если не считать дощатой койки и кружки для воды. Кое-где у внутреннего ряда прутьев сидели на корточках, завернувшись в одеяла, безмолвные смуглые люди. Их приговорили к повешению, жить им оставалось неделю или две.

Одного из осужденных уже вывели из камеры. Это был маленький тщедушный индус с бритой головой и неопределенного цвета водянистыми глазами. На лице, как у комического киноактера, топорщились густые усы, до смешного огромные по сравнению с маленьким туловищем. Все обязанности, связанные с его охраной и подготовкой к казни, были возложены на шестерых стражников-индусов. Двое, держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, наблюдали, как остальные надевали на осужденного наручники, пропускали через них цепь, затем прикрепляли цепь к своим поясам и туго прикручивали ему руки вдоль бедер. Стражники окружили осужденного плотным кольцом, их руки ни на секунду не выпускали его из осторожных, ласкающих, но крепких объятий, словно ощупывая, в неотступном желании убедиться, что он никуда не исчез. Подобным образом обычно обращаются с еще трепыхающейся рыбиной, норовящей выпрыгнуть обратно в воду. Осужденный вроде и не замечал происходящего: он не оказывал ни малейшего сопротивления, вялые руки покорялись веревке.

Пробило восемь часов, и во влажном воздухе раздался слабый безутешный звук рожка, донесшийся из отдаленных казарм. Услышав его, начальник тюрьмы, который стоял отдельно от нас и с мрачным видом ковырял тростью гравий, поднял голову. Это был человек с хриплым голосом и седой щеточкой усов, военный врач по образованию. «Френсис, поторопитесь, ради Бога,— раздраженно произнес он.— Осужденный уже давно должен быть мертв. Вы что, все еще не готовы?»

Старший надзиратель Фрэнсис, толстый дравид в твидовом костюме и золотых очках, замахал смуглой рукой. «Нет, сэр, нет,— поспешно проговорил он,— у нас ффсе ффполне готово. Палач шшдет. Можем идти».

«Тогда давайте поскорее. Пока мы не покончим с этим делом, заключенные не получат завтрака».

Мы направились к виселице. Слева и справа от заключенного шагало по два стражника с винтовками на плечо, еще двое шли сзади него, вплотную, одновременно поддерживая и подталкивая его в спину. Судьи и все прочие следовали чуть поодаль. Пройдя десять ярдов, процессия, без всякой команды или предупреждения, вдруг резко остановилась. Произошло нечто ужасающее: одному Богу известно, откуда во дворе появилась собака. С громким лаем она подлетела к нам и принялась скакать вокруг, виляя всем телом, обезумев от радости при виде большого количества людей. Это был крупный пес с длинной густой шерстью, помесь эрдель-терьера и дворняги. Какое-то мгновение он в восторге кружил около нас, а потом, прежде чем кто-нибудь успел помешать, рванулся к осужденному и, подпрыгнув, попытался лизнуть ему лицо. Все застыли в оцепенении, настолько потрясенные, что никто даже не пытался удержать животное.

«Кто пустил сюда эту чертову скотину? — со злостью выкрикнул начальник тюрьмы.— Поймайте же ее!»

Выделенный из эскорта стражник неуклюже бросился ловить пса; пес же подпрыгивал и вертелся, подпуская его совсем близко, однако в руки не давался, расценив, видимо, все это как часть игры. Молодой стражник-индус подхватил горсть гравия и хотел отогнать пса камнями, но он ловко увернулся и снова бросился к нам. Радостное тявканье эхом отдавалось в тюремных стенах. Во взгляде осужденного, которого крепко держали двое стражников, читалось прежнее безразличие: будто происходящее было очередной формальностью, неизбежно предшествующей казни. Прошло несколько минут, прежде чем собаку удалось изловить. Тогда мы привязали к ошейнику мой носовой платок и снова двинулись в путь, волоча за собой упиравшееся и жалобно скулившее животное.

До виселицы оставалось ярдов сорок. Я смотрел на смуглую обнаженную спину шагавшего впереди меня осужденного. Он шел со связанными руками, на вид неуклюже, но уверенной походкой индусов — не выпрямляя колен. При каждом шаге мышцы идеально точно выполняли свою работу, завиток волос на голове подпрыгивал вверх-вниз, ноги твердо ступали по мокрому гравию. Один раз, несмотря на державших его за плечи людей, он шагнул чуть в сторону, огибая лужу на дороге.

Как ни странно, но до этой минуты я до конца не понимал, что значит убить здорового, находящегося в полном сознании человека.

Когда я увидел, как осужденный делает шаг в сторону, чтобы обойти лужу, я словно прозрел — я осознал, что человек не имеет никакого права обрывать бьющую ключом жизнь другого человека. Осужденный не находился на смертном одре, жизнь его продолжалась, так же как наши. Работали все органы: в желудке переваривалась пища, обновлялся кожный покров, росли ногти, формировались ткани — исправное функционирование организма, теперь уже заведомо бессмысленное. Ногти будут расти и тогда, когда он поднимется на виселицу, и когда рухнет вниз, отделяемый от смерти лишь десятой долей секунды. Глаза все еще смотрели и на желто-

ватый гравий, и на серые стены, мозг все еще понимал, предвидел, размышлял, даже о лужах. Он и мы вместе составляли единую группу движущихся людей, видящих, слышащих, чувствующих, понимающих один и тот же мир. Но через две минуты резкий хруст возвестит о том, что одного из нас больше нет — станет одним сознанием, одной вселенной меньше.

Виселица находилась в маленьком, заросшем высокими колючками дворике, отделенном от основного двора тюрьмы. Это было кирпичное сооружение наподобие сарая с тремя стенами, с дощатым помостом, над которым возвышались столбы с перекладиной и болтающейся на ней веревкой. Возле механизма стоял палач — седой заключенный, одетый в белую тюремную форму. Когда мы вошли, он рабски согнулся в знак приветствия. По сигналу Фрэнсиса стражники, еще крепче ухватив узника, то ли подвели, то ли подтолкнули его к виселице и неловко помогли ему взобраться по лестнице. Потом наверх поднялся палач и накинул веревку на его шею.

Мы ждали, остановившись ярдах в пяти. Стражники образовали вокруг виселицы нечто вроде круга. Когда на осужденного набросили петлю, он принялся громко взывать к своему Богу. Визгливо-высокий повторяющийся крик: «Рама! Рама! Рама!», не исполненный, как молитва или вопль о помощи, ни отчаяния, ни ужаса, но мерный, ритмичный, напоминал удары колокола. В ответ жалобно заскулила собака. Стоявший на помосте палач достал маленький хлопчатобумажный мешочек — такие используют для муки — и надел его на голову осужденному. Но приглушенный материей звук все равно был слышен: «Рама! Рама! Рама! Рама!»

Палач спустился вниз и, приготовившись, положил руку на рычаг. Казалось, проходили минуты. Снова и снова, ни на миг не прерываясь, раздавались равномерные крики: «Рама! Рама! Рама!» Начальник тюрьмы, глядя вниз, медленно водил тростью по земле; возможно, он подсчитывал крики, отпустив осужденному лишь определенное число их — может, пятьдесят, может, сто. Лица у всех изменились. Индусы посерели, как плохой кофе; один или два штыка дрожали. Мы смотрели на стоявшего на помосте связанного человека с мешком на голове, слушали его глухие крики: каждый крик — еще один миг жизни. И все мы чувствовали одно и то же: убейте же его, убейте скорее, сколько можно тянуть, оборвите этот жуткий звук...

Наконец начальник тюрьмы принял решение. Резко подняв голову, он взмахнул тростью. «Чало»,— выкрикнул он почти яростно.

Раздался лязгающий звук, затем наступила тишина. Осужденный исчез, и только веревка закручивалась будто сама по себе. Я отпустил пса, и он тут же галопом помчался за виселицу, но, добежав, остановился как вкопанный, залаял, а потом отступил в угол двора. И, затаившись между сорняками, испуганно поглядывал на нас. Мы обошли виселицу, чтобы осмотреть тело. Висевший на медленно вращавшейся веревке осужденный — носки оттянуты вниз — был, без сомнения, мертв.

Начальник тюрьмы поднял трость и ткнул ею в голое оливковое тело, которое слегка качнулось. «С ним все в порядке»,— констатировал начальник тюрьмы. Пятясь, он вышел из-под виселицы и глубоко вздохнул. Мрачное выражение как-то сразу исчезло с его лица. Он бросил взгляд на наручные часы: «Восемь часов восемь минут. На утро, слава Богу, все».

Стражники отомкнули штыки и зашагали прочь.

Догадываясь, что вел себя плохо, присмиревший пес незаметно шмыгнул за ними. Мы покинули дворик, где стояла виселица, и, миновав камеры смертников с ожидавшими конца обитателями, вышли в большой центральный двор тюрьмы. Заключенные уже получали завтрак под надзором стражников, вооруженных бамбуковыми палками с железными наконечниками. Узники сидели на корточках, длинными рядами, с жестяными мисками в руках, а два стражника с ведерками ходили между ними и накладывали рис; созерцать эту сцену после казни было приятно и радостно. Теперь, когда дело было сделано, мы испытывали невероятное облегчение. Хотелось петь, бежать, смеяться. Все разом вдруг оживленно заговорили.

Шагавший подле меня молодой метис с многозначительной улыбкой кивнул в ту сторону, откуда мы пришли: «Знаете, сэр, наш общий друг (он имел в виду казненного), узнав, что его апелляцию отклонили, помочился в камере прямо на пол. Со страху. Не хотите ли сигарету, сэр? Мой новый серебряный портсигар, сэр! Недурен, не правда ли? Выложил две рупии и восемь анн. Отличная вещица, в европейском стиле».

Несколько человек смеялись, похоже, сами не зная над чем. Шедший рядом с начальником тюрьмы Фрэнсис без умолку болтал. «Ну, сэр, ффсе прошло так, что и придраться не к чему. Раз — и готово! Соффсем не ффсегда так бывает, нет-нет, сэр! Помню, доктору приходилось лезть под виселицу и дергать повешенного за ноги, чтоб уж наверняка было. Фф высшей степени неприятно!»

«Трепыхался... Уж чего хорошего»,— сказал начальник тюрьмы.

«Нет, сэр, куда хуже, если они вдруг заупрямятся. Помню, пришли мы за одним в камеру, а он ффцепился фф прутья решетки. Не поверите, сэр: чтобы его оторвать, потребовалось шесть стражников, по трое тянули за каждую ногу. Мы взывали к его разуму. „Дорогой,— говорили мы,— подумай, сколько боли и неприятностей ты нам доставляешь''. Но он просто не желал слушать! Да, с ним пришлось повозиться!»

Я вдруг понял, что довольно громко смеюсь. Хохотали все. Даже начальник тюрьмы снисходительно ухмылялся.

«Пойдемте-ка выпьем,— радушно предложил он.— У меня в машине есть бутылочка виски. Не помешает».

Через большие двустворчатые ворота тюрьмы мы вышли на дорогу. «Тянули за ноги!» — внезапно воскликнул судья-бирманец и громко хмыкнул. Мы снова расхохотались. В этот миг рассказ Фрэнсиса показался невероятно смешным. И коренные бирманцы, и европейцы — все мы вполне по-дружески вместе выпили. От мертвеца нас отделяла сотня ярдов.

1931

Как я стрелял в слона

В Моламьяйне — это в Нижней Бирме — я стал объектом ненависти многих людей; с той поры моя персона уже никогда не имела столь важного значения для окружающих. В городе, где я занимал пост окружного полицейского, сильно ощущались резкие антиевропейские настроения, правда, проявлявшиеся как-то бесцельно и мелочно. Выступить открыто не хватало духу, а вот если белой женщине случалось одной пройти по базару, платье ее часто оказывалось забрызганным соком бетели. Как полицейский офицер, я неизбежно становился мишенью для оскорблений, коим и подвергался всякий раз, когда представлялась возможность сделать это безнаказанно. Если на футбольном поле какой-нибудь шустрый бирманец подставлял мне подножку, а судья, тоже бирманец, демонстративно смотрел в противоположную сторону, толпа разражалась отвратительным хохотом. Такое происходило не один раз. В конце концов эти повсюду встречавшиеся мне насмешливые желтые физиономии молодых парней, эти оскорбления, летевшие вдогонку, когда я уже успевал удалиться на безопасное расстояние, начали изрядно действовать мне на нервы. Но невыносимее всего были молодые буддистские проповедники. В городе их насчитывалось несколько тысяч, и возникало впечатление, что у всех у них было одно-единственное занятие — устроившись на уличных углах, глумиться над европейцами.

Все это смущало и расстраивало меня. Уже тогда я осознал, что империализм есть зло и чем скорее я покончу со службой и распрощаюсь со всем этим, тем лучше. Теоретически и, разумеется, негласно я безоговорочно вставал на сторону бирманцев в их борьбе против угнетателей-англичан. Что же касается службы, то к ней я питал столь лютую ненависть, что, наверное, даже выразить не смогу. На такой должности вплотную сталкиваешься со всей грязной работой имперской машины. Скорчившиеся бедолаги в клетках вонючих камер предварительного заключения; посеревшие, запуганные лица приговоренных к длительному сроку; шрамы на ягодицах мужчин, подвергшихся избиению бамбуковыми палками,— все это вызывало во мне нестерпимое, гнетущее чувство вины. Мне никак не удавалось расставить все по своим местам. Я был молод, малообразован, в проблемах

своих вынужден был разбираться сам, находясь в том полном одиночестве, которым Восток окружает любого англичанина. Я даже не подозревал, что Британская империя умирает, и тем более не ведал, что она все же много лучше, чем молодые, теснящие ее конкуренты. Зато я знал, что мне, с одной стороны, никуда не уйти от ненависти к Британской империи, чьим солдатом я был, а с другой — от ярости, вызываемой во мне этими маленькими злобными зверьками, стремившимися превратить мою службу в ад.

Британское владычество в Индии представлялось мне незыблемой тиранией, in saecula saeculorum * подчинившей себе сломленные народы; и тем не менее я бы с величайшей радостью пырнул штыком какого-нибудь буддистского проповедника. Такие чувства естественно возникают как побочный продукт империализма: спросите любого английского чиновника в Индии, если сможете поймать его в неслужебное время.

И вот однажды произошло нечто, косвенным образом прояснившее многое. Внешне то был лишь малозначительный инцидент, но мне он позволил яснее, чем раньше, увидеть сущность империализма, истинные мотивы, движущие деспотичными правительствами. Однажды рано утром младший полицейский инспектор позвонил мне по телефону из полицейского участка, расположенного на другом конце города, и сообщил, что на базаре бесчинствует слон. Не могу ли я прийти и предпринять что-нибудь? Я не знал, какая от меня может быть польза, но хотелось посмотреть, что там происходит, и, взгромоздившись на пони, я отправился в путь. С собой я прихватил винтовку, старый «винчестер» сорок четвертого калибра — слона из него, конечно, не убьешь, но вдруг пригодится пошуметь in terrorem **. По дороге меня то и дело останавливали и рассказывали, что натворил слон. Это был вовсе не дикий, а домашний слон, у которого просто начался период полового возбуждения — муста. Перед наступлением муста его, как и всех домашних слонов, посадили на цепь, но прошлой ночью он сорвался и сбежал. В таком состоянии со слоном, кроме погонщика, никому не справиться, но тот, пустившись за беглецом, выбрал неверное направление и теперь находился в двенадцати часах хода отсюда; слон же неожиданно утром вновь объявился в городе. Не имевшие оружия бирманцы были перед ним совершенно беззащитны. Слон между тем уже снес чью-то бамбуковую хижину, убил корову и совершил налеты на фруктовые ларьки, поглотив все, что там было; вдобавок ко всему он столкнулся с муниципальным мусорным фургоном, который был им опрокинут и изрядно помят, правда, после того как водитель выскочил и пустился наутек.

В квартале, где видели сбежавшего слона, меня ждал младший инспектор-бирманец и несколько констеблей-индусов. То был нищий квартал, где го крутому склону карабкался вверх лабиринт грязных убогих бамбуковых лачуг, крытых пальмовыми листьями. Помню, утро было пасмурное и душное — самое начало сезона дождей. Мы принялись расспрашивать, куда направился слон, и, как обычно, ничего не могли узнать толком. На Востоке всегда так: издалека история представляется вполне ясной, однако чем ближе к месту событий, тем она туманнее. Одни говорили, что слон пошел туда, другие — сюда, третьи уверяли, что и слыхом не слыхали ни про какого слона. Я уже совсем было решил, что в этой истории нет ничего, кроме нагромождения лжи, когда где-то совсем рядом раздались пронзительные крики. С рассерженными возгласами: «Пошли отсюда! Пошли вон, немедленно!» — из-за угла появилась старуха с кнутом в руке, прогонявшая стайку голых ребятишек. За ней следовало несколько причитавших и охавших женщин; очевидно, там произошло нечто такое, чего детям видеть не полагалось. Обогнув хижину, я увидел распростертое в грязи тело человека. Это был почти обнаженный индус-дравид. По-видимому, смерть настигла смуглого кули лишь несколько минут назад. Очевидцы говорили, что слон наткнулся на него, огибая лачугу; обхватив жертву хоботом и надавив ногой на спину, он проволок ее по земле. Был сезон дождей, и тело индуса пропахало в размякшей почве канаву в фут глубиной и пару ярдов длиной. Он лежал на животе, раскинув руки, с головой, вывернутой набок. Покрытое слоем грязи лицо, с широко открытыми глазами и обнажившимися словно в ухмылке зубами выражало нестерпимую муку. (Кстати, не

* *in saecula saeculorum* (лат.) — во веки веков.

** *in terrorem* (лат.) — для устрашения.

пытайтесь убедить меня, что мертвые выглядят умиротворенными. Почти все трупы, которые мне доводилось видеть, оставляли жуткое впечатление.) Нога огромного животного полностью содрала со спины несчастного кожу — так свежуют кроликов. Увидев труп, я отправил ординарца к своему другу, дом которого находился неподалеку, — за винтовкой, годной для охоты на слона. Еще раньше я отослал пони, поскольку мне совсем не хотелось, чтобы, учуяв слона, он ошалел от испуга и сбросил меня.

Через несколько минут вернулся ординарец с винтовкой и пятью патронами, тут же подоспели несколько бирманцев, сообщивших, что слон пасется внизу на рисовых полях, всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Стоило мне двинуться вперед, как практически все население квартала высыпало на улицу и устремилось за мной. Они заметили винтовку и теперь в радостном возбуждении кричали, что я иду убивать слона. Пока тот опустошал их дома, они не проявляли к нему особого интереса, но теперь слона собирались застрелить, и это было совсем другое дело. Они отнеслись к происходящему как к развлечению — толпа англичан, должно быть, реагировала бы точно так же, — помимо всего прочего, они надеялись на дармовое мясо. От этого мне стало как-то не по себе. В мои намерения вовсе не входило убивать слона — винтовка нужна была мне только для самозащиты, так, на всякий случай; и потом — всегда теряешься, если за тобой наблюдает толпа. Как дурак, коим себя и чувствовал, вышагивал я вниз по склону с винтовкой на плече, а следовавшее за мной по пятам скопище напиравших друг на друга людей непрерывно росло. Внизу, оставляя домики далеко в стороне, пролегала посыпанная щебнем дорога, за ней на тысячу ярдов в ширину раскинулись болотистые, размокшие от первых дождей, поросшие дикой травой, еще не вспаханные рисовые поля. Слон стоял в восьми ярдах от дороги, повернувшись к нам левым боком. На подступавшую толпу он не обратил ни малейшего внимания. Он выдергивал пучки травы, ударял ими по колену, стряхивая землю, и засовывал в рот.

На дороге я остановился. Увидев слона, я уже внутренне решил, что не должен стрелять в него. Убийство рабочего слона — дело очень серьезное, сравнимое с уничтожением большого дорогостоящего механизма, и совершенно очевидно, что прибегать к этому следует лишь при крайней необходимости. На таком расстоянии мирно пасшийся слон, казалось, представлял не бóльшую опасность, чем корова. Тогда я подумал — и не изменил своего мнения поныне, — что период муста у него уже кончался и поэтому, наверное, он так и будет тихо-мирно бродить, пока подоспевший погонщик не изловит его. Более того, я не испытывал никакого желания убивать животное. Хотелось немного понаблюдать за слоном, убедиться, что он не рассвирепеет вновь, и отправиться восвояси.

Но в это самое мгновенье я обернулся и взглянул на сопровождавшую меня толпу. То была огромная масса людей, по меньшей мере тысячи две, которая с каждой минутой все прибывала. Она далеко, по обе стороны, запрудила дорогу. Передо мной расстилалось море пестрых одежд, на фоне которого явственно выделялись радостные и возбужденные в предвкушении развлечения желтые лица людей, уверенных в неминуемой смерти слона. Они следили за мной, как следили бы за иллюзионистом, готовившимся показать фокус. Они не любили меня, но сейчас, с магической винтовкой в руках, я был объектом, достойным наблюдения. Внезапно я осознал, что рано или поздно слона придется прикончить. От меня этого ждали, и я обязан был это сделать; я почти физически ощущал, как две тысячи воль неудержимо подталкивали меня вперед. Именно тогда, когда я стоял там с винтовкой в руках, мне впервые открылась вся обреченность и бессмысленность владычества белого человека на Востоке. Вот я, европеец, стою с винтовкой перед безоружной толпой туземцев, как будто бы главное действующее лицо спектакля, фактически же — смехотворная марионетка, дергающаяся по воле смуглолицых людей. Мне открылось тогда, что, становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе, превращается в претенциозную, насквозь фальшивую куклу, в некоего безликого сагиба — европейского господина. Ибо условие его владычества состоит в том, чтобы непрерывно производить впечатление на туземцев и своими действиями в любой критической ситуации оправдывать их ожидания. Постоянно скрытое маской лицо со временем неотвратимо срастается с нею. Я неизбежно должен был застрелить слона. Послав за

винтовкой, я приговорил себя к этому. Сагиб обязан вести себя так, как подобает сагибу: он должен быть решительным, точно знать, чего хочет, действовать в соответствии со своей ролью. Проделать такой путь с винтовкой в руках во главе двухтысячной толпы и, ничего не предприняв, беспомощно заковылять прочь — нет, об этом не может быть и речи. Они станут смеяться. А вся моя жизнь, как и жизнь любого европейца на Востоке,— это борьба за то, чтобы не стать посмешищем.

Мне не хотелось убивать слона. Я смотрел, как он со свойственной слонам добродушной озабоченностью ударяет пучками травы по колену. Казалось, что выпустить в него пулю все равно что совершить гнусное и жестокое человекоубийство. В ту пору я еще не проявлял излишней щепетильности в охоте, но мне никогда не приходилось — да и не хотелось — стрелять в слона (почему-то всегда представляется, что убивать больших животных — хуже). К тому же, нужно было принять во внимание интересы владельца животного. Живой слон стоил по крайней мере сто фунтов, цена мертвого определяется ценой его бивней, то есть, возможно, пятью фунтами. Между тем надо было действовать быстро. Я выбрал опытных на вид бирманцев, пришедших раньше нас, и стал расспрашивать их о поведении слонов. Они повторяли одно и то же: пока к нему не пристают, он ни на кого не обращает внимания, но, если подойти слишком близко, может напасть.

Я ясно представлял себе, как следовало поступить. Я подойду к слону — ну, скажем, ярдов на двадцать пять — и посмотрю, как он поведет себя. Если бросится на меня, я выстрелю, если не обратит внимания, спокойно оставлю на месте до прибытия хозяина. В то же время я понимал, что ничего подобного не сделаю. Я плохо стреляю из винтовки, земля превратилась в вязкую грязь, в которой нога проваливается при каждом шаге. Если слон бросится на меня, а я промахнусь, шансов на удачу у меня будет не больше, чем у лягушки под дорожным катком. Даже тогда я не особенно тревожился о собственной шкуре, зато ни на миг не забывал о смуглых лицах у меня за спиной. Чувствуя на себе взгляды толпы, я не испытывал страха в обычном смысле слова — какой испытывал бы, будь я один. Европеец не имеет права проявлять признаков страха на глазах у туземцев, поэтому чаще всего он и не боится. Волновала лишь одна мысль: если я оскандалюсь, две тысячи бирманцев позаботятся о том, чтобы меня догнали, изловили и затоптали ногами, превратив, как индуса на холме, в ухмыляющийся труп. Вполне вероятно, что, произойди такое, многие из них будут смеяться. Нет, так дело не пойдет. Оставался только один путь. Я заправил патроны в магазин и лег на дорогу, чтобы лучше прицелиться.

Толпа замерла, и из неисчислимых глоток вырвался глубокий, низкий, счастливый вздох, как у людей, наконец дождавшихся поднятия занавеса. Значит, все-таки потеха будет. Винтовка была великолепная, немецкая, с оптическим прицелом. Тогда я еще не знал, что, когда стреляешь в слона, нужно целиться в мысленно проведенную между ушными отверстиями линию. Если слон стоял боком, бить следовало прямо в ушное отверстие, я же прицелился на несколько дюймов левее, полагая, что именно там и расположен мозг.

Спустив курок, я не услышал выстрела и не почувствовал отдачи — обычное явление, когда пуля попадает в цель,— зато я услышал дьявольский торжествующий рев, взметнувшийся над толпой. И почти тут же — казалось, пуля не могла столь быстро достигнуть цели — со слоном произошла таинственная жуткая перемена. Он не пошевельнулся, не упал, но изменилась каждая линия его тела. Он вдруг оказался больным, сморщенным, невероятно старым, как будто страшный, хотя и не поваливший наземь удар пули парализовал его. Прошло, казалось, бесконечно много времени — пожалуй, секунд пять,— прежде чем он грузно осел на колени. Изо рта потекла слюна. Слон как-то неимоверно одряхлел. Нетрудно было бы представить, что ему не одна тысяча лет. Я вновь выстрелил в ту же точку. Он не рухнул и после второго выстрела: напротив, с огромным трудом невероятно медленно поднялся и, ослабевший, с безвольно опущенной головой выпрямился на подгибающихся ногах. Я выстрелил в третий раз. Этот выстрел оказался роковым. Все тело слона содрогнулось от нестерпимой боли, ноги лишились последних остатков сил. Падая, он словно приподнялся: подогнувшиеся под тяжестью тела ноги и устремленный ввысь хобот делали слона похожим на опрокидывающуюся громадную скалу с растущим на вершине деревом. Он протрубил — в первый и последний раз. А потом повалился брюхом ко мне, с глухим стуком, от которого содрогнулась вся земля, казалось, даже там, где лежал я.

Я встал. Бирманцы мчались по грязи мимо меня. Было ясно, что слону уже никогда не подняться, но он еще жил. Он дышал очень ритмично, шумно, с трудом вбирая воздух; его огромный, подобный холму бок болезненно вздымался и опускался. Рот был широко открыт, и я мог заглянуть далеко в глубину бледно-розовой пасти. Я долго медлил в ожидании смерти животного, но дыхание не ослабевало. В конце концов я выпустил два оставшихся у меня патрона туда, где, по моим представлениям, находилось сердце. Из раны хлынула густая, как красный бархат, кровь, но слон еще жил. Его тело даже не дрогнуло, когда ударили пули; без остановок продолжалось затрудненное дыхание. Он умирал невероятно мучительно и медленно, существуя в каком-то другом, далеком от меня мире, где даже пуля уже бессильна причинить больший вред. Я почувствовал, что должен оборвать этот ужасающий шум. Смотреть на огромного поверженного, не могущего ни шевельнуться, ни умереть зверя, и сознавать, что ты не в состоянии даже прикончить его, было невыносимо. Мне принесли мою малокалиберную винтовку, и я принялся выпускать пулю за пулей в сердце и в горло. Слон вроде бы и не замечал их. Мучительное шумное дыхание проходило все так же ритмично, напоминая работу часового механизма.

Наконец, не в силах больше вынести этого, я ушел. Потом я узнал, что прошло полчаса, прежде чем слон умер. Но еще до моего ухода бирманцы стали приносить корзинки и большие бирманские ножи: рассказывали, что к вечеру от туши не осталось почти ничего, кроме скелета.

Убийство слона стало темой бесконечных споров. Хозяин слона бушевал, но ведь это был всего лишь индус, и сделать он, конечно, ничего не мог. К тому же, юридически я был прав, поскольку разбушевавшийся слон, подобно бешеной собаке, должен быть убит, если владелец почему-либо не в состоянии справиться с ним. Среди европейцев мнения разделились. Люди в возрасте сочли мое поведение правильным, молодые говорили, что чертовски глупо стрелять в слона только потому, что тот убил кули — ведь слон куда ценнее любого чертового кули. Сам я был несказанно рад свершившемуся убийству кули — это означало с юридической точки зрения, что я действовал в рамках закона и имел все основания застрелить животное. Я часто задаюсь вопросом, понял ли кто-нибудь, что мною руководило единственное желание — не оказаться посмешищем.

1936

Перевела с английского М. Теракопян

Юрий Рытхэу

СТРАШНЫЙ НЕМЕЦ МЕКЛЕНБЕРГ

РАССКАЗ

Никто не помнил, откуда и каким образом Мекленберг появился в нашем чукотском селении Улак, сам он об этом никому не рассказывал, а вопросов ему не задавали: здесь это не принято. Полагали, он был из тех, кто в свое время, прослышав о несметных золотоносных песках полуострова Сьюард, двинулся из Европы на Аляску и, не найдя там удачи, перебрался через Берингов пролив да и осел у нас, на северо-восточной окраине Азиатского материка, женился на чукчанке и построил жилище на лагунной стороне Улакской косы — странную смесь древней чукотской яранги и деревянного дома: подобие комнатки с обмазанной глиной кирпичной печкой.

Мекленберг хорошо говорил по-чукотски, гораздо лучше, чем по-русски, умел охотиться зимой на нерпу и лахтака, а летом исполнял обязанности стрелка на вельботе своего тестя. Коренные жители Улака не отличали его от себя, а дети Мекленберга, Володя и Надя, несмотря на вполне европейскую внешность, ничем больше не выделялись среди своих чукотских сверстников — улакских девочек и мальчишек.

Более того, улакские чукчи и эскимосы не подозревали, что этот мрачноватый рыжий человек — немец.

Его национальностью не интересовались и на полярной станции, куда Мекленберг определился работать водовозом. Он приладил большую бочку на колесную тележку, запряг в нее собак и, удивляя всех, с грохотом катил по единственной улице селения от полярной станции к подножию сопки, где растекалась большая лужица от улакского ручья, бегущего из-под снежниц, остававшихся в скалистых обрывах Дежневского массива.

Он топил баню, откапывал после пурги метеорологические будки, окна и двери домов, словом, исполнял всякую хозяйственную работу с необыкновенной обстоятельностью и аккуратностью.

Мекленберг был отличным семьянином, трогательно заботился о своей жене Мину, больной туберкулезом.

Это была прекрасная весна. Припай рано оторвало от берега, и охотничьи вельботы вернулись из Нуукэна обратно в Улак, ближе к своим семьям. Ждали большой пароход, который должен привезти новые товары, строительные материалы: многие улакцы переделывали свои древние жилища, пристраивали комнатки с застекленными окошками, впуская дневной, солнечный свет в яранги. Жизнь в чукотском селении менялась с необыкновенной быстротой. Только что проводили выпускников семилетней школы в Анадырь, в окружное педагогическое училище. На краю села поставили ветродвигатель и повесили электрические лампочки не только в домах, но и в ярангах. Правда, это электричество просуществовало до первой пурги, но люди поверили в новый свет и ожидали привоза настоящей дизельной электростанции.

Некоторые молодые люди мечтали поехать в Ленинград, в открывшийся там Институт народов Севера, где уже учился наш земляк Выквов, брат Туккая, председателя районного исполкома. Туккай ездил в гости к брату и привез из Ленинграда патефон с пластинками русских и еврейских народных песен.

На вельботы приладили моторы, в ярангах застрекотали швейные машинки. В Улаке открыли амбулаторию и милицейский пост с маленькой одноместной камерой предварительного заключения. Строить диковинный воскыран — темницу — поручили Мекленбергу, мастеру на все руки, умевшему распиливать на аккуратные доски плавниковые бревна. Для этого он соорудил настоящую ручную лесопилку: один человек стоял внизу в больших автомобильных очках, чтобы опилки не попадали в глаза, другой — наверху, и длинной двуручной пилой они распиливали прибитое волнами бревно на такие нужные в этом безлесном краю доски. Мекленберг сложил из тщательно подобранных бревнышек сруб для тюремной камеры и прорубил маленькое окошечко, где вместо решетки поставил чугунный печной колосник.

Вообще-то камера никогда не использовалась по прямому назначению. Чаще всего в ней останавливался всякий командированный люд, потому как помещение было добротное, снабженное прекрасной печуркой, которая отлично держала тепло даже в самый сильный мороз и в лютую пургу.

И вдруг — известие о начале войны. Оно поставило под большое сомнение все эти хорошие начинания и множащиеся признаки прогресса.

— Фашистская Германия напала, — так сначала звучали грозные и тревожные слова.

— Немцы напали, — стали говорить через несколько дней.

На полярной станции повесили карту, обозначив линию фронта. Она стремительно приближалась к Москве, и в конце лета карту закрыли белой занавеской, которую не разрешалось раздергивать.

Приходили вести о зверствах оккупантов, улакцы с ужасом и возмущением разглядывали фотографии сожженных деревень, разрушенных городов, повешенных мирных жителей.

— Так люди не делают, — говорили старики. — Даже когда воюют, так бесчеловечно не поступают.

И вдруг кто-то вспомнил, что Мекленберг — немец! Это случилось уже в начале зимы, когда гитлеровские войска подошли к Москве, и по Улаку поползли тревожные слухи о возможной сдаче столицы. Кто распространял эти слухи, неизвестно, но вместе с этими слухами вдруг выяснилось, что враг в лице водовоза полярной станции уже в Улаке.

Надо сказать, что, кроме сельского Совета, никакой другой власти в Улаке не было. Единственный милиционер Пряжкин ушел добровольцем на фронт.

В домик сельского Совета, где в свободное от охотничьего промысла время восседал за небольшим письменным столом под портретами Сталина и Горького председатель Кэлы, пришли начальник полярной станции Голосов и заведующий торговой базой Журов.

Объяснив положение на фронте, они предложили изолировать немца Мекленберга.

— Вполне возможно, — многозначительно произнес Журов, — что он агент гестапо.

— Вы хотите сказать Гитлера? — удивился Кэлы, поначалу сильно усомнившийся в словах Журова, которому не очень доверял. Земляки жаловались, что заведующий торговой базой часто поступает нечестно, занижает сортность пушнины, сам скупает шкурки за бесценок. — Откуда вам это стало известно?

— А вы сами подумайте: зачем немцу жить на Чукотке? — с въедливой настойчивостью поинтересовался Голосов. — Какая ему в этом корысть?

— Но ведь у него здесь семья, дети...

— Ну и что? — пожал плечами Журов. — Сколько таких семей бывало здесь, однако рано или поздно люди уезжали, а их жены и дети оставались... — «Люди» — это временные, приезжие мужья, по определению Журова.

— Мекленберг очень привязан к жене и детям, — спокойно продолжал Кэлы. — Вы бы видели, как он ухаживает за больной Мину! Да и в детях души не чает!

— А если он это делает в шпионских целях? — сузив глаза, спросил Журов.

Он был высок ростом, костляв и на всем его лице выпирали какие-то угловатые кости, в которых прятались неожиданно узкие, темно-коричневые глаза.

— Представьте себе,— подхватил начальник полярной станции,— немцы ведь готовились к войне исподволь. И агентуру они начали создавать исподволь. Сколько лет живет Мекленберг в Улаке?

— Лет пятнадцать,— ответил Кэлы, обескураженный и сбитый с толку всеми этими разговорами.

— Ну вот,— уверенно сказал Голосов.— Лет пятнадцать назад его забросили. А теперь он ведет подрывную работу...

— Он первым подписался на военный заем,— напомнил Кэлы.— На две зарплаты.

— Вы наивный человек! — усмехнулся Журов.— Он это сделал, чтобы отвести от себя подозрение. Товарищ Кэлы, мы обращаемся к вам как к полномочному представителю Советской власти. Когда враг у стен столицы, когда смертельная опасность нависла над нашей страной, мы не можем позволить немецкому шпиону свободно разгуливать по советской земле и вести подрывную, вредительскую работу. Предлагаем Мекленберга арестовать и заключить в тюрьму до полного выяснения.

Кэлы ничего не оставалось, как отправиться вместе с Голосовым и Журовым к Мекленбергу. Сначала зашли в его ярангу. Хозяин, по словам жены, был на работе.

Мекленберг запрягал собак, чтобы на этот раз отправиться не за водой, а за льдом: улакский ручей замерз, и воду теперь надо было вытапливать из пресного льда, который скалывали с замерзшей речки на другом берегу лагуны.

Журов и Голосов еще издали замедлили шаг. Кэлы заметил, что, несмотря на внешнюю решительность, эти два бдительных товарища, распознавших смертельного врага в Мекленберге, тем не менее слегка трусили.

— Гражданин Мекленберг! — возвысив голос, строго произнес Журов.— Вы арестованы!

Мекленберг не спеша допряг собаку, выпрямился и вопросительно посмотрел на Журова.

— Что ты сказал?

— Ты арестован! — подтвердил Голосов.— Собирайся! Будешь посажен в тюрьму!

— За что? — удивленно спросил Мекленберг.

— Как за что? — удивился в свою очередь Голосов.— За то, что ты — немец!

Арест Мекленберга взбудоражил весь Улак.

Родичи его жены пришли в сельский Совет. Кто-то видел, как Кэлы участвовал в задержании и сопровождал арестованного, когда того вели по улице под конвоем. По этому случаю Голосов даже держал наготове вынутый из кобуры револьвер.

По селу начал распространяться слух, что Мекленберг был послан гитлеровской разведкой на Чукотку загодя, задолго до войны, чтобы он мог глубоко внедриться в среду советских людей и отсюда шпионить и доносить фашистскому командованию.

Молва обрастала новыми подробностями. Мекленберг, оказывается, специально устроился на полярную станцию, чтобы быть в курсе метеонаблюдений. Эти ценные данные он якобы намеревался передавать ближайшим здесь, на Дальнем Востоке, союзникам Германии — японцам. Вот только каким образом он это собирался делать, оставалось пока для всех загадкой.

Долго судили-рядили, что делать с его детьми, школьниками Надей и Володей. На их счастье, кто-то из учителей вспомнил сталинское указание: сын за отца не отвечает. Детей оставили в школе, хотя для них наступили поистине черные дни: учителя и сверстники называли их не иначе, как шпионскими детьми.

А между тем Мекленберг сидел в собственноручно построенной тюрьме, посещаемый время от времени сердобольными родственниками и верной женой Мэну. Они подкармливали арестованного, старались подбодрить его, но, похоже, Мекленберга больше интересовало не собственное состояние, а собачья упряжка. Тесть заверял его, что с собаками все в порядке, он их кормит, но вот полярникам приходится худо — сами ездят за льдом, колют уголь и топят печи.

Большинство жителей Улака поразилось коварству и изобретательности фашистов: надо же додуматься заблаговременно заслать шпиона на далекую Чукотку и женить его к тому же на чукчанке! На родственников Мекленберга начали посматривать с опаской, словно те заболели какой-то заразной болезнью.

В ярангах только и было разговоров о Мекленбергах, а Голосов и Журов ходили настоящими героями. Они послали соответствующую депешу в район, в залив Лаврентия, и ждали дальнейших распоряжений.

Мекленберга сначала по очереди охраняли работники полярной станции и некоторые учителя. Но это было хлопотно: стоять на холоде и на ветру часами.

Через месяц решено было допустить арестованного к работе.

Журов объяснил это решение тем, что враг должен работать, чтобы не даром ел хлеб, который и так выдается ограниченно.

Мекленберг был счастлив снова обрести свою любимую собачью упряжку.

В первые дни ограниченной свободы Мекленберга сопровождали назначенные и добровольные конвоиры. Когда немец после вынужденного простоя снова запряг упряжку и наладил нарту ехать на другой берег лагуны за пресным льдом, многие жители Улака вышли из своих яранг поглядеть, как поедет шпион.

Толпа молча провожала отъезжающего Мекленберга и его конвоира, учителя физики и математики Григория Максимовича Недовесова, вооруженного охотничьим дробовиком шестнадцатого калибра. Учитель стоял на некотором расстоянии от нарты, строго поглядывал то на арестованного, то на путающихся под ногами ребятишек, отгоняя их окриком:

— А ну, марш отсюда!

Закончив приготовления, Мекленберг жестом пригласил конвоира занять место на нарте и крикнул на собак. Упряжка взяла так резко, что Недовесов едва не вывалился вместе с ружьем.

Когда нарта скрылась за первым сугробом, кто-то из толпы произнес:

— Вот увидите: тюкнет Мекленберг учителя остолом и укатит...

— Куда укатит? — возразил другой.— Кругом тундра.

— В тундру и укатит,— продолжал первый.— И потом ищи его.

Основания для таких опасений были: Мекленберг обладал огромной физической силой и при нужде мог запросто справиться с хлипким учителем, даже не прибегая к остолу — палке с железным наконечником, которая служит тормозом при нартовой езде.

Люди не расходились. Подогреваемые разного рода предположениями и опасениями, они сомневались в благополучном возвращении Мекленберга со своим конвоиром.

Примерно через час на льду лагуны показалась собачья упряжка. Кто-то сбегал за биноклем. Выяснилось, что за нагруженной нартой идут двое. Для иных такой поворот дела был явным разочарованием, но Журов и Голосов вздохнули свободнее, когда нарта, нагруженная доверху острыми, бесформенными кусками голубого пресного льда, поравнялась с ними.

Недовесов по-военному отрапортовал Голосову о благополучно доставленном арестанте и с явным чувством облегчения вручил ему дробовик.

Мекленберг, не обращая никакого внимания на всю эту церемонию, направился на полярную станцию, разгрузил нарту, сложил лед на крышу кухни, чтобы бродячие собаки не обмочили его, нарубил лед на камбузе, в бане, затопил саму баню, ибо это был субботний день, наносил угля ко всем печкам, нащепил растопку из тарных ящиков и так же молча и величественно отправился в свою тюрьму, сопровождаемый на этот раз лишь малым числом любопытных. Даже ребятишек было куда меньше, чем часа три назад.

В тот вечер никакой охраны возле тюрьмы не было, да и дверь не

заперли на замок. Этим воспользовалась Мину и посетила своего арестованного мужа вместе с детьми.

Володя, старший, учившийся уже в четвертом классе, пытливо поглядев на отца, осторожно спросил:

— Ты вправду шпион, папа?

— Все это ерунда! — резко ответил Мекленберг, с удовольствием нарезая острым охотничьим ножом итгильгын — неслыханное лакомство в зимнюю пору — китовую кожу с салом.

— Почему же тогда тебя посадили?

— Потому что я немец! — хрипло ответил Мекленберг и вдруг с горечью подумал: — Какой же я немец, если всего-то немецкого у меня и есть, что фамилия. Ни языка, ни своих предков не знаю... Вырос в приюте, толком не учился. Можно сказать, малограмотный, а то и вовсе неграмотный человек. — Здешние чукчи его возраста куда образованнее, потому что посещали ликбез, а Мекленберга туда не взяли, полагая, что раз он европеец, то должен автоматически быть грамотным...

Но эти мысли быстро пролетели в его мозгу, как птичья стая, рассеялись, и в сознании остались лишь насущные заботы о больной Мину, о детях.

— Дома жир есть?

— Жир есть, — ответила Мину. — Вчера брат добыл лахтака, поделились и жиром, и мясом.

— Хорошо, — протянул Мекленберг и погладил по голове мальчика. — Как учишься?

— Неплохо, — ответил Володя, — стараюсь.

— А ты, Наденька? — обратился он к дочери.

Надя Мекленберг была очень красивой девочкой. Она тихо и неистово обожала своего несчастного отца. Надя ничего не ответила, но из ее больших, голубых, отцовского цвета глаз обильно полились слезы.

— Не плачь, не плачь, — дрогнувшим голосом произнес Мекленберг. — Все будет хорошо. Только учись. Будь грамотной. Помогай маме.

Снаружи послышались шаги, отворилась дверь, и вместе с морозным облаком в камеру вошел Журов. Он строго поглядел на посетителей и сказал:

— Немедленно покиньте арестованного!

Бедной Мину с детьми пришлось повиноваться и оставить опечаленного мужа. А как хотелось Володе рассказать отцу о школьном происшествии, когда их с сестрой хотели исключить из пионеров и даже склоняли к тому, чтобы они отреклись от отца, ставили в пример русского пионера Павлика Морозова, который выдал своего папу, кулацкого пособника, и тем заслужил славу.

Дети любили своего рыжего, молчаливого, такого непохожего ни на чукчей, ни даже на русских жителей Улака отца. Да, он не рассказывал им сказок, не напевал им песен, зато санки у них были первоклассные, сработанные так, что, впервые увидев их, главный радист полярной станции воскликнул: «Да такие можно сделать только на заводе!»

Постепенно новизна происшествия стала тускнеть, интерес к немецкому шпиону настолько ослаб, что даже стали появляться сомнения: а действительно ли он такой искусно замаскированный агент, как это утверждали Журов и Голосов?

Тем временем арестованный все больше пользовался свободой, вернулся к исполнению своих многочисленных обязанностей на полярной станции. Из района приезжал следователь, допрашивал Мекленберга, ничего от него толком не добился, но посоветовал на всякий случай держать немца в тюрьме до начала навигации.

Поговаривали даже, что порой Мекленберг под покровом ночи, особенно в пуржистые темные часы, тайком пробирался в свою ярангу на свидание к жене, чтобы поутру вернуться в камеру.

Немцев отогнали от Москвы, радостные вести чаще доходили до Улака. Карту, на которой была нанесена линия фронта, снова открыли для всеобщего обозрения.

А у жителей Улака появилось нечто вроде особого предмета гордости — как-никак, а у нас все же свой немец. В знак некой причастности к большой войне, которая шла за многие тысячи километров. Но еще продолжалась блокада Ленинграда, а многие улакские учителя были родом из этого города и, естественно, тревожились о судьбе своих близких, родных.

Снабжение в Улаке ухудшилось: подходили к концу запасы муки, сахара, чая. Табак почти пропал.

Ожидали парохода с американскими товарами. Он шел из Сан-Франциско прямым ходом в Улак, а отсюда уже должен был развезти продовольствие по отдаленным точкам.

Нормы на хлеб, сахар уменьшились. В Улаке не было продовольственных карточек в том виде, в каком они существовали в больших городах. Просто в сельском магазине был список улакцев, и против каждого имени продавец отмечал взятое.

Местные жители связывали с пароходом надежды на облегчение табачной нехватки. А ведь дело дошло до того, что курили спитой чай и даже пытались класть в трубки засохший заячий помет, по внешнему виду сильно смахивающий на махорку.

Долгожданный пароход пришел только поздней осенью, когда уже бушевали продолжительные штормы.

Подходили ледовые поля с севера, поэтому и речи не могло быть, чтобы выполнить ранее намеченный план и развезти продовольствие по маленьким селениям северного побережья Чукотского полуострова. Моряки торопились выгрузить сотни ящиков и мешков с самыми экзотическими, никогда не виданными здесь товарами.

Тут была мука в прекрасных белоснежных полотняных мешках, сахар-песок и сахар кусковой в красивых пачках, сгущенное молоко в фунтовых банках и в больших жестяных баках вместимостью с хорошее ведро, сушеные овощи, упакованные каждый по отдельности, огромные, желтые, неодолимо притягивающие к себе калифорнийские апельсины, джемы, варенья, соки... Кое-что удалось попробовать, когда в спешке выгрузки некоторые ящики разбивались, рвались мешки.

И табак. В железных и картонных коробках. Трубочный, для самодельных цигарок, и даже жевательный в виде плиток темно-коричневого цвета, обернутых в золотистую фольгу с портретом индейского вождя в роскошном головном уборе с орлиными перьями.

Было даже разных сортов вино и огненный напиток ром в аккуратных деревянных бочонках.

Эти несметные сокровища не могли вместиться в два небольших склада, выстроенных еще мистером Свенсоном в пору расцвета его торговли на Чукотском побережье.

Мешки и ящики кое-как покрывали брезентом, старыми моржовыми кожами. Но тем не менее все это соблазнительно и открыто торчало и вызывающе приглашало каждого прохожего.

Поставили сторожей. Старые чукчи несколько дней прохаживались меж рядами никогда не виданных и даже не воображаемых богатств, а потом, получив плату в виде табака, отказались, сославшись на то, что пришла пора осенней охоты. Дело в том, что, как было объявлено на сельском сходе, несмотря на такое изобилие на берегу Улака, продуктовые нормы оставались прежними, как по всей стране. Никто не имел права брать даже ненароком вывалившийся из мешка кусок сахара. Журов сказал: «Тот, кто будет замечен в этом, согласно законам военного времени будет расстрелян».

И что удивительно: несмотря на огромный соблазн, этой строгой меры не понадобилось применять ни к кому.

За всеми этими делами как-то позабыли о пленном или арестованном Мекленберге.

А он все больше свободного времени проводил дома, в яранге. Мину стало хуже, и она уже не вставала с постели. Женщина угасала на глазах, ее смуглая от рождения кожа странно посветлела, стала прозрачной. Опечаленный муж часами молча сидел на бревне-изголовье полога, держа лихорадочно-горячую руку жены.

Если Журов и Голосов закрывали глаза на нарушение арестованным дневного режима, то почему-то они ревностно следили за тем, чтобы ночи он проводил непременно в тюрьме, хотя она теперь даже и не запиралась.

Мину угасла утром, успев попрощаться с уходящими в школу детьми. Мекленберг отпросился с работы, поставил в известность своих стражей — Журова и Голосова — и собственноручно похоронил жену, отвергнув чукотский обычай. Он смастерил деревянный ящик, устлал его дно свежими мягкими стружками, нарядил покойную в матерчатое платье. Родичи Мину с ужасом и любопытством следили за неведомым обрядом. Впрягшись в нарту и отказавшись от сопровождающих, Мекленберг повез покойную на вершину нависающей над Улаком сопки. Оттуда открывался великолепный, захватывающий дух вид на простор обоих океанов — Ледовитого и Тихого, на острова в Беринговом проливе, за которыми можно было рассмотреть встающий из синевы, похожий на обломок айсберга зубчатый мыс Принца Уэльского — начало американской земли.

Мекленберг провел почти весь световой день на могиле жены. О чем он думал? Может быть, вспоминал свое полузабытое детство, размышлял о своих никогда не виденных и совершенно неизвестных ему родителях, людях, которые в мгновение любви зачали его, наделив величайшим даром — жизнью и оставив одного на этом огромном людском и земном пространстве, где единственным родным и близким ему существом была вот эта хрупкая женщина, чукчанка, родившаяся в темной дымной яранге при свете мерцающего пламени жирового светильника? Они понимали друг друга без длинных словесных изъявлений, любили с такой невероятной силой, что порой Мекленберг пугался этого всепоглощающего чувства.

Остались двое детей... Кем они станут, как сложится их жизнь?

Вечерняя заря перемещалась по краю неба все дальше на запад, и чем больше темнело небо, тем ярче становилась красная полоса под высокими облаками.

Ветра не было. Лишь откуда-то снизу, с подножия сопки время от времени, словно тяжкий вздох невидимого существа, доносилось еле уловимое движение воздуха. Постепенно все обволакивалось густеющей синевой. Она заполняла ложбины, долины замерзших ручьев и речек, поднималась выше, пока не скрыла редкие огни Улака, оставив лишь отблеск электрического освещения в окнах кают-компании полярной станции.

Через несколько дней после похорон Голосов вызвал к себе Мекленберга и строгим тоном, не терпящим никаких возражений, сообщил, что, кроме обычных обязанностей, ему вменяется охрана продуктов, выгруженных на берег и кое-как покрытых брезентом и моржовыми кожами.

— Ни один кусок сахара, ни одна горсть муки не должны пропасть! — гремел Голосов. — Своей головой ответишь за это.

— Почему я? — пожал плечами Мекленберг.

Голосов тупо уставился на немца.

— А кто же еще?

— Пусть отвечает головой и жизнью тот, кто будет воровать, — сказал Мекленберг.

Голосов подумал и согласился.

— Это само собой...

— А ружье дадите?

— Какой же сторож без оружия? — сказал Голосов, хотя у него были большие сомнения насчет того, можно ли вооружать арестованного.

Так Мекленберг стал еще и сторожем.

Он знал по опыту многолетней жизни средн чукчей, что только последняя сволочь позарится на чужое. Но все же прикинул, кто может соблазниться плохо лежащими, практически доступными любому мало-мальски ловкому человеку продуктами. Поэтому, прежде чем заступить на новое дежурство, Мекленберг обошел те несколько яранг, откуда ожидал подвоха, и поговорил с людьми. К счастью, таких в Улаке было немного — двое-трое...

Другая опасность исходила от ребятишек, от их озорства и естественного желания полакомиться заморскими конфетами, фруктами, всякого рода сладостями, да и просто утолить голод. Особенно это относилось к детям, живущим в интернате. Их кормили плохо и скудно.

В первую ночь своего дежурства Мекленберг устроил наблюдательный пост так, что практически держал в поле зрения все штабеля, груды мешков и ящиков. Особо укрыл и подтащил поближе к себе ящики с табаком и вином — то, что вернее всего могло привлечь слабого человека.

Странное дело, но поручение охранять груз с парохода как-то отодвинуло обиду и горечь ареста. Мекленберг понимал, что дурацкое и беспочвенное обвинение в шпионаже оставалось в силе и, видимо, он все еще считался арестованным, поскольку ему не возобновили ежемесячной платы на полярной станции. Правда, он так и кормился в той же столовой, где питались работники станции, усаживаясь за обеденный стол после всех в опустевшей кают-компании. Повар благоволил к нему и наваливал в тарелку столько, что оставалось еще детям — Наде и Володе, хотя они на голод не жаловались: ели то, что все ели в яранге, — копальхен, нерпичье и лахтачье мясо, квашеную зелень.

Хуже всего было в тихие морозные ночи. Потому как от ветра еще можно спрятаться меж штабелей мешков с мукой и сахаром, от летящего ветра со снегом укрыться за ящиками с замерзшими до каменной твердости калифорнийскими апельсинами, а вот мороз проникал всюду и приходилось выбираться из своего убежища и согреваться скорым шагом или даже бегом вокруг огромной кучи.

Время от времени из окрестных селений приезжали собачьи упряжки и увозили несколько мешков муки, сахару, ящик табака или сигарет, но много ли увезешь на собаках! Склад нисколько не истощался. Никто не просил этого делать, но Мекленберг на всякий случай сообразил позаимствовать у сына школьную тетрадь в клеточку, чтобы пересчитать и записать все, что было под его охраной. Это заняло несколько дней, но зато он теперь точно знал, что именно и в каком количестве находится под его опекой, и тех, кто брал товар, заставлял расписываться в тетради. Расписывались охотно, но удивлялись, что на страже такого невероятного богатства находился немец, о шпионской деятельности которого уже знали в самых дальних селах Чукотского полуострова.

Вскоре Мекленберг убедился, что он может спокойно спать по ночам: никому не приходило в голову тайком что-то взять. Люди знали бдительность стража и понимали, что лучше с ним не связываться. Действительно, если он и спал, какая-то часть его сознания бодрствовала, всегда была начеку.

Однажды морозной ночью Мекленбергу не спалось. Он несколько раз обошел вверенные ему сокровища, кое-где подоткнул оборвавшийся брезент, потом лег на окаменевшие мешки с мукой и уставился на яркие небесные созвездия. Он хотел верить, что душа его любимой Мину вознеслась ввысь и парит где-то там в бесчисленной россыпи созвездий и туманностей. Мекленберг знал, как называются эти причудливые звездные скопления, и слышал от родичей Мину, что все звездное круговращение проходит вокруг Неподвижной, которую русские называли Полярной. Этот беспрерывный звездный бег совершали Группа Девушек, Оленьи Упряжки, Охотники за Дикими Оленями и многие другие, которых Мекленберг уже не различал. По утверждениям тестя, у самой Полярной звезды располагались души тех, кто погиб или умер славной смертью, — в битве с врагами, защищая слабого, выручая человека из беды. Вряд ли робкая и нежная душа Мину попала туда. Скорее всего она в иных мирах, более скромных, в тихих закоулках вечного звездного покоя.

И еще утверждал тесть, что в сильный мороз, если прислушаться, можно уловить шепот звезд, шелест полос полярного сияния. Сегодня сияния не было. Не было и луны, поэтому звездный свет заполнял все небесное пространство и даже до некоторой степени разжижал непроглядную земную тьму, заставляя мерцать бескрайние снега, среди которых темными пятнами выделялись яранги и крыши нескольких деревянных домов. На полярной станции движок был выключен, над всем земным миром стояла такая тишина, что слух и впрямь невольно ловил какие-то звуки, могущие возникнуть в невообразимой глубине Вселенной.

Но вместо звездного шепота до слуха Мекленберга донесся вполне земной, человеческий шепот. Рука невольно сжала ствол старой берданки. Ружье не было заряжено. Один-единственный патрон, выданный Голосовым, лежал в кармане. Мелькнула мысль, что надо бы зарядить ружье. Мекленберг напряг слух и, к своему удивлению, вместо знакомой чукотской речи услышал русские слова.

Это было странно и в высшей степени подозрительно.

Мекленберг осторожно спустился со своего наблюдательного поста.

Голос доносился как раз оттуда, где были сложены бочонки с ромом и ящики с виски. Более нежные вина были перенесены в отапливаемый склад.

В свое время Мекленберг провел немало часов с отцом Мину, учась неслышно подкрадываться к нерпе, чутко лежащей у лунки на весеннем льду. Умение скрадывать собственные движения пригодилось и на этот раз — Мекленбергу удалось незамеченным подойти к двум фигурам, в которых он без труда узнал Голосова и Журова. Один из них прилаживал шланг к отвернутой пробке бочонка, а другой держал обыкновенный эмалированный чайник, в который они, видимо, и намеревались отсосать огненный напиток из далекой Ямайки.

Постояв несколько мгновений в растерянности, Мекленберг все же нашел в себе силы достаточно громко воскликнуть:

— Руки вверх!

К его изумлению, оба — и Журов, и Голосов — подняли руки, выронив шланг и чайник.

Первым опомнился Журов и грязно выругался.

— Опусти ружье! — крикнул он Мекленбергу.— Вот, черт, напугал!

— Здесь нельзя ничего брать! — твердо произнес Мекленберг.— Это государственное имущество!

— А какое твое собачье дело? — громким шепотом сказал Журов.— Опусти ружье, кому говорят!

— Нельзя брать! — стоял на своем Мекленберг.

Журов приблизился, и тут Мекленберг не только учуял, но и увидел, что директор торговой базы сильно пьян. Может, им не хватило выпивки, и они решили добыть огненный напиток таким путем?

— Отбери у него ружье,— посоветовал заплетающимся языком Голосов.

— Мекленберг, отдай ружье! — громко скомандовал Журов.

— Не отдам! — ответил Мекленберг.— А вы лучше уходите!

— Как ты смеешь так с нами разговаривать, фашист! — понесло Журова.— Помалкивай и исполняй, что тебе поручено! Ты, однако, забыл, что находишься под арестом и в любое время можешь быть отправлен обратно в тюрьму?

— Отправляйте,— спокойно сказал Мекленберг.— Но сначала сами уходите отсюда и пришлите другого сторожа.

— Да не обращай на него внимания! — махнул рукой Голосов и поднял оброненный на снег шланг.— Ты, немец, лучше помоги. На, держи чайник!

Но Мекленберг, отступив на шаг, не сделал никакого движения, чтобы взять протянутый чайник. Вместо этого он демонстративно взвел затвор берданки и коротко произнес:

— Стрелять буду!

— Да ну его! — плюнул себе под ноги Журов.— А то и в самом деле стрельнет, немчура проклятая! Пойдем, у меня есть наш советский спирт. Пусть подыхает здесь на морозе со своим ромом!

— Да ведь ром-то лучше спирта, вкуснее! — не унимался Голосов, но Журов уже тащил его почти силком от наставленного на них ружья Мекленберга.

Не забыв, однако, подобрать чайник и шланг, Журов и Голосов, петляя меж ящиков и штабелей мешков, двинулись прочь.

Отдышавшись, Мекленберг, придерживая пальцем, опустил взведенный затвор: патрона, как ожидалось, в нем не было. Он так и не зарядил берданку.

Наутро, когда Мекленберг явился на полярную станцию, Голосов отобрал у него оружие и объявил, что он не будет сторожить склад на берегу. Новым сторожем поставили хромого Куннукая, а все оставшееся вино перевезли в закрытый склад, чтобы не было никому соблазна.

Мекленберг вернулся к своей полувольной, полуарестантской жизни. Он редко заходил домой, в опустевшую ярангу: детей его определили в интернат стараниями председателя сельского Совета Кэлы, и они сами прибегали по вечерам в уютную, всегда теплую и теперь хорошо обжитую тюрьму.

Весной, когда началось таяние снегов, из-под сахарных штабелей потекли сладкие ручьи, и сельские собаки с наслаждением лакали необыкновенно вкусную воду. Пекарь жаловался, что и мука испортилась: примерно на треть содержимое мешков превратилось в камень. Как потом выяснилось, начисто сгнили все фрукты — яблоки и апельсины, померзли соки в жестяных и стеклянных банках, сухие фрукты, крупы и макаронные изделия покрылись плесенью. Поскольку они уже считались непригодными для человека, кашей из сухофруктов и заплесневелой вермишели кормили свиней на полярной станции.

Весной чаще стали наезжать собачьи упряжки из окрестных селений, и кучи ящиков и мешков понемногу уменьшались.

А вести с фронта становились все радостнее, и люди снова обретали надежду на новое будущее, которое щедро было обещано в многочисленных речах, в новой довоенной Конституции, переведенной на чукотский язык.

О Мекленберге, казалось, начисто забыли в районном центре. Никто оттуда за ним не приезжал, никто не напоминал, да и сами Голосов и Журов уже теперь не знали, что делать с несчастным немцем.

А тот продолжал неистово и добросовестно работать. Когда жаркое весеннее солнце съело снег на улице Улака, с поверхности лагуны, Мекленберг выволок из склада колесную водовозку и покатил на ней к ожившему улакскому ручью, важно восседая на передке. Через несколько дней из разрезанных вдоль железных бочек он сладил желоб и установил его на пути потока только что родившейся из зимнего чистого снега воды, чтобы легче было набирать ее в ведра, бочки.

Он привел в порядок территорию полярной станции, убрав и закопав в галечную косу сотни, а может быть, тысячи консервных банок, сровнял помойки, выложил обломками красного кирпича дорожки от павильонов, радиорубки и лабораторий к главному зданию станции — кают-компании.

Но все же в селении никто не забывал, что Мекленберг — немец и, как было сказано Журовым и Голосовым, немецкий шпион.

Вот уже и лед отнесло от берега, и охотничьи вельботы перебазировались от Нуукэна к родному селению, заняв кусок еще прочного ледового припая, испещренного снежницами и ослепительно отражающими солнце промоинами...

В середине июня из районного центра пришла гидрографическая парусно-моторная шхуна «Камчатка», и Мекленберга увезли в Лаврентия, не дав ему даже возможности попрощаться с детьми.

Как выяснилось много лет спустя, ни в чем не повинный Мекленберг и немцем никаким не был. Свою фамилию дал ему в детприемнике Саратова тамошний врач.

Из лагеря Мекленберг вернулся поздней осенью пятьдесят шестого года...

Мария Петровых

СТИХИ ИЗ АРХИВА

В прошлом году исполнилось 80 лет со дня рождения замечательного русского поэта Марии Петровых (1908—1979). Представляя подборку стихов из ее архива, вероятно, уже нет необходимости ссылаться, как это было при первых посмертных публикациях, на авторитет Ахматовой и Пастернака, высоко ценивших ее стихи. При жизни она печаталась очень мало, была известна скорее как переводчица, но после выхода книг «Предназначенье» (1984) и «Черта горизонта» (1986) круг ее читателей и почитателей значительно расширился. Растет посвященная ей поэтическая «антология», открытая Осипом Мандельштамом («Мастерица виноватых взоров...»), продолженная Верой Звягинцевой, — теперь в ней еще и стихи Давида Самойлова, Юлии Нейман, Сильвы Капутикян, Маро Маркарян, других поэтов.

Новая публикация, которая показывает, что Мария Петровых жила всеми болями и тревогами своего времени, даст, нам кажется, возможность увидеть ее по-новому, позволит отойти от уже сложившихся стереотипов в толковании судьбы поэта и покажет, что не одна лишь высокая требовательность к себе была причиной ее долгих молчаний. Вместе с тем новая подборка и подтверждает наше знание о Петровых: в стихах гражданских видны те же черты, что в стихах камерных, лирических — та же ранимость и совестливость, то же умение чувствовать чужую боль как свою и даже острее, чем свою, та же сдержанная страстность, те же смирение и гордость.

Ника ГЛЕН

★

Кто дает вам право спрашивать —
Нужен Пушкин или нет?
Неужели сердца вашего
Недостаточен ответ?

Если ж скажете — распни его,
Дворянин и, значит, враг,
Если царствия Батыева
Хлынет снова душный мрак, —

Не поверим, не послушаем,
Не разлюбим, не дадим —
Наше трепетное, лучшее,
Наше будущее с ним.

25.VIII.35

★

Есть очень много страшного на свете,
Хотя бы сумасшедшие дома,
Хотя бы изувеченные дети,
Иль в города забредшая чума,
Иль деревень пустые закрома,
Но ужасы ты затмеваешь эти —
Проклятье родины моей — тюрьма.

О, как ее росли и крепли стены —
В саду времен чудовищный побег,
Какие жертвы призраку измены
Ты приносить решался, человек!..
И нет стекла, чтобы разрезать вены,
Ни бритвы, ни надежды на побег,
Ни веры — для того, кто верит слепо,
Упорствуя судьбе наперекор,
Кто счастлив тем, что за стенами склепа
Родной степной колышется простор.
Скупой водой, сухою коркой хлеба
Он счастлив — не убийца и не вор.
Он верит ласточкам, перечеркнувшим небо,
Оправдывая ложный приговор.

Конечно, страшны вопли дикой боли
Из окон госпиталя — день и ночь.
Конечно, страшны мертвецы на поле,
Их с поля битвы не уносят прочь,
Но ты страшней, безвинная неволя,
Тебя, как смерть, нет силы превозмочь.
А нас еще ведь спросят — как могли вы
Терпеть такое, как молчать могли?
Как смели немоты удел счастливый
Заранее похитить у земли?..

И даже в смерти нам откажут дети,
И нам еще придется быть в ответе.

1938—1942



Без оглядки не ступить ни шагу.
Хватит ли отваги на отвагу?
Диво ль, что не громки мы, не прытки,
Нас кругом подстерегали пытки.
Снится ворон с карканьем вороньим.
Диво ль, что словечка не пророним,
Диво ль, что на сердце стынет наледь
И ничем уж нас не опечалить.
А отрада лишь в небесной сини,
Да зимой на ветках белый иней,
Да зеленые весною листья...
Мы ль виновны в жалком бескорыстье!
Мы живем не мудрствуя лукаво,
И не так уж мы преступны, право...

Про́кляты, не только что преступны!
Велика ли честь, что неподкупны.

Как бы ни страшились, ни дрожали —
Веки опустили, губы сжали
В грозовом молчании могильном,
Вековом, беспомощном, всесильном,
И ни нам, и ни от нас прощенья,
Только завещанье на отмщенье.

1939

★

— Что ж ты молчишь из года в год?
Сказать, как видно, нечего?
— О нет, меня тоска гнетет
От горя человечьего.

Во мне живого места нет,
И все дороги пройдены,
И я молчу десятки лет
Молчаньем горькой родины.

Моя душа была в аду.
Найду ли слово громкое!
Любую смертную беду
Я обходила кромкою.

До срока лучшие из нас
В молчанье смерти выбыли,
И никого никто не спас
От неминучей гибели.

Когда б сказать об этом вслух!
Но вновь захватывает дух...
Решись, решись отчаянно,
Скажись хотя б нечаянно!

Тогда не страшно умереть
И жить не страшно. Кто ни встреть —
Всех озаришь победою.
Но промолчу весь жалкий век,
Урод, калека из калек.
Зачем жила — не ведаю.

★

Новый год тайком, украдкой
Проскользнул в притихший дом.
Гостя с этакой повадкой
Узнаешь пока с трудом.

Мы сжились со старым годом,
Был он скромен, был он прост,
Был накоротке с народом,
Не хватая с неба звезд.

Понимал людские нужды,
Помнил давнюю беду,
И, придирчивости чуждый,
Помогал нам на ходу.

Правда, не был он поэтом
И воображенья жар
Не пьянил его, но в этом
Был его особый дар...

Новый год явился тихо
И пока лишен примет.
Так неслышно входит лихо,
Так рождается рассвет.

Что ж теснишься в двери боком,
Как раскаянье иль ложь?
Ты сказал бы хоть намеком —
Чтó за пазухой несешь?

Хочешь с нас великой дани
Или малой будешь рад?
Покажи хоть очертанья
Новых бедствий и утрат!..

А быть может... ах, быть может,
Мученикам немоты —
Тем, чей век впустую прожит,
Обернешься счастьем ты.

С чистым сердцем в полный голос
Их заставишь говорить
И от правды ни на волос
Не дозволишь отступить...

1954/1955



Ахматовой и Пастернака,
Цветаевой и Мандельштама
Неразлучимы имена.
Четыре путеводных знака —
Их горний свет горит упрямо,
Их связь таинственно ясна.
Неугасимое созвездье!
Навеки врозь, навеки вместе.
Звезда в ответе за звезду.
Для нас четырехзначность эта —
Как бы четыре края света,
Четыре времени в году.
Их правотой наш век отмечен.
Здесь крыть, как говорится, нечем
Вам, нагоняющие страх.
Здесь просто замкнутость квадрата,
Семья, где две сестры, два брата,
Изба о четырех углах...

19 августа, 62 г.
Комарово



Народ — непонятное слово
И зря введено в оборот, —
Гляжу на того, на другого
И вижу людей, не народ.

Несхожие, разные люди —
И праведник тут и злодей,
И я не по праздной причуде
Людьми называю людей.

1969



Памяти М. Ц.

Не приголубили, не отогрели,
Гибель твою отвратить не сумели.
Неискупаемый смертный грех
Так и остался на всех, на всех.
Господи, как ты была одинока!
Приноровлялась к жизни жестокой...
Даже твой сын в свой недолгий срок —
Как беспощадно он был жесток!
Сил не хватает помнить про это.
Вечно в работе, всегда в нищете,
Вечно в полете... О путь поэта!
Время не то и люди не те.

1975



Мертвеешь от каждого злобного слова,
Мертвеешь от каждого окрика злого,
Застонешь в тоске и опомнишься тут же —
Чем хуже, тем лучше, чем хуже, тем лучше,
Тем лучше, что ты до конца одинока,
Тем лучше, что день твой начнется с попрека,
Тем лучше, что слова промолвить не смеешь,
Тем лучше, что глубже и глубже немеешь,
Тем лучше,— коль в эти бессонные ночи
Ясней сердцевина твоих средоточий,
Ты смолоду знала и ты не забыла,
Что есть в одиночестве тайная сила —
В терпенье бесслезном, в молчанье морозном,
В последнем твоем одиночестве грозном.

1975



Мой сын, дитя мое родное, —
Чьей мы разлучены виною?
Никто, мой друг, не виноват.
Мой сын, мое дитя, мой брат,
Мое сокровище, мой враг,
Мое ничто, мой светлый мрак...
Как странно, как бесчеловечно,
Что ты в душе моей навечно.

Из стихотворения «Завещание»

...Не ведайте, поэты,
Ни лжи, ни клеветы.
О нет, покуда живы,
Запечатлеть должны вы
Грядущего приметы,
Минувшего черты —
Невиданной эпохи
Невиданный размах,
Ее ночные вздохи
И застарелый страх,
Приподнятые речи,
Сутуленные плечи —

Примеры недалече,
Живете не впотьмах, —
И громкие дерзанья,
И тайные терзанья,
И слезы на глазах.
Пускай душа забита,
А все-таки жива,
Пусть правда позабыта —
Она одна права.
Напоминать про это —
Священный долг поэта,
Священные права.

70-е годы



Идешь и думаешь так громко,
Что и оглянешься не раз,
И — молча: «Это не для вас,
А для далекого потомка,
Не бойтесь, это не сейчас».

И — молча: «Неужели слышно?»
Давно бы надо запретить,
Столь громко думая, ходить.
Живем не по доходам пышно,
Ходящих время усадить.

Иль уложить, поя снотворным, —
Пусть в омуте утонут черном,
В глухом беспамятном бреду,
Назло их мыслям непокорным.
Но я пока еще иду.

1971

Публикация Н. Н. Глен и А. В. Головачевой

ПИСЬМА Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО 1938—1944 ГОДОВ

19 марта 1938 года Н. А. Заболоцкий пришел домой в квартиру на канале Грибоедова в Ленинграде в сопровождении двух сотрудников НКВД, которые предъявили ему ордер на арест... Так начались злоключения поэта, надолго оторвавшие его от семьи, от литературы, от нормальной жизни свободного человека. На основании ложных, нелепых обвинений в контрреволюционной деятельности Особым совещанием, то есть без суда, он был приговорен к пяти годам исправительных работ. С февраля 1939 по май 1943 года он находился в исправительно-трудовом лагере на Дальнем Востоке — валил лес в тайге, дробил камень в карьере, строил дороги, но большую часть времени работал чертежником в проектном отделе строительства вблизи Комсомольска-на-Амуре или в самом городе. Освоенная в заключении профессия чертежника спасала его от непосильного физического труда и в значительной степени — от постоянного мучительного общения с уголовниками. Николай Алексеевич не раз говорил, что работа в проектном отделе наверняка сохранила ему жизнь.

В мае 1943 года Заболоцкий был переведен в Алтайский край, где первое время участвовал в добыче озерной соды, попал в лазарет с болезнью сердца и потом вновь был назначен чертежником. Здесь в августе 1944 года он был освобожден из-под стражи и оставлен при лагере, в ноябре к нему приехала жена с двумя детьми. Уже вместе с семьей весной 1945 года Николай Алексеевич прибыл с эшелоном строителей в Караганду. Работая в строительном управлении, в свободное от службы время закончил начатое еще в Ленинграде поэтическое переложение «Слова о полку Игореве». В начале 1946 года он был вызван в Москву, восстановлен в Союзе писателей и снова стал работать в литературе. Заболоцкий полностью реабилитирован посмертно, в 1963 году.

Николай Алексеевич не любил рассказывать о трудных годах заключения, но от тех лет осталось около ста писем к жене Екатерине Васильевне и детям, в которых отразились черты лагерного быта и душевные переживания поэта, его великое терпение и вера в торжество справедливости. Конечно, Заболоцкий не хотел излишне волновать жену и умалчивал о многих своих трудностях, да и не все, что хотелось сказать жене, можно было доверить письмам — их полагалось сдавать незапечатанными. Но все-таки эти письма являются ценнейшим источником наших знаний о событиях того времени и о душевном строе поэта, а в определенной степени и комментарием к таким его стихотворениям, как «Творцы дорог», «В тайге», «Где-то в поле возле Магадана», «Это было давно», «Противостояние Марса».

*В 1956 году Заболоцкий написал «Историю моего заключения» *— небольшой очерк об аресте, тюремной жизни и этапе на Дальний Восток и, вероятно, хотел продолжить его описанием жизни в лагерях. Чтобы воссоздать в памяти хронологическую последовательность своих невольных странствий, он сделал выписки из тюремных и лагерных писем к жене, озаглавив их «Сто писем 1938—1944 года». Для нас эти выписки ценны тем, что они сделаны самим поэтом, который всегда очень внимательно относился к отбору материалов, касающихся его творчества и жизни.*

Здесь мы впервые публикуем тридцать писем Н. А. Заболоцкого из заключения целиком, а из других писем приводим выписки, сделанные Николаем Алексеевичем в процессе незавершенной работы над автобиографическим очерком.

Никита ЗАБОЛОЦКИЙ

* «История моего заключения» опубликована в журнале «Даугава» № 3 за 1988 год и в альманахе «Чистые пруды», в. 2, 1988 год, издательство «Московский рабочий».

5 октября 1938 <Ленинград, тюрьма «Кресты»>

Родная моя Катенька, милый мой сынок Никитушка, ангел мой Наташечка, здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа моя всегда с вами. Я получил пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не плачь, родная Катя. Трудно тебе будет, но нужно сохранить и себя, и детей. Я верю в тебя и надеюсь, что наше счастье потом вернется к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на свидание. Может быть, успеешь. Захвати с собой, если можно, вещевую передачу: 1) мешок вещевой без пряжек и ремней, на толстых лямках, 2) пару мешочков для продуктов, 3) бурки, 4) что-нибудь вместо теплого шарфа, 5) мои черные новые ботинки с галошами, 6) старые черные брюки, 7) портянки и 2 пары носков, 8) пары по 2 маек и трусов, 9) простыню старую или тряпку, 10) малые наволочки. Мои деньги в ДПЗ, захвати рублей 300, здесь договоримся. Не забудь захватить паспорт. Что мои деточки? Помнят ли папу? Всегда, всегда буду тверд и крепок с мыслью, что увижу вас и буду с вами. Жду тебя, может быть, успеешь. Захвати письмо и проси свидания, так как мы готовимся к этапу. Крепко, крепко целую моих бесконечно дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу при первой возможности. У меня пропали все старые болезни и я здоров вполне. Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке, сегодня $1\frac{1}{2}$ года. Мой дорогой праздник. Никитушка, будь умным. Целую дорогую твою головку. Катя, родная, будь здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

Арсенальная набережная, д. 5.

Из письма от 5 ноября 1938

Из «Крестов», Арсенальная, 5.

Все вещи приготовлены к дороге. Когда поедем — не знаю...

8 ноября. Уезжаю.

Из письма от 24 ноября 1938

Из Свердловской пересыльной тюрьмы.

Все еще сижу в Свердловске... Готовлюсь в дальний путь, очевидно, на восток... Может быть, в дороге придется пробыть очень долго...

Из письма от 4 декабря 1938

Из Свердловской пересыльной тюрьмы.

Я в Свердловске... Мы можем уехать каждый день... (На полях крупная надпись: «Сегодня уезжаем».)

27 февраля 1939 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Родная моя Катенька, милые мои дети!

Я здоров и две недели назад отправил тебе первое письмо. Ответу еще быть рано, но жду его с нетерпением. Мой адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 15 отделение, 2 колонна, мне.

Работаю на общих работах. Хотя с непривычки и трудно, но все же норму начал давать. Просил послать тебя, если ты в силах, 50 рублей и посылку — сала, сахару, мыла, пару простого белья, 2 пары носков и портянок. Еще, дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продается в виде облаток рубля полтора коробка. Если есть — пошли, родная. Также хорошо бы — луку, чесноку. Вещей посылать сюда ценных не нужно.

Родные мои, не проходит часа, чтобы не подумал о вас. О детях наших тоскую я, Катя, и о тебе горюю. Жаль мне вас. Что с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе писать 2 раза в месяц. О себе, о детях пиши. Адреса твоего еще не знаю. Пошли бумаги, марок.

Родная, я живу одной надеждой, что дело мое будет пересмотрено. Жду и верю, что будет так. 18-го февраля послал заявление Наркому. Надейся и ты, родная. Как бы мне ни было трудно, буду стараться терпеливо ожидать ответа Наркома. Родная моя, целую тебя крепко, крепко. Ласкаю и целую родных Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы и что с вами.

Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.

Любящий вас папа Н. Заболоцкий.

Очки бы мне нужно от близорукости — 1,75 Д. Пошли, если можно заказать, в футляре.

Из письма от 14 апреля 1939

Сегодня получил первое письмо от вас — от 23 марта. Я работаю чертежником, и мне положено премиальное вознаграждение 30 рублей в месяц. Это вполне достаточная по нашему положению сумма — ее хватит на сахар, на махорку. Питание получаю улучшенное и теперь чувствую себя значительно лучше, чем в первые дни. Удивительное дело: в Ленинграде, бывало, часто бывали у меня то грипп, то ангина,— здесь пока не болею ничем. Хороших вещей посылать не нужно — бесполезно.

Из письма от 4 мая 1939

Почти все время работаю в конторе, черчу... Здесь, в глухой тайге, даже такой городок, как Уржум [1], кажется очень культурным местом.

14 мая 1939 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Родная моя Катя, милые мои дети! Я жив и здоров, и живу по-старому. Ваши два письма и две телеграммы я получил, о чем уже сообщал вам. Завтра обещают привезти посылки, говорят, есть посылка и мне. Спасибо, женка, что не забываешь меня. Каждый день беспрестанно думаю я о вас, вспоминаю разные мелочи нашей жизни, и часто целые эпизоды как бы снова проходят перед моими глазами. Снятся по ночам дети, мои милые, родные, беззащитные. Тяжело бывает на душе, но мысль о том, что не вечно будут продолжаться эти несчастья, утешает меня. Пока извещения о пересмотре дела еще нет, но я уверен, что оно будет...

Пиши мне чаще, Катя. Последнее письмо (открытка) было от 27 марта. Я пишу тебе дважды в месяц, как это нам разрешается, и если я не уеду дальше, то буду писать так и впредь.

Пришла весна, солнечные дни чередуются с дождями. Представляю себе весну в Уржуме. Конечно, ни на какую дачу вы не поедете, дети будут в городе. Раньше летом хорошо было в саду около старой Митрофаниевской церкви. Я не знаю, как называлась раньше улица Чернышевского, и потому не могу представить себе, где вы живете. Почему-то кажется, что это должно быть недалеко от Митрофаниевского сада и дети могут там гулять.

Устроилась ли ты на работу, Катя? Получила ли доверенность на облигации? Денег мне больше не посылай. Лучше, если будет когда возможность, пошлешь маленькую посылку. Ты уже знаешь, что нужно посылать. Я сыт, так что сухарей посылать не надо. Нужны из продуктов сало, сахар, лук, чеснок. Из одежды — портянки, носки, рукавицы, носовые платки. Ты спрашиваешь — курю ли я — да, курю,— махорку. Может быть, пошлешь какой кисетик побольше, для махорки. Целый день у меня проходит в работе. Извещения о пересылке моих жалоб Наркому и в Президиум Верховного Совета я еще не получал.

Хотелось бы, родные мои, говорить с вами не словами этого лаконического письма, но крепко вас обнять, заглянуть в ваши глаза, чтобы снова почувствовать, как вы живете и что носите в своей душе. Но вы далеко, и я один среди этих лесов.

До свидания, мои милые, целую вас крепко. Будем надеяться, будем хлопотать, чтобы пересмотрели дело. Только не болейте и будьте здоровы.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

Из письма от 30 мая 1939

Мой адрес прежний: Комсомольск-на-Амуре, Востлаг НКВД, 2 колонна, мне. На днях подаю жалобу на имя Верховного Прокурора СССР. На прежние жалобы ответа пока еще не пришло.

Из письма от 14 июня 1939

Живу и работаю по-прежнему... Питаюсь неплохо, особенно подкрепился посылками... Послал еще одно заявление Верховному Прокурору... Говорят, теперь пересматривают многие дела.

Из письма от 29 июня 1939

Сегодня получил сообщение, что моя жалоба Верховному Прокурору отправлена из Управления по адресу 20 июня. Другие жалобы пошлю вторично. Говорят, что жалобы теперь разбираются быстрее.

Из письма от 14 июля 1939

Жалоба Наркому Внутренних Дел послана в Управление 30 июня, извещения об отправке по адресу пока нет. Дела многих заключенных, имеющих по суду большие сроки, пересматриваются, и приговоры часто отменяются. С нами дело тише. Вероятно, не дошла очередь.

Из письма от 13 августа 1939

С 27 колонны. Проектное бюро.

Заявление в Правление ССП: арестован в Ленинграде 19 марта 1938 г. и по постановлению Особого Совещания при Народном Комиссаре Внутренних Дел СССР от 2 сентября 1938 года (дело № 43838) отправлен в исправительно-трудовые лагеря сроком на 5 лет за «контрреволюционную троцкистскую деятельность».

Из письма от 14 сентября 1939

Мои заявления прокурору, наркому и Сталину отправлены. Жду результатов (Письмо на Ленинград [2], согласно последней телеграммы Кати).

30 сентября 1939 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Родная моя Катенька! Получил твою телеграмму от 9 числа. Я полон надежд и благодарности — за все твои хлопоты. Твердо верю, что пересмотр дела будет в мою пользу. Жду от тебя подробного письма, так как краткие слова телеграммы не дают подробного представления,— в частности назначено дело к пересмотру или только обещали назначить. Во всяком случае, следует еще запастись терпением и тебе и мне, ибо все это делается, вероятно, не так быстро. Напиши, где ты теперь будешь жить,— нельзя ли тебе остаться в Ленинграде?

Я здоров и работаю по-прежнему. В ночь на сегодня выпал первый снег. Начинается зима. Мы в бараке, который сами отеплили. Получили уже часть теплой одежды, так что я в тепле. Чувствую себя хорошо, так как верю в скорое свое оправдание. На днях мы проводили на свободу одного из своих товарищей.

Довольно регулярно читаем газеты. Это нам разрешено. Радуюсь успехам нашей страны, освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии.

Работаю и по вечерам мечтаю о свободе, о вас, мои милые, о любимой работе, о том времени, когда я снова смогу поцеловать милых моих и прижать всех вас к моему сердцу.

Последнюю посылку твою, Катя, получил из Уржума от конца августа. Если сможешь послать посылку из Ленинграда, то хорошо если бы ты прислала клюквенного экстракта в бутылочке, кальцекса несколько тюбиков, папирос, меду, витамина С. Если будет время и возможность, хорошо бы было приготовить следующее: послать мне масла с медом. Делается так: сливочное несоленое масло и мед растапливают, смешивают в одинаковых пропорциях и сливают в металлическую банку. Смесь застывает и употребляется с хлебом. Очень питательно и сладко. У меня здесь мало сладкого, было бы очень хорошо. Один из товарищей получает эту смесь и на глазах поправляется. Но все это, конечно, если есть возможность.

Нет денег — продай мои книги, в первую очередь — Брокгауза и Ефрона — Шекспир, Байрон, Шиллер и пр. Костюмы мои можно продать. Не в них счастье. В общем тебе там виднее.

Как ты с ребятами управляешься, не представляю себе. Измучилась ты, вероятно, бедная моя, измоталась. И вместе с тем интересно мне тебя представить в положении самостоятельной женщины, на которую свалилось столько дел. Эх, только бы поскорее мне освободиться, чтобы дать тебе вздохнуть посвободнее, чтобы Никитушка снова увидел своего папку, чтобы Наташенька познакомилась с ним. Милые мои, крепко вас всех целую и обнимаю. Будьте здоровы, не горюйте, не отчаивайтесь. Ваш папа всей душой всегда с вами, будет время, и опять мы будем вместе. Жду твоих писем, Катя, и телеграмм. За все последнее время — из Ленинграда получил только 2 телеграммы. Пиши чаще.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

30 октября 1939 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Милая моя Катя! Еще раз поздравляю тебя с днем твоего рождения, крепко целую и желаю всего хорошего. Вероятно, это письмо придет как раз ко дню твоего рождения.

Я здоров, и больших изменений в моей жизни пока нет. Писем от тебя давно не имею. Последняя открытка была из Москвы от 2 сентября. Кроме этого, была телеграмма из Москвы и телеграмма из Ленинграда с оплаченным ответом. Так как мы давать телеграмм не можем, то ответ остался неиспользованным. Но ты не беспокойся. Я пишу тебе аккуратно дважды в месяц, но временные задержки писем возможны. Тюремные деньги сюда, говорят, пришли, и, возможно, я вскоре получу из них часть. Но использовать их здесь не на что. Последняя посылка от тебя была уржумская, от конца августа. Не знаю, что с вами и где вы теперь. Если есть возможность — вышли посылку. Сахару и жиров не имею уже больше месяца. Хлеб и каша, впрочем, имеются без ограничения. Но нужен витамин С.

Всякая весть от тебя — большая для меня радость. Жду каждый день. Последние телеграммы были особенно радостны, и теперь я с нетерпением жду результатов пересмотра дела. Не сомневаюсь, что пересмотр будет в мою пользу.

Но, милая Катя, не нужно думать, что все это может произойти быстро. Нужно ждать еще долгие месяцы, и ты должна быть терпелива. Нужно справляться о ходе дела и быть, насколько это возможно, в курсе.

Последнее время особенно мучительно думаю о детях и о тебе. Где теперь вы скитаетесь, бесприютные и одинокие? Где будете жить зиму? А эти переезды,— дети переносят их, вероятно, очень трудно.

Милая Катя, дела некоторых заключенных ушли на пересмотр, некоторые освобождаются. Все это ободряет меня и подкрепляет мою постоянную надежду, что дело дойдет и до меня. Много я пережил за это время, но тем радостнее будет встреча с тобой и нашими милыми детьми.

Напиши мне, как определяются дела с твоим постоянным местожительством, чтобы я имел точный адрес. Обо всех важных переменах жизни сообщай телеграммами — они доходят быстрее и аккуратнее. Письма пиши чаще, повторяя самое главное, не забывай слать конверты и марки. Я писал о высылке теплой одежды и валенок. Помни, что, кроме валенок, все остальное можно не высылать; лучше выслать продуктов. Здесь уже установилась зима, но мы работаем в помещении, и у нас тепло.

Старые твои письма, июньские и июльские, получил, и вместе с ними — твою маленькую фотографию. Спасибо, моя родная, за твои заботы и память обо мне.

Напиши мне, как у Никитки здоровье и все ли обошлось благополучно? Что говорят лечащие врачи? Растут ли у него новые зубы? Крепкие ли они? Здорова ли доченька? Как чувствуешь себя ты? Пиши все, и подробно, всякая строчка от тебя — радость для меня.

Напиши также — как живет моя книжка Руставели [3] и что с ней? Очень хотелось бы работать, читать, писать. Каким далеким кажется то время, когда я был писателем!

До свидания, моя родная. Будем надеяться, что минута нашей встречи все приближается к нам. Целую и обнимаю вас, моих бесконечно дорогих и милых. Будьте здоровы и терпеливы.

Ваш Н. Заболоцкий.

31/X. Сейчас принесли телеграмму. Как я рад, что ты остаешься в Ленинграде! Сама можешь представить мою радость за тебя и детей. Будьте же здоровы, устраивайтесь здесь как-нибудь.

Ваш НЗ.

Из письма от 15 декабря 1939

С 27 колонны. Проектное бюро.

Стоит суровая зима, морозы доходят порой до 40°, но мы работаем в помещении, и у нас тепло. Питаюсь в последнее время значительно лучше, так как в ларьке появилась баклажанная икра, была местная кетовая икра. Зарабатываю 45 рублей в месяц. Получил шапку. Я имею возможность слушать радиопередачи и... иногда прочесть книжку-другую, от чего уже давно отвык.

29 декабря 1939 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Родная моя Катя! Милые мои дети! Через два дня Новый год, еще раз поздравляю всех вас, целую, желаю здоровья и счастья. Сегодня получилась от вас новогодняя телеграмма, спасибо за поздравления и добрые вести о пересмотре дела. Перед этим была телеграмма о передаче дела ленинградскому областному прокурору. Радостно узнать, что дело мое сдвинулось с мертвой точки, крепко надеюсь и жду, что теперь оно примет другой оборот. Милая Катя, в обеих телеграммах ты пишешь, что «дети здоровы», о своем же здоровье как бы умалчиваешь. У меня возникают подозрения, и я начинаю беспокоиться о твоем здоровье. Когда все здоровы, ты пиши «все здоровы»; о своем же здоровье напиши отдельно. Я с такой нежностью думаю всегда о тебе, ты мне дорога, как никогда, и для детей наших ты теперь единственная опора. Думаю, что, когда я вернусь домой, я буду для тебя лучшим мужем и другом, чем был раньше.

Я здоров, и нового у меня почти нет. Сыт, в тепле, очень много работаю. Твои заботы обо мне и телеграммы крепко поддерживают меня, и я очень тебе за все благодарен.

Рад, очень рад, что хотя временную комнату вы получили. Я не знаю, что это за квартира — кажется, где-то внизу. Пишу пока еще по адресу Лиды, если нужно писать по новому адресу — сообщи. Твоя посылка еще держится, и я питаюсь хорошо. В особенности хорош был язык. Масла съел половину. Чеснок, правда, весь промерз и испортился, несмотря на тщательную упаковку в вату. Я уже писал, милая Катя, что посылок больше слать не надо, нужно экономить то немногое, что у тебя осталось, да и я здесь не сижу голодом.

Быстро идет время. Уже декабрь проходит — один из двух самых морозных месяцев. Погода неровная — то ниже 40°, то довольно мягкая. Нужно сказать, что здешние морозы переносятся значительно легче, чем в Ленинграде. Всю зиму живет с нами в бараке маленький бурундук — нечто вроде белочки — полосатый, маленький. Привык к людям и бегает под ногами. Поймали дятла, и он несколько дней жил у нас в клетке, немилосердно долбил палки, жрал гусениц, которых мы вытаскивали из дров, наконец мы его выпустили. Все эти маленькие забавы иногда скрашивают наши, правда, очень короткие досуги. Слушаем радио, и оно все время говорит сердцу о другом мире — свободном и далеком. Потом опять работа и привычные думы о вас, мои родные. Так идет жизнь и близится март — когда исполнится два года со дня моего ареста. Два года! Сколько мы пережили за это время — и ты, и я! До свидания, моя родная женка, пиши мне также письма, я их давно уже не получал. Никитушку, Наташеньку крепко целую и обнимаю, будьте все здоровы и терпеливы.

Крепко целую тебя. Твой Н. Заболоцкий.

1 января 1940 г. Вот уже и Новый год. В 12 часов я мысленно поздравил вас, мои милые. Встречали праздник хорошо: за хорошую работу начальство выдало нам продуктов — колбасы, консервов, печенья,— так что получилось на брата по доброй посылке. Как-то встречали праздник вы? Верю, что будущий Новый год будем встречать вместе. Целую крепко всех вас.

НЗ.

Из письма от 12 января 1940

Стоят суровые январские морозы. Если будет перемена адреса, ты узнаешь о ней по перерыву в переписке. Само собой разумеется, что по прибытии на новое место я сразу напишу тебе.

Из письма от 15 февраля 1940

Поселок Старт. 27 колонна.

Мой адрес теперь новый, хотя я на старом месте. Вот он: Комсомольск-на-Амуре, п/я 215, поселок Старт, 27 колонна. Проектно-сметное отделение, мне. Писем от тебя не имел с 10 декабря.

Из письма от 29 февраля 1940

Только что получил твою телеграмму от 24. II с извещением, что Верховная прокуратура обещает благоприятный исход.

13 марта 1940 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Милая моя Катя! За последние две недели получил от тебя две телеграммы, от 3 и 8 марта, и письмо от 9 января. Перед этим была получена телеграмма от 21 февраля с сообщением о поступлении дела из облпрокуратуры в Прокуратуру Союза, о чем я уже писал тебе в предыдущем письме. Судя по последним телеграммам и письму, ты ждешь окончания пересмотра моего дела буквально на днях. По всей видимости, ты не знаешь, что весь процесс пересмотра может тянуться очень долго. Заключенный, дело которого опротестовано Верховным Прокурором два-три месяца назад (судя по письмам родственников), до сих пор еще ждет здесь окончательного разрешения дела в НКВД. Так что будь терпелива и ты. Я твердо верю в то, что пересмотр моего дела освободит меня из заключения, но все это делается не так быстро. Нужно справляться о положении дела — если есть возможность, торопить и ждать.

Я жив и здоров. Больших изменений в моей жизни нет. Большую радость доставляют твои письма и телеграммы, хотя не все из них понятно, так как письма запаздывают. Так, я только могу догадываться, что по каким-то причинам ты должна была выехать из кв. 18, а потом снова вернулась. Как, что и почему — не знаю.

Самая большая моя радость — что ты и дети здоровы. Мальчика я уже поздравлял с днем его рождения и послал ему отдельное письмо. Получил ли он его? Когда получится это письмо — и дочке моей будет 3 года. Целую и крепко обнимаю мою милую доченьку. Помню, как горячо целовал я ее в последний раз — ручки и ножки ее, она смеялась и тихонько говорила «папа». Тогда ей было всего 11 месяцев. Я покинул ее, но как долго она, как живая, была перед моими глазами. Я никогда не думал раньше, что так можно любить детей.

19-го марта, через 6 дней, исполнится 2 года моего заключения. Два года из лучшего времени человеческой жизни. Как странно сложилась моя судьба.

Вчера я был очень удивлен. Как всегда, склонившись над столом, я работал. В другом конце барака говорило радио. Транслировалась Москва. Вдруг слышу — артист читает, что-то знакомое. Со второй строчки узнаю—мой перевод Руставели! Битву Автандила с пиратами. Читал актер неважно — но все сердце мое затрепетало от этих полузабтых, но близких строк, и голос московского чтеца прозвучал, как голос с того света. И дальше была музыка — Фантастическая симфония Берлиоза. Это потрясающая вещь, особенно 4 часть. Радио в тайге — большая радость.

Сегодня радио сообщило нам еще новую радостную весть — о заключении мира с Финляндией, по которому Советский Союз добился всего, чего желал. Ты понимаешь, как радостно знать, что безопасность родного Ленинграда теперь обеспечена.

Из посылок, милая Катя, как я уже сообщал, я получил только одну продуктовую — в плоском ящике — с концентратами и пр. Валенки и пиджак еще не получил — по всей вероятности, местные задержки. Обещают привезти через несколько дней.

Уже совсем было наступали весенние дни, но вдруг погода снова

изменилась: зима настоящая. Думаю, что если вещи получу на днях,— я еще успею их поносить.

Представляю себе, как ты замоталась и измучилась, родная моя. Как хочется тихо, молча посидеть рядом с тобой, ничего не говорить, так, чтобы понемногу отходили и успокаивались наши души. Чтобы все прошлое, как мучительная болезнь, отошло назад и все существо отдыхало бы от пережитых бурь. Будет ли это? Будет. Будем терпеливы. Не будем волноваться и разжигать нетерпением сердце. Будем терпеливы.

Крепко целую и обнимаю тебя, моя родная, и милых наших детей. Коле и Сане[4] передай мой сердечный привет. Будьте здоровы, мои бесконечно дорогие.

Ваш Н. Заболоцкий.

15-го, вечер. Милая Катя, сейчас совершенно неожиданно получил две посылки — с валенками, пиджаком и продуктами в них. Лук и чеснок совершенно разложились, и все пахнет особым запахом разложившегося чеснока. Но это не смущает меня — ибо все впору, а консервы — конечно, пахнуть не будут. Большое спасибо. Только балуешь ты меня. Сейчас сижу уже в валенках. Сейчас буду пробовать продукты. Будьте здоровы.

Из письма от 30 марта 1940

Получил твою телеграмму от 14-го о задержке пересмотра ввиду разбора параллельных дел. Несколько непонятно, что нужно понимать под названием «параллельные». Писем все нет и нет. Получаешь ли ты мои письма, которые я шлю регулярно каждые две недели?

Из письма от 15 апреля 1940

27 колонна. Проектный отдел.

Я все на старом месте, хотя реорганизация еще не кончилась. Стало теплее, тает снег, все ярче солнце, все ближе весна... Все время уходит на работу... Хлеба, каши хватает... Баня — раз в 10 дней. Белье стирают... Койка-топчан — отдельная.

30 апреля 1940 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Милая моя Катя, родные мои детки, здравствуйте!

Снова пришло время писать вам, но говоря по правде, и писать-то не о чем... Живу, вернее сказать — существую по-старому. Все время заполнено работой и привычно-горькими думами о семье. Мечтаю о вас теперь так, как когда-то мечтал о будущих прекрасных поэмах и стихах. Почти каждую ночь вижу во сне детей; тогда, пользуясь этим минутным счастьем, стараюсь глубоко-глубоко заглянуть в Никитушкины глаза, чтобы почувствовать его маленькую, родную душу, и все прошу его: «Смотри еще, смотри на папу, сынок». У него такие мягкие, чистые волосики, по-детски душистые, пахнут птичками (как написано где-то). Во сне всегда вижу себя свободным, и это дает счастье. Счастье во сне.

Самая страшная острота всего этого несчастья уже прошла; осталось тяжелое утомление души, насквозь изболевшей.

Последняя телеграмма была, Катя, от 5 числа, в день рождения Наташеньки. С тех пор нет ничего. Пиши мне и смотри не приукрашивай правды.

Я сыт. Хлеба и каши хватает. Заработок теперь 30—40 р., но покупать почти нечего. Сегодня и завтра — свободные дни. Пользуюсь этим и сплю, сплю — может быть, увижу во сне вас.

Я писал о готовальне,— ее покупать не надо, если понадобится — сообщу.

1 мая. Стоят теплые дни, хотя солнце показывается редко. Сегодня пересмотрел все твои телеграммы и письма (последнее было от 15 февраля). 25 января весь материал по пересмотру поступил в Прокуратуру Союза; значит, уже 3 месяца — февраль, март и апрель — дело задерживается в Москве. Последние месяцы ты избаловала меня телеграммами — было по две в декабре, январе, феврале, марте; только в апреле одна — от 5-го числа. Скучаю без них, хотя вполне допускаю, что где-то они задержались.

Год тому назад, в мае, ты писала, что у тебя вышла половина денег. Не приложу ума — на что ты живешь теперь. Продавай, что можешь.

До свидания, родная моя, обнимаю и целую тебя, твои милые ручки. Сильно ударила нас жизнь, выдержим ли мы? Надо выдержать — дети требуют. Только не болей, Катя. Никитушку и Наташеньку обнимаю, моих милых деток. Береги их, сколько можешь. Может быть, и мы когда-нибудь отдохнем с тобою, моя милая жена. Уже третий год идет.

Твой Н. Заболоцкий.

Из письма от 15 мая 1940, открытка.

За все время с января получил от тебя только 2 письма.

Из письма от 24 мая 1940

Комсомольск-на-Амуре, Комендантский ОЛП. Проектно-сметный отдел.

Скоро будем переезжать в другое помещение, поблизости, где будет удобнее жить и работать. Адрес несколько изменится — напишу, когда переедем. Теперь мы в ведении Управления лагеря и наше учреждение называется Проектно-сметный отдел. Впрочем, вот адрес (см. заголовок).

Из письма от 9 июня 1940

27 колонна.

Получил твое письмо (из вагона) и телеграмму об общей задержке. Мне так трудно объяснить себе все это... Я рад, что вы здоровы и на Сиверской[5]... Пиши пока лучше по старому адресу: Комсомольск-на-Амуре, п/я 215, поселок Старт, 27 колонна, мне.

25 июня 1940 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Моя милая Катя! На днях получил твое письмо от 31 мая 1940 о том, что Верховная Прокуратура передала мое дело в НКВД для утверждения отмены приговора.

Я всегда твердо верил в то, что мой приговор будет отменен и я буду реабилитирован. Тем не менее твое письмо так сильно подействовало на меня, что я до сих пор хожу под его впечатлением. Легче стало жить на свете. Каждую ночь вижу во сне вас, мои дорогие, и Ленинград. Верю, что уже не так долго ждать мне окончательного разрешения дела в НКВД.

Жаль, милая Катя, что так лаконично сообщаешь мне эту радостную весть. По контексту я понимаю, что дело идет о реабилитации. Но юстиция знает 4 причины отмены приговоров: 1) за отсутствием состава преступления, 2) ввиду того, что приговор сделан не по существу преступления (т. е. приговор не соответствует преступлению), 3) ввиду мягкости приговора и 4) ввиду того, что дело недорасследовано и нуждается в дополнительном рассмотрении.

Судя по твоему письму, я делаю заключение, что Прокуратура отменяет приговор за отсутствием состава преступления. Подтверди это в следующем письме, если ты в курсе дела.

Поразила меня карточка детей. Какие большие они стали! Никит-

ка совсем уже мальчик и смотрит так серьезно. Он очень хорошо пишет. Наташенька такая милая и толстая. Почему ты опять не снялась с детьми? Спасибо тебе за то, что ты сохранила и сберегла детей. Одной тебе они обязаны всем. Я очень хорошо знаю, моя милая женка, что часто тебе приходилось труднее, чем мне. Но ты должна чувствовать, что дети, ради которых нам так часто приходится переносить столько трудностей,— они же и спасают самих нас, дают нам силы в нашем несчастии. Так уж нас устроила природа. Чего не вытерпишь ради детей. Порой жизнь кажется такой нестерпимой, но как только вспомнишь детей,— чувствуешь — надо жить, надо добиваться правды; веришь — что минуют беды и жизнь снова вступит в свое нормальное течение.

Ты просишь меня беречь себя — я более чем прошу тебя о том же. Ты не должна забывать о себе. Ведь при твоей просьбе я иногда улыбаюсь, но все же нахожу некоторые возможности исполнять ее. Я знаю, как трудно тебе заботиться о себе. Но сколь возможно, ты должна научиться делать это — для детей же в первую очередь, наконец — для меня, который теперь уже имеет реальную надежду возвратиться к семье,— к тебе и детям.

Я, к счастью, физически здоров, и за все мое заключение болел очень мало. Мой организм оказался крепче, чем я сам предполагал. Душевно я, конечно, очень утомлен от всего пережитого. Но я отдохну, когда буду с семьей.

В моей жизни больших изменений нет. Живем мы на старом месте, почему я и прошу писать по старому адресу, на поселок Старт. Когда будем переезжать — в точности неизвестно. Питание, как я уже писал тебе, у нас улучшилось, и я всегда сыт. Нет только сладкого. С работой своей я вполне справляюсь и за этот месяц думаю буду иметь выработку не менее 120 процентов нормы, хотя нормы у нас нелегкие. Белья у меня достаточно, обувь в порядке. Сейчас у меня длинная борода и усы, но так как устанавливаются теплые летние дни, я на днях сбрею всю эту историю и опять буду ходить бритым.

Недавно удалось прочитать «Войну и мир» Толстого. Эта книга доставила мне столько счастливых минут, и мне так было жаль, что не было тебя вместе со мной, чтобы поделиться впечатлениями. Как я люблю Толстого! Какой он умный наблюдатель жизни и какой большой художник!

Твое решение не ехать в Уржум за вещами, так как дети дороже,— я вполне одобряю. Относительно готовальни — ничего покупать и посылать не надо, так как сейчас у меня есть хорошие инструменты и я ни в чем этом не нуждаюсь. Сыты ли вы, родные мои? Скорее бы, скорее мог я снова кормить наших милых детей!

До свидания, моя женка, крепко целую тебя и благодарю за радостное письмо. Я терпеливо жду своей очереди и уверен, что все будет хорошо. Целую моих больших деток.

Будьте здоровы и не забывайте вашего папу. Сердечный привет деду.

Ваш Н. Заболоцкий.

Из письма от 14 июля 1940

Комсомольск-на-Амуре. Комендантский ОХП.

В последнее время на имя заключенных стали поступать из Верховной Прокуратуры извещения (от марта месяца), что дела приняты на пересмотр. Такого извещения я еще не получал, хотя пересмотр в Прокуратуре, судя по твоим сообщениям, начался еще в декабре прошлого года.

Из письма от 21 июля 1940

Нынешнее лето совсем не похоже на прошлогоднее. Уже июль кончается, а солнечных дней мы еще не видели. Очень дождливая погода перемежается туманными теплыми днями; тайга цветет, а настоящего лета нет и нет... Зарабатываю я 45 рублей в месяц, но покупать почти нечего.

Из письма от 28 июля 1940

Пиши теперь по новому адресу: Комсомольск-на-Амуре. Поселок Старт, п/я 99, Проектно-сметный отдел, мне.

Из письма от 3 августа 1940

Лето подходит к концу, а мы его почти не видали, так как было всего несколько солнечных дней. Мой душевный инструмент поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, но внутренне я чувствую себя, несмотря на утомление, на всю душевную усталость, на всю бесконечную тягость постоянного ожидания,— чувствую себя целостным человеком, который еще мог бы жить и работать.

Из письма от 13 августа 1940

Адрес теперь нужно писать так: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99/к, Проектно-сметный отдел. Я все на старом месте. Не знаю, будут ли изменения. Все возможно.

Из письма от 25 августа 1940

Скоро, вероятно, будем переезжать недалеко; адрес будет тот же. Стоят хорошие летние дни, но ночи стали уже холодные по-осеннему.

Из письма от 15 сентября 1940

Мне кажется, что разбор моего дела задержался по причинам общего порядка. По крайней мере, не я один остаюсь в лагерях с приговором, опротестованным Верховной Прокуратурой. В майском письме ты писала: «В Москве Верховная Прокуратура передала мое дело в НКВД для утверждения отмены приговора». В августе ты пишешь: «Все время обещали близкий хороший конец. Но вот все еще тянется». Как согласовать это?.. Через 4 дня — половина моего срока. Будет ли вторая половина легче первой? Один заключенный крестьянин говорил: «Когда идешь домой с тяжелой ношей, то до полдороги еще ничего, а там, чем ближе к дому, все тяжелее и тяжелее». За мной нет ни единого замечания, ни одного отказа от работы, ни одного случая непослушания. Неизменно выполняю нормы до 120 процентов (при наших чрезвычайно жестких нормах), причем качество работы на «хорошо» и «отлично». Все это не так легко дается... Живу по-старому, в ожидании перевода в Комсомольск.

28 сентября 1940 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Милая Катя! Я жив и здоров. Живу по-старому на старом месте, и нового у меня ничего нет. Работаю архитектурным чертежником, те свободные минуты, которые остаются от 11 часов работы,— отдаю технической литературе и понемногу повышаю свой технический минимум. Стоят последние дни осени, ожидаем снега с часу на час.

Письма твои получаю редко. Как уже сообщал, в течение последнего месяца получил разом 3 твоих письма с фото детей. С тех пор ничего не получал и не знаю, что с вами.

Ввиду того, что абсолютно все время занято,— некогда скучать и тосковать. Кончишь работу, засыпаешь как убитый и если и просыпаешься — то только от холода. Так идут день за днем — одинаковые, без

переживаний, без мысли. Очень рад, что стал теперь заниматься техникой, чем заполняю пустоту в голове, с которой никогда жить еще не приходилось.

Что мне нужно? Штаны. Какие-нибудь старые, что ли, только чтобы были прочные и потеплее. Вид их безразличен, и кто носил раньше — тоже. Если подвернется случай — вышли, пожалуйста. А то эти синие уже носятся, не снимая, 2 года и уже разваливаются, не говоря уже о том, что вид имеют самый фантастический. И если будешь их высылать, пожалуйста, не забудь махорку или табаку хотя самого дешевого, но побольше. Пропадаю без табаку и достать негде. Впрочем, и штаны и табак не важны, ибо можно обойтись и без них.

В последнем письме выслал тебе доверенность на получение облигаций. Это уже третья по счету. Сообщи, получила ли ее. И прошу написать правду о результатах дела, не скрывая ее от меня (если она тебе известна).

Что еще написать тебе? Все вы, мои родные, по ком я сходил с ума столько времени, теперь глубоко-глубоко погребены в моей душе, и уже мысль моя с робостью и болью старается не касаться этого наболевшего места. Что толку? Надо жить, пока живется, и ждать того времени, когда твоя жизнь снова будет походить на жизнь человеческую.

До свидания, родная. Целую и обнимаю тебя и детей и всем сердцем желаю вам терпения и здоровья.

Ваш Н. Заболоцкий.

20 октября 1940 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Моя милая Катя! Последнее время я довольно аккуратно получаю твои письма и телеграммы. Получил оба письма с фотокарточками, две телеграммы октябрьские и старую сентябрьскую открытку. О получении двух посылок от 6 сентября я уже сообщал,— они тянутся у меня до сих пор и сильно меня подкрепляют. Из карточек особенно приятны те, что с дедом. Там и ты хорошо вышла и ребятки выглядят довольно живо. Натальюшка, должно быть, очень забавная и милая девочка, и мне очень горько, что детство ее отнято у меня. Никитушка вытянулся, но худощав: выглядит подростком. У тебя такое милое выражение лица — там, где ты разговариваешь с Наташей. А дед, видимо, совсем плохо видит.

Ты просишь сообщить — как выгляжу я. Каким я был в тюрьме — ты помнишь — без особых перемен. В январе-феврале-марте того же года я был совсем не похож на себя; сейчас же снова вернулся в норму. Особенно сегодня, когда я подстригся и побрился,— взглянув в зеркало, я решил, что выгляжу совсем неплохо. Правда, говорят, у меня уже пробиваются кое-где седые волосы, что неудивительно, и спереди и на макушке прическа стала редеть. Но признаки этого были и на воле.

Конечно, мой внешний вид сильно отличается от прежнего по платью и по положению, которое я занимаю. Но я стараюсь быть аккуратным. Рваной одежды у меня нет, все подшито; нет ни одной оторванной пуговицы. Правда, ленюсь штопать носки, но их у меня много, и я их ношу аккуратно. Все делаю себе сам. Из посылочного ящика (который был новенький и аккуратный) я сделал себе чемоданчик — немного похожий на настоящий фанерный — с крышкой и ручкой.

Ты просишь выслать доверенность на получение пая; я делаю вывод, что у тебя появилась возможность получить его. Вышлю с первой возможностью в самый короткий срок, но здесь все не так быстро делается. Доверенность на получение облигаций выслал в сентябре — получила ли ее, сообщи.

Денег мне не высылай. Как только мы переедем в Комсомольск, приму все меры к тому, чтобы переслать тебе рублей 500 из своих денег, которые без толку валяются где-то в финчасти.

О деле моем в письмах твоих почти нет сообщений, из этого делаю вывод, что после опротестования Верховной Прокуратурой пересмотр опять затянулся. Но не все делается быстро. Я продолжаю ждать и надеяться на освобождение.

До свидания, родная. Перед посылкой письма припишу еще.

Я здоров, ноги совсем не болят. Витамином С теперь обеспечен надолго, спасибо. Если вышлешь махорочки, буду очень благодарен.

Н. Заболоцкий.

Крепко целую и обнимаю тебя и детей. Привет деду и знакомым.

Из письма от 3 ноября 1940

Наконец я в Комсомольске, и условия жизни изменились. Живем теперь в тепле. Только ходить приходится далеко и много, так что устаю. Здесь всего еще 2 дня, и жизнь еще не вошла в колею. Адрес тот же, работаю в Управлении.

11 ноября 1940 <Комсомольск-на-Амуре>

Моя милая Катя! Вот и прошли праздники и я хорошо отдохнул в течение этих трех дней. Понемногу обживаемся на новом месте в Комсомольске и привыкаем к новым условиям. Ходить приходится в день в общей сложности километров по 12 — до места работы и обратно. Это отчасти и хорошо, так как это время проводим на свежем воздухе и в движении, что представляет хороший контраст моей неподвижной работе. Плохая сторона хождений — время отдыха сокращается вдвое и в результате значительно больше устаешь. Зато работаю теперь в настоящем большом каменном здании. Я так отвык за эти годы от настоящих домов, что вначале даже странно было видеть себя в обстановке городского дома. В бараке, где живем, удобства меньше, но зато тепло. Адрес мой несколько меняется. Письма нужно адресовать так: г. Комсомольск-на-Амуре, п/я 99/к, Штабная колонна, мне. Этот адрес обязателен; письма, согласно приказа, будут приниматься только с этим адресом. Название отдела проставлять не нужно.

На праздниках выдали зимнее теплое обмундирование, хорошего — для лагеря — качества: теплый бушлат, шапку-финку, ватные брюки, шарф, рубашку. Кажется, выдадут еще теплые бурки. Так что я теперь обеспечен на все время работы в Управлении еще и казенной теплой одеждой. Кормежка сносная и количественно ее, в общем, хватает. Правда, нет жиров и сахара; сильная нехватка табаку.

Совсем случайно попался в руки мой Руставели, причем на заглавном листе стоит «Перевод с грузинского. Обработка для юношества», и все. Грустно было видеть эту осиротелую книгу, хотя и утешительно было узнать, что работа даром не пропала и не опорочена по существу. В случайно и редко попадающихся книгах читаю иногда чужие стихи и по ним стараюсь почувствовать, чем и как живут старые знакомые. Грустно было прочесть Санины стихи «Давным-давно, не зная почему»[6].

14 ноября. Вчера получил твое письмо от 25/X — с сообщением об ответе Прокуратуры[7]. Оно удивило меня, в особенности если учесть майское сообщение об отмене приговора. За меня ты не бойся, моя родная,— я спокойно читал его; только бесконечно жаль было тебя и детей. Неспокойное время теперь.

Что касается дальнейших заявлений, то я подумаю и, может быть, в дальнейшем напишу. Видишь ли: невозможно оправдаться, не зная конкретно, в чем тебя обвиняют. Ведь если бы было всерьез все то,

о чем я писал раньше и в чем меня конкретно обвиняли,— я бы теперь был уже на воле. Оно, по-видимому, так и вышло: со своим заявлением я ломился в открытую дверь. А в чем дело — угадать невозможно.

Доверенность на получение пая я выслал тебе в октябре — теперь ты, очевидно, уже получила ее. Несколько раз сообщал тебе о получении двух сентябрьских посылок из Луги — аккуратно ли ты получаешь мои письма? Сейчас я не понял хорошенько — ты еще две посылки послала или пишешь о тех двух? Имей в виду на всякий случай, что я решительно прошу тебя не беспокоиться обо мне и часто посылки не высылать. Я сыт, обут и одет и живу сносно, ты же должна думать не только о себе, но и о детях.

Скоро кончится 8-й месяц 3-го года. Время идет. Будем жить и работать и надеяться, что через 2 года мы будем вместе. Это как будто все, что нам остается и что подсказывается нам нашим благоразумием. Крепко целую тебя и благодарю за все, моя родная; только не отчаивайся, береги себя и детей. Никитушку и Наташеньку нежно целую. Получил ли Никитушка мое письмо, высланное с неделю назад?

Твой Н. Заболоцкий.

Из письма от 28 ноября 1940

Занят на очень срочной работе [8], которая продлится до конца декабря. Работаю круглый день и едва урываю время для 5—6-часового сна. Исполняю обязанности и художника, и чертежника, и кого хочешь... Морозы здесь доходят в декабре — январе до 50° и ниже, но их переносить легче, чем в Ленинграде или Москве. Здешние 50° я приравнял бы к ленинградским 20—25°. Сейчас холода еще сравнительно небольшие, думаю — не ниже 20—25°. Недавно, идя на работу, наблюдали интересное явление: солнце на восходе отбрасывало три луча, из которых два шли прямо вправо и влево, а третий перпендикулярно вверх. При этом на небе было еще нечто, похожее на часть радуги. Любопытный здесь край... Работая в обстановке городского каменного дома, в учреждении, я уже понемногу стал забывать о той жизни, которую вел так недавно. Здесь паровое отопление и некоторые удобства.

Из письма от 3 декабря 1940

Очень спешная художественная работа. Занят дни и ночи. Питаюсь хорошо. Обед это время получаем из столовой для вольнонаемных, и иногда он бывает не хуже домашнего. Если бы ты знала, как это вкусно после 2 лет лагерного питания!

Из письма от 6 декабря 1940 (в одном конверте с письмом от 3.XII).

Получил сегодня твою открытку от 17 ноября. Кажется, сама скорбь писала это маленькое письмецо. «Устала немного» — пишешь ты, и я готов плакать над этим «немного», моя бедная детка, мой усталый друг. И образ болезненного одинокого мальчика с его недетским горем встает передо мной — твой «индюшонок». Может быть, мы и будем вместе, и отдохнем, и детей вырастим, но душа моя так незаслуженно, так ужасно ужалена на веки веков. Неужели во всем этом есть какой-то смысл, который нам непонятен?

Из письма от 18 декабря 1940

Как я уже сообщал, я своевременно получил твою телеграмму о пересмотре дела, назначенном НКВД [9]... Зима здесь стоит нынче не такая суровая, как в прошлом году, только ветры по временам очень сильные. Я живу и работаю в тепле и в значительно лучших условиях, чем в прошлом году.

Из письма от 26 декабря 1940

Ожидаются некоторые изменения и, может быть, придется переезжать на новые места. Но это — едва ли в ближайшее время и вообще не наверняка.

4 января 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Моя милая Катя! Вот и 41-й год. До трех лет остается немного больше двух месяцев.

31-го пришел с работы, пью свою кружку чая — слышу: по радио из Москвы поздравляют с Новым годом. Слышатся тосты и звон новогодних бокалов. Моя кружка с кипятком мало напоминала бокал, барак же совсем не походил на праздничную залу. Вдруг приносят бандероль. Открываю: два томика Пушкина. Повеяло таким теплом дружбы и участия. Спасибо. Так с Пушкиным я и встретил мой Новый год, мысленно поздравляя всех вас, мои дорогие, и всех друзей и знакомых.

Жизнь идет своим чередом, с очередными огорчениями, маленькими радостями, упорной работой и ожиданьем — бесконечным ожиданьем. Невольно думаешь — что впереди? Судьбы здесь так непостоянны, а весть из Москвы все не идет...

Получила ли ты мои новогодние письма, и получили ли ребятки мои письма с картинками?

Твое письмо от 13 декабря я получил своевременно. Всего две недели шло. Спасибо за все хлопоты. Будем ждать. Рад, что все вы здоровы и что квартирный пай немножко поможет вам. Корнея Ивановича благодарю за привет и за все. Так хочется крепко пожать ему руку.

Все это время я хорошо питаюсь. Мне повезло. Уже более месяца я имею очень приличный обед — иногда даже не хуже домашнего. И есть надежда, что это будет продолжаться еще дней 10. В моем положении это большая удача. Впрочем, и работаю же — не покладая рук.

Когда я возвращаюсь ночью с работы — мне хочется думать, думать, думать. Но думать некогда. Усталость берет свое. Повоевав с клопами, я засыпаю мертвым сном.

Теперь иногда я читаю Пушкина. И по временам он представляется гениальным молодым человеком. Молодым — потому что по годам я представляю себе себя самого значительно более старым, чем Пушкин.

До свидания, родная. Крепко целую деток и тебя. Постараюсь еще написать вскоре.

Если есть возможность — пошли марок. Конвертов и бумаги у меня достаточно, но марок уже штуки 3 осталось.

Твой Коля.

Сыну Никите
9 января 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Мой любимый сынок! Поздравляю тебя с днем рождения, желаю тебе здоровья, хорошего ученья и множества новых интересов, которые ты получишь в школе и из книг. Вот тебе уже 9 лет. Ты уже совсем большой, милый. Мне было 9 лет в 1912 году. В то время праздновали 100-летний юбилей Отечественной войны 1812 года. Мы, дети, очень увлекались рассказами об этой войне. Летом мы целыми днями играли в войну: наделали себе из бумаги треуголок, из палок — сабель, пик, ружей и храбро сражались с крапивой, которая изображала собой французов. Девяти лет я отлично знал, кто такие были Наполеон, Кутузов, Барклай де Толли. Памятники Кутузову и Барклаю стоят около Казанского Собора. Мама объяснит тебе — кто такие были эти люди.

Когда я хочу себе представить тебя, то вспоминаю себя самого девятилетним мальчиком. И это уже совсем не тот Никитка — маленький, которого я оставил в Ленинграде около 3-х лет назад. Придется

нам с тобой снова знакомиться, сынок. Ну, будь здоров, родной. Люби мамочку и сестренку, помогай им и учись хорошо. Мне будет очень, очень приятно узнать о твоих новых хороших и отличных отметках.

Твой папа Н. Заболоцкий.

Поцелуй за меня мамочку и Наташеньку.

24 февраля 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Милая Катя! Письма твои и Никитушкины получаю аккуратно. Последнее письмо твое было от 5 февраля и, кроме того,— телеграмма. Я очень рад переизданию Рабле и Руставели[10]. Доверенность написана, подана и будет на днях выслана; ты ее получишь через милицию или НКВД — таков теперь общий порядок. Сообщи мне о получении. Рад я также, что дети получили мои письма. Получил ли Никитушка мое письмо ко дню его рождения, посланное своевременно в начале января?

Очень радуют меня твои письма, где ты описываешь жизнь и характер детей. Я мало представляю Наташу, но воображаю ее довольно живо по твоему описанию. В отношении Никитки,— меня несколько беспокоит, что его задаривают игрушками и он мало читает. Кто знает — как жизнь сложится дальше, может, ему будет не так сладко житься и после его дорогих игрушек уже ничто не будет привлекать его. Мне хотелось бы, чтобы уже если дарить — то дарить бы ему книги, что ли, чтобы приучался к чтению. Вообще, Катя, смотри за мальчиком попристальнее, береги от дурных влияний, следи, чтобы невинная детская шалость не перешла в одно прекрасное время в хулиганство. Мне хотелось бы, чтобы мальчик рос, уважая труд и любя работу, увлекался бы работой, учением. И еще хотелось бы, чтобы душевная близость между тобой и им не прерывалась и вы были бы друзьями. А для этого нужно, конечно, чтобы вы оба по-настоящему уважали друг друга.

Ты можешь все это сделать, так как ты чутьем понимаешь, что делается в его душе.

Я живу и работаю по-старому. Срочная работа окончилась; более двух месяцев питался хорошо и подкрепился за это время. Теперь питаюсь по-старому — хлеба и каши хватает, иногда — редко — удается прикупить кое-что, но мало. Только сладкого нет ничего. Уже привык к этому. Насчет посылок ты не беспокойся — это и дорого и трудно. И кроме того, посылки теперь что-то плохо приходят и теряются многие. Не знаю уж, когда я получу эту, высланную тобой. Спасибо, что не забыла положить фуражку. Она мне понадобится. Сообщу, когда получу. Вообще же я стал почти равнодушен к вещам — слишком уже все это ненадежная штука,— сегодня есть — завтра нет.

Уже чувствуется первое робкое дыхание весны. Миновали вьюги с ураганными ветрами, которые доставляли нам много неприятностей во время ходьбы. По утрам еще стоят морозы в 30—40°, но днем начинает играть солнце и воздух быстро теплеет. Все это, конечно, еще начало, еще будут и морозы и вьюги, но все же весна уже где-то тут, и она уже делает свое дело. Скоро скажем: — Вот и еще одна зима с плеч долой.

До свидания, моя родная. Спасибо тебе и Коле за письма. Они — мое утешение в невеселой и нелегкой жизни. Крепко целую тебя и детей. Будьте здоровы и берегите себя.

Твой Коля. Н. Заболоцкий.

Сообщи точно, когда выслана посылка, чтобы я мог навести справки.

Из письма от 9 марта 1941

4 марта Управление лагеря выслало на имя Начальника УНКВД

Ленинградской области мою доверенность на твое имя — на получение гонорара за переиздание моих переводов...

Мы переехали на соседнюю колонну — комендантскую. Жилище несколько лучше, питание такое же. Последнее время удается покупать не очищенную от пленок кетовую икру, и она очень поддерживает меня. Это местный продукт — питательный и сравнительно дешевый — 14 р. кило. Жаль, что редко бывает...

Начинает немного подтаивать.

Из письма от 23 марта 1941

Возможно, мне разрешат работать по специальности, педагогом. Но это еще не выяснилось окончательно. Если разрешат,— условия жизни, возможно, будут лучше...

Много у меня мелких забот. Условия таковы, что маленькие дела здесь делаются в десять раз труднее, чем на воле. Например, получить личные деньги, подшить валенки и пр. Иногда это вырастает в целую проблему и многое сделать не удается.

Из письма от 30 марта 1941

В отношении педагогической работы — это мне не разрешено. Буду работать, как и до сих пор.

6 апреля 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Милая Катя! На этой неделе получил от тебя письмо от 3 марта, телеграмму с извещением о получении доверенности и бандероль с 4 книжечками поэтов. Я рад, что доверенность получена, и хорошо, если и ты что-нибудь получишь по ней. Спасибо за милое письмо и книги. Книжечка Баратынского доставляет мне много радости. Перед сном и в перерывы я успеваю прочесть несколько стихотворений и ношу эту книжечку всегда с собой. Мировоззрение Баратынского, конечно, не совпадает с моим, но его темы и то, что он поэт думающий, мыслящий,— приближает его ко мне, и мне часто приходит в голову, что Баратынский и Тютчев восполнили в русской поэзии XIX века то, чего так недоставало Пушкину и что с такой чудесной силой проявилось в Гете. Но Баратынский нравится мне не только как мыслящий человек, но и как поэт; в стихах его позднего периода (которые написаны им примерно в моем возрасте и старше) у него много поэтической смелости, не в пример молодым его стихам, французистым по манере — в духе того времени. И нужно сказать тебе, что горько становится: не имею возможности писать сам. И приходит в голову вопрос — неужели только один я теряю от этого? Я чувствую, что мог бы сделать еще немало и мог бы писать лучше, чем раньше.

Ты пишешь о свидании. Даже если бы его разрешили,— нет никакого смысла затевать это дело. Не говоря о деньгах, которых нет,— подумай, сколько трудов и лишений доставит тебе эта дорога — сюда, на край света. Приедешь измученная, усталая, издерганная и для чего же — для того, чтобы провести со мной несколько часов. Ни тебе, ни мне легче от этого не будет; наоборот, мы только еще сильней растравим нашу рану. Не подумай, что мне не хочется видеть тебя. За один только взгляд я бы согласился бог знает что отдать, но трезво обдумав положение дела, мне кажется, что ехать не следует...

Живу так же, как раньше. Весна нынче медленная, то растает, то снова подмораживает.

Недели две тянулась посылка, и я подкрепился ей. Возможно, что скоро наладится получение личных денег, тогда буду в состоянии коечто прикупать из ларька. В общем жизнь стала очень однообразной со всеми ее трудностями. В делах застой, и нового ничего не слышно.

До свидания, моя родная. Целую тебя и детей. Пишу тебе регуляр-

но каждое воскресенье. Твои письма тоже доходят, кажется, аккуратно, и я рад, что судьба не лишает меня этой моей последней радости.

Твой Коля. Н. Заболоцкий.

Из письма от 19 апреля 1941

Получил телеграмму о высылке хрестоматии. Ты мне оказала большую услугу...

Стал и я стареть. Все явственней обозначается лысина, появились морщины, в коже нет прежней упругости, свежести. Время и лишения делают свое дело. Из одной жизни я провалился в другую и смотрю теперь оттуда на вас глазами иного человека, малопонятного для вас и уже многими, вероятно, забытого... Если бы я мог как следует отдохнуть, отоспаться и передумать много, много мыслей, которые уже давно ждут своей очереди и которыми заниматься некогда! Моя голова еще хочет думать, она еще не утратила этой способности, и одно это обстоятельство уже радует меня. Не мне одному тяжело в заключении, но мне тяжелее, чем многим другим, потому что природа одарила меня умом и талантом. Если бы я мог теперь писать, я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь, тем ближе мне делается природа. И теперь она стоит передо мной, как огромная тема, и все то, что я писал о природе до сих пор, мне кажется только небольшими и робкими попытками подойти к этой теме.

Из письма от 3 мая 1941

За майские дни хорошо отдохнул.

8 мая 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Милая Катя, милые детки! Спасибо за поздравления, я сегодня получил вашу телеграмму. Вчерашний день рождения прошел у меня мирно и хорошо. День выдался ясный, солнечный и теплый; уже несколько дней хожу на работу в плаще и фуражке, что очень приятно — после тяжелого и надоевшего за зиму бушлата. В перерыве на завтрак пили чай с вареньем и белыми булочками. Таким образом я вступил в новый год своего существования — 39-й, что само по себе не столь уж радостно, но, правда, пока еще не слишком и печально.

В общем живу я по-старому, и все мои новости и интересы вращаются вокруг работы,— что касается свободных часов, то они ежедневно проходят как две капли воды похожие друг на друга — хождение на колонну или на работу, еда, сон.

Кормежка стала лучше — супы вкуснее, на второе каша гречневая или пшенная. Так как теперь имею возможность получать ежемесячно из личных денег рублей по 50, то эти деньги с прибавкой заработка — 45 рублей — позволяют прикупать кое-что из еды, и питание таким образом в общем делается значительно лучше. С вашими письмами сейчас какая-то местная задержка, которая, видимо, постепенно рассосется. Получил лишь твои открытки от первых чисел марта месяца, писем же не получал давно, также не получил еще и книги.

Кроме газет, почти ничего не читаю — и времени нет, и книг тоже нет. По-прежнему — есть радио, так что я более или менее в курсе всех новостей.

Что касается работы, то я вполне с ней справляюсь и вырабатываю ежемесячную норму до 120—125 процентов при хорошем и отличном качестве. За все время не имел никаких замечаний, выговоров и пр. Работать, правда, приходится немало.

Очень печально, что о вас почти ничего не знаю нового — как вы живете, как Никитушкино учение, как выяснились дела с деньгами в Детиздате, где и как собираетесь проводить лето. И ведь жить вам без меня еще почти два года — целая вечность!

Часто вспоминаю я Никиткино детство — как он на Сиверской впервые встал на ножки, как лазил под стол за мячом и, разогнувшись там,— ушибся, что послужило ему уроком, как играли в прятки, как он наблюдал за моим бритьем, а я строил ему невероятные рожи, что доставляло ему столько удовольствия; как дочку укачивал; как она тихонько сказала «папа» — тогда,— прощаясь со мной. Или это только почудилось мне? Пиши, Катя, о ребятках. Судьба оторвала меня от дочки; детство ее проходит без меня.

Силы жизни еще живы во мне. Просыпаясь утром, я еще ощущаю приток свежих сил, и первое, что мне хочется,— это вспомнить о чем-нибудь хорошем, что давало бы надежду и поддерживало бодрость духа. Много раз пробовал я трезво размышлять о всем этом моем несчастном деле — но тут так много для меня непонятного, что размышления мои не приводят ни к чему. И кажется, только и радости у меня — что вы живы, здоровы и я, может быть, еще понадоблюсь вам когда-нибудь,— когда буду снова свободен.

До свидания, родная моя. Крепко целую тебя, Никитушку, дочку. Будьте здоровы, не болейте, не забывайте папу, который вас так любит.

Н. Заболоцкий.

Из письма от 18 мая 1941

Иногда у нас бывает кино.

Из письма от 30 мая 1941 к Е. В. Заболоцкой

Теперь, когда я знаю, что ты получила эти деньги, а также получишь с Детиздата 5 тысяч, мне стало куда спокойнее за вас. Я благодарю мою судьбу за то, что вы не забыты и не заброшены в Ленинграде, и за то, что старые мои работы еще полезны для вас. Не каждому выпадает на долю такое счастье. Получил я и Колино письмо.

30 мая 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Мои дорогие детки, Никитушка и Наташенька! Ваши карточки в письме и конфетки в посылке я получил. Карточки очень даже неплохие, и я каждый день их рассматриваю. Конфетки — прекрасные. Как только я съедаю конфетку, я говорю: — Вот я поцеловал маленький Наташенькин пальчик. Съедаю другую и говорю:— Вот я поцеловал Никиткино ухо. А как только посмотрю на карточку и увижу — какой большой вырос Никита, я думаю: наверное, ухо у него теперь с целую тарелку — что же я его целую, это уж даже неприлично. Наташенька тоже выросла, но пальчики у нее еще, вероятно, маленькие — не больше конфетки, поэтому целовать их очень приятно,— они даже вкуснее самых вкусных шоколадок.

Никиту Николаевича поздравляю с переходом во 2-й класс и с отличными отметками. Я его теперь очень уважаю и даже немножко побаиваюсь — вдруг он заметит у меня в письме ошибку или кляксу. Кроме того — он фотограф, а я снимать не умею. Умею только ботинки с себя снимать, когда ложусь спать, а карточки — не умею. Когда я вернусь — Никита Николаевич, вероятно, уже будет разговаривать по-французски, и я буду у него учиться.

А с Наташенькой мы будем играть в лошадки. Она еще будет не очень большая, и ей будет удобно сидеть у меня на спине. Я научился здесь быстро ходить,— если же стану на 4 ноги, то из меня получится недурная лошадка.

До свидания, детки. Поправляйтесь хорошенько на Сиверской, загорайте на солнышке, отдыхайте. Целую вас и обнимаю.

Ваш папа Н. Заболоцкий.

24 июня 1941 <Комсомольск-на-Амуре>

Родная Катенька, милые детки! С этой колонны уезжаю [11]. Я вполне здоров. По прибытии на новое место и при первой возможности напишу и сообщу адрес. Не волнуйся очень, если письмо придет не скоро. Любимая моя! Целую твои ручки. Сколько можно, береги детей и себя.

Твой Коля.

14 ноября 1941 <Район Комсомольска-на-Амуре> [12]

Милая Катя! Я здоров и на старой работе. Мой адрес: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99, поселок Старт, колонна 51 (Ширпотреб), мне. Жду твоего письма. Последнее было от 5 июля.

Целую тебя и детей.

Н. Заболоцкий.

Из письма от 10 марта 1942

Комсомольск-на-Амуре, колонна 51.

Вчера получил телеграмму из Костромы (NB: семья была вывезена из Ленинграда через Ладожское озеро 6-го февраля 1942 г.). Здоров и работаю пока по-старому.

14 апреля 1942 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Милая Катя! Я жив и здоров; живу сносно. Адрес мой переменился, теперь нужно писать: Комсомольск-на-Амуре, п/я 99/7, колонна № 12, Проектное Бюро, мне.

Последнее твое письмо было от 5 июля прошлого года; после этого письма я получил только две телеграммы — новогоднюю и из Костромы. Последнюю телеграмму не совсем понял и теперь не знаю — с тобой ли дети или ты их оставила у сестры. Мало представляю себе — как вы там живете. Если получишь это письмо и будет возможность — пошли телеграмму,— они, кажется, идут лучше.

Жду вестей от тебя. Крепко целую всех.

Ваш Н. Заболоцкий.

Из письма от 3 июня 1942

С большим запозданием нашла меня твоя телеграмма из Кирова от апреля м-ца... Здоров, живу сносно. Имею возможность регулярно читать газеты.

15 июля 1942 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Моя милая Катя! Вчера я получил, наконец, твою телеграмму из Уржума. Я уже потерял было надежду, что наша переписка снова наладится, и не знал точно — где вы и что с вами. Теперь мне стало спокойнее. С нетерпением жду посланного письма.

Я здоров и работаю по той же специальности. Прошлая зима прошла однообразно, но удачно в том отношении, что было хорошее теплое помещение. Теперь помещение для лета тоже хорошее, хотя несколько холоднее. До зимы, однако, еще далеко, и неизвестно — где мы будем к тому времени. Живу в общем, по нашим условиям, неплохо. Конечно, далеко не так, как раньше, но все же жить можно. Самая необходимая одежда и белье есть.

Как-то огрубел внутренне за эти годы, и многие ощущения притупились. Может быть, сам организм вырабатывает этим самым средство для самозащиты — ибо разве может человек на протяжении нескольких лет находиться в непрерывном волнении и тревоге?

С трудом могу представить себе, как ты жива до сих пор, если с тобой не произошло того же. Я знаю, что ты впечатлительнее меня и нервы твои легче возбуждаются. Какая мука, если ты не стала теперь спокойнее за детей и за себя!

Напиши, родная, как работается, как ты себя чувствуешь и что теперь представляют собой наши дети. Я знаю, что тебе очень трудно живется. Хотелось бы мне приласкать тебя и утешить. Но что значат в письме — легковесные слова утешения? Одно только ты должна всегда помнить: если судьба еще позволит нам быть вместе, я ничего лучшего для себя не мыслю—как жить для детей и для тебя. Будем надеяться — без надежды трудно жить. Горько думать, что трудно детям. Учится ли или будет ли учиться Никитушка? И как вы кормитесь. Конечно, вещи какие еще были — все осталось в Ленинграде, и теперь у тебя едва ли есть даже самое необходимое. Друг мой, я уже тысячу раз все это передумал, и единственным утешением моим было лишь то, что сами вы живы и здоровы. Я буду возможно чаще писать тебе, пиши и ты, и основное повторяй, так как часть писем, видимо, просто теряется.

Всех вас, мои родные, крепко обнимаю и целую — тебя, Никитушку, Наташеньку.

Милые детки, живите дружно, помогайте мамочке и любите ее. Папа вас всегда помнит и любит.

Ваш Н. Заболоцкий.

Из письма от 7 августа 1942

Пока живу по-старому, но, конечно, не знаю, что будет завтра, и судить об этом очень трудно, особенно в наше тревожное время.

30 августа 1942 <Район Комсомольска-на-Амуре>

Милая Катя, милые мои детки! Я жив и здоров, и живу пока по-старому. Готовлюсь к зиме, хотя сентябрь еще, думаю, здесь простоит теплый и хороший. Как уже сообщал вам в последнем письме — ваши письма — открытку и Никитушкино письмо я получил. После этих писем вестей от вас не было.

Никаких особенных новостей у меня нет. Жизнь, конечно, стала сложнее, поэтому стали примитивнее желания и больше уходит времени на то, что раньше делалось само собой. Не всегда бывает махорка, которую я стал курить значительно меньше, но бросить которую все еще не могу. Да, признаться, и не слишком хочется — ведь это последняя забава, которая еще более или менее доступна мне. А кроме того — бросишь курить — увеличится аппетит, что тоже не устраивает.

Но вообще чувствую себя здоровым и работаю, как всегда.

Подал заявление о переводе вам остатков личных денег — еще не сообщили — перевели их или нет, сам же пока справки навести не могу. Раньше меня очень огорчало, что я почти не имею возможности ничего читать, кроме местной газеты. Теперь же, когда и на воле не до чтения, я как-то смирился с этим. Но как я буду счастлив, если когда-нибудь снова смогу перечитать «Войну и мир» или «Анну Каренину»!

Милые мои, как-то вы живете? Никитушка, вероятно, пойдет учиться, а где же и с кем будет оставаться Наташенька? Здоровы ли вы, мои родные, и как ты чувствуешь себя, Катя? Крепись, моя женка, не горюй. Переживется тяжелое время, отдохнешь и ты.

Милая Катя, напиши мне, что тебе известно о судьбе брата — жив ли он и где находится? И где Андрей Иванович? Из Никитушкина письма я узнал, что Лида тоже работает в Уржуме. Передай ей мой сердечный привет.

До свидания, мои родные. Крепко целую вас всех и обнимаю. Не забывайте папу и пишите почаще, хотя и понемногу.

Ваш Н. Заболоцкий.

Из письма от 17 сентября 1942
Перевод 196 руб. [13]

Из письма от 11 октября 1942
Возможно, что переедем ближе к городу.

Из письма от 29 октября 1942
Мой новый адрес: г. Комсомольск-на-Амуре, п/я 215/17, мне. Адрес новый, а место старое: год с лишком назад я уже работал здесь. Есть надежда на улучшение бытовых условий.

Из письма от 19 марта 1943
Открытку и письма от 30 декабря, 10 и 21 января получил. На днях, очевидно, уезжаю отсюда на Алтай. Я оставлен здесь до конца войны, но если уеду, буду жить значительно ближе к тебе. Там, куда мы едем, говорят, все значительно дешевле, чем здесь, и климат мягче. Приеду на место, вероятно, в начале мая. Итак, я вступаю в новый период моей жизни, который не радует меня и не огорчает, так как чувства уже притупились и продолжение несчастья не кажется более ужасным, чем то, которое случилось 5 лет назад.

NB: конец срока.

23 апреля 1943 <Комсомольск-иа-Амуре>
Милая Катя! До сих пор я еще в Комсомольске. Очевидно, на днях выезжаю в Алтай. Как я уже сообщал тебе, я здесь оставлен до конца войны. Я здоров. Сегодня получил письмецо от Наташеньки с картинками. Спасибо, дочка. Получили ли мое предыдущее письмо с письмами для детей?

Очень тороплюсь. До свидания, родные мои, с нового места сразу напишу. Целую всех.

Ваш Н. Заболоцкий.

Телеграмма 4 июля 1943
Здоров. Вышлите костюмы, немного белья. Кулунда Омской, Михайловское, п/я 308 дробь 13. Коля.

Из письма от 29 августа 1943
С наступлением осенних месяцев появились овощи — много огурцов, арбузов. Огурцы мы можем покупать по твердым ценам, и кормят лучше, чем в Комсомольске. По временам я даже имею немного молока, иногда — арбуз. После долгого поста все это кажется волшебно-приятной пищей... В начале лета мне было чрезвычайно трудно, теперь легче, хотя занят с утра до ночи. После Комсомольска длинное и ясное здешнее лето радует меня. Каждый день я проделываю километров 9 пешком — по дороге на работу и обратно — и наблюдаю природу, и загорел весь, и поокреп. Но, кажется, лето уже на исходе. Начинаются ветры, ночи становятся прохладными, и в нашей землянке мы уже чувствуем наступление осенних дней... Зимы здесь, говорят, суровые, но они короче, чем в Комсомольске, и вероятно, более снежные, чем там. Кулунда — это железнодорожная станция южнее Новосибирска, по направлению к Славгороду, недалеко от Казахстана. Мы живем в селе Михайловском — километров за 100 дальше... После телеграммы — это мое третье письмо.

Из письма от 9 ноября 1943
С 1 августа не имею от тебя никаких вестей. Здоровье мое удовлетворительное, хотя сердце начинает гулять. (NB: тогда после летних работ на содовых озерах врач находил у меня декомпенсацию. Я весь распух и болел долгое время.)

28 ноября 1943 <Михайловское Алтайского края>
Моя милая Катя! После трехмесячного перерыва получил вчера твое письмо от 11 октября. Никитушкино письмо, видимо, затерялось но если оно в отдельном конверте — может быть, оно еще дойдет до меня. Рад, что окончилась твоя огородная кампания и что зимой хотя что-нибудь у тебя будет. Я представляю себе, как измучилась ты, и наши полузаброшенные дети так и стоят перед глазами. Но что можешь сделать ты? И так ты делаешь много больше того, что в твоих силах.

О посылке ты не беспокойся, родная. Теперь мои дела поправились: у меня крепкая обувь, есть защитная куртка, брюки и ватная телогрейка, и вообще теперь у меня есть почти все необходимое из одежды. Есть 2 пары белья. Я чувствую себя сносно, питаюсь тоже. Если все же возьмут посылку, то серую курточку можно послать и легкие брюки. Куртку если не подшила ватой — не подшивай; но если уже подшила, то хорошо и подшитая. Ну, пару белья, носки и все. На жиры не траться, лучше пусть детям. Я не голоден и выгляжу неплохо.

Относительно твоей поездки — рискованное это дело. Я не знаю, дадут ли свидание. Денег потратишь много. В дороге мученья. Да и мы можем отсюда уехать обратно. Как ни тяжело, а не советую, Катя. И рад бы всей душой увидеться, но разум подсказывает другое. И ни к кому не ездят. И детей как оставить? Надо ждать. Может быть, уж не так долго осталось. Получил от Коли из Молотова письмо и сегодня ему отвечаю. Нелегко, видно, им всем достается. Для всех эти годы — переломные, надо вытерпеть их.

Рад, что теперь с комнатой у тебя лучше. Это очень много значит. Хотя дома будет поспокойнее. Как выглядят наши дети? Очень плохенькие или нет?

Переписываешься ли ты с Женей, есть ли сведения о брате? Установлено ли, что он погиб, или это еще не известно?

Что еще нового о знакомых? Коля пишет, что Даниил Иванович и Александр Иванович умерли. При каких обстоятельствах—не пишет [14]. Много знакомых сейчас в Молотове (Перми). Пишет, что квартира Коли в Ленинграде погибла. Напиши, осталось ли что-нибудь от моей библиотеки? Хотя все это теперь дело десятое.

Пишу почти в темноте, поэтому кончаю. Крепко целую тебя, моего любимого мальчика, мою родную доченьку. Как часто-часто мысленно я бываю с вами, кажется, вся душа улетает к вам и беседует с вами. Целую твои ручки, милый друг мой, жена моя. Береги себя, сколько можно. Только бы ты была здорова.

Твой Н. Заболоцкий.

Из письма от 6 декабря 1943
Последнее время жил значительно лучше, чем раньше.

Из письма от 23 декабря 1943
Здесь установилась настоящая русская зима. Она мягче и солнечнее, чем в Комсомольске, много снега, и мне доставляет удовольствие ходить на работу по настоящему сосновому перелеску, занесенному снегом. Я тепло одет и не страдаю от холода.

Из письма от 11 января 1944
Удивляюсь, почему не получаешь моих писем, которые я пишу довольно регулярно.

Из письма от 23 января 1944

Все время на чертежной работе. Удивительно, что зрение еще не сдает, а то было бы плохо. Питаюсь лучше, чем на Дальнем Востоке. От холода не страдаю, так как землянка довольно теплая, зима же стоит пока очень мягкая. Но в феврале и марте здесь обычно бывают сильные метели с заносами...

Примитивно-житейские заботы выматывают все силы, и думать времени не остается. А если и соберутся в голове мысли, так бродят они беспорядочно, как козы без пастуха, и толку от них никакого.

Как это ни странно, но после того, как мы расстались, я почти не встречал людей, серьезно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир — это только маленький остров в океане равнодушных к искусству людей.

18 февраля 1944 <Михайловское>

Моя милая Катя! Сегодня получил два январские твои письма и перед этим — открытку. Друг мой милый, ведь это первые письма, из которых я узнаю, что было с вами в Ленинграде до эвакуации. Сердце дрожит за вас, хоть и прошло все это и стало прошлым. Сама судьба сберегла вас, мои родные, и уж не хочу я больше роптать на нее, раз приключилось это чудо. Ах вы, мои маленькие герои, сколько вам пришлось вынести и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам, и что-то еще впереди будет.

Друг мой, стоит ли тут говорить о библиотеке, о костюмах! Тысячу раз права ты, когда продала книги, и вообще — может быть, наибольшая польза, которую могли дать мои книги,— это та польза, которую ты получила от продажи их. Я совершенно серьезно говорю это. Ибо мудрость книг — вокруг нас, а жизнь наша и детей наших — одна-единственная и не повторяется больше.

И зачем ты хранишь мой черный костюм, глупенькая? На что он мне? Что я, хуже буду без него, если освобожусь когда-нибудь? Продай его при первом удобном случае, и пусть дети съедят лишний кусочек. Видит бог, никогда не услышишь ты от меня ничего похожего на упрек,— так как в жизни ты, по всей видимости, поступаешь умнее и лучше меня, и я глубоко верю, что судьба еще вознаградит тебя за все лишения и беды, которые перенесла и переносишь ты, моя милая. Я, кажется, тоже стал немного другой; по крайней мере уже не привлекают меня в жизни ни костюмы, ни деньги, и живая человеческая душа теперь осталась единственно ценной.

Я все же так плохо знаю, что творится в жизни, что боюсь что-либо советовать тебе о переезде в Ленинград. Советую тебе крепко списаться с Колей Степановым и подождать, пока он переедет первый и сообщит тебе. Я был бы глубоко счастлив, если бы жизнь там быстро наладилась и все вы, мои дорогие, снова съехались на старые места. Представляю, что тебе там было бы душевно легче с друзьями. Но смотри сама. Может быть, женщинам и детям еще рановато выезжать. Коля тебе не посоветует дурного. Спроси у него.

И Жене и Томашевским [15] прошу передать мой сердечный привет. Запроси Женю о судьбе брата и сообщи мне. Жаль мне брата, так жаль, вся жизнь была у него впереди и за спиной было так мало радостного.

Милая Катя, вчера я сдал большое заявление о пересмотре моего дела — на имя Наркома Внутренних дел для передачи в Особое Совещание. По всей видимости, его скоро перешлют в Москву. Оно подробное, на 11 страниц текста. Буду ждать ответа.

Что касается меня, то обо мне ты не беспокойся. Сейчас моя жизнь идет сносно; я одет и обут, всю зиму хожу в валенках, которых, надеюсь, хватит до весны. Зима здесь на редкость мягкая, и от холода я не страдаю. Кормят значительно лучше, чем в Комсомольске, и я за это время подкормился и чувствую себя неплохо. Конечно, положение мое прежнее, и я не знаю, что со мной будет завтра, но жизнь научила жить сегодняшним днем. Ты просишь написать — что я ем. Друг мой, я ем самые замечательные вещи: щи с капустой, кашу пшеничную и пшенную, иногда лапшу, а также и хлеб. Уверяю тебя, что все это очень вкусно, и там бывает масло, и я не отказался бы еще от лишней порции. Серьезно, не беспокойся обо мне. А вот напиши-ка ты мне: что ты ешь? И помнишь ли ты ту вазу с апельсинами, которая когда-то стояла на нашем столе?

От Коли из Москвы получил небольшое письмецо, на которое послал ответ заказным и теперь жду нового письма.

Если у тебя когда-нибудь выпадет минутка свободная, напиши мне поподробнее о том, что было с вами в Ленинграде и как вы эвакуировались. В те времена писем от вас не было, не до писем было в те времена.

Целую тебя, родная, целую Никитушку, Наташеньку. Душа моя всегда с вами. Все надеюсь и жду нашей встречи.

Пиши, Катя. Письма твои — радость для меня.

Денег мне не шли, мой друг. Вам они нужнее.

Твой Н. Заболоцкий.

Из письма от 30 марта 1944

Рано ли, поздно ли, но придется ехать в новые или, быть может, старые места, что весьма не хотелось бы. Получил от Коли письмо: Ю. Н. Тынянов умер после долгих и тяжелых страданий. Эта смерть очень огорчила меня, и я несколько дней хожу под тяжелым впечатлением этой утраты. Юрий Николаевич был всегда внимателен ко мне с первых шагов моей литературной работы, и я был ему во многом обязан.

Здесь весна, и я давным-давно хожу в одной телогрейке. Когда после работы выходишь из этих прокуренных комнат и когда сладкий воздух весны пахнет в лицо — так захочется жить, работать, писать, общаться с культурными людьми. И уж ничего не страшно: у ног природы и счастье, и покой, и мысль. Каждый вечер мы жадно слушаем радио, и хорошие вести с фронта ободряют и вселяют надежды.

Из письма от 21 апреля 1944

Воспоминания о природе Дальнего Востока (см. отдельно) [16].

23 апреля 1944 <Михайловское>

Милая Катя, сегодня совершенно неожиданно получил от тебя эту роскошную посылку и удивился, честное слово, откуда ты взяла столько денег, чтобы купить это масло. Ведь по нашим временам это целое состояние. Детям оно было бы нужнее, но уж раз послала — спасибо за все, поем за ваше здоровье. Очень обрадовали меня носки, ибо по этой части у меня дефицит. Я их снаружи подшиваю лоскутками—они дольше держатся. А в одних портянках все еще ходить не научился — вылезают из ботинок. Я живу неплохо и, во всяком случае, лучше, чем в Комсомольске. И за уголки спасибо. Сегодня у меня выходной, первый за долгое время, и я отлично его провел, упражняясь около твоей посылки.

Еще я рад тому, что у меня начинает работать голова, и несмотря на работу, я теперь довольно много думаю. По дороге на работу и обратно стараюсь ходить один, наблюдаю природу, и это доставляет мне

величайшее наслаждение *. Ведь теперь весна, сколько перемен в природе!

До свидания, родная моя. Спасибо за заботы.

Твой Н. Заболоцкий.

Из письма от 12 мая 1944

У меня новость: решили мы с товарищем посадить огород. Уж не знаю, доживем мы тут до овощей или нет и сумеем ли уберечь от воров, но решили засадить маленький огородик. Обнесли его колючей проволокой, землю вскопали. Посадили на двоих 80 кустов картофеля, грядку моркови; оставили 2 гряды для огурцов, грядку для свеклы, дыни и пр. Особое место для помидоров. Огородик небольшой, но мы думаем наверстать тщательностью обработки и удобрением. Землю мы унавозили. Обещали нам и рассады для помидоров. Рядом с нашим огородом уже появился другой, и еще совсем маленький — третий. Пример заразителен.

События развиваются быстро, и я думаю, что не так далек и конец войны.

Из письма от 24 мая 1944

Я очень надеюсь и имею на это основание, что судьба моя может скоро измениться и, может быть, час нашей встречи даже ближе, чем мы думаем.

Ты пишешь: «Жизнь прошла мимо». Нет, это неверно. Для всего народа эти годы были очень тяжелыми. Посмотри, сколько вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла эта жизнь? Когда ты очнешься, отдохнешь, разберешься в своих мыслях и чувствах, ты поймешь, что не даром прошли эти годы, они не только выматывали твои силы, но в то же время и обогащали тебя, твою душу, и она, хотя и израненная,— будет потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде. Время моего душевного отчаянья давно ушло, и я понял в жизни многое такое, о чем не думал прежде. Я стал спокойнее, нет во мне никакой злобы, и я люблю эту жизнь со всеми ее радостями и великими страданиями, которые выпали на нашу долю.

Получил письмо от Коли и Вениамина Александровича. Вениамин Александрович написал очень теплое письмо [17].

Из письма Никите от 6 июня 1944

Я шел на работу, один, мимо кладбища. Задумался и мало замечал, что творится вокруг. Вдруг слышу — сзади кто-то меня окликает. Оглянулся, вижу — с кладбища идет ко мне какая-то старушка и зовет меня. Я подошел к ней. Протягивает мне пару бубликов и яичко вареное: «Не откажите, примите». Сначала я даже не понял, в чем дело, но потом сообразил: «Похоронила кого-нибудь?» Она объяснила, что один сын у нее убит на войне, второго похоронила здесь 2 недели назад, и теперь осталась одна на свете. Я взял ее бублики, поклонился ей и пошел дальше. Видишь, сколько горя у людей. И все-таки живут они, и умеют даже другим помогать. Есть чему поучиться нам у этой старушки, которая, соблюдая старый русский обычай, подала свою поминальную милостыню мне, заключенному писателю [18].

...Сейчас пришла весть о том, что союзники высадились в Северной Франции. Будем надеяться, что конец войны недалек.

Из письма от 3 июля 1944

Занимаемся своим маленьким огородом. Картошка наша растет,

* Выписав это место письма, Н. А. Заболоцкий сделал пометку: «режим смягчился, ходили без конвоя».

помидоры, огурцы. Если здесь задержимся до осени, будет неплохое добавление к питанию.

Каждое утро жадно слушаем радио — наступление так быстро развивается, что надежда на близкое и счастливое окончание войны растет с каждым днем.

...Сплю на воздухе, спасаясь от клопов.

Из письма от 16 июля 1944

Огородик наш пышно расцвел, и мы уже пожинаем первые плоды наших трудов. Сняли на двоих 20 штук огурцов и, наверное, корней 40 редьки, которая выросла у нас вместо редиски. Картофель дважды окучивали, сейчас он зацветает, и недели через 2 мы надеемся попробовать молодой картошки. Десятка полтора тыкв, десятка два дынь — пока что ростом с огурец и меньше. Очень много плодов на помидорах, с которыми мы много возимся—пасынкуем и пр. Нужно сказать, что нам очень помогают дожди: они избавляют нас от поливания. Огородик нам поможет прожить ближайшие месяцы и, надеюсь, даст хороший сбор, так как мы его очень тщательно обрабатываем. Он же очень небольшой: шагов 20 в длину и шагов 5—6 в ширину. Мы и спим в этом огородике, спасаясь от клопов. Правда, часто посреди ночи мы, застигнутые дождем, вскакиваем и несемся с постелями в барак; но едва кончается дождь, мы снова вылезаем на воздух...

...Все последнее время, как ты знаешь, идет грандиозное наступление в Белоруссии, и мы жадно слушаем радио. Теперь и конец войны не за горами. Время уходит на работу, на ударники и пр.

6 августа 1944 <Михайловское>

Милая Катя! Пока в жизни моей никаких перемен нет. Но пребывание наше здесь постепенно подходит к концу, и куда мы поедем дальше, пока неизвестно. В связи с окончанием работ возможны всякие изменения в нашем положении, но все это сейчас еще очень туманно, и не знаю, как обернется.

Живу ничего, неплохо, не голоден. Появляются овощи. Со своего огородика сняли на двоих десятков восемь огурцов, вчера сняли первый десяток красных помидоров. Зреет с десяток-другой дынь не очень крупных, правда. Тыквы уже здоровые, но они созреют позднее. Пробовали смотреть картошку — клубней очень много, но мелкие. Пробовали, правда, недели две назад. Решили не тревожить ее до конца месяца, надеемся снять неплохой урожай.

Правда, лето стоит не очень жаркое, а по ночам стало уже совсем холодно. Сплю все еще на дворе и чувствую себя хорошо, сердце тоже больше не тревожит, как видно, я все-таки здесь подправился.

В здешних местах великолепные урожаи проса. Растение очень неприхотливое, растет даже на невспаханной почве, и урожайность его во много раз больше пшеницы или ржи. Пшенная каша часто бывает на нашем столе, о чем мы и не мечтали в Комсомольске.

Работа идет своим чередом, времени остается мало, но последнее время я все же умудряюсь немного читать—всякие случайные книжки. Прочитал «Собор Парижской богоматери» Гюго, книжку Гейне, статьи Вересаева. Я бесконечно далек от всякой литературы, и искусство стало для меня атрибутом далекого светлого существования, о котором можно только вспоминать.

Газеты я читаю довольно регулярно, также каждый день слушаю радио и сводки Информбюро. События развиваются столь стремительно, что уже нет никакого сомнения в том, что близок конец войны. Все это очень радует и дает зарядку на весь рабочий день.

Давно не получаю писем ни от тебя, ни от Коли. Понимаю, что работа и огород отнимают у тебя все время. Когда выберешь свободную минуту, напиши о своей жизни, о детях, об огороде. Каковы виды на урожай овощей?

Друг мой, не теряй надежды, будь спокойна и терпелива. Не исключена возможность, что скоро ты получишь от меня радостные вести. Только береги себя и детей.

Крепко целую и обнимаю тебя, Никитушку, Наташеньку. Будьте здоровы, мои дорогие, любимые.

Твой Н. Заболоцкий.

29 августа 1944 <Михайловское>

Моя милая Катя! Уже 10 дней прошло после моего освобождения, и я только теперь могу написать тебе письмо. Сразу на голову свалилось столько дел и хлопот, что едва хватило времени, чтобы послать тебе телеграмму. Получила ли ты ее?

Итак по порядку.

По постановлению Особого Совещания в Москве я был освобожден 18 августа с оставлением здесь в качестве вольнонаемного до конца войны (освобожден по директиве № 185 п. 2). Не исключена возможность, что в дальнейшем я попаду в Армию, но пока оставлен здесь и оформлен в должности техника-чертежника, с окладом 600—700 рублей в месяц и снабжением, которое следует по должности. Оно вкратце сводится к следующему: хлеба 700 грамм, обеды и завтраки в столовой, ну и еще какие-то блага, в курс которых я еще не вошел. Все это не бог весть как жирно, но по нашему времени, в особенности — по сравнению с тем, что было у меня недавно,— это очень хорошо. Жизнь значительно изменилась, я питаюсь сытно и вкусно. Вместе со мной освободились два инженера, и мы трое усиленно ищем квартиру, т. е. комнату в крестьянской избе. Несмотря на то, что мы на это затратили много времени и хлопот,— пока еще ничего твердого не получили, но надеемся в скором времени все же найти пристанище. Пока же ютимся на краю села в грязноватой избушке, но это — временно.

Таким образом, милая Катя, хотя жизнь моя коренным образом изменилась, но это не совсем то, что ты ждала. По всей видимости, я имею право выписать к себе семью, но так как мы здесь кончаем свои дела и через месяц-полтора выезжаем отсюда по новому назначению (еще неизвестно куда), то делать это пока бессмысленно, и нужно, по крайней мере, ждать того времени, когда мы приедем на новое место и осядем там. Трудно сказать — где это будет, и наше окончательное решение будет зависеть от того, насколько будут для нас пригодны условия будущего нашего существования.

Но, дорогая моя, ты не должна разочаровываться. Учти реальные условия нашего времени, подумай и пойми, что если этот поворот в моей судьбе и не обозначает пока нашего немедленного свидания, то он является большим и решающим шагом к нашей дальнейшей совместной жизни, которая теперь совсем недалеко от нас. Если ты все это учтешь, если ты вполне доверишься мне и моему страстному желанию прилететь к вам, родные мои,— это было бы все, чего я хотел бы от тебя в эту минуту. Я еще многого не знаю и не совсем ясно себе представляю, как я буду жить в дальнейшем, но очень возможно, что если ты и дети приедете ко мне, то нам обоим придется работать, так как этих моих заработков всем нам не хватит, и с этим обстоятельством мы до поры до времени должны будем примириться. Но, конечно, родная, тебе все же будет легче, чем теперь, а главное — мы будем вместе, а что будет в дальнейшем — там увидим. Конечно, все это еще наметка, и реальное осуществление этого будет зависеть от того, как сложатся обстоятельства в ближайшие месяцы.

Пока же ты должна глубоко порадоваться за меня, успокоиться и еще набраться немного терпения. Теперь поговорим с тобой о мелочах житейских. Вышел я одетый во все лагерное, но мне оставили кое-что из казенных вещей. На мне рабочие ботинки—грубые, но крепкие, старенькие защитного цвета штаны и куртка, есть 2 смены старого казенного белья, матрацный тюфяк, наволочка, полотенца 2, мое старое зеленое одеяло (уже с дырками), та меховая куртка, которую когда-то ты мне послала, шапка, дырявые валенки. Железный котелок и деревянная ложка довершают мое богатое имущество. Все остальное сорвала с меня жизнь и развеяла во все стороны во время моих злоключений.

Через несколько дней начальство обещает одеть меня в новый бумажный костюм и выдать новое одеяло — по казенной цене. Это уже хорошо, так как это даст мне возможность принять более или менее человеческий вид.

Физически я чувствую себя отлично, выгляжу хорошо и говорят— моложе своих лет. Сейчас здесь поспели арбузы, они очень дешевы, и все мы едим их очень помногу, и я все вспоминаю вас, как бы я вас покормил арбузами, если бы вы были со мной!

В связи с изменением жизни на меня навалилось много неожиданных расходов, и ясно, что на первых порах мне приходится туговато. Правда, через несколько дней я должен получить на руки около 200 рублей моего августовского заработка, но впереди целый месяц, есть долги, и я дал телеграмму Коле — просил денег. Это уж исключительный случай, когда я позволил себе эту просьбу. Сегодня получаю письмо от тебя от 4 августа, где ты пишешь, что высылаешь мне денег. Сейчас это очень кстати, родная моя, но уже это — в последний раз. Как только я чуть-чуть приду в себя — я начну высылать деньги тебе, если нам еще суждено будет прожить некоторое время вдали друг от друга.

О теплых вещах я пока не беспокоюсь. Придет время — голым держать не будут, все же теперь мое положение другое.

Таким образом, что хотя у меня и очень скудное оснащение, но я не слишком беспокоюсь об этом, и тебе посылать мне ничего не нужно, тем более, что теперь и посылок от тебя, по всей вероятности, более не примут, поскольку я уже не заключенный. Да и заботиться тебе об этих делах больше не следует.

Что касается твоего вызова в Ленинград, то я, откровенно говоря, сильно сомневаюсь, что ты туда сумеешь уехать, так как есть слухи, что временно в Ленинград въезд приостановлен. Правда, достоверно этого я не знаю. Смотри сама, как будет удобнее, но не слишком ли много будет переездов, если в случае — ты решишь ехать ко мне на новое место, а не жить, ожидая меня до конца войны.

Думается мне, с другой стороны, что и конец войны близок. Каждый день с фронтов все новые и новые радостные вести. Уже Румыния дерется с немцами. В плен наши берут по десятку тысяч. Все говорит о близкой полной нашей победе. Мирная жизнь приближается к нам с каждым часом. Вот, моя дорогая, все самое главное, что я могу сообщить тебе на первых порах. Как только вырву минуту, напишу Коле.

Еще вот что: если придется тебе ездить, ради бога, будь осторожна и не попадись под поезд. У нас тут вчера был несчастный случай, и я очень боюсь за тебя.

Еще подробность: меня освободили по ходатайству нашего Управления.

Поправились ли ребятишки? Милые мои, порадуйтесь за меня. Теперь уже недалеко то время, когда мы будем вместе.

С первой возможностью напишу еще.

Милая Катя, целую крепко тебя и детей. Будьте здоровы и терпеливы, так как квартиры еще нет, пишите по адресу: Кулунда, Омской, с. Михайловское, Алтайского края. До востребования — мне.

Телеграммы я не получал почему-то.

Твой Н. Заболоцкий.

Телеграмма 31 августа 1944 <Михайловское>

Освобожден, оставлен вольнонаемным здесь, подробности письмом.

Из письма от 10 сентября 1944

Я в совершенном неведении о том, что будет у нас в дальнейшем. То ли мы едем отсюда, то ли еще задержимся на какое-то время. Надеюсь, что это выяснится в ближайшее время, и тогда нам нужно будет решать, как и когда будем мы с тобой снова соединяться в одну семью.

Из письма от 28 сентября 1944

Подготавливаясь к переезду, ты должна уяснить себе следующее: живя со мной, все вы должны будете ездить со мной туда, куда меня назначат. Оседлой жизни у нас нет. Мы люди странствующие, живем на месте, пока идет стройка; закончится она — мы едем дальше, куда назначат. Это может быть и Крайний Север, и Дальний Восток, и Средняя Азия. Отсюда все выводы.

Ты спрашиваешь о моих правах. Я — так называемый «директивник», то есть освобожденный по директиве и обязанный работать здесь по назначению до конца войны. Это не совсем полное освобождение.

4 октября 1944 <Михайловское>

Получил от тебя еще 2 письма от 15 и 17 сентября. Никаких телеграмм твоих я не получал, справлялся о них, но на телеграфе их нет— значит все затерялось. Письмо первое было послано заказным 28 августа. Значит, оно еще не дошло. После него послал еще письмо и телеграмму.

Страшно подумать, какое безумие налетело на тебя в эти дни. Жаль мне тебя, но что делать, если неполучение писем путает все наши карты и ты готова идти на риск и ехать, куда глаза глядят, сейчас же, не дождавшись письма.

Я директивник, я не пользуюсь всеми правами гражданства. Ты должна это учесть. Семью я могу выписать к себе только с разрешения начальника строительства. До сих пор, думая, что твой приезд сюда пока невозможен из-за скорого нашего отъезда на новое место, этого рапорта я не подавал. Получив эти последние письма, я вижу, что ты можешь приехать сама, и поэтому завтра на всякий случай подаю рапорт. О результатах телеграфирую. О нашем отъезде отсюда — еще точно не выяснено; но думаю, что в течение октября это выяснится. Все может быть внезапным. Здесь особые условия.

Посылаю это письмо и не знаю, застанет ли оно тебя. На всякий случай мой адрес в Михайловке: Пролетарская, 49; это на краю села. Адрес для писем: Михайловка Алтайского края, п/я 308.

Совет мой — приезжать на новое место, это будет благоразумнее, и все будет согласовано с начальством. Но ты, кажется, готова решить иначе, и письмо мое слишком запоздает, чтобы предотвратить твое решение. Пусть будет так, как решит судьба. Но не волнуйся напрасно и не теряй голову. Я здоров. Целую и обнимаю всех.

Любящий вас Коля.

Коля мое г сьмо от 11 сентября получил, а оно было послано на 2 дня позже, чем тебе (30 августа).

Телеграмма 23 октября 1944 <Михайловское>

20-го телеграммой высылаю разрешение райисполкома начальнику Уржумского райотделения НКВД. Копия себе. Татарской пересадка Кулунду. Кулунде пойди найди транспортный отдел Алтайлага. Прокопенко устроит переезд Михайловку. Заболоцкий.

Подготовка текста и публикация Е. В. и Н. Н. Заболоцких.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Уржум — город в Кировской области, где проходили годы детства Н. А. Заболоцкого и куда была выслана из Ленинграда его семья (ноябрь 1938 — август 1939). В Уржуме семья поэта жила и во время войны после эвакуации из блокадного Ленинграда.

[2] «Письмо на Ленинград» — предыдущее письмо было адресовано в Уржум. В то время Е. В. Заболоцкой была разрешена поездка из места ссылки в Ленинград для лечения сына.

[3] «Моя книжка Руставели» — в 1937 году Заболоцкий сделал перевод-обработку для юношества поэмы Руставели «Витязь в тнгровой шкуре» (М.-Л. Детгиз, 1937).

[4] Друзья Заболоцкого: Коля — литературовед Н. Л. Степанов (1901—1972), Саня — поэт А. И. Гитович (1909—1966).

[5] Сиверская — дачное место под Ленинградом, где была дача дяди Е. В. Заболоцкой Андрея Ивановича Клыкова (в письмах — дед).

[6] В журнале «Литературный современник» за 1940 год было напечатано стихотворение А. И. Гитовича «Давным-давно, не знаю почему», обращенное к Заболоцкому.

[7] В то время, когда жена и друзья Заболоцкого надеялись на скорую отмену приговора, Екатерина Васильевна получила ответ Верховной Прокуратуры от 15 июля 1940 года, в котором говорилось: «На В/заявление Прокуратура сообщает, что дело Заболоцкого Николая Алексеевича перепроверено. Установлено, что он осужден правильно и оснований к пересмотру дела нет».

[8] Срочная работа заключалась в оформлении лагерного клуба и проводилась под руководством В. Ажаева, в будущем автора романов «Далеко от Москвы», «Вагон».

[9] В 1940 году Е. В. Заболоцкая направила заявление И. В. Сталину с просьбой о пересмотре дела мужа. В конце года ей сообщили, что дело будет пересмотрено в Москве, но никаких дальнейших результатов не последовало.

[10] Имеются в виду книга Ф. Рабле «Гаргантюа н Пантагрюэль» и поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», которые перевел и обработал для юношества Н. А. Заболоцкий.

[11] После начала войны заключенные были переправлены через Амур и брошены на строительство железной дороги вдоль реки Хунгари в предгорьях Сихотэ-Алиня по направлению к Советской Гавани. Позднее по воспоминаниям об этой стройке было написано стихотворение «Творцы дорог». Для Заболоцкого тяжелая физическая работа, голод, строгий режим продолжались до тех пор, пока он не был снова взят на чертежную работу и переведен в поселок Старт. Но и здесь условия жизни стали значительно хуже, чем до начала войны.

[12] Эта открытка чудом прорвалась в Ленинград сквозь вражескую блокаду и была получена семьей 7 января 1942 года.

[13] Деньги, оставшиеся на личном счету Заболоцкого со времени ареста, по его просьбе были переведены семье.

[14] Д. И. Хармс (1905—1942) и А. И. Введенский (1904—1941) — поэты, товарищи Заболоцкого по литературному объединению Обериу. И тот, и другой были арестованы в 1941 году. Впоследствии Заболоцкий посвятил друзьям литературной молодости стихотворение «Прощание с друзьями».

[15] Томашевские — Ирина Николаевна Медведева (1903—1973), писатель и историк литературы, и Борис Викторович (1890—1957), профессор, литературовед,— друзья семьи Заболоцких.

[16] Воспоминания о природе Дальнего Востока Заболоцкий перепечатал из письма отдельно и назвал «Картины Дальнего Востока». Опубликованы после смерти поэта (см. Собрание сочинений в трех томах, М., Художественная литература, 1983—1984, т. I).

[17] В письме от 2 мая 1944 года В. А. Каверин, в частности, писал: «...В литературе время недалего ушло вперед — так недалеко, что мне совсем нетрудно вообразнть себе, что Вы вернулись и продолжаете свой перевод «Слова о полку Игореве» — сейчас этот труд, мне кажется, нашел бы себе еще более почетное место в литературе, чем когда Вы за него принимались».

[18] Описанный в письме эпизод послужил основой для стихотворения Заболоцкого «Это было давно» (1957 г.).

Николай Шмелев

ЛИБО СИЛА, ЛИБО РУБЛЬ

Иной раз приходится слышать о том, что с разработкой основных направлений реформы политической системы партия, по существу, завершила формирование программы обновления общества, стратегического плана наступления по всему фронту.

Значит, нам наконец все уже ясно? Значит, мы уже точно знаем не только куда идти, но и как туда прийти? Значит, остались только детали, тактические вопросы, неизбежные, но не столь уж важные корректировки, так сказать, «по ходу дела»? Наверное, было бы хорошо, если бы все на самом деле было так. Но, к сожалению, все далеко не так. И, боюсь, что не скоро будет так.

Я сознательно не касаюсь здесь перестройки нашей политической системы. Это громаднейший самостоятельный вопрос, и я не чувствую в нем себя настолько компетентным, чтобы вступать в серьезную дискуссию. Но «обновление общества» — это не только политика, а для меня, экономиста по профессии, это даже и не столько политика. При любых политических переменах наше общество останется больным, если нам не удастся перестроить фундамент, на котором базируется наша экономическая и социальная жизнь. И здесь нам весьма еще далеко до голой тактики. У нас не только не решены, а пока всего лишь намечены, лишь обозначены самые коренные вопросы стратегии «наступления по всему фронту». Конечно, хотелось бы сказать: все уже ясно. Но какой же нам прок обманывать самих себя?

И прежде всего не решен основной, фундаментальный вопрос нашей экономики. На чем в дальнейшем мы собираемся строить наш экономический прогресс, наше экономическое будущее: на силе власти или на том, от чего мы всячески открещивались в течение десятилетий,— а именно, на рубле, на твердом, полновесном рубле, который был, есть и будет живительная кровь всякой нормальной, здоровой экономики, будь то сегодняшний день, или сто лет, или тысячу лет назад.

Наверное, вряд ли кто всерьез станет спорить, что у нас в этом смысле тяжелая, можно даже сказать, трагическая наследственность: иллюзии социалистов-утопистов XIX века и предреволюционных лет, азарт и вседозволенность «военного коммунизма», краткий период отрезвления в 20-е годы, ужас, лагеря и безудержный произвол сталинской поры, мертвящее оцепенение эпохи «застоя», когда всем на все стало наплевать и когда честный добросовестный труд стал в глазах людей если не позором, то, во всяком случае, чем-то весьма близким к юродству.

В чем же была главная причина того, что нашу экономику целые десятилетия корежили как хотели все, кому не лень, что по живому телу народной жизни столь многие и столь долго рубили топором, да со всего размаха, со всего плеча? Почему те же самые люди, которые никогда не полезли бы с железным ломом в ядерный реактор (как ахнет!), лезли, ни на секунду не смущаясь, с тем же ломом в экономику, где, как было ясно любому крестьянину всего лишь с церковноприходской школой за спиной, последствия подобного вторжения будут много хуже, много страшнее, чем даже от взрыва всей взрывчатки, какая только

есть в стране? Что это было? Только ли безграмотность недоучившихся семинаристов, ветеринарных фельдшеров, безусых гимназистов, выгнанных отовсюду за неуспеваемость? Или же то была злая воля патологических властолюбцев, для которых все страдания народа были всего лишь средством урвать с общественного стола свой кусок пирога?

Не знаю. Не берусь ответить на этот вопрос. По-моему, нам еще предстоит не одно поколение разбираться, кто же во всем этом виноват: злые люди, или национальные традиции, или историческая случайность, или небесное проклятье за какие-то нам самим неведомые грехи. Но факт есть факт, и от него никуда не денешься: минимум три поколения нашего народа выросли в уверенности, что экономический успех страны зависит от доброго и умного Генсека, от понятливости и поворотливости наших министров, от усердия наших плановиков, от хороших декретов и постановлений, наконец, от честности и верности долгу нашей милиции — в общем, от чего угодно, только не от того, что определяло и определяет этот успех везде в мире, но только не у нас: от креветворческой способности экономического организма страны и от свободы кровообращения по его артериям и венам.

Положа руку на сердце, как много людей во всех нынешних поколениях нашего народа понимают, что законы природы и законы экономики — это одно и то же? И что человек при всей гордыне, всем самомнении его может только познавать эти законы, подчиняться им, использовать их, но ни в коем случае не лезть на них с кулаками, а то и того хуже — с автоматом? Ведь действительно: как ахнет! И ахало. И слава богу, что хоть живы-то остались, хотя и покалеченные, и повредившиеся в уме.

Так, может быть, хотя бы сегодня, когда страна подошла в экономике к самому краю катастрофы, мы наконец поймем, что наша задача сейчас не придумывать что-то небывалое, вымученное, искусственное и потому обреченное на гибель уже при рождении своем, а о в л а д е т ь тем, что сама жизнь придумала за нас за тысячи лет развития человечества, начиная от Древнего Египта и кончая теми странами и народами, кто сегодня впереди нас? Овладеть тем, что мы еще недавно, еще в 20-х годах, знали и умели не хуже других, но что так жестоко вытравили из нас после 1929 года, когда начался этот дурной страшный сон, от которого страна наша стала пробуждаться всего лишь три года назад?

Либо сила, либо рубль — иного выбора в экономике не было и нет от века, от Адама и до наших дней. Не мы первые (и не мы последние), кто пытался сделать ставку на силу. Египетские пирамиды навсегда останутся в истории не только памятником человеческому тщеславию, но и сотням тысяч впустую загубленных человеческих жизней. Рим сгнил и погиб прежде всего потому, что сгнила экономическая база его — хозяйство, основанное на рабском труде. Пугачевщина не образумила русское дворянство, и оно в конце концов получило то, что по тупости своей и животному эгоизму заслужило сполна. Коллективизация и сталинские лагеря усеяли нашу страну миллионами человеческих костей, но экономически не дали ничего. И все попытки наших идеалистов (либо авантюристов — кому какое слово больше нравится) сломать экономические законы, заменить рынок палкой, изгнать из жизни или изуродовать до неузнаваемости рубль, прибыль, конкуренцию, объективные цены и рыночное равновесие, процент и кредит, акции и облигации, биржу, реальный валютный курс и обратимость рубля, здоровый, сбалансированный бюджет — все эти попытки, как мы сейчас убеждаемся, тоже отнюдь не привели к желаемым результатам.

Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! На том стоял мир, на том он и стоит. Можно сколько угодно кричать, проклинать, размахивать кулаками, можно расстрелять всех экономистов до единого — это ничего не изменит. И как не было в нашей жизни стоящего компьютера, так его и не будет, и как была на полках в магазинах пустота, так она и останется.

Нет ничего другого, дорогие соотечественники. Нет, если мы хотим жить, как люди живут. Либо мы это поймем, либо нет. Но тогда — тем хуже для нас, и тогда, как говорится, помогай нам бог. А нет ничего другого вовсе не потому, что где-то засели зловредные смутьяны и критиканы, которые подкапываются под

нашу жизнь, а то и того хуже — замыслили продать наше любезное Отечество гнилому Западу. Нет — потому, что ничего другого просто не существует в природе. Люди жили до нас и будут жить после нас. И неужели мы еще недостаточно убедились, что стимулы к добросовестному, творческому труду везде, во всем мире, одинаковы, будь то Америка, или Япония, или Европа, или Соломоновы острова? Да-да — одинаковы! Даже недавняя, всем еще памятная попытка в Китае (ссылаясь на некие загадочные особенности восточной души и восточного образа жизни) организовать экономику не на деньгах, а на демагогии и кнуте, кончилась, как известно, полным крахом. А мы все-таки по своим традициям и образу жизни поближе к промышленной цивилизации, чем Китай.

Нередко еще у нас можно слышать утверждения, что рынка в чистом виде уже не существует нигде в мире, тем более в индустриальных странах. Жестокое заблуждение, если не сказать хуже — безграмотность и слепота. Да, государство сегодня везде пытается подправлять рынок, да, монополии планируют свое производство, борются за контроль над рынком — но над рынком же, не над чем другим! Вся система правительственных контрактов в индустриальных странах, все государственные предприятия, все эти слияния, поглощения, сговоры и борьба монополий, вся внутрифирменная деятельность национальных и транснациональных корпораций — все это основывается на полновесных деньгах, на рынке, на конкуренции, а не на кабинетном произволе профессиональных бюрократов, воспитанных в убеждении, что вся экономическая жизнь должна идти так и туда, куда направит их указующий перст. Ничего полезного из того, что история экономики накопила за века, современное индустриальное хозяйство не потеряло. И, добавлю,— не может потерять. Ибо рынок и общественное разделение труда неразъемны, и чем глубже это разделение труда, тем шире, глубже, разветвленнее рынок. А значит, и его инструменты: деньги, цена, налоги, акции, облигации, процент, кредит, валютный курс.

Хотим мы этого или не хотим, нравится это нам или не нравится, но если наша национальная судьба небезразлична нам, если мы не намерены в самом скором времени превратиться в экономически отсталое государство, пропустив вперед себя весь индустриальный мир,— рубль должен быть поставлен в центр всего. Он и только он должен стать мерилом экономического успеха. Он и только он должен быть наградой за усердный труд. Ну, а души человеческие? А о душах человеческих предоставим заботиться тем, кто и должен по долгу своему это делать: учителям, писателям, пропагандистам, судьям, попам.

Пока, если не обманывать себя, закупорка системы кровообращения в нашем экономическом организме отнюдь еще не преодолена, и, думаю, пройдет еще немало времени, прежде чем кровь свободно побежит по его сосудам. Пока, чего ни коснись,— везде тромбофлебит, перебои в сердце, никуда не годные печень и почки, которые никак не могут очистить кровь от отбросов жизнедеятельности.

Оттого-то так вяло и бежит кровь по нашему экономическому организму, что не избавился он еще от двух своих главных, тесно связанных между собой болезней: во-первых, рубль не работает, поскольку ни предприятие, ни человек не могут потратить его на что хотят, а во-вторых, даже и этот слабосильный, ущербный рубль ни предприятию, ни человеку не дают заработать в соответствии с мерой честного, добросовестного труда. И не дают заработать отнюдь не только потому, что мы задыхаемся под бременем военных расходов. А более всего потому, что экономическое бесправие предприятий и нищенский уровень заработка трудящегося человека есть главное социальное условие процветания бюрократии — это обеспечивает ей и безбедную жизнь, и видимость полезного занятия, и самоуважение, и полную покорность общества. Именно поэтому и возможны у нас такие нелепости, не имеющие под собой никакого экономического оправдания, как содержание на селе 3 миллионов надсмотрщиков над крестьянином, или многомиллиардное строительство никому не нужного, как оказалось, БАМа, или разорительная, иррациональная деятельность Министерства водного хозяйства с окупаемостью (да и то сомнительной) его капиталовложений порядка 40—100 лет, или бредовые планы строительства в испытывающей нехватку самого

необходимого стране около 90 крупных гидростанций, по экономической сути своей мало чем отличающихся от египетских пирамид.

Можем ли мы, оставаясь социалистической страной, в полную меру использовать рубль? Можем ли мы овладеть и запустить на полную мощность все те объективные средства и способы организации экономической жизни, которые история выработала задолго до нас и без нас и которые с такой эффективностью используются сегодня в странах, стоящих впереди нас по уровню экономического развития? Уверен,— можем. И можем прежде всего потому, что эти средства и способы по природе своей являются сугубо техническими, социально нейтральными, пригодными для всякого общества, основанного на глубоком разделении труда между людьми. Для рубля безразлично, какую высшую метафизическую цель преследует общество: это может быть царство небесное еще здесь, на земле, а может быть и стремление просто жить, пока живется. Главное не в этом, а в том, намерено ли общество жить, работать, кормить себя и продвигаться понемногу вперед, по возможности не отставая от других.

В природе социалистического общества, социалистической собственности нет ничего, что противоречило бы рублю, рынку, товарно-денежным отношениям. С чисто экономической точки зрения самоуправляемое, самоокупаемое и самофинансируемое социалистическое предприятие может строить свою жизнь точно так же, на тех же самых основах, что и любое иное предприятие повсюду в мире, начиная от свободы поведения на рынке и кончая участием на правах акционера в капитале других предприятий, или банка, или страхового общества, или иностранного партнера. Главное, чтобы коллектив социалистического предприятия был действительно независим, был его действительным собственником — в акционерной или какой-то иной форме. Не нравится слово «собственник»? Пусть будет «владетель» или «распорядитель». Дело не в словах.

А какова же в таком случае роль социалистического государства, или, если называть вещи своими именами,— государственной бюрократии? Роль эта исключительно важна и необходима: определять общие «правила игры» на рынке, планировать стратегию развития страны и отдельных ее регионов, осуществлять проекты и программы, имеющие общегосударственное значение и непосильные для отдельных предприятий, какими бы экономически мощными они ни были. Но и здесь ничего нового мы в экономике не придумали. Это тоже было до нас и будет после нас. Так же, как и другие государственные функции,— поддержка хилых, но почему-либо позарез нужных производств, регулирование налогами излишне высоких, раздражающих общество доходов, расходы государства на пенсии, образование, здравоохранение, социальную поддержку слабых, выброшенных на обочину жизни. Не следует закрывать глаза на то, что сегодня даже в США — отнюдь не самой милосердной стране современного мира — около 85 процентов расходов на все виды образования и 75 процентов на лечение больных оплачиваются из общественных фондов.

За три года перестройки мы, несомненно, значительно продвинулись (особенно в теории, на словах) в понимании истинных экономических потребностей страны. Постепенно стали вырисовываться контуры той модели народного хозяйства, к которой нам надлежит двигаться. Здравый смысл вроде бы начинает понемногу теснить тупой догматизм, за которым, я лично убежден, в 100 случаях из 100 скрываются узкокорыстные, шкурнические интересы людей, которым наплевать на все и вся, даже на своих собственных детей и внуков, кроме как на самих себя.

Если дела пойдут так, как намечается сегодня, то к концу следующего десятилетия прямым директивным планированием в форме госзаказа будет охватываться (учитывая ожидаемую роль индивидуально-кооперативного сектора в нашей экономике) не более 12—15 процентов всей производимой в стране продукции, то есть, по сути дела, столько, сколько нужно для централизованного контроля над обороной и некоторыми другими, тесно связанными с ней отраслями. XIX партконференция положила начало свертыванию оперативных хозяйственных функций партии. В сочетании с ликвидацией системы РАПО в сельском хозяйстве, в частности, это будет означать демонтаж двух из трех этажей ны-

нешней чудовищной бюрократической пирамиды, почти уже раздавившей нашу деревню. Можно, по-видимому, рассчитывать и на демонтаж в видимой перспективе нынешней системы промышленных министерств с главным ее пороком — полной экономической безответственностью министерств перед предприятиями, которыми они командуют. Как было подчеркнуто недавно в одном из весьма авторитетных выступлений: «Надо возвращаться к принципу трестовой, корпоративной организации производства и управления. Будущее нашей экономики — это добровольные паевые объединения, отраслевые и межотраслевые, подотчетные трудовым коллективам, а не командующие ими».

Сдвинулось с места и начинает расширяться кооперативное движение, если его, конечно, все-таки в конце концов не задушат либо налогами, либо принудительными ценами, либо просто слепой, нерассуждающей ненавистью и саботажем местных властей. Надеюсь (и даже уверен), что и аренда в деревне все-таки шаг за шагом преодолеет и зависть вконец развращенных бездельем соседей, и угрозы «пустить красного петуха», и сопротивление деревенской бюрократии, уразумевшей вдруг собственную ненужность и обреченность. Обнадеживают также такие тенденции, как, видимо, всеобщее уже сознание необходимости оптовой торговли средствами производства, образование межотраслевых объединений, первые случаи коллективной аренды предприятий и магазинов, первые пока попытки выпуска акций на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, появление первых мелких банков, все более заметный интерес предприятий к выходу на внешний рынок.

И все это на фоне провозглашенного поворота политики партии к материальным и социальным нуждам общества, к смене приоритетов в экономическом развитии страны, в стратегии капиталовложений.

Но пока все это, если говорить о здоровом кровообращении в экономическом организме страны,— лишь начало. Мы не имеем еще главного, что присуще всякой нормальной экономике, которая развивается не понуканиями, не из-под палки, а сама собой: м ы н е и м е е м р ы н к а. Единого, интегрированного рынка страны, где ничто — ни административные запреты и произвол, ни шлагбаумы на дорогах между областями (как в XV веке!), ни ведомственные барьеры, ни монополия производителей, ни искореженные цены, ни беспомощность рубля, ни паралич кредитно-финансовой системы, ни паспортный режим и прописка — не мешало бы свободному экономическому кровотоку, то есть передвижению товаров, капиталов и людей. А единый интегрированный рынок (поскольку экономический организм страны и система его кровеносных сосудов неделимы) включает и не может не включать в себя все народное хозяйство: рынок средств производства и научно-технических знаний; рынок предметов потребления и услуг; инвестиционный рынок; денежно-кредитный и валютный рынок; наконец, рынок рабочей силы. Да-да, и этот рынок тоже, при всем при том, что без государственной страховочной сетки, без государственной политики занятости и поддержки людей, ищущих работу, он уже нигде в мире не существует и не может существовать. Ведь и профсоюзы тоже не наше изобретение, и хочется думать, что со временем они и у нас преодолеют свою сегодняшнюю, столь приниженную роль.

Весь этот единый интегрированный рынок (или вся эта система органически связанных между собой рынков) будет действовать лишь тогда, когда обслуживать его и его потребности будет полновесный, свободно обращающийся, нужный всем и каждому рубль. Между прочим, такой рубль не новость для нас, мы его уже имели в 20-х годах, и с точки зрения экономического здоровья страны это было, несомненно, высшее достижение ленинской новой экономической политики. И, напротив, уничтожение его было, может быть, самым главным экономическим преступлением сталинской эпохи, преступлением, в котором, как в фокусе, отразились все экономические безумства той поры.

Можем ли мы восстановить в нашей жизни такой рубль? Думаю, даже и вопрос так ставить нельзя: у нас просто нет никакого другого выбора, мы не можем — мы должны, мы обязаны восстановить полноценный рубль. Иначе вся наша программа перестройки, все наши надежды на выход страны из оцепенения останутся на песке. Может быть, наша экономика еще и протянет какое-то время на допинге, на взбадривании и понукании сверху. Но никаких надежд на естественный, самозарождающийся и саморазвивающийся экономический и научно-технический прогресс в этом случае у нас не должно быть.

Так что же надо, чтобы рубль стал действовать? Многое надо. И, думаю, сейчас можно указать только лишь на некоторые основные направления, где не обойтись без крупных, стратегических перемен, если мы хотим иметь полновесный, действующий во всю свою силу рубль. Никакой возможности предугадать все сложности и опасности, которые ждут нас на этом пути, сегодня, конечно, нет. Но ведь и все в жизни всегда так: главное — чтобы движение началось, а там уж (разумеется, если не дремать) можно будет корректировать и подправлять это движение, что называется, на ходу. Финансового гения вроде Кольбера или графа Витте, к сожалению, у нас пока что вроде бы нигде не видать, но, может, всем миром, коллективным, так сказать, разумом сумеем заменить его?

Полновесный рубль — это прежде всего рыночное равновесие, то есть равновесие между товаром и деньгами, между предложением произведенной в стране продукции и платежеспособным спросом на нее. Это также равновесие государственных финансов, то есть полное отсутствие дефицита государственного бюджета, либо приемлемые для общества (доверяющего своему правительству) размеры этого дефицита. Наконец, это свободная обратимость рубля во все другие валюты мира. Все это у нас было в 20-х годах. И всего этого у нас сейчас нет.

Проблема полноценного рубля, общего экономического равновесия — это комплексная, всеохватывающая проблема, и она не может быть решена только за счет каких-то пусть даже и резких, но частичных изменений в отдельных сферах нашего народного хозяйства. И она ни при каких условиях не может быть решена в одночасье. Это процесс, и если не обманывать себя,— то длительный процесс, где конечный успех возможен только лишь как сумма частичных, неполных успехов, как результат медленного, упорного продвижения по всему фронту, не пренебрегая ничем, никакой даже самой малой малостью, если она хоть в чем-то может содействовать достижению конечной цели.

П е р в ы м в о п р о с о м экономического равновесия является, конечно, вопрос о степени физической насыщенности нашего рынка средствами производства и предметами потребления, то есть вопрос о чисто физических причинах нынешнего дефицита всего и вся. Пусть это покажется кому-то парадоксальным, но возьму на себя смелость утверждать, что если не полностью, то в значительной, основной своей части этот физический дефицит — легенда, удобное для бюрократов прикрытие столь долго прогрессировавшего паралича административно-командной системы и собственной беспомощности.

В сфере средств производства реальный, физический дефицит существует лишь в немногих отраслях — это некоторые стройматериалы, бумага, малотоннажная химия, продукция «высокой технологии». Наверное, можно найти что-то и еще, не названное здесь. Но всего другого — нефти, металла, станков, тракторов, комбайнов и пр.— мы производим, по мировым критериям, значительно больше, чем достаточно для любых разумных наших потребностей. Если бы... Если бы не немыслимое, уже запредельное количество наших строек, не обеспеченных ничем, если бы не бездействующие производственные мощности и огромный простаивающий станочный парк, если бы не ресурсспожирающая система хозяйства и затратный, все еще подчиненный бессмысленному валу механизм планирования, если бы не низкое качество и отсталый технический уровень производимых машин, необъяснимая никакими человеческими аргументами проблема запчастей, и т. д., и т. д. Так что при лечении наших экономических болезней значение чисто физического дефицита средств производства минимально. Дело преимущественно не в нем.

Не столь важно, как принято думать, и значение чисто физического дефицита на рынке предметов потребления. Да, у нас дефицит автомобилей, видеомагнитофонов, персональных компьютеров, может быть, и холодильников, может быть,

и еще чего-нибудь, до чего наша промышленность еще просто не доросла. Но вот уже бритвенных лезвий — достаточно, только какой же сумасшедший будет бриться этими лезвиями? Кстати, кто-нибудь когда-нибудь обратит, наконец, внимание на этот позор страны, осваивающей космос? Нет также дефицита и обуви, и тканей, и швейных изделий, и посуды, и даже мебели — но кому это все нужно, то, чем забиты сейчас наши склады и магазины? Дефицита, как это ни дико звучит, нет даже почти по всем видам сельскохозяйственной продукции — есть чудовищные, превосходящие всякое воображение потери, но это, как говорится, совсем другой вопрос.

Новая структурная политика государства, перевод предприятий на полный хозрасчет, следует надеяться, со временем избавят наш внутренний рынок от всеохватывающей власти затратного механизма и экономически заставят, наконец, предприятия производить не абы что и абы как, а именно то, что нужно рынку, прежде всего рынку массового потребителя. Есть надежда, что центральная власть со временем, может быть, обуздает стихию неуправляемого капитального строительства, в результате чего будет, наконец, обуздан и один из важнейших факторов нашей «придавленной инфляции», то есть того же самого неравновесия потребительского рынка,— поступление в оборот денег от строителей всех наших многочисленных долгостроев, от которых по 10—15 лет никакой продукции на рынке нет, а деньги есть. Может быть, когда-нибудь мы опомнимся и прикроем такие каналы инфляции и расхищения народных средств, как деятельность того же Минводхоза с его почти 2 миллионами работников, получающих зарплату, но не дающих рынку ничего. Может быть, мы сумеем, наконец, обуздать когда-нибудь аппетиты нашей обороны. Может быть, мы сумеем заметно сократить численность наших управленцев: их, как известно, 18 миллионов, и все они получают зарплату, а сколько из них действительно нужно для процесса производства — кто ж это знает? Во всяком случае, порядка 1,5 миллиона водителей персональных машин уж точно-то не нужны. Может быть, мы сумеем перекрыть и многие другие каналы поступления в оборот денег от зарплаты тем, кто ни прямо, ни косвенно не дает рынку ничего.

Может быть. Но на все это нужно время, и боюсь, что его у нас не так уж много. Потребительский рынок должен быть насыщен в ближайшие года два-три, иначе население махнет рукой на перестройку, и страна опять погрузится в спячку. Можем мы добиться в ближайшие же годы каких-то заметных улучшений в деле насыщения рынка, прежде всего потребительского рынка? Думаю, что да.

На государственные предприятия надежда, к сожалению, слаба, поскольку даже в самых идеальных экономических условиях им нужно время для разворота. Даже намечаемые сейчас 6 процентов прироста в год для отраслей группы «Б» (при абсолютной нерешенности проблемы качества и нежелании покупателя приобретать отечественную продукцию) вряд ли могут в скором времени поправить пока лишь только углубляющееся неравновесие на потребительском рынке. Из внутренних источников можно (но именно можно!) ожидать серьезной отдачи только лишь от двух: от аренды, подряда в сельском хозяйстве и от индивидуально-кооперативного сектора в городах.

В отношении аренды и подряда в принципе уже сделан главный шаг: провозглашено безусловное право на это каждой желающей семьи и каждого малого производственного кооператива, причем аренда устанавливается на 25—50 лет, а кое-где уже и бессрочно. Теперь наступает самое тяжкое, самое трудное — психологическая борьба. И чтобы завистливые соседи или неумная местная власть не задушили арендаторов и малые подрядные коллективы, они нуждаются сегодня в постоянной и недвусмысленной поддержке государства. Эта поддержка должна распространяться на все: и на условия их снабжения, и на сбыт их продукции, и на налогообложение, и даже на прямую защиту их жизней и их имущества правоохранительными органами.

Не может пока не тревожить и будущее кооперативного движения в городах. Закон о кооперации принят, и это неплохой закон. XIX партконференция и июльский Пленум ЦК КПСС (1988 года) не оставили никаких сомнений, что партия — за кооперативы. Но...

Но не успело еще кооперативное движение толком оправиться от попыток Минфина задавить его в зародыше непосильным, не виданным нигде в мире налогом,— новая напасть. Появились сообщения, что Госкомцен официально пытается запретить кооперативам продавать свою продукцию по ценам выше государственных. И это при том, что кооперативы у нас уже поставлены в самые несправедливые условия, как будто они враги, разрушители государства, а не сила, которая действует ему во благо! Все, что покупают кооперативы у государства, они покупают, во-первых, чуть ли не из-под полы, а во-вторых, покупают-то они сырье, материалы, оборудование по ценам в 3—6 раз выше тех, по которым покупают государственные предприятия. На что же рассчитаны новые меры? Что кооперативы будут продавать в убыток себе? Опять попытка задушить их, только чуть иным путем! Неужели не ясно, что ни о каком развороте кооперативного движения в таком случае не может быть и речи? Спрашивается, зачем же тогда было огород городить?

Не могу поверить, что все это делается лишь по недомыслию. Нет, инициаторы подобных мер вполне грамотные, квалифицированные люди, и они очень даже знают, что творят. Но тревожат не только, а может быть, даже и не столько эти абсурдные, если не сказать злонамеренные, попытки — в конце концов центральная власть, думаю, все-таки стукнет когда-нибудь кулаком по столу, не может же этого не быть! Тревожит больше всего враждебное отношение значительной части населения к кооперативам. Прямо-таки какое-то повальное помешательство! Мы до сих пор еще не осознали простой истины: р ы н о к в с е г д а п р а в. Можно плакать и проклинать сколько угодно, но результат любой запрещающей административной меры заранее известен: товар вовсе исчезнет с рынка — только и всего. И если на рынке установились раздражающе высокие цены — значит, что-то неладно в самом производстве или сбыте товара, значит, надо стремиться увеличить его предложение на рынке, а не сажать в тюрьму продавца, на чей товар есть спрос и чей товар люди охотно покупают даже и по «кусающейся» цене. А увеличить кооперативное производство, создать реальную острую конкуренцию между производителями-кооператорами и тем самым сбить слишком высокие рыночные цены можно только одним способом — всячески стимулируя кооперативное производство благоприятными условиями снабжения его, льготным налогообложением, устранением всех административных помех организации и расширению кооперативов. Все это старо, как мир, но для нас, к сожалению, все это еще внове. Вот и платим мы все за свою всеобщую безграмотность: как бы это сделать так, чтобы все изменилось, не меняя ничего и не жертвуя ничем?

Обидно, завидно, что кооператоры так много получают за свой, как правило, добросовестный, изобретательный труд? Так нельзя же жить и даже мечтать о лучшей жизни, если исповедовать принцип: «пусть лучше и моя корова сдохнет, только чтобы у соседа не было двух». На какое человеческое дно, на какие низменные инстинкты иной раз ориентируется наша политика! Не кооператора надо душить, а заработок заводского рабочего поднимать до его уровня. Жулики? А где у нас, простите, их нет? Что-то я не слышал, чтобы Рашидова так уж проклинали на амвонах и площадях. А вот о кооператорах стоит такой крик — в пору хоть уши заткнуть.

Сегодня и в отношении арендного сектора в деревне, и в отношении кооперативов в городах недопустима никакая — ни налоговая, ни ценовая, ни административно-запретительная — война. За шестьдесят лет мы либо физически выбили, либо морально раздавили почти все смелое, предприимчивое, изобретательное, что было в нашем народе. Почти, но, к счастью, не все. Как оказалось, есть еще среди нас отчаянные (пусть и не всегда морально безупречные) люди, кто готов взять на себя риск деловой инициативы, кто — хоть и оглядываясь, и сомневаясь — все-таки поверил в новые времена. Так не душите их, дайте им развернуться! Государство свое получит (и много получит), когда они по-настоящему наладят дело. А цены — что ж, цены на кооперативную продукцию понизятся сами собой, когда кооператоры начнут всерьез конкурировать друг с другом и когда государственные предприятия, переведенные на хозрасчет, тоже начнут шевелиться побыстрее, чтобы не потерять рынок.

Но сегодня и этих двух источников недостаточно для быстрого насыщения потребительского рынка, для видимого всем улучшения положения, которое могло бы убедить «человека с улицы» в необходимости и неизбежности разворачивающейся перестройки. Мы должны проявить все наше умение, все наше воображение и нашу «изворотливость», чтобы резко расширить импорт товаров народного потребления. Это крайне необходимо именно для нынешнего (самого болезненного) переходного периода перестройки, чтобы продержаться те 4—5 лет, которые нам нужны, пока новый экономический механизм и новая структура собственности в народном хозяйстве не начнут давать реальную отдачу. По моим оценкам, чтобы положение на потребительском рынке реально улучшилось, нам нужно на эти 4—5 лет увеличить импорт потребительских товаров примерно на 5 миллиардов долларов в год.

Где взять на это средства, когда мы сегодня еле-еле, что называется, сводим концы с концами, когда нам лишь только в этом году, кажется, удастся как-то добиться равновесия торгового баланса? Этих средств нет, скажет вам любой человек, знакомый с внешнеэкономическим положением страны. И будет прав. Но прав при одном условии: если все и в дальнейшем остается так, как оно есть сейчас. А если подумать, если проявить воображение, если пойти не по проторенной дороге, а по каким-то новым путям?

Говорю не только и даже не столько о возможностях расширения нашего экспорта, хотя, вероятно, уже сегодня мы могли бы получить заметный его прирост, если бы (предварительно отказавшись от нынешнего, абсолютно ирреального курса рубля) разрешили всем государственным предприятиям и всем кооперативам экспортировать свою продукцию — либо самим, либо через мощные посреднические объединения. Почему, например, нашим кооператорам не экспортировать лягушек во Францию, либо не открыть русский ресторан в Нью-Йорке или Токио, либо не построить несколько «пятизвездочных» суперотелей в Москве? Дайте им эту возможность — уверен, люди найдутся и дело пойдет, если, конечно, Минфин на корню не задушит такую инициативу. Но еще большие возможности увеличения наших валютных резервов для расширения импорта потребительских товаров видятся в другом — в изменении нынешней структуры самого нашего импорта и в использовании международного кредита.

Прежде всего необходима смена импортных приоритетов. Почему импорт промышленных потребительских товаров даже в лучшие времена не поднимался выше уровня 5 процентов от всего импорта страны на твердую валюту, когда известно, что доходность такого импорта для государственного бюджета достигает порой 1000—1500 процентов? С точки зрения народнохозяйственного равновесия и действенности, устойчивости нашего рубля это не поддается никакому объяснению. Не говоря уже о моральных соображениях, когда государство, получая с потребителя такой доход, в то же время ограничивает даже импорт лекарств. Для государства сегодня нет ничего более выгодного, более доходного, чем импорт потребительских товаров, и незачем делать вид, что любой такой импорт — это лишь насилие над государственным интересом, лишь вынужденная уступка прихотям несознательного населения.

Что мы сейчас преимущественно ввозим? Во-первых, зерно и мясо, во-вторых, промышленное оборудование для новых строек (главным образом в тяжелой промышленности), в-третьих, сырье, материалы, компоненты, запасные части для действующих производств. На этой, последней, группе, видимо, много не сэкономишь — то, что уже работает, должно работать. Ну, а на двух первых группах? Скажем, зерно, на которое мы сегодня (даже без учета фрахта) тратим 3—4 миллиарда долларов в год? Некоторые наши председатели колхозов выдвигают, например, такую идею. Зачем государству покупать где-то за границей зерно по 120—140 долларов за тонну? Дайте нам гарантии, что все дополнительные поставки зерна государству свыше уровня, скажем, 1988 года будут оплачены нам в валюте и эта валюта останется в нашем распоряжении. Мы за 2—3 года обеспечим эти недостающие стране 30 миллионов тонн зерна, но как минимум по цене, вполовину ниже мировой. Бредовая мысль, скажут некоторые специалисты. А что в ней бредового? Что в ней нереалистичного, если стоять на позициях обыкновенного крестьянского здравого смысла, а не руководствоваться всеми этими многочисленными «нельзя», которые шестьдесят лет с таким упорством вколачивали в нас? И разве это не реальный источник экономии валюты, только за счет которого можно было бы почти наполовину решить проблему импорта промышленного ширпотреба [1]?

Или оборудование для наших промышленных новостроек. Сегодня уже более чем на 5 миллиардов валютных рублей лежит его, неустановленного, по всей стране. Оно ржавеет, стареет, растаскивается и... И продолжает прибывать. Так, может быть, остановить этот поток на ближайшие 4—5 лет? Законсервировать наиболее разорительные, наиболее помпезные стройки с только лишь отдаленной экономической отдачей, отказаться от того, что еще не заказано и не оплачено, прекратить новое строительство в тяжелой промышленности, поскольку сейчас нам не до него? А освободившиеся средства пустить на прямой импорт товаров широкого потребления и на модернизацию тех отраслей нашей промышленности, которые производят товары массового спроса.

И, наконец, международный кредит. Я уже высказывался в печати по этому поводу, и аргументы моих оппонентов за прошедшее с тех пор время меня не убедили. Конечно, если исходить из того, что мы на веки вечные обречены быть экспортерами лишь нефти и газа и ничего другого нам никогда «не светит», что нам сам господь бог судил вечно сидеть сиднем на своем золотом запасе, что мы никогда не сможем сократить сроки своего капитального строительства в промышленности с недавних 11 лет до общепринятых в мире 1,5—2 лет (а ведь сократили уже до 8,5 лет!) и поэтому ни о каких инвестиционных займах нам даже думать не след, что экспортная продукция наших предприятий никогда не будет конкурентоспособной, наконец, что серьезных денег нам взаймы никто в мире никогда не даст, что мы навсегда останемся париями для международной финансовой системы,— тогда я действительно несу просто-напросто чушь.

Но вот мнение такого трезвого, серьезного человека, как лауреат Нобелевской премии известный американский экономист В. Леонтьев (между прочим, один из авторов модели «японского чуда»): «Если ваше правительство возьмет кредит под товары, у него будет немало критиков. Но пусть лучше критикуют отдельные противники, чем большие массы людей». И, уверяю, мы с ним не сговаривались! Могу только добавить, что в личной беседе со мной он подчеркнул: «Серьезные деньги в мире есть. Конечно, если говорить о частном финансовом рынке, а не о правительственных кредитах. И вам эти деньги дадут, если вы честно и открыто представите конкретно разработанную программу ваших потребностей в импорте потребительских товаров. Я говорю о суммах, возможно, порядка 30—40 миллиардов долларов».

Чем потом платить? А это уже вопрос, верим мы или нет в серьезность наших собственных намерений, в необходимость и успех нашей перестройки, в действенность заново создаваемой в стране системы стимулов и эффективность нового экономического механизма. Занимать нельзя лишь при одном условии: если втайне держаться того мнения, что мы обречены на вечное прозябание, что никогда и ничто у нас не получится, что никогда, ни при каких условиях наша продукция всерьез не прорвется на мировые рынки и что «открытая экономика» — это путь всего мира, но не наш.

Второй центральный вопрос всей проблемы экономического равновесия, оздоровления нашего рубля — структура и уровень цен (оптовых, закупочных и розничных). Вместе с тем это и наиболее опасный вопрос с точки зрения социальной и политической стабильности страны.

Сегодня, вероятно, мало кто уже станет отрицать необходимость реформы цен. Без установления объективных, рациональных ценовых пропорций и без перехода основного массива нашей экономики на рыночные принципы ценообразования новый экономический механизм работать не будет. Все дело, однако, в том, какой реформа цен будет на практике. Между тем впечатление такое, что ни планирующие органы, ни ведомства, ни ученые-экономисты сегодня не имеют

[1] См. в этом номере журнала статью Юрия Черниченко «Торгсин». (Ред.).

четкого представления о целях новой реформы и о реалистических методах ее осуществления.

Что нам необходимо в идеале? В идеале перед предстоящей реформой цен стоят две цели, и она должна пройти два этапа в своем осуществлении.

Первая цель и первый этап — выравнивание основных ценовых пропорций, имея в виду оптовые, закупочные и розничные цены. Вторая цель и второй этап — сведение к минимуму централизованного вмешательства в процессы ценообразования и постепенная передача основных ценообразовательных функций рынку, то есть соотношению между платежеспособным спросом и предложением. Сейчас мы производим около 25 миллионов видов изделий, столько же, соответственно, нам нужно и цен. Очевидно, что никакой центральный орган ни при каких обстоятельствах просто физически не сможет просчитать их. Другого реалистического выхода здесь, кроме рыночного ценообразования (при сохранении на достаточно длительное время централизованного контроля над несколькими десятками или сотнями наиболее важных цен), объективно не существует.

Но сегодня для нас важнее всего первая цель и первый этап ценовой реформы — установление объективных пропорций в ценах, соответствующих основным мировым пропорциям. Одно из тягчайших последствий административно-командной системы — произвольная деформация фактически всех основных ценовых соотношений в экономике. В результате мы имеем искусственно заниженные цены на сырье, топливо, продовольствие, транспорт, жилье и, может быть, самое главное — на рабочую силу и в то же время искусственно завышенные цены на машины, оборудование и весь круг промышленных товаров народного потребления. Наши цены сейчас выше или ниже мировых нередко в три раза и более. На сегодня — это важнейшее препятствие переводу экономики на рельсы интенсивного, сбалансированного развития.

Ведь договорился же недавно один уважаемый академик до того, что роботы — это только разорение для нас. Всему миру выгодно, а нам нет? Почему? Да потому, что при нашем уровне зарплаты удивительно, что мы еще от колеса-то не отказались.

Соответственно, в идеале содержанием начального этапа ценовой реформы должно быть, во-первых, *устранение вопиющих перекосов в ценах*. На уровне розничных цен это означало бы примерно следующее: иметь вместо нынешнего соотношения 2 рубля за килограмм мяса, 50 рублей за пару приличных мужских ботинок, 700 рублей за цветной телевизор и 8 тысяч рублей за автомобиль более реалистическое, отвечающее действительным издержкам и мировым тенденциям соотношение — 4—4,5 рубля за килограмм мяса, 24—27 рублей за пару мужских ботинок, 250—280 рублей за цветной телевизор и 4 тысячи рублей за автомобиль. Необходимо трезво представлять себе, что пока мы не достигнем подобных ценовых соотношений, мы всегда будем жить в экономически ирреальном мире, в своеобразном «королевстве кривых зеркал», где экономически все поставлено с ног на голову.

Изменится ли от этого структура потребительского спроса? Да, изменится. Сократится потребление мяса и увеличится спрос на ботинки и телевизоры. Пострадают ли от этого пенсионеры и вообще низкооплачиваемые слои населения, для которых цена мяса в повседневной жизни важнее цены ботинок, а тем более телевизора? Могут пострадать, если для них — специально для них — в ходе такой реформы не будет предусмотрена соответствующая компенсация.

Во-вторых, необходимо *устранить государственные ценовые дотации и одновременно устранить налог с оборота как источника бюджетных доходов*. Тогда потери населения от ликвидации дотаций в субсидируемых ценах будут почти полностью компенсированы ликвидацией постоянной переплаты за товары, облагаемые налогом с оборота. Сегодня дотации от государства потребителю и налог с оборота, поступающий в государственный бюджет, почти равны. Зачем нам это перекладывание денег из кармана в карман? И то, и другое — уродливо и экономически безграмотно. И нам, если мы хотим иметь нормальную экономику, необходимо отказаться от этого печального наследия прошлого. Я говорю лишь о *налоге с оборота на промышленные товары*, а не о налоге на спиртное и импорт потребительских товаров. При восстановлении нормального положения с торговлей казенным спиртным и значительном расширении потребительского импорта только этих двух законных источников государственных доходов вполне хватит, чтобы компенсировать государству все издержки ценовой реформы, включая и компенсацию пенсионерам и другим низкооплачиваемым слоям населения.

Конечно, все это отнюдь не сразу приведет к повсеместной ликвидации дефицита продовольствия. Более того, это, несомненно, усилит поначалу дефицитность и на рынке промышленных потребительских товаров, учитывая размеры отложенного спроса и ограниченные производственные мощности нашей промышленности, выпускающей изделия как краткосрочного, так и длительного потребительского пользования. Возрастут очереди за одеждой, мебелью, телевизорами, автомобилями. Но здесь-то как раз и может помочь существенное расширение импорта промышленного ширпотреба, причем на первых порах без всякого снижения цен на него.

Все это неизбежная плата за оздоровление нашей экономики, за длительное господство административно-командной системы. За любые ошибки, в том числе и за исторические, надо платить. И нам этой платы избежать не удастся. В то же время это будет дополнительный стимул для государства резко перераспределить, наконец, капиталовложения в пользу потребительских отраслей промышленности, купить несколько мощных заводов бытовой техники, купить еще один или два завода легковых автомобилей и т. д. Конечно, период перехода к нормальным ценовым пропорциям будет нелегким. Но если целью ценовой реформы будет именно оздоровление экономики, а не примитивный грабеж населения, люди это, несомненно, поймут. Особенно если появятся хоть какие-то признаки улучшения положения на потребительском рынке.

Идеал, таким образом, труден. Но достижим. Однако нынешнее развитие событий порождает опасения, что ценовая реформа не только не достигнет необходимых нам целей, а, наоборот, лишь осложнит положение в нашем народном хозяйстве.

XIX партконференция вновь подтвердила намерение руководства провести реформу розничных цен так, чтобы население не пострадало. Важнейшее значение, несомненно, имеет заявление руководства: все, что бюджет получит от ликвидации дотаций в ценах, государство полностью вернет населению через соответствующие надбавки в зарплате и пенсиях.

Однако даже если это намерение будет реализовано, серьезного ущерба для населения избежать, видимо, не удастся. Пока, насколько известно, Госплан и Госкомцен ведут речь лишь о двух вопросах: о том, на сколько будут повышены цены на основные виды продовольствия, и о том, каков должен быть размер соответствующей компенсации. Но никто не говорит о том, что будет на другой же день после того, как цены будут повышены и компенсация населению выплачена.

А может быть (и, несомненно, будет) лишь одно: следующий виток в спирали повышения цен, который сразу же затронет и все другие цены. Население даже при самой честной компенсации неизбежно проиграет на других ценах, которых впрямую предусматриваемое повышение не затрагивает. Кроме того, поскольку не предусматривается соответствующая компенсация на вклады в сберкассы, это сразу же резко уменьшит их реальную ценность.

Конечно, трудно сейчас, когда конкретные планы реформы держатся в глубокой тайне, судить о размерах возможного ущерба для населения. Но есть основания предполагать, что даже по самому щедрому варианту компенсации ущерб для каждого работающего и пенсионера будет значительным. Если же учесть неизбежный новый виток ценовой спирали, а также обесценение вкладов в сберкассы, то существенного снижения жизненного уровня в стране не избежать.

Этого перестройка может не выдержать. Госплан и другие ведомства, судя по всему, продолжают оставаться на близоруких, «перераспределенческих» позициях. Суть их можно выразить примерно так: заткнем на 3—4 года дыры в бюд-

жете, а там хоть трава не расти. Ну, а если возникнут сложности социального характера, не нам их решать, на это есть МВД и КГБ.

Нельзя закрывать глаза на то, что рядовые потребители в массе своей настроены решительно против повышения цен и даже разговоры о возможной ценовой реформе вызывают у них всевозрастающее раздражение. И для такого раздражения есть, к сожалению, все основания. Слишком часто рядового потребителя обманывали при проведении подобных реформ, чтобы он сейчас вдруг поверил, что разовое повышение цен на основные продовольственные товары — в его же собственных интересах.

Многим памятны и реформа 1947 года, сопровождавшаяся прямой конфискацией сбережений населения, и повышение цен на мясо-молочные продукты 1962 года, не компенсированное полностью снижением цен на промтовары, и неоднократные последующие повышения цен и тарифов на самые разные товары и услуги, о которых порой даже не объявлялось. Не укрепила доверия к государству и последняя акция с «Березкой». Кроме всего прочего, каждый знает, что постоянно идет «ползучая, придавленная инфляция» — не регистрируемое статистикой фактическое повышение цен при смене этикеток, и что 2—3 процента годовых, выплачиваемые по вкладам в сберкассах, отнюдь не покрывают «усыхание» сбережений, вызываемое этим удорожанием жизни «де-факто».

Общественное сознание инерционно, и на репутацию правительства влияет сейчас гораздо больше печальный опыт прошлых злоупотреблений, чем сегодняшние самые искренние намерения покончить с этими злоупотреблениями раз и навсегда. Доверие населения к правительству завоевывается годами и даже десятилетиями, но потеряно может быть в одночасье. А в последние годы, к сожалению, в экономике не случилось ничего такого, что повысило бы доверие к экономической политике государства: очереди все так же длинны, прилавки по-прежнему пусты, уровень жизни не повышается.

При сложившемся сейчас положении, другими словами, у руководства нет никакой реальной возможности «выиграть» ценовую «кампанию». Как бы тщательно ни готовилось повышение розничных цен, какой бы разъяснительной работой оно ни сопровождалось, какую бы компенсацию ни получили потребители, большинство все равно окажется недовольным, и кредит нового курса будет серьезно подорван. «Вот и свелась вся перестройка к повышению цен»,— несложно предсказать, что такое мнение станет после реформы розничных цен типичным и преобладающим.

Не все так просто и с реформой оптовых и закупочных цен. У нас уже есть здесь немалый опыт, и этот опыт говорит, что через некоторое время после повышения, например, закупочных цен на сельхозпродукцию издержки производства в сельском хозяйстве возрастали, так что оно вновь вскоре становилось малоприбыльным, а затем и убыточным, и приходилось вновь повышать цены. Такой же «цикл рентабельности» и в других сырьевых и энергетических отраслях: скачкообразный рост рентабельности в результате единоразового повышения оптовых цен, затем постепенное и непрерывное снижение рентабельности из-за роста издержек производства, затем необходимость нового повышения цен и т. д.

Причина такого круговорота известна. Дело в том, что наибольшей способностью «накручивать» цену обладают отрасли с высокой монополизацией производства и быстро меняющейся номенклатурой продукции (машиностроение, легкая промышленность, строительство и др.). Здесь Госкомцену труднее всего проверить обоснованность калькуляций, представляемых производителями. Новых изделий много, а Госкомцен один. Сплошь и рядом поэтому в таких отраслях идет «ползучая инфляция» — производительность нового станка или машины увеличивается, скажем, на 30 процентов, а его цена — в несколько раз. Коллективный эгоизм и непорядочность, к сожалению, отнюдь не менее печальный фактор нашей действительности, чем эгоизм индивидуальный.

Напротив, в сельском хозяйстве, в топливной промышленности, в других сырьевых отраслях, где базовых продуктов немного и обновляются они относительно медленно, контроль над ценами «сверху» оказывается относительно эффективным. Поэтому-то эти отрасли и попадают периодически в разряд низко-

рентабельных: ведь цены на закупаемые ими машины и оборудование непрерывно растут, тогда как цены на производимую ими продукцию длительное время остаются стабильными.

Вот почему из пятилетки в пятилетку на «ценовой арене» происходит одно и то же — цены на готовые изделия и услуги убегают вперед, а цены на сырье отстают, вследствие чего сырьевые отрасли периодически превращаются в низкорентабельные или даже убыточные, и потом волей-неволей приходится проводить единовременные крупные повышения цен. Не надо обладать даром пророчества, чтобы предсказать, что произойдет через пять—десять лет после нынешнего очередного «выравнивания» оптовых цен. Произойдет то же, что происходило раньше,— отраслевые уровни рентабельности в очередной раз «разбегутся» в разные стороны, и снова придется «выравнивать» цены.

Как первый этап, как исходный пункт реформа оптовых цен, несомненно, нужна. Но ожидать коренного улучшения здесь нереально до тех пор, пока мы не наладим социалистический рынок средств производства (оптовую торговлю), пока мы не разрушим нынешнюю монополию производителя и не наладим социалистическую конкуренцию.

Для сельского хозяйства все это означает, что нынешняя высокая себестоимость продукции есть результат не только и не столько плохой работы хозяйств, сколько ценовой агрессии планирующих органов и промышленных министерств — монопольных поставщиков необходимых деревне техники, удобрений, стройматериалов. Коровы висят на веревках, потому что себестоимость высока, или себестоимость высока, потому что коровы висят на веревках? Верно, несомненно, первое. Какой успешной работы, какой разумной себестоимости можно ожидать от большинства хозяйств, если их до сих пор заставляют сдавать зерно чуть не подчистую по низкой цене, а потом его же возвращают им в виде комбикормов по цене в 2—3 раза выше? Какими соображениями руководствовались соответствующие ведомства уже в 1988 году, повысив цены на удобрение в 1,5—5 раз и на из рук вон плохие комбайны в 3 раза? И кого волнует, что все эти убытки от цен потом колхозам и совхозам спишутся или будут покрыты безвозвратным кредитом? Подаяние — оно и есть подаяние, и к процессу производства оно никакого отношения не имеет.

Именно здесь причины «дурной бесконечности» в спирали продовольственных цен. И не решив эту проблему, не прекратив эту перекачку средств из деревни через механизм цен, мы ничего не достигнем простым повышением закупочных цен, тем более переложенным на плечи массового потребителя. Добро бы хоть какой-то прок государству был от этой перекачки. Нет, суета одна да маета, да бестолковое движение денег туда-сюда.

Есть ли все-таки рабочая альтернатива сегодняшним планам реформы цен — оптовых, закупочных и розничных? Думаю, что есть.

Альтернативный вариант должен исходить, как мне кажется, из трех основных предпосылок: во-первых, реформа цен нужна и неизбежна; во-вторых, это должен быть не разовый акт, а постепенный, достаточно медленный процесс, где начинать нужно с оптовых цен и кончать розничными; в-третьих, реформа розничных цен должна осуществляться по мере насыщения потребительского рынка и не раньше того, как признаки такого насыщения станут очевидны.

Уже сегодня у государства есть реальная возможность, не трогая пока розничные цены, избавиться от основной части продовольственных дотаций, отягощающих государственный бюджет. Весь резкий рост государственных дотаций на продовольствие (с 20 миллиардов до более чем 60 миллиардов рублей за 1982—1987 годы) был вызван, по существу, одним — повышением закупочной цены специально для убыточных маломощных хозяйств. Нелепость этой меры очевидна: получилось, что тому, кто хорошо работает, платим мало, а тому, у кого все валится из рук, много.

Видимо, сегодня государство может отказаться от искусственной поддержки убыточных хозяйств, от искусственно завышенных закупочных цен на их продукцию. Не более 30 процентов хозяйств дают сейчас около 80 процентов всей сельскохозяйственной продукции страны. И ставка должна быть сделана имен-

но на те хозяйства, которые не нуждаются в искусственной государственной поддержке и которым сейчас необходимо лишь одно — освобождение от всесильной административной прослойки, сковывающей их по рукам и ногам.

Маломощные, неперспективные хозяйства должны получить последнюю помощь от государства в виде списания их задолженности (значительная часть которой, к тому же, возникла не по их вине), а в остальном быть предоставлены самим себе. Пусть присоединяются, если смогут, к более крепким хозяйствам, пусть сдают всю свою землю в аренду малым кооперативам и семейным фермам, пусть превращают свои угодья в парки и охотничьи хозяйства — государство не должно это волновать. Гарантированный фонд продовольствия в стране зависит не от них. А если эти хозяйства сами, без государственных костылей, сумеют встать на ноги, так и того лучше.

Возможности снижения себестоимости сельхозпродукции впрямую связаны также с прекращением неэквивалентного обмена через «ножницы» в ценах на закупаемую государством в хозяйствах продукцию и продаваемые им комбикорма, удобрения, технику, стройматериалы, ремонт и пр. Все равно сейчас все, что получает государство от такого неэквивалентного обмена, оно отдает обратно в виде безвозвратных кредитов убыточным хозяйствам. Отмена принципа обязательных поставок, разрешение хранить и перерабатывать продукцию в хозяйствах и реализовать ее по мере надобности, переход от фондирования к хозрасчетным закупкам удобрений и техники тоже должны, без сомнения, улучшить экономическое положение колхозов и совхозов. Очень поможет делу и ликвидация нынешней изжившей себя административной прослойки на селе, пожирающей, по некоторым оценкам, 1/7—1/8 часть сельскохозяйственных доходов.

Уже сегодня прослеживается также возможность резко сократить себестоимость сельхозпродукции за счет всемерного развития коллективной и семейной аренды. На большинстве семейных ферм, например, себестоимость производства свинины находится в пределах 70 копеек — 1 рубль за килограмм, а говядины 1,5—2,5 рубля. Между тем мы только начинаем использовать этот резерв насыщения рынка. Опыт же показывает, что нередко одна семейная ферма дает выход продукции, в 5—10 раз превышающий продуктивность работы такого же числа людей, действующих в традиционных условиях.

Важно еще раз подчеркнуть, что при этом *альтернативном* варианте частичное восстановление бюджетного равновесия, о котором так справедливо пекутся Госплан и другие наши ведомства, может быть достигнуто в условиях, во-первых, существенного снижения оптовых цен на многое из того, чем снабжается деревня (для бюджета это будет компенсировано одновременным прекращением безвозвратного финансирования убыточных хозяйств); снижения или стабильности закупочных цен на сельхозпродукцию; наконец, стабильности государственных розничных цен на основные виды продовольствия (дотации из бюджета на разницу между закупочной и розничной ценой будут компенсированы государству отменой искусственно высоких закупочных цен для маломощных, плохо работающих хозяйств).

Современная острота проблемы бюджетного дефицита вызвана, конечно, не только дотациями на продовольствие. Но эти дотации — важный фактор несбалансированности бюджета, и, убежден, действие его может быть сведено к минимуму без ущерба для массового потребителя.

Думается, реформа оптовых цен — это на данном этапе самое важное для нас. Свою основную задачу — выравнивание отраслевых условий деятельности предприятий, обеспечение перехода на стабильные налоговые отношения между государством и предприятиями и создание предпосылок для частичной конвертируемости рубля — она может выполнить, не затрагивая какое-то время систему розничных цен. Но и реформа оптовых цен не должна вылиться в повальное повышение всех цен: повышение цен на топливо и сырье должно быть уравновешено соответствующим снижением завышенных цен на машины и оборудование.

В реформе же розничных цен поспешность не нужна. Пока мы не добьемся первоначального насыщения рынка продовольствием и промышленными товарами народного потребления, пока мы не обеспечим хотя бы частичного восстановления бюджетного равновесия, пока, наконец, мы не дадим возможность людям зарабатывать столько, сколько они хотят и могут, а не столько, сколько им позволяет административный диктат сверху,—эта акция лишь подорвет доверие народа к перестройке. В конечном итоге нам никуда не уйти и от реформы розничных цен, от изменения соотношения между ценами на продовольствие, жилье, транспорт, промышленные товары народного потребления. Но с этим сейчас можно и нужно подождать.

Перед нами позитивный опыт Венгрии и резко негативный опыт Польши в реформе цен. Перед нами опыт Китая, где на реформу розничных цен решились только после того, как за 8—9 лет в корне изменилось положение с насыщением потребительского рынка, и где даже и в этом случае ее проводят не в одночасье, а растягивают на 5 лет. Неужели чужой опыт нас никогда и ничему научить не может? И неужели мы обречены на вечные импровизации, за которыми всегда наступает неизбежное и довольно скорое похмелье?

Третий важнейший вопрос, от которого зависит создание рыночного равновесия и укрепление покупательной силы рубля,— оздоровление и развитие нашей финансовой системы. Основные дефекты ее сегодня — это, во-первых, растущее, как снежный ком, количество денег у населения, не обеспеченных ничем, ни товарами, ни услугами; во-вторых, неразвитость нашей кредитной системы, наличие огромных временно свободных денежных средств у предприятий и частных лиц, не находящих себе никакого применения в деле; в-третьих, растущий дефицит государственного бюджета, приблизившийся уже, по-видимому, к отметке в 100 миллиардов рублей и покрываемый сегодня самыми нездоровыми, самыми опасными методами — печатным станком и скрытым, фактически принудительным заимствованием у населения через сберкассы.

Иными словами, в стране сейчас слишком много свободных денег, и с каждым годом эта гигантская гора обесценивающихся дензнаков лишь возрастает. Как нейтрализовать эту опасность, как «связать» эти деньги, как остановить печатный станок? И опять выбор существует только один: либо сила, конфискация того, что есть у людей, либо использование самого рубля, нормальных, здоровых способов вовлечения его в дело, естественных источников роста бюджетных доходов и столь же естественных возможностей сокращения расходов. Иными словами, того, что знает и умеет сейчас весь мир, но не умеем или плохо умеем мы.

Конечно, в принципе возможна и конфискация — нам не привыкать. К тому же и большого ума для этого не надо. Поделить, отнять у соседа, придушить того, кто высунулся, хорошо работал, что-то там накопил,— это для нас самое разлюбезное дело. Только вот вопрос: у кого конфисковывать? Средний размер вклада в сберкассу сейчас около 1,5 тысячи рублей. Это значит, конфисковывать у старухи, которая отложила себе на похороны? У тех горемык, которые и угла-то своего не имеют и силятся-надрываются, чтобы накопить на кооператив? У рабочего, инженера, учителя, врача, кто всю жизнь копит на машину и так, видно, и помрет, не осилив ее? У рыбака, у шахтера из Заполярья, у отставного полковника, четверть века прослужившего там, куда Макар телят не гонял? У профессора? У художника, работы которого только-только начали покупать?

Кто у нас богат в стране, чтобы не грех было ограбить его либо напрямую, либо через реформу цен без всякой компенсации для денежных накоплений, хранящихся в сберкассе? Воры? Да, воры. Их действительно немало у нас. Но и преувеличивать их значение не стоит. Вряд ли «воровские деньги» в стране сейчас составляют более 10 процентов от всего, что имеется у населения. А кто-нибудь знает способ, как чисто финансовыми, а не полицейскими методами отнять деньги у воров, не затронув при этом и честных людей? И о какой вере людей в перестройку можно будет после такой повальной конфискации говорить?

В сберкассах сейчас хранится свыше 280 миллиардов рублей. Сколько денег у людей «в чулках», думаю, толком не знает никто, хотя и есть предположения экспертов, что эта сумма вряд ли превышает 50 миллиардов. Из тех денег, которые хранятся в сберкассе, «горячие деньги» (то есть те, что могут быть изъяты в любой момент, если на рынке появился товар, которого эти деньги ждут) — это, по оценкам, 60—70 миллиардов рублей. Остальное — действитель-

но сбережения. Для нейтрализации, для отоваривания «горячих денег» здоровый путь только один: рост государственного и кооперативного производства высококачественных потребительских товаров, мебели, бытовой техники и электроники, всякого рода услуг, а также рост импорта. Для нейтрализации, более того, для полезного использования малоподвижных денег, помимо прямого роста производства, могут и должны быть использованы и другие методы, чисто финансовые по своей природе. И опять нам ничего здесь изобретать не надо: все уже давно изобретено и весьма успешно используется в мире.

Надо продавать людям не только стройматериалы для жилищного и дачного строительства, надо продавать им землю. Надо продавать людям не только мотоциклы и легковые автомобили, надо продавать им и грузовики, и электромоторы, и тракторы, и весь другой необходимый им сельхозинвентарь. Надо продавать людям и коллективам акции и облигации промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, торговых, коммунальных и прочих предприятий. Надо возродить фондовую биржу — это великолепное техническое изобретение для сведения вместе тех, кому нужны деньги, и тех, у кого они есть, и никакого другого сверхсмысла в этом учреждении нет. «За что боролись? — скажут многие.— Акции, дивиденды, рантье? Позор!» А получать наши обычные 2—3 процента в сберкассе не позор? И почему, по каким социально-классовым признакам рантье, живущий на 2—3 процента годовых, лучше рантье, живущего на 6—8 процентов? Дети, внуки, прожигающие жизнь на то, что им оставили родители? Так и здесь есть выход, и здесь ничего не надо изобретать. Налог на наследство существует во всем мире, только, конечно, не надо его делать таким, чтобы родитель предпочел скорее сам пропить все, что он заработал, чем оставить детям.

Наконец, наши банкиры и финансисты должны же когда-нибудь понять, что их главный долг не выискивать, кого бы еще придушить из тех, кого не придушили, а искать деньги везде, где они есть или могут быть, и мобилизовывать эти деньги для государственных нужд. Боюсь, что ничего у нас не получится, пока люди, обеспечивающие государственные финансы, не поймут и не усвоят простую истину, известную всем, но только не нам: чтобы получить много шерсти, совсем не надо резать овцу, надо ее кормить и стричь, а еще лучше не одну, а целое стадо. Дайте подрасти кустарю, дайте подрасти кооператору, и сохраните чувство меры при их налоговой стрижке — много настрижете с них! И чем больше их таких будет, чем больше будет их оборот, тем больше будет и в казне. Известно ведь всем, но тоже не нам: скупой, жадный проигрывает вдвойне. И чем, например, жестче будут условия в таком архидоходном деле, как страхование, тем меньше в конечном счете получит казна. А зачем, скажите, потаенно заимствовать в сберкассах, скрытно увеличивая государственный долг? Выпустите открыто и широко облигации долгосрочного государственного займа из 6—7 процентов годовых. При нашей обычной рентабельности капиталовложений порядка 15 процентов выгодно это будет государству или нет? Ответ очевиден. Но тогда и таиться ни от кого не надо будет, и деньги перестанут лежать по сундукам.

Для восстановления равновесия нашего бюджета наибольшее значение, мне кажется, имеет сегодня не ликвидация продовольственных и иных дотаций, нет: как уже говорилось, то, что государство тратит на это, оно получает в виде налога с оборота через искусственно завышенные цены на промышленный ширпотреб. Наибольшую остроту имеют сегодня три бюджетные проблемы: налог со спиртного, налог на импорт ширпотреба и чрезмерные расходы государства.

Убежден, с антиалкогольной кампанией в ее нынешнем виде необходимо кончать. В народе уже говорят, что это «второй Афганистан», и из этой «войны» тоже нужно выбираться как можно скорее. Это бюджетное кровопускание (от которого выиграл лишь самогонщик) еще более подорвало финансовое состояние страны и еще более усугубило неравновесие на рынке. Будем считать что мы заплатили за науку. Восстановление нормальных бюджетных доходов от спиртного, расширение импорта потребительских товаров и отмена поддержки через искусственно высокие закупочные цены убыточных хозяйств в деревне дали бы бюджету столько, что все намерения Госплана и Госкомцен вновь прижать потребителя через скоропалительную реформу розничных цен потеряли бы

всякое оправдание. Бюджету этого с лихвой хватило бы, чтобы и без реформы цен ликвидировать нынешний его дефицит.

Есть и другая сторона этой проблемы — неоправданные расходы бюджета. Сокращения или вовсе избавления от них тоже с лихвой хватило бы, чтобы ликвидировать нынешний бюджетный дефицит. Оборона. Международные обязательства. Партийный, государственный и хозяйственный аппарат. Правоохранительные органы и пенитенциарная, тюремная система: у нас за решеткой или за колючей проволокой сидит в несколько раз больше людей, чем в США, а какие это работники? И неужели наш человек по природе и поведению своему более преступник, чем американец?

Но и это далеко еще не все. Бюджет ищет деньги и в то же время беспрекословно финансирует тот же Минводхоз, а это (с зарплатой) — 16 миллиардов в год, то есть одна шестая нынешнего дефицита! Минэнерго продолжает требовать (и получает!) деньги на проектирование и строительство новых гидроэлектростанций. Интересно, задумывался ли кто-нибудь когда-нибудь в нашем высшем экономическом руководстве, что строительство Саяно-Шушенской ГЭС началось, помоему, еще в 1962 году и не закончено до сих пор? Это сколько же раз вколоченные в нее миллиарды могли бы обернуться за это время, сколько же денег мог получить бюджет! И разве только эта ГЭС? А мы все плачем: денег нет, денег нет. Да есть, и много есть, надо только наконец научиться их считать! Слава богу, что от тракторного завода в Елабуге наконец-то решились отказаться. Значит, все-таки и мы не безнадежны, и мы, когда припрет, можем деньги посчитать. Очень бы хотелось рассматривать этот факт как начало общего оздоровления финансового мышления в стране. Но трудно отделаться от впечатления, что, судя по нынешней линии наших ведомств, отвечающих за финансовое состояние страны, до этого еще, к сожалению, далеко.

Четвертая важнейшая, на мой взгляд, проблема экономического равновесия и непременное условие создания единого интегрированного рынка в стране — образование некоего избытка предложения над спросом, подрыв монополии производителя во всех областях производства и на рынке, развитие и поощрение социалистической конкуренции. Мы уже сделали первые шаги в этом направлении. Государственный заказ в промышленности уже в 1989 году ненамного превысит 40 процентов от всей производимой продукции. Назрел либо полный отказ, либо сведение к минимуму государственного заказа (обязательных поставок) и в сельском хозяйстве. Как бы туго ни шло дело, но появилась реальная надежда, что уже в первой половине 90-х годов 60—70 процентов средств производства в стране будут продаваться свободно, через оптовую торговлю либо по прямой договоренности между поставщиками и потребителями. Но все это пока недостаточно для подрыва безраздельной власти социалистических монополий на рынке, и все это не дает никакой гарантии ни против безудержной инфляции в результате вздувания цен производителями, ни против низкого качества их продукции.

Признаюсь, мне лично не нравится никакой контроль над рыночными ценами. Но я понимаю: если сейчас, в условиях высочайшей монополизации нашей промышленности, мы ликвидируем Госкомцен и отдадим все ценообразование на волю непосредственных производителей (именно им, поскольку покупатель у нас везде еще бесправен и безгласен), мы добьемся лишь повторения знаменитого «кризиса сбыта» 1923 года. Слепой эгоизм производственных коллективов — это страшная вещь, и без централизованного контроля над основными, главными ценами наши производители лишь вздуют в этих условиях цены на все и на вся до небес. Контроль над ценами может быть отменен лишь тогда, когда мы создадим у себя «рынок покупателя», то есть устойчивое, постоянное превышение предложения над спросом по всем товарам, когда острая, здоровая конкуренция станет нормой, а не исключением. Когда конкурировать будут все: государственные предприятия — с государственными предприятиями, индивидуально-кооперативный сектор — с государственным производством, кустари и кооператоры — между собой. А все они, вместе взятые,— с устойчивым и свободным импортом, который есть норма для всякой «открытой экономики», то есть экономики, не

отгороженной от внешнего мира ни административными барьерами, ни «закрытой», необратимой валютой, ни запретительными таможенными тарифами.

Если нам удастся всего этого добиться в ближайшее десятилетие, это будет выдающееся достижение, подлинная победа перестройки, а, значит, и возвращение всей нашей экономики к здравому смыслу, к саморазвитию ее без всяких искусственных взбадриваний, понуканий и кнута. Но некоторые важные шаги в этом направлении мы, мне кажется, могли бы сделать уже сегодня, не откладывая дело на 90-е годы. Я имею в виду прежде всего такие содействующие развитию рынка меры, как разработку «антитрестовского законодательства», пресекающего если не все, то самые бесцеремонные попытки к полной монополизации рынка и насилию над потребителем. Я имею в виду также необходимость, пусть даже и несколько искусственного, но тем не менее очень важного для торможения монополистических тенденций раздробления наших наиболее могущественных объединений на самостоятельные хозрасчетные предприятия, производящие одну и ту же продукцию или одни и те же услуги. Думаю, например, если бы у Аэрофлота были бы какие-то (скажем, республиканские) конкуренты, дело бы не было в таком плачевном состоянии, как сейчас. Какой-то дополнительный толчок должен получить и процесс формирования межотраслевых объединений, то есть, по-другому говоря, свободы перелива капитала из отрасли в отрасль. И, наконец, я опять возвращаюсь к тому же, о чем говорил: импорт, импорт и еще раз импорт.

А п я т о е (последнее по счету, но отнюдь не по важности) у с л о в и е полновесности и действенности нашего рубля — реальный его курс и обратимость во все валюты мира. Некоторые вконец отчаявшиеся голоса предлагают решиться на этот шаг уже сейчас и в качестве первого этапа разрешить предприятиям свободную покупку и продажу иностранной валюты. Думаю все-таки, что сейчас это нереально.

Для того, чтобы ввести хотя бы частичную обратимость рубля, то есть обратимость его для предприятий (но не для «человека с улицы»), необходимо прежде всего завершить реформу оптовых цен и добиться полнокровного развития оптовой торговли средствами производства. Без реформы оптовых цен задача неразрешима хотя бы уж потому, что при нынешних деформированных пропорциях цен мы не можем иметь более или менее достоверного курса рубля. Как известно, нынешний его курс сложился чисто волевым решением, принятым Сталиным в 1950 году: он перечеркнул тогда синим карандашом расчет специалистов, по которому 1 доллар стоил примерно 14 тогдашних рублей, и написал вместо 14 цифру 4, сказав при этом что-то вроде того, что, дескать, «и этого им хватит». Дорого же нам стоил потом этот синий карандашик! Однако факт остается фактом: хотя нынешний курс рубля нереален, определить его более или менее достоверно мы сможем только после того, как наведем порядок в ценах. Это будут, конечно, не нынешние 68 копеек за доллар, но, уверен, и не те спекулятивные 7,5 рубля за доллар, по которым сегодня почти официально покупаются и продаются рубли, скажем, в Западном Берлине. Одно, впрочем, можно предвидеть уже сейчас: девальвированный рубль сделает экспорт намного более выгодным для наших предприятий-экспортеров, а импорт — намного менее выгодным, чем сейчас.

Другое важное условие — оптовая торговля средствами производства — необходимо для того, чтобы рубль стал «внутренне конвертируемым», то есть чтобы любой держатель рубля, будь то отечественное предприятие или наш иностранный партнер, мог в любой момент потратить его у нас в стране на то, на что ему нужно. Сейчас такой возможности ни у того, ни у другого ф и з и ч е с к и нет.

Конечно, для того, чтобы иметь конвертируемый рубль хотя бы на уровне общегосударственных счетов, необходимы и резервы для выравнивания неизбежных колебаний платежного баланса. Никакого чуда и здесь ожидать не следует. И для нас, как и для любой другой страны мира, эти резервы могут быть получены только из естественных, так сказать, традиционных источников: форсирование экспорта, золотой запас, маневр долгами, прямые иностранные инвестиции, международный кредит. В этом смысле мне кажется принципиально важным, что мы начинаем, наконец, менять наше отношение к международной валютно-финансовой системе и ее институтам. Если играть, так играть «по правилам», а этому мы никогда не научимся, если будем и дальше оставаться в мире в позиции «гордого одиночества».

Но если конвертируемости рубля для предприятий мы можем добиться уже в первой половине 90-х годов, то полной его конвертируемости, то есть конвертируемости и для «человека с улицы», нам, если не тешить себя иллюзиями, вряд ли удастся достичь раньше конца следующего десятилетия. Причина все та же: полная конвертируемость рубля невозможна без реалистических пропорций в розничных ценах, иными словами, без глубокой реформы розничных цен. А здесь, повторяю еще раз, нам торопиться нельзя. Слишком многое сейчас поставлено на карту, слишком нетвердо еще стоит на ногах перестройка, чтобы можно было пойти на риск погубить ее одним неосторожным движением.

Полагаю, что если говорить об общем климате, в котором проходит перестройка, то у нее сейчас два самых главных врага: во-первых, наша повальная экономическая безграмотность и, во-вторых, слепое, глубоко укоренившееся во многих, если не в большинстве из нас, чувство зависти. И тот, и другой порок не поддается быстрому лечению. Но нельзя все изменить, не меняя ничего. Либо мы обретем, наконец, способность трезво взглянуть на вещи и на самих себя, либо, как пророчил еще П. Чаадаев, нам на веки вечные определено судьбой служить всему миру примером того, как н е н а д о — не надо думать и поступать.

Нет, далеко еще не все нам ясно! Не ясен, например, даже такой вопрос: а что мы впредь намерены делать с такой мощной силой экономического прогресса, как индивидуализм, стремление предприимчивой, энергичной личности к личному успеху, в том числе и успеху материальному? Движение истории, как известно, от века опиралось на две силы — коллективизм и индивидуализм. Силой коллективизма, хотя и с коэффициентом полезного действия не выше, чем у паровоза Стефенсона, мы еще кое-как овладели или, точнее, овладеваем. А как быть с индивидуальным стремлением к успеху? Или так и пойдем по истории, ковыляя на одной ноге? А далеко ли, позволительно спросить, мы в таком случае уйдем?

Думайте, дорогие соотечественники! Думайте. История дала нам уникальный шанс продумать заново всю нашу жизнь. Ленин, как мы знаем, тоже много думал о таких вещах. И феноменальный успех нэпа свидетельствует, что это были весьма плодотворные размышления. Он нашел модель, которая позволила нам в 20-х годах идти по жизни на двух ногах, не на одной. И по любым мировым критериям это была эффективная, конкурентоспособная, открытая модель! И, что не менее важно,— социалистическая модель!

Представляю, какую ярость у многих вызовет даже сама постановка этого вопроса. Но, как говорил один незадачливый литературный герой: «Que faire? Faire-to que?» Иными словами, что делать, дорогие сограждане? Делать-то что? Понимаю, что мало кому сейчас охота не только отвечать на этот вопрос, но даже думать о нем. Но боюсь, что отвечать не миновать. Всем нам вместе — не миновать.

Ю. Черниченко

Кто виноват, или Что делать?

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. ТОРГСИН

I

Осенью 1963 года я вернулся из большой поездки по разрушенной пыльными бурями целине и пришел в Минсельхоз — в управление со странным названием: «зерновых культур и по общим вопросам земледелия». Здесь работали умные и опытные люди, и начальник главка Иван Иванович Хорошилов, знаток засушливого полеводства, менее всех чиновников тогдашней Москвы был виноват в катастрофе. Глава «по общим вопросам» всяко, как мог, саботировал хрущевскую «пропашную систему»: не давал запахивать клевера, засевать чистые пары, выбрасывать из севооборотов овсы, наводить кукурузную монополию. Но и генштаб не во всем властен, а Хорошилов штабистом, пожалуй, не был. Решали лихие ребята Сельхозотдела со Старой площади — те могли и родную мать запахать, если на этом можно продвинуться.

Шел я рассказать о заметенных песком лесополосах, о целых областях, где не взяли семян, о массовом бегстве целинников... Да что целинники! В районе, где я работал начальные целинные годы, исчезло 26 поселков столыпинского населения, ими-то, честно сказать, и освоена алтайская Кулунда. Шел сказать...

А Хорошилов сидел, погрузив седую голову в ладони, не поднял глаз:

— Сегодня самый тяжкий день моей жизни. Мы у Канады закупили хлеб.

Все мною увиденное теряло значение, становилось бытовой ерундой перед таким событием: началом российского хлебного импорта!

Купили мы, положим, не у одной Канады. Доктор наук Евгений Сергеевич Шершнев спустя срок рассказывал мне ночью в вагонном купе:

— В шестьдесят третьем я был советским торгпредом в Вашингтоне. Звонят: прилетает замминистра внешней торговли — срочно закупать зерно. Ну, какие-то количества — по двести, по триста тысяч тонн — мы закупали и прежде, но — из удобства. Чтоб ближе было везти — скажем, на Кубу. Выше семисот восьмидесяти тысяч тонн такой к о м ф о р т н ы й закуп никогда не поднимался, а тут — миллионы! Да срочно! Почти не торгуясь! И легко сказать — «закупать», ведь эмбарго. После Карибского кризиса Белый дом торговать с нами практически запретил. Однако обратились куда надо, конгресс неожиданно быстро заинтересовался. Начались слушания, пригласили экспертов. Заседания открытые, пошел посидеть и я. Замечательно, что вопрос — при всей нашей спешке — был поставлен на перспективу. Если это единовременная акция — не продавать, если постоянный торговый канал — продать и не жадиться. Консультанты, экономисты как сговорились: ситуация долговременная, покупатель вырос стабильный, надо открыть шлагбаум и сбывать переходящие остатки зерна. До того было противно это карканье, что хоть проси слова: врете, мол, клевещете, через годок у нас все наладится. Но тогда откажут, сорвешь поручение Президиума ЦК. Ну, конгресс дал «о'кей», а законность, эмбарго? Президент Джон Кеннеди позвонил брату Бобу, он состоял верховным толкователем законов,— и через полчаса появился листок, что как раз к СССР и к зерну общее «нельзя» никак не относится. Закупили в ту осень три миллиона сто тысяч тонн, лиха беда начало... Но каковы

эксперты! Если бы мне тогда сказали, что импорт продлится четверть века, что из тех трех миллионов получатся и сорок, и пятьдесят в год — я бы просто расхохотался, наверно...

Позже говорили, что время Хрущева кончилось на Карибском кризисе и неловком увозе ракет. Другие считали началом конца раздел обкомов надвое. Наш же брат аграрий (немалое число людей, во всяком случае) увидел конец надежд именно в хлебном импорте. Звезда закатилась на главном — аграрном — меридиане Хрущева. Королева-кукуруза, ее жених конский боб и прочие проявления «волюнтаризма» (как только не переводили этот термин на хуторах!) заслонили то доброе и даже историческое, что сделал «наш дорогой Никита Сергеевич»,—и сельское хозяйство вновь встало перед кризисом. Один Хрущев целое десятилетие был «Главным агрономом страны», он мог и Гарста в Айове критиковать за способ кукурузного сева, и это тогда считалось как бы нормой: знаток! По всем известному анекдоту, крестьянин говорил художнику после скандала в МОСХе:

— Вам хорошо, в вашем деле Никита Сергеевич понимает.

Хрущев «понимал» в сельском деле настолько, чтобы начать разрушение колхозной системы в ее сталинско-крепостническом виде. Введение закупочных цен, хоть как-то возмещающих колхозные затраты, отмена «продоброка» — налога на усадебное хозяйство, признание, что беспаспортный колхозник «в законе мертв», первые подступы к уравнению крестьян в пенсиях и некоторые другие шаги будут зачтены ему на самом великом разборе... Хрущев «не понимал» в сельском хозяйстве настолько, что и самый могучий свой декрет — постановление весны 1955 года о планировании снизу — свел на пользу кукурузе, расширению ее посева. Меняя систему земледелия с травопольной на пропашную, он оставлял ее принудительной. Верно нащупанный путь к освобождению крестьянского труда был оборван сталинизмом самого Хрущева: овечкинская школа была загнана в дискуссии о пара́х, о достоинствах «королевы», председателей-тридцатитысячников за словесные вольности снимали пачками, вокруг самого «Главного агронома» появились маниакальные личности вроде Мыларщикова. Хрущев реставрировал и Лысенко с его новой шизоидной затеей — заставлять колхозных коров доиться сливками. Хрущев — и это не должно забываться — первым прибег к импорту зерна для продления жизни принудительной системы земледелия, и тем на целую четверть двадцатого века растянул ее агонию.

Слой закрепощенного пахотного сословия генетически несет в себе нехватку съестного, «борьбу за хлеб». Но при Сталине закупок зерна за рубежом не было — и не возникло бы, проживи он еще и десять, и двадцать лет. Наоборот, экспорт! Год 1931-й—вывезено 5,2 миллиона тонн, в год 1932-й—экспорт 1,8 миллиона тонн, лишено прожиточного минимума миллионов десять душ. Но — отобрали, вывезли, и последовал каннибальский, кошмарный год 1933-й. Год сорок шестой, на юге Украины натуральный голод, в Молдавии вымирают села, мы в Крыму спасались хамсой да виноградом — вывоз зерна за рубеж составил 1700 тысяч тонн. Как теплила жизнь российская нечерноземная деревня еще и в пятьдесят втором году — нужно спросить у «деревенской» прозы, становящейся на глазах обыкновенной классикой. Меж тем экспорт СССР 1952 года — 4500 тысяч тонн зерна, по преимуществу пшеницы. В шестьдесят третьем, породившем импорт, году было собрано только 107 миллионов тонн всех хлебов — дореволюционный, скажем для масштаба, намолот. При Сталине могли вновь опуститься в голод целые регионы, а плановый вывоз — 6,3 миллиона тонн — был бы осуществлен. При Хрущеве вывоз был наполовину обезврежен импортом.

Изобретение сделано, но инерция старого велика: мы еще долго остаемся традиционным экспортером, и марка SKS-14 — казахстанская яровая пшеница с четырнадцатью (гарантия!) процентами белка, улучшитель помольных смесей Европы — еще поднимает булочки стран, исстари покупающих зерно. Высший объем продаж — в 1974 году: семь миллионов тонн на экспорт. И ровно столько же в том году импортируется. Странно?

Гораздо страннее, что импорт из необходимости, из беды в брежневское время становится способом не хлебный баланс поправить, а потаенным, загадочным образом преобразовать без каких-либо перемен и реформ всю систему про-

довольственного снабжения. Год 1973-й, урожай обломный, небывалый, 222,5 миллиона тонн — гром победы и триумф очередного постановления «о дальнейшем развитии». И вместе с тем неслыханный импорт — 23,9 миллиона тонн, в основном пшеницы (15,2 миллиона), которой и дома произведено больше всяких мер: 109,7 миллиона тонн, почти в два с половиной раза больше нужного. Где логика — и где экономика, обязанная быть, как мы выучили, экономной?

Воспользовавшись изобретением Хрущева, Леонид Ильич быстро и уверенно вывел зарубежную хлебную торговлю из сферы экономики, лучше сказать — экономии, и превратил ее в средство своего культа. Благодеяния народу приобретали почти мистические, сказочные свойства. Тратилось гораздо, пугающе больше зерна, чем собиралось внутри страны. А так как объемы и издержки ввоза были секретом более строгим, чем даже число и классы ракет (Хельсинки многое в этом смысле раскачали), то статистика получала отставку, публикацию сборов запретили, любые балансы летели вверх тормашками,— оставалось ликовать и поражаться.

Хлебная торговля, впрочем, всегда политика. И внутренняя, и внешняя разом, а поскольку дело ведется с миллионами поставщиков и в сфере международной, то тайне здесь всегда не везло. Если зерновой ввоз кайзеровской Германии 1913 года по ржи составлял 352 тысячи тонн, в том числе 304 тысячи тонн из России, по ячменю 3238 тысяч тонн, в которых 2765 тысяч — русского зерна, по овсу 505 тысяч тонн (271 тысяча — нашенских), то незачем долго гутарить о зависимости от русского торга. Если в любезном статистикам (или боязном для них) 1913 году выручка от хлеба давала России 594,5 миллиона золотых рублей, а вывоз нефти приносил (вместе с бензином и т. д.) 8,5 миллиона, то некому объяснять, что политический курс держали на экспорт возобновимого, не нажимая на размот невозобновимого природного ресурса. Из-за отсталости добычи? Не спорим. И с тем не спорим, что вывоз 12 пудов из каждых ста пудов собранного хлеба был довольно высокой экспортной долей. Держать за страной около четверти мировой продажи пшеницы и треть экспорта ржи (1909—1913 годы), когда свое подушное производство гораздо меньше производства в Голландии, Германии, Великобритании, куда шло русское зерно,— ноша тяжелая, и я уж писал лет двадцать назад, что такой торгсин копил гнев, потрясавший страну с 1917 по 1920 год включительно.

Однако же худая ли, хорошая, но то была гласная торговля, в ней ничего не было от приемов черного рынка. Феномен нашего четвертьвекового импорта — в его полной закрытости «для дома, для семьи» и в девственной его неизученности даже в среде прямо причастных, живущих «хлебом единым». А ведь многомиллиардное дело! В 1984 году, для примера сказать, за чужое зерно заплачено 5365 миллионов инвалютных рублей (в долларах это близко к восьми миллиардам), ежедневно крупнейшие биржи США и Канады на тысячах дисплеев штатов и провинций высвечивали особой строкой советский ожидаемый урожай — как знак объемов нового закупа и возможного роста цен. И только дома, среди тех, для кого зерно это доставлено, не только диссертаций, книжного осмысления, а и простой колонки цифр в статистическом справочнике этому торгсину не досталось. Да что там — диссертации!

Новороссийск, Цемесская бухта, торговый порт. Слева по берегу причалы нефтяных судов, справа — зерновые разгрузки. Заплатил — получи. Меновая торговля яснее некуда. Объезжаем бухту с секретарем горкома Юрием Дмитриевичем, полным тезкой, и капитаном порта. Секретарь горкома плывет поздравить капитана танкера-стотысячника с орденом: экипаж замечательно освоил путь от Миссисипи к Черноморью, за год успевает чуть ли не за целую республику. Хозяин порта демонстрирует галереи-трубопроводы — воздухом всасывают зерно метров за двести в море, во чего достигли! Глядите — вон старенький элеватор, кирпичный, николаевский, а это новый гигант из бетона, живая диаграмма, снимайте в кино! Поскольку мы разом выбираем и натуру для «Мосфильма» (картина про хлебный импорт), то я как персона художественная позволяю себе дерзости:

— Отчего ж вы этот пылесос — не в двух направлениях? Чтоб и сюда, и туда.

— Это зачем? — не понимает «кэп».

— Придет же пора, возьмемся за ум. Кирпичный элеватор мал, но отгружал в Европу. А бетонный велик — в нем хлеб Миссисипи.

Не велико открытие. В общем-то даже банальность. Но портовика как током ударило. Моргает, оглядывает нас:

— Стойте, а почему мы завозим хлеб? А? Ну? Да скажите же? Почему-то ж оно должно быть, раз — столько...

И когда с орденом поднялись на борт, именинник накрыл фуршет в кают-компании, портовик все дергался: отчего да почему. Миллионы тонн перевалил из кулька в рогожку, отправил на север, тучи голубей над портом вскормил, завоевал какие-то знамена — и нá тебе, дошло, задумался.

Иной срез. Глава всесоюзного объединения «Экспортхлеб», молодой и сухощавый Олег Александрович как бы благодарит за статью в «ЛГ» («Две тайны»), где переписаны из тома ЦСУ открытые к 70-летию СССР данные импорта.

— Мы в объединении ксерокопировали... Сознаюсь, для нас было неожиданностью, что пшеницы часто закупали больше, чем зернофуражных культур.

Спасибо, конечно. Но такая оценка и пугает. Столько лет — пять пятилеток минуло! — внушали советской общественности, что покупаем пустяки, какой-то фураж, его людям и молоть-то нельзя, и вдруг из сугубо неспециальной газеты выясняется, что зерна для ферм в импорте подчас оказывается кот наплакал, а львиную долю составляет именно продовольственное — на помол для хлебозаводов—пшеничное зерно. Каковое мы и сами производили вроде с таким избытком, что в пору сбывать развивающемуся белу свету по вполне доступной цене.

— Сейчас, Олег Александрович, пищущий люд все чаще сводят с иностранцами. Как им объяснять, бестолковым? Своей пшеницы — прорва, а покупаем еще, и все не хватает...

— Говорите, что общий курс пшеничного производства СССР — кормовой,— учит Олег Александрович.— Пшеница стала в основном зернофуражным злаком. Мы миллионов сорок, иногда шестьдесят тонн пшеницы расходуем в комбикормовой промышленности, а богатые энергией корма приходится прикупать за рубежом. Говорите, не ошибетесь.

— Ну, а своим? Или себе самому — как, чтобы по полочкам?

— «Как»... Плохое зерно производим, вот как! И не умеем, не владеем технологией из низкобелковой муки печь вкусный высокий хлеб. Эти приемы давно освоены, оборудования навалом — да не у нас.

Впрочем, «капать» на Олега Александровича Климова у меня никакой охоты, это наверняка перспективный внешторговский лидер, тем более что и пришел-то он в этот бизнес как раз в 1963 году, в год великого перелома российских традиций, в генеральных директорах недавно, а в его словах — именно та словесная одежка непонятной «торговли с иностранцами» (торгсин), какая и прикрывает импорт лет двадцать пять. Иной пока нет.

Словом, хлебный импорт и гласность доселе были вещами несовместными, в значительной мере ситуация сохраняется и ныне. Поэтому задачей автора любой юбилейной статьи о нашем продовольственном привозе будет ответ на вопрос: почему о хлебном импорте мы молчали четверть века — и как было бы разумно говорить о нем теперь?

II

Импорт зерна не может быть популярен в стране, которая, по твердому взгляду очередей, «раньше весь свет кормила». Поразительно прочна вера, что наши траты на зерно оттого, что «друзей слишком много». Мы, дескать, сами покупаем за золото, а другим («друзьям») отдаем почти даром. В месяцы работы над кинофильмом «Скакал казак через долину» я имел десятки случаев убедиться, что сельские люди даже родне своей, морфлотовцам, не верят, когда идут рассказы про корабли, привозящие за рейс по сотне тысяч тонн зерна, про целый флот

супертанкеров, держащих продовольственный мост «Америка — Черное море», про цены на обыкновенное зерно: за тонну нужно в долларах выложить целый «шарп», да еще какой! (Магнитофон — как вещная валюта — ныне заместил иные меновые стоимости: бус, топоров или раковин больше не берем.) Нет, так не может быть! Мы вывозили хлеб и вывозить будем, а с импортом что-то темнят.

Практически невозможно внушить даже дипломированному селянину, что СССР стал страной нетто-импортером, то есть ввозит несопоставимо больше, чем вывозит. Этот суеверный патриотизм эксплуатируют разного рода лекторы-пропагандисты, изобретая такой ряд: если сплюсовать весь суперфосфат, что мы продаем, с хлопчатником, который везем на Запад, то получится, что на этих площадях-мощностях мы могли бы выращивать зерна значительно больше, чем его покупаем, и в осадке получается как бы зерновая прибыль. Поэтому все разговоры о зерновой зависимости СССР от стран Северной Америки и даже (теперь) Западной Европы есть унижение национального достоинства. Я знал весьма весомых и веских людей, совсем недавно калякавших именно таким образом.

В ряду с таким простеньким обманом — вовсе уж забавные варианты: ввозим потому, что на Дальний Восток нам далеко доставлять, а тут только через океан — и порядок. Или опять же тема фуража, стоящая на комичном убеждении городского чиновника, что фураж — это некое под-зерно, бяка какая-то, уж его-то покупать вовсе не стыдно. Процитирую замечательное объяснение газеты «Аргументы и факты», № 5 за 1988 год, статью начальника Управления статистики агропромышленного комплекса Госкомстата СССР Л. Ващукова:

«Производство зерна в стране в целом обеспечивает и удовлетворяет полностью потребности населения в хлебе и хлебобулочных изделиях, на это идет около 40 миллионов тонн или в среднем по 133—134 килограмма на душу населения в год.

Для животноводства в целях получения большого количества мяса, молока, яиц зерна не хватает, и государство вынуждено его покупать, действительно затрачивая валюту. Надо признать, что это крайне невыгодно...»

Умри, Денис. Для населения — да, а вот для животноводства... Как будто то животноводство не для населения, а живет параллельно, независимо, по своей воле,— этакое сообщество братьев меньших... Да на животноводство-то уходит едва ли не вчетверо больше зерна (150 миллионов тонн в год!), чем в целом обеспеченному населению (примем за факт статистические 40 миллионов). Ну, а раз уж действительно нужно затрачивать валюту, то при нехватках зерна для ферм логично ожидать потуг к приобретению именно кормового, для фуражных рационов. Что видим в натуре? В 1986 году, далеко не ходить, из 26,8 миллиона тонн импортированного зерна 15,7 миллиона составила пшеница. Хлеб людей! За год до того завезли общим числом 44,2 миллиона, в том числе 21,4 миллиона тонн пшеницы. Хлеба людей! Чуть отойти... В 1980 году потратились на 27,8 миллиона тонн, отсчитали почти 7 миллиардов долларов — и больше половины импортного (14,7 миллиона тонн) тоже составил продовольственный вид зерна — пшеница.

Тут первая, наверно, причина невозможности сказать правду о хлебном привозе, не совлекая одежд с древних идолов. Зерновой импорт есть по преимуществу ввоз продовольственного хлеба, которого уже и дома производится вроде бы вдвое больше необходимого.

Вторая причина пропагандистских слоновьих вальсов в удельном весе чужого хлеба. Даже из «Аргументов и фактов» мы легко уловим, что покупать приходится некую малость, досадную ерунду, ибо «производство зерна в стране в целом обеспечивает и удовлетворяет». Взглянем на размер ерунды — с учетом тех преображений (хлопок в пшеницу и т. д.), каким нас научили: действительно ли заокеанский закуп — только прикуп?

Государственные закупки зерна внутри страны колеблются между 65 и 75 миллионами тонн, в пятилетке 1981—1985 годов они составили 66,4 миллиона тонн. Половину этого составляет пшеница, а на долю высокобелкового кормового зерна (сои, гороха и пр.) достается меньше миллиона тонн. Безумно малая, прямо убогая часть! Даже в хрущевское время заготавливалось в два с лишним раза больше — 2151 тысяча тонн в среднем за 1961—1965 годы. Если бы один только этот конфуз был на счету Госагропрома — и то тест на компетентность и хозяйский интеллект он бы, наверно, не выдержал. Ан дело не только в горохе.

Внешний привоз в 1985 году — 44,2 миллиона тонн (на высокобелковый корм, соевые бобы и тут падает ничтожная часть). Прибавить к этим сорока четырем миллионам крупы, макароны и пр. — и понятия «прикуп», «добавка» и т. д. уже тают, как воск от лика огня. Но нужно приплюсовать еще 857 тысяч тонн закупленного мяса, оно же действительно (не как в случае с хлопком) есть переработанное зерно — и только зерно. Сливочное масло (276 тысяч тонн) тоже легко восстанавливает объем потребленного фермами фуража. Громадное количество растительного масла (813 тысяч тонн!) плюс закупленный сахар (26 процентов потребления — завозной) тоже имеют легко вычисляемый зерновой эквивалент, и это не мифология, как с проданным фосфором. На кило привеса, как ни крути, шесть килограммов зерна придется истратить, а выход чистого мяса — половина от живого веса быков. Эрго — двенадцать кило зерна скрывается за каждым килограммом мороженой говядины, принятым портом Клайпеда или каким-то иным. Оно и прежде зерновая торговля легко меняла лик, становясь мясной и масляной. Россия 1913 года вывезла в Германию 110 тысяч живых свиней, поставила в Европу 4763 тысячи пудов сливочного масла (4442 тысячи пудов — из Сибири), экспорт мясных изделий дал выручку в 17 миллионов золотых рублей — и это всеми понималось как реализация зернофуража на месте, вывоз переделанного хлеба... Так что минимум 10 миллионов тонн зерноимпорта нужно опознать в импортном мясе 1985 года, и с масляными, сахарными и пр. эквивалентами годичный импорт составит те же 66 миллионов тонн зерна, какие были закуплены и дома.

Значит, баш на баш: каждая вторая тонна — в первородном ли, преобразованном виде — поступает по морям, по волнам из стран далеких. Какие уж тут, извините, пустячки! Открытие импорта предполагает признание, что и нынешний продовольственный уровень без постоянного притока продовольствия по океанскому мосту мигом не устоит — а на это храброе признание маршал Брежнев даже с получением ордена Победы способен не был.

Мы намеренно помянули про белок в покупном зерне. За сим скрывается какая-то несуразность, нелепость теперешнего торгсина. Ощущение такое, будто импорт управляется кем-то извне. Словно кто-то насмешливый, злокозненный водит протокольными ручками: не хватает одного, а покупают другое, позарез нужен протеин, а вместо протеинов (сои в бобах, шротов и пр.) подписывают миллиардные контракты на углеводы. Неужто и здесь козни империалистов? Что ж, бывали дела, в 1924 году нарком Л. Б. Красин писал во вступлении к «Энциклопедии русского экспорта»:

«В отношениях с Советской Россией так называемые цивилизованные правительства возвращаются к приемам дикарей, выкладывая против связок пушнины или съестных припасов табак, спирт или бусы». Так, наверно, и пытались с нами торговать — если находились простяки, согласные брать «бусы». Но нынче-то в торгпредствах — уже лица второго и третьего поколения, у внуков МГИМО за плечами, какой же Сатана правит бал в хлебном отеческом импорте?

Да никакой — и храни бог от охоты за ведьмами. Слишком удобно было бы свалить все на очередной заговор масонов, итогом которого явился бы удвоенный расход русского зернофуража и, стало быть, совершенно бесплодная потеря миллионов этак семидесяти зерновых тонн ежегодно. Это навязло в зубах: где современные нормы предусматривают два кило корма на килограмм мяса (в данном случае — бройлерного), там наши лучшие птицефабрики укладываются в четыре... То же с откормом (недокормом?) свиней: питательные смеси качественно не те, не отвечают запросам организма — и миллионы тонн неусвоенной пшеницы идут, как выразился один тувинец, «через транссибирский магистраль».

США — мировой поставщик сои. Внушительное (116 кило на душу населения) потребление мяса в США держится не на одном кукурузном початке, замеченном Н. С. Хрущевым, но и на желтом бобе с черной отметиной. Трехсоткратное (или больше?) увеличение производства сои, решительное изменение белково-

го баланса есть, когда-то пришлось писать, столь же значительное достижение американского XX века, как и запуск «Аполлона-11». Пришлось постараться, буквально в качестве писаря, над бумагой «наверх», которая кончилась единовременным закупом (десять уже лет назад) трехсот тысяч тонн соевых бобов. Просто доктор-американист В. Ф. Лищенко, будучи гостем Американской соевой ассоциации, уловил необычно выгодную конъюнктуру на высокобелковые корма, рекомендовал быстрей хватать эту фуражную жар-птицу, а я находился при этом почти в роли запорожского секретаря и отливал предложения доктора в убеждающие начальство абзацы.

Почему же не покупаем сою, если именно она нужна, именно она оживит и утилизует углевод нечерноземной пшенички? Дядя Сэм плутует? Агропромышленный бизнес хочет, чтобы мы все платили бы, а ничего бы у нас не менялось?

Очень расположенный к нам агроделец Среднего Запада, демократ и привычками, и принадлежностью к партии, на вопрос белорусского преда Старовойтова — долго ли, мол, Союз еще будет покупать зерно у Штатов,— ответил весело: «Всегда!»

Он не говорил об эффекте привыкания, хотя импорт, как и даровые «шефы» селу, атрофирует мышцы, требует все больших и больших шприцев,— говорил лишь о выгодности международного разделения труда. Не говорил о безусловной полезности агровывоза для промышленно развитой страны США: переходящие остатки обыкновенных годов впитываются гигантами морфлота и компенсируют Америке расходы на импорт нефти, в суровый же год, вроде 1988-го, рост пшеничных цен (допустим, со 120 до 168 пунктов тонна) восстанавливает недобор валовки. Говорил только, что русским выгоднее, покупая зерно, сосредоточиться на том, что у них хорошо получается!

«Всегда» — это мультимиллионер и политик. А младший фермерский сын Стан Хаер, гибкий и белозубый ковбой из Иллинойса, жмет руку с предложением дружить: «Вы всегда были хорошими покупателями, а мы хорошие продавцы». Стан родился и вырос в пору наших закупок.

За четверть века мы смогли и симпатизирующим нам людям на Западе внушить: советский импорт — навсегда. Что же до Сатаны, то в данной связи он предстает иногда в виде монополии, ибо фермеру Северной Америки в сущности не с кем конкурировать: «Экспортхлебу», приходящему на торг сплошь и рядом к шапочному разбору, когда инстанции наделят его валютой, фактически диктуют — что именно брать и почем. Если мы даже в 1986 году покупали у Канады в 62 (!) раза больше, чем продавали ей, если импорт у США в том же году на 833 миллиона инвалютных рублей превышал экспорт в Штаты, то где ж тут паритет? Монополия внешней торговли — только со стороны агробизнеса США.

Еще один образ лукавого — отсутствие обратной связи. «Экспортхлеб» и колхоз — антимиры. Они не только не одно общее делают, а можно полагать, не подозревают о существовании друг друга. Верблюд в игольное ушко еще, может быть, и пройдет, колхозные интересы и требования на Смоленскую площадь — ни-ког-да. В невозражающих режимах, согласно Норберту Винеру, попытки обратных сигналов кончаются ликвидацией сигнализатора. Почему Внешторг не покупал сою? Потому что она раза в два дороже кукурузы! Значит, на один и тот же разрешенный миллион закупишь кукурузы много-много, а сои — с гулькин нос, нечем и отчитываться. Что тонна соевых бобов вполне себя окупает одним маслом, а ценнейший белковый жмых идет уже даром, но наполняет, спасает для дела целых пять тонн крахмалистых кормов — это может понять только заинтересованный. «В Союзе нет мощностей по переработке соевых бобов»,— этот аргумент произносился и в шестидесятых годах, в ходу и ныне. Будто речь не о маслобойке, какой только ленивое село прежде не имело, а о ЭВМ седьмого поколения. Внешторг проявил себя образцово валовым по взглядам учреждением — недаром министр Патоличев Н. С. награждался Золотыми Звездами дважды: и в 1975-м, когда доля нефти-газа в нашем экспорте поднялась до одной трети, и в 1978-м, когда хлебные закупки — от греха — просто засекретили...

Неэтично анализировать хлебный импорт и с точки зрения вопроса: откуда деньги? «Для удовлетворения нужд народа у нас не останавливаются ни перед какими издержками, импорт зерна есть еще одно доказательство гуманизма и человечности нашего строя». Превосходно, но откуда все-таки деньги-то? Ну, нефть продаем. Будут нефтерубли, будут и агродоллары. Давно перевалили за десять миллиардов инрублей выручки, а с газом и электроэнергией — почти двенадцать миллиардов в год. Величайшее везение державы — открытие в шестидесятых годах нефтяной Тюмени — в 70-х стало видным явлением мировой торговли. Во внутренней же экономике — способом прожить за счет внукова добра. Если бы нам, целинникам 50-х, когда Союз не добывал и полутораста миллионов тонн нефти, сказали, что на нашем веку добыча вместе с конденсатом уйдет далеко за 600 миллионов, и газа будет в 15 раз больше, но тракторам хватать не станет и целые районы будут делить бочку бензина между красным крестом и милицией, мы бы... ну, как минимум, не поверили. Сказали бы — будем качать за рубеж до двухсот миллионов тонн нефти и производных из нее, 79 миллиардов кубометров газа, 33 миллиона тонн каменного угля, а дома сельские хаты будут нетоплены, первый крик и украинской, и сибирской доярки: «топлива, угля, детей обогреть»,— мы сочли бы это наглой антисоветчиной. Хорошо, мы превзошли свою довоенную добычу нефти в 20 раз, а сегодняшнюю американскую «обштопали» почти на двести миллионов — толку-то? Ведь как раз это превышение ежегодно продаем. И огорчительнее всего та элементарная мысль, что у них хлеб, нами увезенный, снова народится, а наша нефть, ушедшая на вест, больше не появится никогда.

Сотни миллионов тонн зерна, негласно доставленных в Союз за юбилейный срок, без роста государственного долга, не чудо в Кане, не всемирно-исторический фокус, но размот национального достояния. Что простительно пустынным эмиратам, то безумие для страны с половиной черноземов планеты, с рекордной пока еще обеспеченностью человека пашней. За производственные отношения, оказывается, тоже нужно платить. И эмиссионных рублевых миллиардов, до которых так охоче «министерство канализации», здесь не принимают — золотом получить позвольте.

Одно, пожалуй, очевидно и легко произносимо вслух. Прокормление народа с признанием и крестьянина человеком в самом деле требовало в эти четверть века реальных золотых издержек. Только обязательно ли было эти достоверные, подлинные деньги отправлять потаенно и безвозвратно за рубеж? Или были иные способы израсходовать громадный капитал (вынужденное возмещение за экономический разбой сталинской коллективизации) — вложить его в свою землю? Вот в чем вопрос вопросов.

III

На партконференции присутствовали валютчики.

Не те, очерченные Коротичем и не названные — презумпция невиновности! — вслух, а люди искренние, с достоинством, юмором и яростной тягой к богатству. В. П. Кабаидзе («все-таки жизнь хорошая штука!») поделился радостью: утром зам вернулся из ФРГ, продал девять обрабатывающих центров, «3 миллиона зеленых долларов принес».

— Конечно, для товарища Каменцева — это семечки, но если бы мне сказали, что половина из них мои — полтора миллиона...

Смеялись до слез. Не знаю, смеялся ли В. М. Каменцев (род. в 1928 г., член КПСС с 1954 г., депутат Верх. Совета с 1982...). Перед этим Кабаидзе сказал, что будет министр мышей ловить — так будем и кормить, а нет — так нет. Вряд ли такое расположит хотя бы к улыбке.

Эстафету ненужности министерств подхватил аграрий Постников, который — подумать только! — 13 лет нигде и ни перед кем не отчитывался. Перед делегатами, однако, вроде бы отчитался: в 7,8 раза увеличил производство мяса, на счетах у объединения «Ставропольское» 44 миллиона свободных рублей и...

— У нас есть свои внешнеторговые связи, свой счет во Внешэкономбанке. И мы уже в этом году собираемся наторговать на 4—5 миллионов инвалютных рублей.

В перерывах мы сходились перекинуться словцом с украинским хозяином, который собирался строить ресторан... в Вене! Именно в столице вальсов, на голубом Дунае, где проблемы общепита в общем-то решены и протиснуться сквозь четыре сотни трактиров разнообразнейших уровней и национальных кухонь председателю с Западной Украины довольно мудрено. А все нужда в миллионе долларов! Рубли на счетах у колхоза «Заря коммунизма» есть, 16 свободных миллионов, но ни одному западному фирмачу они не нужны. Между тем австрийское ответвление «штатной» семеноводческой корпорации «Пионер», лидера гибридной кукурузы, предложило Владимиру Антоновичу Плютинскому, а именно так зовут моего приятеля из Ровно, совместное предприятие, 51 : 49, включающее производство раннеспелой кукурузы и семенной завод. Кто знает, каких потерь фермам всей западной части УССР стоит невызревание доморощенных сортов, какая пропасть зерна недотягивает до спелости когда неделю, когда две и киснет в зеленых початках, тот, естественно, закричит:

— Хватайте скорее, за этим же делом — миллионы тонн зернофуража, мы ж его за валюту привозим!

Плютинский реагировал почти так же, но чем оплатить доходы партнера? Рубль не проходит, натура ему тоже не нужна, а требуемый миллион... Да нашелся бы и миллион, ведь колхоз и теплицы держит роскошные, и овощные-фруктовые консервы делает на среднеевропейском уровне, домашний салат — пальчики оближешь, и скот племенной мог бы быть державам интересен. Но минфин обдирает, как липку: из вырученного доллара 82 цента изымут, а восемнадцатью доставшимися ты никак не покроешь издержек. Таким путем добывать валюту — даже скромные суммы на современные семена огурцов, на саженцы новых сортов и т. д.— есть кратчайший способ остаться без штанов. Вроде никаких препятствий к внешнеторговой деятельности, никаких помех к выходу на технический уровень «Общего рынка», но мягкая лапа на горле так прочна и липуча...

— Мы вам поможем открыть ресторан. Австрия любит украинцев, надо будет оркестр, галушки, вышитую одежду, вашими будут только директор и шеф-повар, а продовольствие... его дешевле покупать на месте,— сказали Плютинскому фирмачи «Пионера».— Поскольку доходы вы получите уже за границей, вас налоговое ведомство не сможет достать — и вы получите раннюю кукурузу, о'кей?

При всей хватке, сметке, энергии фирмачи — люди наивные. Один, представлявший известную столетнюю компанию кормовых добавок «Мурман» из США, даже жаловался через «Советскую культуру»: я, мол, бьюсь, чтобы сократить ваш зерновой импорт на миллиард долларов в год, предлагаю Госагропрому технологии и завод, действуя против интересов своих соотечественников, а ваше ведомство отбивается или по году не отвечает — так на чьей же стороне Агропром, вы, мол, подумайте! Не фермеру ли «Кукурузного пояса» служат чины Орликова переулка?

Но и этот глас вопиющего не достиг цели: куряне сведомы кмети, все новые спецы «Мурмана» возращаются несолоно хлебавши.

Мы с Плютинским, я говорю, успевали только переброситься словцом. А как хотелось уговорить его смелее сказать (если дадут слово) об этом феномене: тяге к серьезным деньгам.

Года три назад об этом не смели бы и заикнуться. Старый писатель, любящий загранпоездки и хорошие сигары, и сегодня недоуменно спрашивает:

— Да зачем колхозу валюта?

Замученному-задерганному — в долгах как в шелках — костромскому преду она и впрямь, пожалуй, не нужна. И то ведь — не всякому! Стоит и костромичу распознать, что за лен он может получить не заранее назначенные рубли, с которыми потом, при реализации, одна мука и дыхание ОБХСС за спиной, пять подписей на каждом целковом, будто ты не заработанные расходуешь, а на паперти стоишь,— стоит и костромичу попробовать обеспеченных и бесподписных денег, как и он — что? — станет ловок, смышлен и... неуправляем. А в целом — да: для валюты дорасти нужно. Нужно Виктором Постниковым вырасти, чтобы понять: объединение «Ставропольское» — молодец против овец и нуждается в полной компьютеризации. Чтобы ЭВМ определяла, как каждому птичнику сделать

четыре оборота в год. Не в отдельной комнате с ЭВМ, пустой, как красный уголок, где импортный компьютер руководства неприкасаем, как остяцкий бог, а в электронной нервной системе, соединяющей все 33 самостоятельные отделения «Ставропольского» в гибкий организм.

Надо Плютинским быть, чтобы понимать свое отставание от западноевропейского животноводства. Равно как надо быть Кабаидзе, чтобы уметь продавать ФРГ и Швейцарии ивановские станки.

Сразу после партконференции я оказался у Постникова. Тот продавал в Австрию тысячу лошадей. Позвольте, Виктор Иванович, да у вас и одной-то лошаденки своей нет! «А кто сказал, что мы своих продаем? Люди помогают». Это что же — посредничество? Спекуляция? «Девяносто процентов — хозяину, десять — себе за коммерцию. Сколько, вы говорили, вам минфин отстригает?..» Ну, а что там за разговор о подсолнечном масле, оно-то — ваше? «Не совсем. Даже совсем нет. Подрядились поставить шестьсот тонн. И сорок тонн арбузных семечек. Вы у Калюгина будете?..» Калюгин, генеральный директор схожего вольноотпущенника в часе езды от краевой столицы, поставлял это масло (тоже из 90 процентов валюты) Постникову, зато сам претворял в жизнь контракт с испанцами на поставку ангорского кроличьего пуха — и искал субподрядчиков: раздавать народонаселению белых крольчих, клетки и т. д. В агрокомплексе «Кубань» — тоже с вольной от агропрома — видел вложения живой валюты: строят, аж дым столбом, завод-автомат на четыреста тонн мороженого. Для Краснодара и Сочи.

Нужны интеллект и мужество, чтобы понять, насколько мы отстали. Есть отрасли и сферы, где постичь меру отрыва пока очень трудно: нужно не только языки знать, а и знать компьютерный язык. Закабаленный, как и глухонемой от рождения, никогда полиглотом не станет. Плютинский пригласил к себе заместителем молодого киевлянина из Комитета молодежных организаций — Сережа знает пять языков, жена его — два, итого семь. «Заместитель председателя колхоза по внешнеторговым связям» — каково?

Приходило в голову, что никаких внезапных «стоп-качать», резких «по тормозам» в импортной «настоящей беде государству Российскому» не будет. Будут взаимопроникновения, отдельные прорывы, постепенная эрозия западной торговой монополии, отточенной Пшеничным комитетом Канады или федеральными ведомствами Вашингтона...

«Постепенная»?! Если сейчас же, сегодня, не создавать заморскому спокойному диктату хваткого конкурента в лице зернового колхоза-совхоза, эта отлаженная система может катиться еще десяток-другой лет! Выдаивая наши недра, делая ненужной, никчемной ликвидацию чудовищных потерь при уборке, давно превышающих — как согласились и пишущие, и читающие — объемы казенного хлебного ввоза... Нельзя ждать — я напросился на разговор в «Экспортхлеб».

Смоленская площадь, вдали — Бородинский мост... С этим кабинетом связана моя «Русская пшеница»: приходил сюда четверть века назад расспрашивать тогдашнего хозяина Матвеева. Он был грузноват, лысоват, веяло партийно-советской школой и осмотрительностью служилого человека. Иные времена — теперешний генеральный директор «Экспортхлеба» весом с рядового теннисиста и даже в курсе многих драк публицистики. Самый главный мой вопрос Олегу Александровичу Климову: может ли «Экспортхлеб» обращаться к зарубежным поставщикам зерна только после того, как советские хозяйства откажутся на таких же условиях продать государству хлеб нужных кондиций?

— Вы хотите, чтоб мы колхозу платили валютой? — подумав, переводит на свой язык Олег Александрович.— А кто ее нам даст?

Нет-нет, без тупиков. Климов не видит причин, почему часть валюты не использовать для «импорта дома». Только необходимо полное освобождение партий зерна от власти ведающих планом органов. Чтоб никаких нам, внешнеторговцам, проблем с планом! Если за плановую платят сто рублей тонна, то кто же будет сдавать сверх плана, когда от нас можно получить в долларах?

— Олег Александрович, ваша ли это печаль? — пробую себя в дипломатии.— Вам на отпущенный миллиард надо закупить как можно больше хорошего хлеба, верно? Настоящий «Торгсин» наших с вами отцов: у нас золото, у кого-

то белая мука, наше дело — взять за кольцо или нательный крест возможно больше.

— Нет, против плана мы никогда не пойдем! Не настолько еще рас-свободились,— пошутил над собой Климов.— Но если качество будет приличным... Скажем, двадцать пять процентов клейковины первой группы... Или твердая пшеница, дурум... Послушайте, а почему, собственно, нам нельзя заключить контракт с областью? Если инициатива пойдет от них?

Это было похоже на прозрение портового капитана из Новороссийска. Страшась спугнуть процесс, я говорил шефу «Экспортхлеба» то же, что умирающий Ростовцев царю-освободителю Александру Второму: «Не бойтесь, государь». Разве что иными словами. Взывал к гражданским его чувствам: как славно будет, если зелененькие миллиарды, уже кое-кем обсчитанные, вдруг да останутся дома, пойдут наши села благоустраивать, иаш комбайновый парк преображать! Ведь может же хозяйство купить себе на валюту из экспортных фондов что пожелает?

— Может,— кивал Климов.— Хоть лес, хоть кровлю. Что пожелает.

Я прибег к воздействию поэзии и обчитывал Олега Александровича строками волошинской «Усобицы», недавно официально напечатанной «Новым миром». Не хочет же он, чтобы жуткая фантазия оказалась реальностью?

А вслед героям и вождям
Крадется хищник стаей жадной,
Чтоб мощь России неоглядной
Размыкать и отдать врагам:

Сгноить ее пшеницы груды,
Ее бесчестить небеса,
Пожрать богатства, сжечь леса
И высосать моря и руды.

— Мы опубликовали объявление,— защищался Климов,— что Всесоюзное объединение «Экспортхлеб» осуществляет закупки...

— Этого мало. Народ боится. Нужно уговаривать, подключать рекламу...

— Пятьдесят рублей. За тонну. Инвалютных!..

— Что я, лапти продаю, что ли? — процитировал Собакевича я.

— Ну, чтоб не торговаться,— по сто долларов за тонну сильной пшеницы.

— Что ж, тысяч пятьдесят мы вам живо найдем. Для первой партии хватит? — Я уже знал, что торговые партнеры часто блефуют, пыжатся.

— Да, с этим я уже мог бы идти в правительство. И ячмень...

— Кормовой?

— ...восемьдесят «баков».

— Да вы ж на фрахте сколько экономите! Не скупитесь, давайте цену.

— Пивоваренный — сто десять. Дурум... дурум тоже сто десять долларов за метрическую тонну, о'кей?

Климов называл уровень цен нашего с ним 1963-го: он был начинающим внешторговцем, я робким автором «Русской пшеницы», цены еще низки, наш импорт — всего три миллиона... Теперь хлеб дорог, на внешний рынок с сотней и не суйся.

— Идет! По рукам! Я могу формировать партии?

— Стойте, дайте записать, что я вам тут наобещал...

Придумано тут только одно: будто разговор уложился в один присест. Нет, поторговались вдосталь.

Ранним утром я звонил в Ставрополь Постникову: не продаст ли эшелон-другой пшенички по сотне долларов за тонну? Виктор Иванович никак не мог понять: в Штаты, что ли? А почему ж тогда за доллары? Так ведь валютой нам покрывают только тридцать процентов цены! Как, все сто? Давай координаты внешторговца... Нет, на Кубань я звонить не буду, там фузариоз, не годится. Надо ж марку держать, а позвоню я вот куда... Мне уже давали Омск, Белгород, Одессу.

Не знаю, что выйдет из контракта. Верю только, что до второго юбилея подлый импорт не доживет, а я доживу до поры, когда из южных родимых портов суда под нашенским флагом снова повезут, повезут, повезут...

Сентябрь 1988 г.

Рой Медведев

О СТАЛИНЕ И СТАЛИНИЗМЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ

Очерки, которые я представляю вниманию читателей,— главное дело моей жизни. Около двадцати лет я готовился в той или иной форме к этой работе, а затем более двадцати пяти лет занимался ею непосредственно, собирая по крупицам, а иногда и горстями факты и свидетельства, размышляя над минувшим, обсуждая его с друзьями и единомышленниками и полемизируя с оппонентами. Я встречался и беседовал с прошедшими сталинские тюрьмы и лагеря старыми большевиками, включая и немногих оставшихся в живых приверженцев разного рода оппозиций, а также с некоторыми чудом выжившими бывшими эсерами, меньшевиками и анархистами, с беспартийными техническими специалистами, с бывшими военными и священниками, с партийными деятелями и рядовыми рабочими, с бывшими «кулаками» и теми, кто их раскулачивал, с бывшими чекистами, с вернувшимися в СССР эмигрантами и с теми, кто стремился отправиться в эмиграцию.

Начал я писать книгу в 1962 году. Реальная угроза реабилитации Сталина, возникшая в 1969 году, привела меня к решению выпустить свою работу о нем («К суду истории») за границей. Первое издание вышло в 1971—1972 годах в США, Англии и большинстве стран Европы, а также в Японии, второе — на русском языке в 1974 году в США и в 1981 году на китайском языке в Пекине. Я продолжал собирать материалы. В 70-е годы представилась возможность ознакомиться почти со всеми книгами о Сталине и сталинизме, изданными в разных странах, накапливать факты и свидетельства. Так постепенно была подготовлена новая, более обширная — около 80 печатных листов — книга. Ее издает в США Колумбийский университет. Откровенно говоря, я предполагал на этом закончить работу над темой «Сталин и сталинизм». Однако с конца 1986 года в нашей стране началась новая полоса разоблачений и критики сталинизма, преступления Сталина были осуждены на пленумах ЦК и на XIX Всесоюзной конференции КПСС. Я не мог оставаться в стороне от этой важной очистительной работы — восстановления исторической правды, тем более что появилась возможность публиковать свои статьи и книги в советской печати. Пришлось браться за перо.

В моих очерках читатель найдет ряд фактов и материалов, уже известных ему по другим публикациям последних трех лет. Я не мог, однако, полностью исключить эти материалы, чтобы не нарушить логику повествования. Очерки эти — журнальный вариант книги, основанной как на прежних, так и на новых материалах о Сталине и сталинизме. Отдельно выйдет работа о соучастниках преступлений Сталина. В особую книгу я решил выделить и анализ событий Отечественной войны и послевоенного времени.

Пользуюсь случаем высказать благодарность всем тем, кто помогал мне в работе.

Эти очерки, как, впрочем, и другие мои книги,— частное исследование, я ни с кем не согласовывал ни сроков их завершения, ни выводов, ни положений. Я не использовал никаких архивов, никаких «спецхранов», никаких секретных материалов и не знаком с ними. Я не прибегал к конспирации, так как это исключало бы возможность обсуждения рукописи с друзьями. Я не просил и не получал от официальных учреждений никакой помощи, но и не встречал в своей работе серьезных препятствий.

Часть первая

Становление сталинизма

СТАЛИН ВО ГЛАВЕ ВКП(б)

1

Сталин родился 9(21) декабря 1879 года в маленьком грузинском городе Гори в семье бедного сапожника Виссариона Ивановича Джугашвили, человека необразованного и грубого. Вскоре после рождения Сосо (так называли Сталина в детстве) он покинул семью и переехал в Тифлис (Тбилиси), где некоторое время работал на обувной фабрике, бедствовал, болел и умер, когда Сталин был еще подростком.

Мать Сталина Екатерина Георгиевна, урожденная Геладзе, так же, как ее муж, происходила из крестьянской семьи. Она зарабатывала на жизнь шитьем и стиркой белья. У нее не было времени для воспитания сына, и Сосо большую часть дня проводил на улице. В детстве он перенес оспу, оставившую следы на его лице. Среди различных кличек, под которыми Сталин позднее фигурировал в документах полиции, была и кличка «Рябой». В случайном дорожном происшествии двенадцатилетний Сталин повредил левую руку, и со временем она стала короче и слабее правой. Сталин тщательно скрывал свою частичную сухорукость, старался не раздеваться при людях и редко показывался даже врачам. Он не любил купаться и не научился плавать. Во время отдыха у Черного моря обычно гулял вдоль берега, не снимая одежды.

С детства Сталин выделялся упрямством и стремлением к превосходству над сверстниками, много читал. Низкорослый и физически слабый, он не мог рассчитывать на успех в мальчишеских потасовках и боялся быть избитым. Он с малолетства стал скрытным и мстительным и всю жизнь недолюбливал высоких и физически крепких людей. Стремление к славе рано овладело умом и чувствами Сталина. Но он был беден, был «инородцем» и понимал, что бедный грузинский юноша из маленького провинциального города немногого может добиться в царской России. Большое впечатление на молодого Сталина произвели книги грузинского писателя А. Казбеги, особенно роман «Отцеубийца» — о борьбе крестьян-горцев за свою независимость и свободу. Один из героев романа — неустрашимый Коба — стал и героем для молодого Сталина, он даже начал называть себя Кобой. Это имя было его первой партийной кличкой; старые большевики и в 30-е годы (а Молотов и Микоян даже позднее), обращаясь к Сталину, нередко называли его Кобой. Партийных кличек у Сталина было немало — «Иванович», «Василий», «Васильев». Но остались имя Коба и фамилия-псевдоним Сталин.

Когда мальчику исполнилось восемь лет, мать определила его в Горийское духовное училище. Четырехлетний курс училища Сталин прошел за шесть лет. Ему было трудно, так как обучение велось преимущественно на русском языке. Сталин хорошо писал по-русски, однако свободно говорить так и не научился: говорил по-русски медленно, тихо и с сильным грузинским акцентом. В 1894 году Сталин поступил в Тифлисскую духовную семинарию. В духовном училище и особенно в семинарии царила обстановка обскурантизма, лицемерия, повседневного мелочного контроля и взаимных доносов. Здесь были строгий порядок и почти военная дисциплина. Неудивительно, что семинарии в России воспитывали не только верных слуг режима и церкви, но и революционеров.

Семинария, несомненно, повлияла на Сталина и в другом отношении,— она развила и ранее свойственные ему изворотливость, хитрость и грубость. Догматизм и нетерпимость, а также присущий его статьям и выступлениям стиль катехизиса также сложились, бесспорно, не без влияния церковного образования.

С ранней молодости Сталин был начисто лишен чувства юмора. «Это странный грузин,— говорили позднее его друзья по семинарии.— Он совершенно не умеет шутить. Он не понимает шуток и отвечает руганью и угрозами на наиболее невинные».

Будучи семинаристом, Сталин вступил в связь не только с первыми кружками марксистов, но и с первыми рабочими группами, образовавшимися на предприятиях Тифлиса, стал членом «Месаме-даси» — первой грузинской социал-демократической организации. Он прочел немало книг из русской художественной классики, а также пристрастился к чтению подпольной литературы. В это время он познакомился с работами К. Маркса и Ф. Энгельса. По официальной версии, именно за чтение запрещенной литературы и создание социал-демократического кружка Сталина в мае 1899 года исключили из семинарии. Он поступил на работу в Тифлисскую геофизическую обсерваторию.

В 1900 году Сталин познакомился с 32-летним профессиональным революционером Виктором Курнатовским, приехавшим в Тифлис и позднее здесь арестованным. Незадолго до появления в Грузии ссыльный Курнатовский встречался в Минусинске с Лениным. Знакомство с Курнатовским, чтение работ В. И. Ленина, а затем и газеты «Искра», которая появилась в Закавказье в 1901 году, сделали молодого Сталина сторонником Ленина. После раскола российской социал-демократии на большевиков и меньшевиков Сталин решительно становится на сторону большевиков. Надо отметить, однако, что именно в Грузии влияние фракции меньшевиков было преобладающим.

Еще весной 1901 года Сталин перешел на нелегальное положение. Он принимает участие в организации забастовок и демонстраций, в том числе известной Батумской демонстрации в марте 1902 года. Здесь, в Батуми, Сталин был арестован и его сослали в Восточную Сибирь, где он провел около двух лет. Уже тогда Сталин был не только практиком революции, он претендовал и на роль теоретика, во всяком случае в масштабах Закавказья. В 1900—1910 годах Сталин написал немало статей и брошюр, почти все на грузинском языке, и опубликовал их в грузинской социал-демократической печати. Работы этого периода составляют два первых тома в собрании сочинений Сталина, и большая часть из них переведена с грузинского языка лишь в 1945—1946 годах. Конечно, публикации Сталина начала века ни по количеству, ни по качеству нельзя поставить в один ряд с творчеством многих других руководителей российской социал-демократии. Но неправильно говорить и о творческом бесплодии молодого Сталина.

Революция 1905—1907 годов позволила Сталину раскрыть и некоторые другие свои способности. Именно ему было поручено провести несколько крупных террористических актов или, как их называли тогда, «эксов», то есть экспроприаций. В основном это были вооруженные ограбления банков, почтовых карет, пароходов, которые допускали тогда большевики как средство для пополнения партийной кассы и закупки оружия, а также для воздействия на царскую администрацию. Особенно большую известность получило вооруженное ограбление Тифлисского казначейства, которое дало в кассу большевиков более 300 тысяч рублей. Этот «экс» провела группа боевиков, в том числе Камо (С. А. Тер-Петросян), однако в его организации и планировании приняли участие Сталин и Л. Б. Красин, руководитель «боевой технической группы при ЦК».

В 1907 году Сталин переходит на работу в Бакинскую организацию РСДРП. Участие в «эксах» делает его пребывание в Тифлисе небезопасным. К тому же в Грузии в социал-демократическом движении возобладали меньшевики, которые были решительными противниками террора. Сталин принимал участие в организации крупнейших по тем временам выступлений рабочего класса Баку, обративших на себя внимание В. И. Ленина. Несколько раз Сталина арестовывали и ссылали, но каждый раз ему удавалось бежать и возобновлять нелегальную работу на Кавказе.

Из личной жизни Сталина в этот период нужно отметить смерть его первой жены Екатерины Сванидзе после нескольких лет брака. Сталин был очень привязан к молодой жене, и ее смерть не способствовала смягчению его характера.

Сын Сталина Яков остался на попечении родственников, отец мало заботился и мало думал о нем.

В 1911—1912 годах Сталин большей частью живет в Петербурге и Москве. Его статьи часто появляются в петербургской газете «Звезда», позднее в газетах «Правда» и «Социал-демократ». На VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП, состоявшейся в январе 1912 года, Сталин был заочно кооптирован в состав ЦК партии, а также включен в состав Русского бюро ЦК.

О немалой самоуверенности и вместе с тем о самостоятельности Сталина говорит и тот факт, что он далеко не во всем соглашался с Лениным, хотя и входил во фракцию большевиков.

В 1910—1912 годах Сталин не был склонен, подобно Ленину, заострять и углублять борьбу между большевиками и меньшевиками. Перед Пражской конференцией в письме к М. Цхакая он отозвался о борьбе Ленина за возрождение партийной организации как о «буре в стакане воды». После Пражской конференции требовал, в отличие от Ленина, уступчивости по отношению к так называемым «ликвидаторам». В первой же статье Сталина для «Правды» говорилось о единстве социал-демократов «во что бы то ни стало», «без различия фракций».

Впервые Сталин встретился с Лениным на Таммерфорской конференции большевиков в 1905 году, а затем встречался с ним на IV и V съездах РСДРП. Эти встречи оставили большой след в его памяти. Более близкое личное знакомство состоялось лишь в конце 1912 года, когда Коба, активно участвовавший в организации и редактировании первой легальной большевистской газеты «Правда», выезжал в Краков к Ленину на совещания ЦК с партийными работниками. Здесь, в Польше, Сталин написал свою работу «Марксизм и национальный вопрос», которая была положительно отмечена Лениным. Сталин произвел тогда на Ленина самое хорошее впечатление. В одном из писем к Горькому Ленин писал: «У нас один чудесный грузин засел и пишет для «Просвещения» большую статью, собрав **все** австрийские и пр. материалы» [1].

В связи с работой редакции «Правды» Ленин несколько раз писал тогда и самому Сталину. Однако эти связи были еще настолько непрочны, что Ленин скоро забыл фамилию Сталина. «Не помните ли фамилии **Кобы?**» — спрашивал Ленин в июле 1915 года Г. Зиновьева [2]. Зиновьев не помнил, и в ноябре 1915 года Ленин писал В. А. Карпинскому: «Большая просьба: узнайте (от Степко или Михи и т. п.) фамилию «**Кобы**» (Иосиф Дж....?? мы забыли). Очень важно!!» [3]. Дело в том, что Ленин получил письмо от Сталина из Туруханской ссылки, но не мог на него ответить, не помня фамилии.

В далеком Туруханском крае Сталин пробыл четыре года. В небольшой колонии ссыльных он вел себя далеко не лучшим образом. Так, например, жена большевика Филиппа Захарова Р. Г. Захарова приводит в своих воспоминаниях о муже его рассказ о приезде Сталина в ссылку в 1913 году.

«Рассказывал мне Филипп и о встрече со Сталиным там, в Туруханске... По неписаному закону принято было, что каждый вновь прибывший в ссылку товарищ делал сообщение о положении в России. От кого же было ждать более интересного, глубокого освещения всего происходящего, как не от члена большевистского ЦК? Группа ссыльных, в которой были Я. М. Свердлов и Филипп, работала в это время в селе Монастырском... Туда как раз и должен был прибыть Сталин. Дубровинского уже не было в живых. Филипп, не склонный по натуре создавать себе кумиров, да к тому же слышавший от Дубровинского беспристрастную оценку всех видных тогдашних деятелей революции, без особого восторга ждал приезда Сталина, в противоположность Свердлову, который старался сделать все возможное в тех условиях, чтобы поторжественней встретить Сталина. Приготовили для него отдельную комнату, из весьма скудных средств припасли кое-какую снедь. Прибыл!! Прошел в приготовленную для него комнату и... больше из нее не показывался! Доклада о положении в России он так и не сде-

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 48, стр. 162.
[2] Там же, том 49, стр. 101.
[3] Там же, стр. 161.

лал. Свердлов был очень смущен... Сталина отправили в назначенную ему деревню, а вскоре стало известно, что он захватил и перевез в полное свое владение все книги Дубровинского. А между тем ссыльные еще до его приезда решили по общей договоренности, что библиотека Дубровинского, в память о нем, будет считаться общей, как передвижка. По какому же праву завладел ею один человек? Горячий Филипп поехал объясняться. Сталин «принял» его так, как царский генерал мог бы принять рядового солдата, осмелившегося предстать перед ним с каким-то требованием. Возмущенный Филипп (возмущались все!) на всю жизнь сохранил осадок от этого разговора и никогда не менял создавшегося у него нелестного мнения о Сталине...»

Не лучше вел себя Сталин и в поселке Курейка, назначенном ему для отбывания ссылки. Он рассорился почти со всеми ссыльными большевиками, в том числе и с Я. М. Свердловым. «Нас двое, — писал в 1913 году жене Свердлов. — Со мной грузин Джугашвили, старый знакомый. Парень хороший, но слишком большой индивидуалист в обыденной жизни». Пожив еще некоторое время рядом со Сталиным, Свердлов отзывается о нем в более критических выражениях. Он пишет в мае 1914 года: «Со мной (в Курейке) товарищ. Но мы слишком хорошо знаем друг друга. При том же, что печальнее всего, в условиях ссылки, тюрьмы, человек перед вами обнажается, проявляется во всех своих мелочах... С товарищем теперь на разных квартирах, редко видимся».

Ссылка, и особенно ссылка в Туруханский край, была тяжелым наказанием. Но это все же была не каторга, и многие из «политических» использовали вынужденное безделье для пополнения своих знаний, для творческой работы, для обмена мнениями. Но Сталин не умел работать в неволе. Последняя его работа, помещенная во втором томе Сочинений, датирована январем—февралем 1913 года, а первая работа в третьем томе — мартом 1917 года. Нельзя сказать, что Сталин совсем не участвовал в жизни партии. Летом 1915 года он присутствовал на совещании членов Русского бюро ЦК и большевистской фракции Государственной думы, которая была лишена своих полномочий и сослана в Сибирь. В 1916 году вместе с группой большевиков подписал письмо-пожелание журналу «Вопросы страхования». Однако большую часть времени Сталин прозябал в бездействии.

2

Начало 1917 года застало Сталина в Красноярске. Призванный вместе с группой ссыльных в армию, он не прошел медицинской комиссии; его признали негодным к службе из-за слабости левой руки. Ссылка подходила к концу, и Сталину было разрешено остаток ее провести в Красноярске. Он вступил в связь с некоторыми из красноярских большевиков, но большую часть вечеров проводил у Л. Б. Каменева, также сосланного в Сибирь.

Революция была для большинства населения и для политиков неожиданностью, хотя ее и ждали многие. Одним из первых результатов Февральской революции был полный и быстрый крах всей репрессивной системы царизма. Жандармы снимали свою форму и прятались. Открывались ворота тюрем, перестала функционировать царская каторга и ссылка. Не только политические заключенные, но и подавляющее большинство уголовников получили свободу.

3 марта 1917 года был создан Совет и в Красноярске. Он немедленно взял власть в свои руки и постановил арестовать представителей царской власти. Выделили специальный поезд для отправки ссыльных в Москву и Петроград. Сталин вместе с Каменевым и М. К. Мурановым немедленно выехали в столицу.

В первые же дни марта 1917 года в Петрограде большевики вышли из подполья и приняли меры к изданию «Правды» и к формированию партийного руководства. Все члены созданного на Пражской конференции Русского бюро ЦК находились в эти дни или в ссылке, или в эмиграции. В годы войны было образовано поэтому новое бюро, из состава которого в Петрограде находились А. Г. Шляпников, П. А. Залуцкий и В. М. Молотов. 7—8 марта Русское бюро коопти-

ровало в свой состав несколько человек, в том числе М. И. Калинина, В. Н. Залежского, М. И. Ульянову, М. С. Ольминского. 5 марта вышел первый номер «Правды», редакцию которой составили К. С. Еремеев, М. И. Калинин и В. М. Молотов.

Естественно, что с прибытием из Сибири ссыльных большевиков возник вопрос об их включении в состав новых партийных центров. Не обошлось без трудностей и трений. Так, например, 12 марта 1917 года, в день прибытия в Петроград Сталина, Каменева и Муранова, состоялось заседание Бюро ЦК. В протоколе этого заседания сохранилась запись:

«Дальше решался вопрос о тов. Муранове, Сталине и Каменеве. Первый приглашен единогласно. Относительно Сталина было доложено, что он состоял агентом ЦК в 1912 году и поэтому являлся бы желательным в состав БЦК, но ввиду некоторых личных черт, присущих ему, БЦК высказалось в том смысле, чтобы пригласить его с совещательным голосом».

Мы не знаем подробностей столкновения между Сталиным и новыми членами Бюро ЦК. Большевики, вернувшиеся из ссылки, были опытнее и старше по возрасту. Сталин был к тому же не просто «агентом ЦК», но единственным из находившихся в Петрограде членов ЦК, избранных на Пражской конференции РСДРП. Естественно, что уже на следующий день он был введен в состав Бюро ЦК. В этот же день была утверждена и новая редакция «Правды» в составе М. С. Ольминского, И. Сталина, К. С. Еремеева, М. И. Калинина и М. И. Ульяновой. Но Сталин фактически взял руководство газетой в свои руки. Уже 15 марта в № 9 «Правды» было объявлено, что в состав редакции входят Сталин, Каменев и Муранов. Об остальных членах редакции, утвержденных Бюро ЦК, даже не упоминалось. Поведение Сталина вызвало протест петроградских большевиков.

Дело было при этом в изменении не только персонального состава редакции «Правды», но и ее политических и тактических установок. В своих первых номерах «Правда» призывала к борьбе против Временного правительства и против политики партий меньшевиков и эсеров, стремившихся к соглашению с буржуазными партиями и Временным правительством. Это соответствовало и тем первым рекомендациям, которые приходили в Россию от Ленина. Однако с № 9 газеты и тон, и содержание основных статей изменились. «Правда» выступила за поддержку Временного правительства «в той мере, в какой действия этого правительства содействуют развитию революции». «Правда» вполне определенно высказалась за объединение с меньшевиками в одну партию, в рамках которой обе фракции могли бы преодолевать свои разногласия. Выступая за мир, «Правда» призывала русских солдат твердо держать фронт до тех пор, пока мир не будет заключен.

Петроградская организация большевиков могла негодовать, однако статьи в «Правде» были руководством для всех партийных организаций в стране. До появления Ленина в Петрограде Сталин возглавил фактически не только редакцию «Правды», но на короткое время и всю партию.

Руководящую роль в формировании новой линии «Правды» играл, безусловно, Каменев. Но Сталин полностью поддерживал его и как фактический редактор газеты, и как автор ряда статей. Их линия вытекала из лозунгов партии времен революции 1905—1907 годов, когда вопрос об этапах революции не был связан с вопросом о войне и о фактическом двоевластии, которое сложилось в России весной 1917 года. Каменев и Сталин не поняли тех новых возможностей, которые открывались теперь перед рабочим классом и большевиками. Их понял вначале только Ленин, но и ему с трудом удалось убедить партию. Нельзя не отметить, что первое из серии установочных писем Ленина «Правда» напечатала в сокращенном виде, а три следующих письма не опубликовала вообще. Сталин и Каменев защищали свою позицию и на Всероссийском совещании партийных работников, состоявшемся в Петрограде 27 марта — 2 апреля 1917 года. Даже после приезда Ленина, когда в «Правде» были опубликованы его знаменитые «Апрельские тезисы», Каменев при поддержке Сталина напечатал на следующий день статью с резкой критикой этих тезисов. Лишь к концу апреля после горячей

полемики Ленину удалось повернуть как линию ЦК, так и линию «Правды», убедив большинство ЦК в своей правоте. Сталин присоединился к Ленину, тогда как Каменев по многим вопросам развития революции не был согласен с ним.

Позднее Сталин не раз был вынужден признать ошибочность занимаемой им в марте 1917 года позиции. «...Это была глубоко ошибочная позиция,— говорил он в одной из речей,— ибо она плодила пацифистские иллюзии, лила воду на мельницу оборончества и затрудняла революционное воспитание масс. Эту ошибочную позицию я разделял тогда с другими товарищами по партии...».

На Седьмой (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (большевиков) был избран ЦК партии в составе всего двенадцати членов и кандидатов. В этот ЦК вошли как Сталин, так и Каменев.

Весна и лето 1917 года прошли в бесконечных митингах по всей России. Все партии, и партия большевиков в особенности, боролись за влияние на народные массы. Для большевиков было важно не только разработать близкие настроениям масс политические лозунги, но также направить на предприятия и в воинские части умелых агитаторов, ораторов, пропагандистов. Сталин плохо подходил для этого. С марта до октября 1917 года он брал слово на публичных митингах только три раза. У него не было никаких данных для того, чтобы стать трибуном революции, и даже его апологеты более позднего времени признают это. Не имея ораторских данных, Сталин, несомненно, обладал незаурядным организаторским талантом. Численность большевистской партии возрастала из месяца в месяц с необычайной быстротой, и Сталин вместе с Я. М. Свердловым приводили партийные ряды в боевой порядок. Именно Сталин и Свердлов выполнили главную часть работы, связанной с подготовкой и проведением VI съезда партии большевиков. Именно Сталин сделал на этом съезде политический отчет от имени ЦК. Следует отметить недостаточную четкость позиции Сталина по вопросу о явке В. И. Ленина на суд Временного правительства. Сталин допускал возможность явки Ленина к властям при известных гарантиях.

На VI съезде партии был избран более многочисленный и представительный состав ЦК. Впервые в состав большевистского ЦК был избран Л. Д. Троцкий. В отсутствии Ленина и Зиновьева роль Сталина в руководстве партийными организациями возросла. В эти месяцы он был фактическим руководителем центральной газеты партии, которая выходила под разными названиями. Далеко не всегда мнения Ленина, руководившего партией из подполья, и Сталина, находившегося на легальном положении, совпадали. В этом случае Сталин подвергал произвольному редактированию статьи Ленина, и это вызывало негодование Владимира Ильича. Он торопил свержение Временного правительства и был крайне недоволен медлительностью ЦК: «Медлить — преступление. Ждать съезда Советов — ребячья игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции». «Середины нет. Ждать нельзя. Революция гибнет». «У большевиков получилось неправильное отношение к парламентаризму в моменты революционных кризисов». «Невозможны никакие сомнения насчет того, что в «верхах» партии заметны колебания, которые могут стать гибельными». «У нас не все ладно в «парламентских» верхах партии». «Видя, что ЦК оставил **даже без ответа** мои настояния.., что Центральный Орган **вычеркивает** из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте..., видя это, я должен усмотреть тут «тонкий» намек... на зажимание рта, и на предложение мне удалиться.

Мне приходится **подать прошение о выходе из ЦК**, что я и делаю, и оставить за собой свободу агитации **в низах** партии и на съезде партии»[1].

Размолвки с ЦК и привели Ленина к решению вернуться в Петроград, чтобы возглавить подготовку вооруженного восстания.

Сталин участвовал в решающих заседаниях ЦК РСДРП(б) 10(23) и 16(29) октября, на которых по докладам Ленина было принято решение о вооруженном восстании. Против этого решения голосовали только Л. Каменев и Г. Зиновьев, которые в нарушение всех норм конспирации опубликовали свои возражения в

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 34, стр. 280—282.

небольшевистской газете «Новая жизнь». Как известно, Ленин потребовал исключения Зиновьева и Каменева из партии. Единственным из членов ЦК, кто возражал Ленину по этому поводу, был Сталин.

Что делал Сталин 24—26 октября 1917 года, то есть в решающие дни и часы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде?

Хорошо известна роль в организации и подготовке этого восстания Петроградского Совета, во главе которого в эти дни стоял Л. Троцкий. По предложению Ленина при Исполкоме Петроградского Совета был создан в середине октября Военно-революционный комитет (ВРК), который взял на себя разработку всех деталей восстания. Особенно большую работу в руководящем бюро ВРК проводили В. Антонов-Овсеенко и Н. Подвойский. Весьма значительной была в эти дни роль таких деятелей большевистской партии, как Я. Свердлов, П. Дыбенко, В. Володарский, Н. Крыленко, Ф. Раскольников, А. Бубнов, Ф. Дзержинский, Г. Бокий, В. Аванесов, К. Еремеев, и других. Что касается Сталина, то он был занят в это время главным образом изданием газеты «Рабочий путь». Он не руководил непосредственно действиями красногвардейцев, матросов и солдат на улицах Петрограда.

По существу, вся версия о какой-то особой роли Сталина в организации Октябрьского вооруженного восстания держится на тоненькой ниточке — на решении ЦК партии большевиков от 16 октября о создании «Партийного центра», или «Военно-революционного центра» по руководству восстанием в составе Свердлова, Сталина, Дзержинского, Бубнова и Урицкого. Предполагалось, что этот центр будет существовать при Военно-революционном комитете и направлять его работу. Однако события в Петрограде развивались столь стремительно, что созданный формально «Партийный центр» фактически не собирался и не функционировал как какой-то особый орган по руководству восстанием. Осталось на бумаге и решение ЦК партии о создании некоего «Политического бюро» из семи человек, принятое еще на заседании 10 октября 1917 года. Неудивительно, что в своей книге об Октябрьской революции американский коммунист Джон Рид, очевидец описываемых им событий, почти не уделил внимания Сталину[1]. Во всех статьях, брошюрах и письмах В. И. Ленина, опубликованных в 34-м томе Полного собрания сочинений (июль — октябрь 1917 года), имя Сталина упоминается единственный раз, и то в связи с одной из ошибок Сталина, Сокольникова и Дзержинского. Из протоколов ЦК РСДРП(б) мы можем узнать, что утром 24 октября в Смольном собирается новое заседание ЦК, на котором были распределены обязанности между членами ЦК по руководству восстанием. Сталин на этом заседании не присутствовал, и ему не было записано никакого поручения. Как можно судить по другим документам, Сталин провел 24 и 25 октября в редакции газеты «Рабочий путь» и среди делегатов большевистской фракции Второго съезда Советов.

Результатом победоносного вооруженного восстания в Петрограде был переход власти в руки Советов. Временное правительство было низложено. Ему на смену пришло избранное Вторым Всероссийским съездом Советов рабоче-крестьянское правительство — Совет Народных Комиссаров Российской Республики. Председателем Советского правительства стал В. И. Ленин, его членами или Народными Комиссарами — четырнадцать большевиков. Среди них и И. Сталин, которому было поручено возглавить образованный впервые Народный комиссариат по делам национальностей.

Одним из важнейших лозунгов Октябрьской революции был лозунг освобождения и уравнения в правах всех наций и народностей бывшей царской России. Это определяло значение нового комиссариата по делам национальностей. Сталин не случайно стал его первым руководителем. Он был не только одним из ведущих деятелей партии большевиков, он был также грузином, то есть «инородцем». Назначение должно было поэтому увеличить доверие к Совету Народных Комиссаров в национальных областях и районах России.

[1] Ленин написал предисловие к книге Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Он высоко оценивал эту книгу и рекомендовал издать ее в миллионах экземпляров на всех языках земли. Сталин же фактически запретил ее. В 30-е годы она была изъята из библиотек. Известно немало случаев, когда членов партии приговаривали к длительным срокам заключения «за хранение и распространение книги Джона Рида».

К тому же после серии статей по национальному вопросу, опубликованных в 1913 году, Сталин стал считаться в партии знатоком национальных проблем.

2 ноября 1917 года Сталин подписал вместе с Лениным «Декларацию прав народов России». В этой декларации, проект которой был написан Лениным, провозглашались основные принципы советской национальной политики: отмена всех национальных и религиозных ограничений или привилегий, равенство всех народов, свободное развитие всех национальных и этнических групп, право на самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств.

3

Для большинства народных комиссаров, вошедших в первое Советское правительство, главной трудностью было сломить саботаж чиновников всех почти учреждений, оставшихся в наследство от Временного и царского правительств. У Сталина таких трудностей не возникало, так как в царской России не было учреждения, аналогичного Народному комиссариату по делам национальностей.

Нужно было поэтому создать какой-то минимальный аппарат. Одним из первых деятелей Наркомнаца и организатором его крошечного аппарата стал польский революционер С. Пестковский. Весь сталинский комиссариат размещался в одной из комнат Смольного, недалеко от кабинета В. И. Ленина. Никакого продуманного плана работы на длительный период у Наркомнаца, разумеется, еще не было. Дела, и часто самые неожиданные и трудные, возникали сами собой. Так, например, с ноября 1917 года и до января 1918 Сталин участвовал в переговорах с Центральной Радой — объединением созданных на Украине нескольких националистических мелкобуржуазных партий. Во главе Центральной Рады стоял тогда С. В. Петлюра. Вначале Украинская народная республика объявила себя федеративной частью России, но в конце января 1918 года провозгласила полную самостоятельность Украины. Переговоры с Радой были прерваны. В противовес Центральной Раде большевики и левые эсеры созвали в Харькове Первый Всеукраинский съезд Советов и провозгласили создание Украинской Советской Республики. После Второго Всеукраинского съезда Советов в Екатеринославе в марте 1918 года во главе Народного секретариата Украины стал большевик Н. А. Скрыпник. Почти вся Украина была в это время оккупирована немецкими войсками, которые создали в Киеве промонархическое правительство гетмана Скоропадского. Тем не менее Ленин, узнав о решениях Второго Всеукраинского съезда Советов, составил приветственное письмо Совнаркома РСФСР Советской Украине. В нем выражалось «восторженное сочувствие геройской борьбе трудящихся и эксплуатируемых масс Украины, являющихся в настоящее время одним из передовых отрядов всемирной социальной революции». Между тем Сталин 4 апреля телеграфировал Советскому правительству Украины: «Достаточно играть в правительство и республику, кажется, хватит, пора бросать игру». В ответ на это недопустимое по тону и содержанию послание Н. А. Скрыпник направил 6 апреля в Москву телеграмму:

«Мы должны заявить самый решительный протест против выступления наркома Сталина. Мы должны заявить, что ЦИК Советов Украины и Народный секретариат имеет источником своих действий не то или иное отношение того или иного наркома Российской Федерации, а волю трудящихся масс Украины... Заявления, подобные сделанному наркомом Сталиным, направлены к взрыву Советской власти на Украине..., прямо способствующих врагам трудящихся масс».

Большевики выступали за самоопределение наций вплоть до их полного государственного отделения от России. Это вовсе не означало, однако, что сами большевики были готовы приветствовать отделение от России ее национальных районов и помогать ему. Они стремились к победе социалистической революции на всей территории России и образованию здесь союза свободных народов и наций. Это было бы, по их мнению, первым шагом в развитии мировой про-

летарской революции. Нельзя забывать также, что РКП(б) была не русской, а общероссийской партией. Исключение составляли лишь Польша и Финляндия, где были самостоятельные социал-демократические партии, возникшие на несколько лет раньше РСДРП. К тому же движение за независимость от России приобрело в Финляндии и Польше большой размах и поддержку еще задолго до 1917 года.

Проведенные в октябре 1917 года выборы в парламент Финляндии дали большинство буржуазным партиям, и 6 декабря парламент провозгласил Финляндию независимым государством. 31 декабря 1917 года СНК РСФСР признал независимость Финляндии. Под декретом СНК стояли подписи В. И. Ленина и И. Сталина. Через несколько дней по докладу Сталина этот декрет был утвержден также ВЦИК РСФСР.

Как нарком по делам национальностей Сталин сделал ряд сообщений и докладов на заседаниях Совнаркома и ВЦИК о положении в Туркестане, на Кавказе, в Уральской области, на Дону, в турецкой Армении, об автономии татар, о федеральных учреждениях РСФСР.

Как член ЦК Сталин участвовал во всех его заседаниях, на которых обсуждался вопрос о заключении Брестского мира и выходе России из империалистической войны. Протоколы ЦК РСДРП(б) ясно показывают, что Сталин неизменно поддерживал точку зрения В. И. Ленина, хотя на ранних этапах обсуждения Ленин вел за собой меньшинство ЦК. Лишь на заседании 1 февраля, призывая покончить с разногласиями, Сталин сказал: «Надо этому положить конец... Выход из тяжелого положения дала нам средняя точка — позиция Троцкого». Однако в ЦК Сталин всегда голосовал за предложения Ленина. Об остроте борьбы свидетельствует тот факт, что предложение о немедленном заключении мира с Германией было принято ЦК лишь 18 февраля 1918 года большинством в один голос (голосовали «за»: Ленин, Смилга, Сталин, Свердлов, Сокольников, Троцкий, Зиновьев; «против»: Урицкий, Иоффе, Ломов, Бухарин, Крестинский, Дзержинский).

4

Уже в конце 20-х годов Сталина нередко называли «полководцем революции». Позднее, когда большая часть командиров и комиссаров гражданской войны была уничтожена, о Сталине стали писать как о «непосредственном вдохновителе и организаторе важнейших побед Красной Армии», которого партия посылала «всюду, где на фронтах решались судьбы революции».

Этот миф был разрушен советской исторической наукой еще в начале 60-х годов. Остановимся поэтому лишь на некоторых эпизодах военной деятельности Сталина.

Еще 29 мая 1918 года в связи с обострением продовольственного положения в Москве и в центральных губерниях России Совнарком РСФСР назначает Сталина общим руководителем продовольственного дела на юге России, наделив его чрезвычайными правами. В этой связи Сталин 4 июня выезжает в Царицын. Он застает здесь неразбериху и хаос как в продовольственных, так и в военных делах, в области транспорта, финансов и т. п. Используя свои полномочия, Сталин взял на себя всю власть в районе Царицына. Нет сомнения в том, что он проделал в Царицыне большую работу для наведения порядка в тылу и на фронте и снабжения продовольствием промышленных центров России. Однако основным средством для наведения этого порядка Сталин уже тогда избрал массовый террор. Он писал Ленину: «Гоню и ругаю всех, кого нужно, надеюсь, скоро восстановим [положение]. Можете быть уверены, что не пощадим никого, ни себя, ни других, а хлеб все же дадим».

И Сталин действительно не щадил никого. Он не останавливался не только перед расстрелом десятков действительных врагов Советской власти, но и перед уничтожением всех тех, кто лишь подозревался в связях с контрреволюцией. В свое время об этом без всякого осуждения писал К. Е. Ворошилов.

Постепенно Сталин присвоил себе и все главные военные функции на Северном Кавказе.

Одной из первых его жертв стали военные специалисты, которых он не только отстранял от работы, но и расстреливал. С крайней враждебностью и недоверием отнесся Сталин к военному руководителю Северо-Кавказского военного округа А. Е. Снесареву.

Генерал царской армии и видный ученый-ориенталист, А. Е. Снесарев одним из первых добровольно вступил в Красную Армию. Энергично руководя войсками, он помог организовать оборону Царицына и остановить белоказаков. Тем не менее именно в это время Сталин шлет телеграмму в Москву, обвиняя Снесарева в саботаже. План обороны города, предложенный Снесаревым, Сталин считает вредительством. В конце концов он самовольно не только сместил, но и арестовал Снесарева. По приказу Сталина был арестован и почти весь штаб военного округа, состоявший из военных специалистов. На одной из барж на Волге была создана плавучая тюрьма, которая утонула вместе с большинством заключенных при невыясненных обстоятельствах.

По настоянию Сталина был разработан новый план обороны Царицына. С северного участка фронта сняли часть войск для наступления к западу и югу от Царицына. Как свидетельствуют военные историки В. Дудник и Д. Смирнов, «это нарушило устойчивость организованной с таким трудом обороны... 1 августа началось это необеспеченное наступление, а к 4 августа связь с югом прервалась, город оказался отрезанным от центра. Пришлось срочно перебрасывать части на северный боевой участок». Сталин свалил неудачу наступления на бывшего военрука Снесарева, от которого он якобы получил совершенно расстроенное наследие.

Положение Царицына в середине августа 1918 года было особенно тяжелым, так как белоказаки вышли на ближние подступы к городу. Однако Красная Армия сумела разорвать к концу августа кольцо окружения и отбросить противника за Дон.

11 сентября 1918 года был создан Южный фронт (командующий П. П. Сытин, члены Военного Совета И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов, К. А. Мехоношин). Между Сталиным, Ворошиловым, Мининым — «старыми царицынцами», с одной стороны, и Сытиным и Мехоношиным — с другой, возникли острые разногласия. Царицынские работники по-прежнему не хотели доверять военным специалистам и пытались ввести отвергнутое партией коллегиальное управление войсками. По настоянию Сталина, Реввоенсовет Южного фронта отменил первые оперативные распоряжения Сытина, а затем отстранил его от командования фронтом. Как раз в это время противник начал новое наступление на Царицын и потеснил ослабевшие части Красной Армии. Положение спасла Стальная дивизия Д. П. Жлобы, прибывшая с Северного Кавказа и неожиданно для противника нанесшая ему удар с тыла.

Сталин и раньше не слишком считался с распоряжениями Наркомвоенмора и Реввоенсовета республики. На одном из приказов Троцкого он наложил резолюцию: «Не принимать во внимание». Возникший конфликт отрицательно сказывался на боеспособности Южного фронта. По настоянию Л. Троцкого Сталин был выведен из Реввоенсовета Южного фронта и направлен в Москву, но, с согласия Троцкого, назначен членом РВС Республики.

В конце 1918 года Сталин в Москве занимается главным образом делами Наркомата по делам национальностей. Он присутствует на Первом съезде мусульман-коммунистов в Москве, составляет проект декрета о независимости Эстонии, принимает участие в организации Белорусской Советской Республики. 1 января 1919 года Сталин и Ф. Э. Дзержинский были направлены на Восточный фронт для выяснения неудач Красной Армии и причин сдачи Перми. После того, как положение на Восточном фронте улучшилось, Сталин и Дзержинский возвращаются в Москву.

На VIII съезде партии Сталин был снова избран в состав ЦК РКП(б). Хотя ЦК партии был в то время не слишком многочисленным, для оперативного реше-

ния важных политических вопросов было решено выделить из его состава более узкий руководящий орган — Политбюро. В первый состав Политбюро вошли В. И. Ленин, Л. Б. Каменев, Н. Н. Крестинский, И. В. Сталин, Л. Д. Троцкий. Кандидатами в члены Политбюро стали Н. И. Бухарин, М. И. Калинин и Г. Е. Зиновьев. Было создано и Оргбюро ЦК РКП(б) для руководства текущей организационной работой партии. В него также вошло пять человек: А. Г. Белобородов, Н. Н. Крестинский, Л. П. Серебряков, И. В. Сталин и Е. Д. Стасова. Через несколько дней постановлением ВЦИК Сталин был назначен также народным комиссаром государственного контроля.

Не будем останавливаться на различных поручениях, которые Сталин выполнял как представитель ЦК РКП(б) и Реввоенсовета на Петроградском, Западном и Южном фронтах. Эти поручения не были «третьестепенными», как полагает А. Антонов-Овсеенко, однако они и не были столь значительными, как это представлялось позднее апологетам Сталина.

Следует, однако, более подробно рассказать о деятельности Сталина в 1920 году на Юго-Западном фронте, куда он был направлен в конце мая в качестве члена Военного Совета. В это время наступавшие польские армии были уже остановлены; на территории Украины и Белоруссии завязались тяжелые бои, в результате которых Киев и Минск были освобождены.

Основная часть подкреплений первоначально направлялась в распоряжение Юго-Западного фронта. К концу июля сложилась обстановка, требовавшая срочной перегруппировки сил. Западному фронту, имевшему всего 60 тысяч бойцов, противостояло вдвое больше поляков. В то же время против Юго-Западного фронта действовали всего три польские дивизии и деморализованные части Петлюры. Между тем на Юге для Советской республики возникла новая угроза: войска генерала Врангеля в июне 1920 года вышли из Крыма и захватили значительную часть Северной Таврии.

2 августа 1920 года Политбюро ЦК РКП(б) приняло решение объединить все армии, действовавшие против Польши в составе Западного фронта (командующий М. Тухачевский). Одновременно было решено создать самостоятельный Южный фронт. Сталину было предложено сформировать РВС нового фронта, о чем Ленин направил ему телеграмму:

«Спешно

Шифром

Сталину

Только что провели в Политбюро разделение фронтов, чтобы Вы исключительно занялись Врангелем. В связи с восстаниями, особенно на Кубани, а затем и в Сибири, опасность Врангеля становится громадной, и внутри Цека растет стремление тотчас заключить мир с буржуазной Польшей. Я Вас прошу очень внимательно обсудить положение с Врангелем и дать Ваше заключение» [1].

Одновременно Главком С. Каменев на основании директивы ЦК предложил в ближайшие дни передать 1-ю Конную армию и 12-ю армию Юго-Западного фронта в распоряжение командования Западного фронта, чтобы укрепить войска на главном, Варшавском направлении.

Сталин отказался выполнить указания Ленина и С. Каменева. Он ответил вечером того же дня по телеграфу:

«Вашу записку о разделении фронтов получил, не следовало бы Политбюро заниматься пустяками. Я могу работать для фронта еще максимум две недели, нужен отдых, поищите заместителя. Обещаниям главкома не верю ни на минуту, он своими обещаниями только подводит. Что касается настроения ЦК в пользу мира с Польшей, нельзя не заметить, что наша дипломатия очень удачно срывает результаты наших военных успехов».

Ленин 3 августа направил Сталину новую телеграмму, настаивая на разделении фронтов:

«Наша дипломатия подчинена Цека и никогда не сорвет наших успехов, если опасность Врангеля не вызовет колебаний внутри Цека» [2].

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 51, стр. 247.
[2] Там же, стр. 248

Ленин при этом не возражал против отдыха Сталина, но просил его позаботиться о заместителе.

5 августа ЦК подтвердил решение о разделении фронтов и постановил передать Западному фронту также 14-ю армию. Главком отдал на этот счет необходимые распоряжения. Но Сталин и находившийся под его влиянием командующий Юго-Западным фронтом А. И. Егоров не выполнили этой директивы. Главком С. Каменев повторил свой приказ.

«Западный фронт,— писал он,— приступает к нанесению решительного удара для разгрома противника и овладения варшавским районом; ввиду этого теперь же приходится временно отказаться от немедленного овладения на вашем направлении львовским районом».

Но Сталин и Егоров не подчинились. Напротив, они отдали приказ Первой конной армии «в самый кратчайший срок мощным ударом уничтожить противника на правом берегу Буга, форсировать реку и на плечах бегущих остатков 3-й и 6-й польских армий захватить город Львов».

Выполнить этот приказ Первая конная не смогла.

Но и Западный фронт потерпел неудачу при наступлении на Варшаву. Конечно, неудача Варшавской операции может быть объяснена несколькими причинами. Однако не последнее место среди них занимает самоуправство Сталина. Располагая крупными силами, он не хотел, чтобы победные лавры достались Западному фронту. Видимо, стремился сам вступить в Варшаву с тыла после взятия Львова. «Ну кто же на Варшаву ходит через Львов»,— заметил по этому поводу Ленин, когда В. Д. Бонч-Бруевич докладывал о неудачах на польском фронте [1].

Поскольку Сталин не подчинился приказам Главкома, Секретариат ЦК направил ему 14 августа телеграмму:

«Трения между Вами и Главкомом дошли до того, что... необходимо выяснение путем совместного обсуждения при личном свидании, поэтому просим возможно скорее приехать в Москву».

17 августа Сталин выехал в Москву и подал в Политбюро просьбу освободить его от военных дел. 1 сентября просьба была удовлетворена.

5

Можно задать вопрос: почему Сталину так легко сходили с рук самоуправство и грубость? Во-первых, Сталин был в 1918—1920 годах достаточно сильной фигурой в руководстве партии и умел постоять за себя. К тому же не только Сталин, но и многие другие представители ЦК на фронтах гражданской войны действовали подчас с излишней жестокостью. Немало жалоб поступало и на председателя РВС Троцкого. Но Ленин и его обычно брал под защиту. В борьбе партийных группировок того времени Сталин стоял на стороне Ленина, и Ленин ценил это. В условиях гражданской войны, в критическом положении Ленину приходилось учитывать и использовать всякую реальную силу, которая выступала на стороне революции.

Нередко Ленин и прямо поддерживал Сталина, как это было еще в Кракове, когда тот писал статьи по национальному вопросу, при кооптировании в состав ЦК РСДРП(б) и назначении в Русское бюро ЦК. Именно по предложению Ленина Сталин был назначен наркомом по делам национальностей и наркомом государственного контроля, реорганизованного позднее в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции.

Троцкий неоднократно требовал отстранить Сталина от военной работы, однако Ленин отнюдь не спешил с этим, а порой в большей мере поддерживал Сталина, чем Троцкого.

Сталин ушел с военной работы почти в самом конце гражданской войны. Это не было понижением или отставкой. Ему надо было сосредоточить внимание на работе в Наркомнаце; Советская власть утвердилась почти во всех национальных

[1] В. Д. Бонч-Бруевич. На боевых постах. М., 1930, стр. 283. (При переизданиях этой книги замечание Ленина было исключено.)

районах. Несколько раз Сталин выезжает на Северный Кавказ и в Азербайджан, принимает делегации различных народностей. Гораздо меньше внимания он уделяет Наркомату Рабоче-крестьянской инспекции. Ему приходится участвовать в работе не только Политбюро и Оргбюро, но и нескольких постоянных комиссий ЦК РКП(б), а также ВЦИК.

В период, когда партию лихорадила так называемая профсоюзная дискуссия, Сталин поддерживал платформу Ленина и выступал против тезисов Бухарина и Троцкого, но был мало активен. На X съезде РКП(б) Сталин делал доклад по национальному вопросу. Вскоре после того, как Красная Армия вступила в Грузию и власть меньшевиков в этой республике была свергнута, Сталин приезжает в Тифлис. При его участии было сформировано большевистское руководство Грузии и всего Закавказья. Однако попытка Сталина выступить перед рабочими кончилась плачевно: его освистали на митинге грузинских железнодорожников. С митинга он ушел под охраной русских чекистов. Вместо него выступил видный меньшевик Исидор Рамишвили, которого восторженно приняли рабочие. Эта неудача усилила неприязнь Сталина к Грузии, впоследствии он почти никогда не бывал там.

На XI съезде партии Е. А. Преображенский предложил несколько ограничить полномочия Сталина. Он сказал:

«Или, товарищи, возьмем, например, т. Сталина, члена Политбюро, который является в то же время наркомом двух наркоматов. Мыслимо ли, чтобы человек был в состоянии отвечать за работу двух комиссариатов и, кроме того, за работу в Политбюро, в Оргбюро и десятке цекистских комиссий».

На это Ленин ответил:

«Вот Преображенский здесь легко бросал, что Сталин в двух комиссариатах. А кто не грешен из нас? Кто не брал несколько обязанностей сразу? Да и как можно делать иначе? Что мы можем сейчас сделать, чтобы было обеспечено существующее положение в Наркомнаце, чтобы разбираться со всеми туркестанскими, кавказскими и прочими вопросами? Ведь это все политические вопросы! А разрешать эти вопросы необходимо, это — вопросы, которые сотни лет занимали европейские государства, которые в ничтожной доле разрешены в демократических республиках. Мы их разрешаем, и нам нужно, чтобы у нас был человек, к которому любой из представителей наций мог бы подойти и подробно рассказать, в чем дело. Где его разыскать? Я думаю, и Преображенский не мог бы назвать другой кандидатуры, кроме товарища Сталина.

То же относительно Рабкрина. Дело гигантское. Но для того, чтобы уметь обращаться с проверкой, нужно, чтобы во главе стоял человек с авторитетом, иначе мы погрязнем, потонем в мелких интригах» [1].

Ленин настолько был расположен в 1918—1921 годах к Сталину, что сам заботился о подыскании тому спокойной квартиры в Кремле. Он сделал выговор Г. Орджоникидзе за то, что тот оторвал Сталина от отдыха на Северном Кавказе. Ленин просил разыскать врача, лечившего Сталина, и прислать ему заключение о состоянии больного. Однажды полушутя Ленин предложил Сталину жениться на своей младшей сестре Марии Ильиничне. Он был уверен, что Сталин все еще холост и был удивлен, когда тот сказал, что женился и что жена его работает в Секретариате ЦК. Позже, однако, отношение Ленина к Сталину изменилось.

6

XI съезд РКП(б) не уменьшил полномочий Сталина, который был вновь избран в состав ЦК. На Пленуме ЦК 3 апреля 1922 года Сталин был избран в Политбюро и Оргбюро. На Пленуме решено было учредить новую должность — Генерального секретаря ЦК и назначить на эту должность И. В. Сталина. В «Краткой биографии» Сталина можно прочесть, что именно по предложению Ленина Пленум избрал Сталина Генеральным секретарем ЦК.

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 122.

На открытии Пленума ЦК председательствовал Л. Б. Каменев, который и предложил избрать Секретариат ЦК в новом составе. Невозможно предположить, чтобы состав Политбюро, Оргбюро и Секретариата не был предварительно согласован с Лениным. В «Биографической хронике» В. И. Ленина за 1922 год читаем:

«Апрель, 3.

Ленин участвует в заседании Пленума ЦК РКП(б), избирается членом Политбюро ЦК и утверждается кандидатом в состав делегации РКП(б) в Коминтерне.

В ходе заседания Ленин просматривает повестку дня, дополняет ее рядом пунктов, делает отметки и подчеркивания... вносит написанный им проект постановления об организации работы Секретариата ЦК.

Пленум принял решение установить должность Генерального секретаря и двух секретарей ЦК. Генеральным секретарем был назначен И. В. Сталин, секретарями — В. М. Молотов и В. В. Куйбышев».

Я уже не говорю о том, что все персональные назначения принимаются на Пленумах ЦК открытым голосованием, и нет никаких данных о том, что Ленин или сам Троцкий воздержались при утверждении нового Секретариата ЦК.

Нельзя не отметить, конечно, что пост генсека вовсе не мыслился тогда как главный или даже очень важный пост в партийной иерархии. Секретариат подчинялся и Политбюро, и Оргбюро, а функции секретарей были ограничены. Секретариат занимался в основном техническими и внутрипартийными делами, не вмешиваясь в основные области государственного управления. Армия, ВЧК — ГПУ, ВСНХ, народное просвещение не были подконтрольны Секретариату ЦК. Основные наркоматы возглавляли видные члены ЦК, и их деятельность обсуждалась на Политбюро или Пленумах ЦК. Не занимался Секретариат и проблемами внешней политики и Коминтерна. В апреле 1922 года Ленин был признанным вождем революционных масс России и стоял во главе партии и правительства.

Поэтому избрание Сталина на пост генсека не носило характера выдвижения нового вождя или преемника Ленина.

Положение изменилось, однако, из-за болезни Ленина, которая все чаще отрывала его от руководства. Сталин был не только Генеральным секретарем ЦК, он входил также в Оргбюро и Политбюро ЦК, был одновременно народным комиссаром по делам национальностей и народным комиссаром Рабоче-крестьянской инспекции. Он превратился в ключевую фигуру формирующегося партийного аппарата, под его контролем проводились перевыборы партийных комитетов на местах, и это позволяло ему осуществлять массовую перестановку кадров в губкомах, обкомах и ЦК нацкомпартий. Во главе важнейших отделов ЦК РКП(б) оказались сторонники Сталина — Л. Каганович, С. Сырцов и А. Бубнов, влиянию Сталина подчинились и члены Секретариата и Оргбюро ЦК — В. Молотов, Я. Рудзутак и А. Андреев. Сталина активно поддерживали и члены ЦК В. Куйбышев, С. Орджоникидзе и А. Микоян. В рабочий «штаб» Сталина вошли И. Товстуха, Л. Мехлис и Г. Маленков.

Между тем болезнь Ленина прогрессировала, и он не мог не думать о своем преемнике.

Он мог иметь в виду того или иного из членов ЦК, но только не Сталина, о котором как раз в 1922 году начал отзываться все более негативно. Ленин был крайне недоволен попыткой Сталина, Бухарина и Сокольникова ослабить монополию внешней торговли. Резко критиковал Ленин и политику Сталина в национальном вопросе. Дело в том, что как раз во время болезни Ленина тот провел через комиссии ЦК свое предложение об «автономизации», то есть о вступлении национальных республик в РСФСР на началах автономии. По проекту Сталина должен был создаваться не Союз Советских Социалистических Республик, а Российская Федеративная Республика, включающая в свой состав все другие национальные образования.

Ленин осудил эти предварительные решения и предложил иное: создать новое государство — Союз Советских Социалистических Республик — на основе равноправия РСФСР, Украины, Белоруссии и других республик. Именно это решение и было принято партией.

Сталин не занял правильной позиции и в конфликте между Орджоникидзе и руководством ЦК КП(б) Грузии по вопросам экономической политики Закавказского крайкома и прав Грузинской Советской Республики. Ленина очень взволновал этот конфликт, под его впечатлением он продиктовал в конце 1922 года свои записки «К вопросу о национальностях или об «автономизации». В них читаем:

«Тот грузин, который пренебрежительно относится к этой стороне дела, пренебрежительно швыряется обвинением в «социал-национализме» (тогда как он сам является настоящим и истинным не только «социал-националом», но и грубым великорусским держимордой), тот грузин, в сущности, нарушает интересы пролетарской классовой солидарности... Политически-ответственными за все эту поистине великорусско-националистическую кампанию следует сделать, конечно, Сталина и Дзержинского» [1].

В январе 1923 года Ленин не раз возвращался к оценке этого конфликта. Как можно судить по записям его дежурных секретарей, Сталин препятствовал получению больным Лениным запрашиваемых им материалов.

Сталин столь ревностно выполнял поручение Политбюро следить за режимом лечения Ленина, что хотел отстранить от больного даже Н. К. Крупскую. 23 декабря 1922 года Крупская обратилась к Л. Б. Каменеву с жалобой на грубость Сталина. Ленин узнал об этом конфликте только 5 марта, вероятно, от Каменева. Возмущенный до глубины души, хотя со времени конфликта прошло более двух месяцев, Ленин вызвал секретаря и продиктовал записку Сталину с требованием извиниться перед Н. К. Крупской [2].

Конечно, Сталин немедленно, хотя и неохотно, обратился к Крупской с извинениями и взял обратно свои слова. Он не посмел пойти на разрыв с Лениным.

На следующий день утром В. И. Ленин продиктовал еще одно письмо:

«Тт. Мдивани, Махарадзе и др. Копия — тт. Троцкому и Каменеву.

Уважаемые товарищи!

Всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе и потачками Сталина и Дзержинского. Готовлю для вас записки и речь. С уважением Л е н и н. 6-го марта 23 г.» [3].

Письма от 5 и 6 марта 1923 года были последними документами Ленина.

Летом и осенью 1923 года здоровье Ленина опять улучшилось, он стал принимать людей, гулял, но со Сталиным уже ни разу не встречался.

Как генсек Сталин занимался в конце 1922 года и в первой половине 1923 года многими делами, не забывая при этом об укреплении своих личных позиций в партии. У него был свой взгляд на строительство партии — его он изложил в наброске плана брошюры «О политической стратегии и тактике русских коммунистов», написанном в июле 1921 года и опубликованном впервые лишь в 1952 году. Этот набросок имеет немалое значение для понимания как взглядов, так и претензий Сталина. Уже слова «Партия — это командный состав и штаб пролетариата» могут вызвать ряд возражений, ибо понятия «авангард» и «командный состав» далеко не идентичны. Но Сталин идет еще дальше:

«Компартия как своего рода орден м е ч е н о с ц е в внутри государства Советского, направляющий органы последнего и одухотворяющий их деятельность.

Значение с т а р о й г в а р д и и внутри этого могучего ордена. П о п о л н е н и е с т а р о й г в а р д и и новыми закалившимися... работниками».

Сравнение коммунистической партии с церковно-рыцарским орденом «Братьев христова воинства» не случайно. Сталину импонировало строго иерархическое построение ордена меченосцев. Тот факт, что его заметка была опубликована только в 1952 году, показывает, что мысль о превращении партии в подобие религиозного ордена, а затем о создании внутри партии и государственного аппарата какой-то тайной элиты ордена, особой касты «посвященных», никогда не оставляла Сталина.

[1] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 360—361.

[2] См. В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, том 54, стр. 329—330. (Эту записку Сталин хранил всю жизнь. Она была обнаружена у него в столе.)

[3] В. И. Л е н и н. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 330.

Это письмо, как и письма Троцкому, вовсе не означает, что Ленин полностью соглашался с позицией Б. Мдивани и грузинского ЦК. Он требовал осторожности и внимания к национализму ранее угнетенных наций и считал гораздо большей опасностью великодержавный шовинизм.

7

В широком смысле под «Завещанием» Ленина следует понимать все те письма, статьи и записки, которые он продиктовал в конце 1922 и начале 1923 года. Однако в более узком смысле под «Завещанием» Ленина имеют в виду лишь несколько писем, в которых Владимир Ильич говорит о работе ЦК и дает персональные характеристики некоторым членам ЦК.

Основная часть ленинского «Завещания», в том числе персональные характеристики членов ЦК, не была обнародована. Не обсуждал очередной, XII съезд партии и вопроса о перемещении Сталина с поста генсека. Состав ЦК был увеличен, однако среди 17 новых членов и 13 кандидатов в члены ЦК не было ни одного рабочего или крестьянина, на чем настаивал Ленин,— все это были руководители крупных советских и партийных учреждений. Почему на съезде не было зачитано обращенное к нему письмо Ленина? Здесь не было умысла. Запечатанные сургучной печатью и строго секретные документы мог вскрыть лишь сам Ленин, а он был парализован и лишился речи. Н. Крупская могла вскрыть эти письма только после смерти Ленина. Таким образом, создалась ситуация, не предусмотренная Владимиром Ильичем.

Почему Ленин ограничился характеристикой только шести членов ЦК и ничего не сказал об А. Рыкове, М. Калинине и других? Думаю, Ленин ясно представлял себе, что в случае его смерти именно эти шесть человек составят ядро партийного руководства, борьба внутри которого и таила в себе угрозу раскола партии. Особенностью ленинского документа было то, что он указал не только на положительные качества лидеров ЦК, но и на их существенные недостатки. В своем письме Ленин предлагал освободить Сталина от поста Генерального секретаря, но не подвергал сомнению возможность и необходимость сохранения Сталина в руководстве. Отсюда и употребление слова «переместить», а не «сместить». Ленин не предложил также никакой новой кандидатуры на пост генсека.

Среди перечисленных им лидеров партии Ленин не видел никого, кто бы мог заменить его на посту руководителя партии и государства. Стараясь более равномерно распределить между этими людьми все главные посты (отсюда и предложение о перемещении Сталина), Ленин полагал, что только совместно и под жестким контролем ЦК и ЦКК они смогут вести дальше партию в сложных условиях того времени. В этом-то и состоит подлинный смысл ленинского документа. Ленин действительно тщательно взвешивал в своем «Завещании» каждое слово. Здесь нет обычной для него резкости в оценках. Однако при внешне мягких формулировках в необидных, казалось бы, выражениях заключен острый политический смысл. О каждом из своих соратников Ленин говорит что-то чрезвычайно лестное. Сталин — «выдающийся вождь современного ЦК». Троцкий — «самый способный человек в настоящем ЦК». Бухарин — «ценнейший и крупнейший теоретик партии». Пятаков — «человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей». Но одновременно каждому из них Ленин дает и уничтожающую по смыслу, но не по форме, политическую характеристику. Разве можно доверить единоличное руководство партии грубому, нетерпимому, нелояльному и капризному Сталину или чрезмерно хватающему самоуверенностью и чрезмерно увлекающемуся чисто административной стороной дела Троцкому, небольшевизм которого, как и «октябрьский эпизод» у Каменева и Зиновьева, Ленин не считает чем-то случайным. Нельзя, конечно, доверить руководство партией и Бухарину, теоретические воззрения которого «очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским», или Пятакову, на которого вообще трудно положиться в «серьезном политическом вопросе».

Ленин понимал важность своих оценок. Понимал, что они могут помочь партии удержать в определенных рамках политические амбиции и честолюбие ее наиболее выдающихся руководителей.

Считалось, что ленинские характеристики лидеров партии стали известны лишь в мае 1924 года, когда Н. К. Крупская передала бумаги Ленина комиссии ЦК. Однако недавно один из ведущих сотрудников Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС В. П. Наумов опубликовал в «Правде» большую и документированную статью, из которой видно, что секретарь Ленина Л. Фотиева проинформировала Сталина и некоторых других членов Политбюро об основном содержании записок Ленина.

В протоколе о передаче ленинских документов комиссии ЦК Н. К. Крупская писала: «Владимир Ильич выражал твердое желание, чтобы эта его запись после его смерти была доведена до сведения очередного партийного съезда». Каменев, Зиновьев и Сталин, однако, решили не зачитывать письмо Ленина на официальных заседаниях съезда. Оно было зачитано первоначально на собрании «старейшин». При этом Каменев предложил не делать никаких записей. Только на этом собрании о «Завещании» Ленина узнали Троцкий и его сторонники в ЦК РКП(б). Затем ленинский документ зачитывался на закрытых заседаниях отдельных делегаций, причем никто не должен был делать записей и ссылаться на этот документ на заседаниях съезда. В наиболее крупных делегациях разъяснения по поводу письма Ленина дали Зиновьев и Каменев. В протоколы съезда информация об этих закрытых собраниях и письмо Ленина не вошли.

При формировании руководящих органов партии после съезда Сталин, ссылаясь на «Завещание» Ленина, демонстративно отказался от поста генсека. Но Зиновьев и Каменев, а затем и большинство других членов ЦК убедили его взять свою отставку обратно. Вероятнее всего, перед съездом между Зиновьевым и Сталиным состоялось своеобразное соглашение. Сталин одобрил выдвижение Зиновьева основным докладчиком на XIII съезде и таким образом как бы продвигал этого честолюбивого и беспринципного человека на роль лидера партии. В свою очередь, Зиновьев и Каменев должны были отстоять на съезде для Сталина пост генсека. В то время Сталин еще не мог действовать независимо от мнения других членов ЦК ВКП(б), а это исключало, казалось бы, возможность произвола. О личной диктатуре Сталина не могло быть и речи, напротив, именно Сталин выступал глашатаем «коллективного руководства». Он обвинял Троцкого в стремлении к единоличному руководству и защищал Зиновьева и Каменева от нападок Троцкого. В условиях ожесточенной борьбы с Троцким и его многочисленными сторонниками вопрос о грубости и капризности Сталина, активно выступавшего против Троцкого, казался многим членам ЦК мелочью. Они не видели того, что видел Ленин.

БОРЬБА С ОППОЗИЦИЕЙ

1

Нельзя понять историю возникновения и развития сталинизма, не ознакомившись хотя бы коротко с историей внутрипартийной борьбы в партии в 1923—1930 годах. Надо сказать, что мало какой из вопросов нашей истории подвергался столь явной фальсификации, как вопрос об оппозиции. Уже в публикациях 20-х годов многие эпизоды, факты, как и само направление происходившей борьбы, излагались крайне тенденциозно. При этом каждая из сторон старалась представить своих оппонентов в наиболее непривлекательном виде, те или иные высказывания искажались, ошибки и неточности преувеличивались. Грубость и нелояльность не только не пресекались, но поощрялись и с одной, и с другой стороны, что придавало с самого начала внутрипартийной борьбе крайне резкий характер. В 30-е годы лидеры оппозиции стали изображаться уже как предатели и шпионы иностранных государств, завербованные империалистическими разведками еще с первых лет Советской власти.

Как известно, все активные участники оппозиционных течений были позднее физически уничтожены Сталиным. Только немногие рядовые участники этих оппозиций вернулись после XX съезда КПСС к своим семьям. Некоторые из них в своих мемуарах апологетично писали о тех или иных лидерах оппозиции. Их можно понять, но с ними нельзя согласиться. Из того факта, что Сталин, оказавшись победителем в борьбе с оппозицией, узурпировал затем всю власть в стране и в партии, вовсе не следует, что именно Сталин в своей борьбе с оппозицией был кругом не прав, а его противники были во всем правы.

Было бы неправильно также изображать борьбу различных группировок в партии после смерти Ленина только как беспринципную борьбу за власть, прикрытую для видимости различного рода теоретическими рассуждениями. Нет, в 20-е годы в партии существовали серьезные теоретические и практические расхождения, шла идейная борьба, особенно по вопросу о возможностях, путях и методах строительства социализма в Советском Союзе. Верно, однако, и то, что для Сталина в этой борьбе главным был именно вопрос о власти. Умело маневрируя между всякого рода течениями и платформами, Сталин воспользовался борьбой различных фракций в партии, чтобы ослабить всех своих конкурентов и увеличить свою власть и влияние.

Характерной чертой Ленина было полное отсутствие каких-либо личных мотивов во внутрипартийной борьбе. Ему было совершенно чуждо чувство мести, даже обиды. Главное для него было— убедить в своей правоте партию, рабочих, а по возможности, и своих оппонентов. И когда удавалось достичь согласия во взглядах, всякая резкость исчезала, сменяясь доброжелательностью, вниманием и дружеской поддержкой. Это можно видеть на примере отношений Ленина и Троцкого в 1912—1913 и в 1917—1919 годах. Известно, с какой резкостью обрушился Ленин на Зиновьева и Каменева в октябре 1917 года, когда эти члены большевистского ЦК выступили против вооруженного восстания. Но сразу же после победы Октябрьской революции, когда Зиновьев и Каменев признали свою ошибку, они заняли видные посты в органах Советской власти.

Примеров такого отношения Ленина к недавним оппозиционерам можно привести много. Так, в 1921 году на X съезде партии Ленин говорил, что в резолюции о единстве признаны заслуги «рабочей оппозиции» в борьбе с бюрократизмом, и предложил включить ее лидера А. Г. Шляпникова в состав ЦК. «Когда в ЦК,— говорил Ленин,— включается товарищ из «рабочей оппозиции», это есть выражение товарищеского доверия. ...это есть проявление высшего доверия, больше которого в партии не может быть» [1].

«Как особое задание Контрольной комиссии,— писал Ленин в октябре 1920 года в проекте постановления Политбюро,— рекомендовать внимательно-индивидуализирующее отношение, часто даже прямое своего рода лечение по отношению к представителям так называемой оппозиции, потерпевшим психологический кризис в связи с неудачами в их советской или партийной карьере. Надо постараться успокоить их, объяснить им дело товарищески, подыскать им (без способа приказывания) подходящую к их психологическим особенностям работу, дать в этом пункте советы и указания Оргбюро Цека и т. п.» [2].

Иначе относился к своим оппонентам Сталин. Еще в период внутрипартийной борьбы 1918—1923 годов он отличился чрезмерной резкостью, грубостью и нелояльностью. Сталин мало заботился о том, чтобы переубедить своих оппонентов и привлечь их к совместной работе. Он старался подчинить их своей воле, сломить их сопротивление. К тому же Сталин был крайне злопамятен и мстителен. Его оппоненты оставались для него личными врагами даже тогда, когда исчезал предмет спора и возникала необходимость совместной дружной работы. Правда, Сталин умел хорошо скрывать свои чувства.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 43, стр. 110—111.
[2] Там же, том 41, стр. 394.

2

В первые месяцы 1923 года политическое и экономическое положение молодой Советской республики было еще очень трудным. Промышленность и транспорт делали лишь первые шаги, выбираясь из жестких тисков разрухи. Медленно оправлялось от последствий двух войн и засухи сельское хозяйство. Материальное положение рабочих и крестьян было крайне тяжелым. Особенно трагичной была участь миллионов беспризорных детей и подростков и миллионов безработных пролетариев и служащих. Но в это же время входил в свои права нэп. И в городе, и в деревне развивалась частная торговля, стали появляться частные промышленные предприятия, магазины, типографии, рестораны, посреднические конторы и т. п. Мелкие предприниматели, ремесленники, торговцы, богатые крестьяне начали избавляться от шока, вызванного революцией, продразверсткой, политикой «военного коммунизма». Развитие частного предпринимательства способствовало улучшению общего экономического положения, облегчая решение неотложных хозяйственных проблем. Но оно же создавало немало политических осложнений и трудностей для партии.

В январе и феврале 1923 года Ленин, уже тяжело больной, продолжал диктовать свои последние статьи и письма, просил читать ему литературу о международных отношениях, о кооперации, о научной организации труда.

С тревогой читая правительственное сообщение о значительном ухудшении здоровья Ленина, партийные функционеры и активисты прекрасно понимали, что Ленину как создателю и вождю большевистской партии и Советского государства нет и не может быть замены. Однако как армия во время военной кампании нуждается в новом командующем, если тяжело ранен прежний, как церковь нуждается в новом первосвященнике, если ушел в лучший мир прежний, так и политическая партия, особенно в трудных условиях, нуждается не только в коллегии руководителей, но и в новом лидере.

Претендовать на роль нового лидера партии могли только три человека: Сталин, Троцкий и Зиновьев, поддержанный Каменевым. Правда, Сталин тщательно скрывал свои претензии и скромно держался в тени Зиновьева и Каменева в образовавшемся триумвирате, или «тройке» — Зиновьев, Каменев и Сталин. Претензии Зиновьева были основаны на его давней близости к Ленину как вождю большевистской партии. Претензии Троцкого были основаны на сознании своих заслуг в подготовке и проведении Октябрьского вооруженного восстания, в руководстве Красной Армией в годы гражданской войны и на его, казалось бы, очевидной для всех популярности. Именно Троцкому иностранные наблюдатели отдавали обычно предпочтение в своих прогнозах. Однако в Политбюро Троцкий был одинок, и на решающих постах в партийном аппарате у него было не так уж много сторонников. Это очень ослабляло его позиции и делало невозможным автоматический переход на роль лидера партии. Предстояла борьба за власть, и эта борьба наметилась еще в начале 1923 года. 14 марта 1923 года «Правда» опубликовала статью К. Радека «Лев Троцкий — организатор победы». Но одновременно в списках стали распространяться анонимные памфлеты против Троцкого, которые в первую очередь напоминали о его «небольшевистском» прошлом. А. Луначарский одним из первых начал поднимать авторитет Зиновьева. Е. Ярославский в ряде публикаций подчеркивал важную роль Сталина в революции и гражданской войне. Все эти литературные моменты были внешним проявлением той закулисной борьбы, которая велась в партийном аппарате.

В конце апреля 1923 года должен был состояться очередной XII съезд партии. Ленин с трудом оправлялся от последствий удара, и было очевидно, что он не сможет принять участия в работе съезда. Возник вопрос: кто должен делать на съезде политический отчет от имени ЦК РКП(б). Самой авторитетной фигурой в ЦК все еще оставался Троцкий. Поэтому вполне естественно, что на заседании Политбюро Сталин предложил Троцкому взять на себя подготовку этого доклада. Сталина поддержали Калинин, Рыков и даже Каменев. Но Троцкий отказался, пустившись в путаные рассуждения о том, что «партии будет

не по себе (?), если кто-либо из нас попытается как бы персонально заменить больного Ленина». Он предложил провести съезд партии вообще без политического отчетного доклада. Это нелепое предложение было, конечно, отклонено. На одном из следующих заседаний Политбюро приняло решение поручить подготовку политического доклада Г. Зиновьеву, только что вернувшемуся из отпуска. Троцкий взял на себя доклад о промышленности.

Объясняя свое поведение и позицию в первой половине 1923 года, Троцкий позднее писал:

«Я до последней возможности уклонялся от борьбы, поскольку на первых своих этапах она имела характер беспринципного заговора, направленного лично против меня. Мне было ясно, что такого рода борьба, раз вспыхнув, неизбежно примет исключительную остроту и в условиях революционной диктатуры может привести к угрожающим последствиям».

Эти рассуждения не убедительны для политика. Борьба за власть и влияние не является чем-то позорным для профессионального политика, ибо это часть его жизни и его профессии. В незаметной для внешнего наблюдателя борьбе в Политбюро весной 1923 года Троцкий проявил полную пассивность и тем самым обрек себя на поражение. Это поражение действительно открыло новые пути и перспективы, но для... возвышения Сталина, который оказался не только менее щепетильным, но и более хитрым, умным и ловким, чем это представлялось Троцкому.

XII съезд РКП(б) прошел относительно спокойно. С некоторыми из документов Ленина, включая и его письмо «К вопросу о национальностях или об «автономизации», делегаты съезда были ознакомлены лишь в конфиденциальном порядке. Попытка Б. Мдивани процитировать отдельные места этого письма была остановлена председательствовавшим Л. Б. Каменевым.

Съезд, конечно, мог удовлетворить тщеславие Троцкого. Делегаты устроили ему самую продолжительную овацию, во многих приветствиях к съезду имя Троцкого упоминалось рядом с именем Ленина. Однако с точки зрения политической и организационной съезд укрепил позиции «тройки», возглавляемой Зиновьевым. Сталин был вновь избран Генеральным секретарем ЦК РКП(б).

Доклад о промышленности, который прочитал Троцкий на XII съезде партии, был, пожалуй, наиболее интересным из всех докладов, хотя и не бесспорным. Однако в первые месяцы после съезда Троцкий большую часть времени занимался вопросами не слишком актуальными. Неожиданно он опубликовал серию статей о нормах поведения «воспитанного человека», статью «Водка, церковь и кинематограф», несколько статей о русском языке и его деградации в печати. Иначе говоря, всячески демонстрировал свою эрудицию, но не больше.

Между тем экономическое положение в стране улучшалось очень медленно. Крестьяне были недовольны высокими ценами на промышленные товары, рабочие — низкой зарплатой, которая выплачивалась при этом не слишком регулярно. В июле и августе 1923 года во многих крупных промышленных центрах (Москва, Харьков, Сормово и др.) прокатилась волна рабочих забастовок, чрезвычайно обеспокоивших партийное руководство. Необходимо было основательно обсудить экономическое положение и экономическую политику партии. Широкому и глубокому обсуждению крайне мешали, однако, дефицит внутрипартийной демократии и засилье аппаратного бюрократизма. Вопрос о демократии, конечно, не в ее общегражданском, а пока еще в узкопартийном значении выдвигался на первый план.

Одним из первых этот вопрос весьма решительно поднял в ряде своих выступлений Ф. Э. Дзержинский. В сентябре 1923 года в связи с рабочими волнениями и деятельностью образовавшейся в партии и профсоюзах оппозиционной «Рабочей группы», руководимой Г. И. Мясниковым, был созван Пленум ЦК РКП(б). В своем выступлении на этом Пленуме Дзержинский указал на застой во внутрипартийной жизни. Он сказал также, что подмена выборного начала «назначенством» партийных секретарей становится политической опасностью и парализует партию. Для рассмотрения внутрипартийного положения Пленум ЦК создал комиссию во главе с Дзержинским.

Троцкий и его единомышленник Е. Преображенский отказались войти в комиссию Дзержинского.

К осени 1923 года в партии, включая и ее руководящие круги, образовалось несколько пока еще полулегальных оппозиционных групп, выступавших главным образом с левых точек зрения. Между этими группами шел интенсивный обмен мнениями, вырабатывалась и единая платформа. Не хватало только авторитетного лидера. Таким лидером формирующейся левой оппозиции и стал Троцкий. Он наконец отбросил свои многомесячные колебания и решил возглавить оппозицию Сталину и всей «тройке». Несомненно, что на решение Троцкого повлияло не только давление многих его друзей и сторонников. Троцкий убедился, что его постепенно оттесняют от власти. Даже в военном комиссариате, где он привык считать себя полным хозяином, его позиции были ослаблены. В состав РВС Республики и в Совет обороны были включены по решению Политбюро два старых противника Троцкого — К. Е. Ворошилов и М. М. Лашевич.

8 октября 1923 года Троцкий направил членам ЦК и ЦКК письмо с резкой критикой партийного руководства. Большинство замечаний Троцкого о бюрократизации партийного аппарата и свертывании партийной демократии было совершенно справедливо. Однако письмо содержало и немало преувеличений, если иметь в виду обстановку 1923 года.

«Тот режим,— писал Троцкий,— который в основном сложился до XII съезда, а после него получил окончательное закрепление и оформление, гораздо дальше от рабочей демократии, чем режим самых жестких периодов военного коммунизма».

В письме Троцкого было множество намеков на необходимость изменений в руководстве партией. Тем не менее он заявлял, что ставит своей целью лишь изменение ошибочной политики, а не «нападение» на существующее руководство. Он подчеркивал также, что считает это письмо внутренним документом ЦК и ЦКК и не предполагает излагать свои взгляды перед всей партией. Письмо, однако, стало известно в копиях многим сторонникам Троцкого и было опубликовано в 1924 году меньшевистской эмигрантской газетой «Социалистический вестник».

Еще более резкие замечания содержались в полученном 15 октября в ЦК РКП(б) «заявлении», которое подписали сорок шесть известных членов партии. Несомненно, Троцкий был заранее ознакомлен с его содержанием.

«Режим, установившийся в партии,— говорилось в этом «заявлении»,— совершенно нетерпим. Он убивает самодеятельность партии, подменяя партию подобранным чиновничьим аппаратом, который действует без отказа в нормальное время, но который неизбежно дает осечки в моменты кризисов и который грозит оказаться совершенно несостоятельным перед лицом надвигающихся серьезных событий».

Столь же резко критиковалась и деятельность ЦК РКП(б) в хозяйственной области, утверждалось, что именно из-за некомпетентности, бессистемности и произвольности решений ЦК вместо успехов и достижений экономика пришла к серьезному кризису. Это «заявление» также не было опубликовано, но распространялось в списках по многим партийным организациям.

Тот факт, что именно Троцкий был в центре борьбы за партийную демократию, мог показаться многим партийным активистам еще более странным, чем забота о внутрипартийной демократии, проявленная главой ВЧК и ОГПУ Дзержинским. Троцкий никогда не слыл в партийно-государственных кругах демократом, и его методы работы, например, в армии и на транспорте, отличались крайней авторитарностью. Именно Троцкий еще недавно настаивал на милитаризации труда на предприятиях и на «перетряхивании» профсоюзов, их полном подчинении государству. С этим авторитаризмом сочетался и крайний индивидуализм Троцкого, его высокомерие, что давало повод и самым близким людям называть его «барином».

Так или иначе, а именно Троцкий возглавил левую оппозицию в партии, и это определило в дальнейшем как многие ее успехи, так и неудачи.

Письмо Троцкого в ЦК и «заявление 46-ти» были такими документами, мимо которых руководство партии не могло пройти. 25—27 октября 1923 года в Москве был созван объединенный Пленум ЦК и ЦКК совместно с представителями 10 партийных организаций. Пленум осудил эти документы как шаг к расколу партии и как пример фракционной деятельности. Однако резолюция Пленума была опубликована лишь через несколько месяцев. Руководство партии понимало, что избежать новой большой дискуссии уже невозможно. Но оно не хотело положить в основу дискуссии письмо Троцкого или «заявление 46-ти». Политбюро стремилось взять инициативу дискуссии в свои руки. 7 ноября 1923 года в «Правде» была опубликована большая статья Г. Зиновьева «Новые задачи партии», выдержанная в критическом и самокритичном духе. Зиновьев, в частности, утверждал, что «во внутрипартийной жизни за последнее время наблюдается чрезмерный штиль, местами даже прямо застой... Главная наша беда состоит часто в том, что все важнейшие вопросы у нас идут сверху вниз предрешенными. Это суживает творчество всей массы членов партии, это уменьшает самодеятельность низовых партячеек...»

«Правда» призвала членов партии развернуть широкую дискуссию о статье Зиновьева как в печати, так и в партийных организациях. С 13 ноября «Правда» начала регулярно печатать в порядке дискуссии разнообразные материалы и статьи по проблемам внутрипартийной демократии. Эта дискуссия вызвала огромный интерес в партии. Публиковались статьи как сторонников, так и противников Троцкого. Однако по многим положениям эти статьи не слишком разнились. И та, и другая стороны признавали ненормальность сложившегося в партии положения и призывали к всемерному развитию внутрипартийной демократии. При этом было высказано немало разумных предложений и соображений, многие из которых не потеряли своей актуальности и поныне. В целом дискуссия имела конструктивный характер, и это открывало возможность для компромисса. И такой компромисс был достигнут. 5 декабря 1923 года состоялось совместное заседание Политбюро ЦК и Президиума ЦКК. На нем после долгих и трудных споров единогласно была принята резолюция, которую 7 декабря опубликовала «Правда». В резолюции говорилось:

«Только постоянная, живая идейная жизнь может сохранить партию такой, какой она сложилась до и во время революции, с постоянным критическим изучением своего прошлого, исправлением своих ошибок и коллективным обсуждением важнейших вопросов. Только эти методы работы способны дать действительные гарантии против того, чтобы эпизодические разногласия не превращались во фракционные группировки. Для предотвращения этого требуется, чтобы руководящие партийные органы прислушивались к голосу широких партийных масс, не считали всякую критику проявлением фракционности и не толкали этим добросовестных и дисциплинированных партийцев на путь замкнутости и фракционности... Необходимо расширить сеть партийных дискуссионных клубов, не прибегать к неправильным ссылкам на «партийную дисциплину», когда речь идет о праве и обязанности членов партии на обсуждение интересующих их вопросов и вынесение решений...».

За резолюцию голосовали среди других как Троцкий, так и Сталин, Зиновьев и Каменев. Но единодушие оказалось не слишком прочным. Для Сталина и Зиновьева резолюция от 5 декабря была некоторой уступкой давлению оппозиции. Во всяком случае, им пришлось признать наличие существенных элементов бюрократизма в партийном аппарате и даже призвать партию к их решительному искоренению. Но это была чисто «бумажная» уступка, уступка на словах, а не на деле. Ибо никакой существенной борьбы за расширение внутрипартийной демократии, за расширение дискуссионных клубов Политбюро после 5 декабря не развернуло. Напротив, многие работники аппарата восприняли резолюцию от 5 декабря как сигнал к окончанию дискуссий и стали на деле сокращать возможности для «добросовестных и дисциплинированных партийцев» заниматься «постоянным критическим изучением своего прошлого, исправлением своих ошибок и коллективным обсуждением важнейших вопросов».

Но и «левая» оппозиция не собиралась отступать. Она не добилась никаких изменений в руководстве партии, а это вопреки заверениям Троцкого было ее важнейшей задачей. Поэтому она решила использовать свою частичную победу для усиления нажима на Политбюро.

Уже вечером 8 декабря на собрании партийного актива Краснопресненского района Москвы было зачитано письмо Троцкого к партийным совещаниям, озаглавленное «Новый курс». По форме это были личные комментарии Троцкого к только что опубликованной резолюции Политбюро ЦК и Президиума ЦКК. Троцкий заявлял, что она является поворотным пунктом в жизни партии, что она обращена в первую очередь к рядовым членам партии, и они должны использовать открывшиеся для них возможности.

Письмо Троцкого было встречено враждебно не только «тройкой», но и большинством партийного аппарата. Тем не менее оно было опубликовано 11 декабря в «Правде» с рядом добавлений и примечаний самого Троцкого. Он пользовался еще слишком большим влиянием, чтобы можно было помешать этой публикации. На упреки некоторых активистов Сталин ответил:

«Говорят, что ЦК должен был запретить печатание статьи Троцкого. Это неверно, товарищи. Это было бы со стороны ЦК опаснейшим шагом. Попробуйте-ка запретить статью Троцкого, уже оглашенную в районах Москвы! ЦК не мог пойти на такой опрометчивый шаг».

Выступление Троцкого дало повод к новой вспышке дискуссии. Повсеместно проходили как общие собрания партийных организаций, так и фракционные собрания сторонников «левой» оппозиции. В одних организациях принимались резолюции в поддержку линии большинства ЦК, в других поддерживалась линия оппозиции. Наибольшую поддержку сторонники Троцкого получили среди учащейся молодежи, служащих советских учреждений, во многих военных организациях. На предприятиях они чаще всего оставались в меньшинстве.

Из-за болезни Троцкий не мог принять непосредственного участия в проходивших повсеместно собраниях и конференциях, что, несомненно, ослабляло ряды «левой» оппозиции. В порядке развития и продолжения своего письма от 8 декабря он написал еще две большие статьи, которые были опубликованы 28 и 29 декабря 1923 года в «Правде». Вместе с другими материалами и статьями все эти публикации были объединены в брошюре «Новый курс», выпущенной в свет в начале января 1924 года. Троцкий в этой брошюре расширил масштабы дискуссии. Он не только намекал на возможность перерождения старой партийной гвардии, но также призывал ориентироваться на молодежь и в первую очередь на учащуюся молодежь, которая, по его словам, должна быть «вернейшим барометром партии». Этот тезис с воодушевлением встретили во многих студенческих организациях, но он не получил поддержки даже среди тех, кто подписал «заявление 46-ти».

У оппонентов Троцкого не вызывали возражений критические замечания «левой» оппозиции по поводу бюрократизации партийного аппарата. Но они обвиняли Троцкого в попытке противопоставить этот аппарат всей партии и в попытке создать в ней собственную фракцию, что якобы могло повести к расколу. Они решительно отвергали намеки насчет возможности перерождения старой партийной гвардии. При этом постоянно отмечали тот факт, что сам Троцкий никак не может быть назван «старым большевиком», ибо он вступил в партию большевиков только летом 1917 года.

В ответ Троцкий довольно надменно давал понять, что именно он и его ближайшие сторонники являются настоящими ленинцами, подлинными носителями ленинизма и что правильную линию надо искать не «справках биографического характера».

Итоги первого этапа дискуссии были подведены на XIII партийной конференции, состоявшейся в январе 1924 года. Предшествовавшие ей партийные собрания в ячейках показали все еще значительное влияние «левой» оппозиции. Даже на районных партийных конференциях в Москве за троцкистскую оппозицию было подано 36 процентов голосов. Ни одна из последующих оппозиций не собирала

столько голосов рядовых членов партии. И все же в целом «левая» оппозиция понесла поражение. На XIII конференции РКП(б) эта оппозиция была осуждена как «мелкобуржуазный уклон» в партии. Решения конференции были одобрены XIII съездом РКП(б), который состоялся в конце мая 1924 года. Съезд решил приобщить резолюции XIII партконференции к своим постановлениям.

В самом конце 1924 года Сталин издал сборник своих статей и выступлений за этот год. В предисловии он впервые выдвинул новую для него формулу о возможности построения социализма в СССР даже в условиях капиталистического окружения. Одновременно он подверг резкой критике взгляды Троцкого по данному вопросу. Но Троцкий тогда не стал отвечать Сталину, и главные споры развернулись уже на других этапах внутрипартийной борьбы.

Серьезные разногласия возникли между оппозицией и большинством партийного руководства при оценке хозяйственного положения СССР и перспектив его экономического развития. «Левая» оппозиция была склонна преувеличивать экономические затруднения и недостатки хозяйственного руководства, не видела реальных возможностей социалистического строительства в деревне. Ленинский кооперативный план, как план строительства социализма, оппозиция рассматривала скорее как утопическую иллюзию. Оппозиция обвиняла партию в «кулацком уклоне» и требовала увеличить давление на капиталистические элементы в городе и деревне, что противоречило основным принципам нэпа. В явно демагогических целях «левая» оппозиция до крайности преувеличивала объем частного капитала в СССР.

Предложение о форсированном развитии промышленности «левая» оппозиция увязывала с предложением более массово изымать средства из деревни, из еще не вполне оправившегося сельского хозяйства. Как раз в 1924 году в одной из статей Е. Преображенский утверждал, что для социалистического накопления нужно пойти на «эксплуатацию пролетариатом досоциалистических форм хозяйства».

Острая вспышка дискуссии произошла поздней осенью 1924 года в связи с обсуждением некоторых историко-партийных проблем. К тому времени был подготовлен очередной том собрания сочинений Л. Троцкого, содержащий статьи и речи за 1917 год. Троцкий не только решил издать их отдельным сборником (как это сделал Сталин), но и написал обширное введение под заголовком «Уроки Октября», которое вскоре вышло в свет брошюрой. Публикация преследовала главным образом политические цели. К концу 1924 года лишь небольшую часть партии составляли те, кто вступил в нее еще до Октябрьской революции. Большинство членов партии плохо знало ее историю и биографии ее вождей. Публикуя «Уроки Октября», Троцкий рассчитывал нанести сокрушительный удар по репутации Зиновьева и Каменева, которые выступали, как известно, против Октябрьского вооруженного восстания, а в дальнейшем требовали создать общее с меньшевиками и эсерами «социалистическое правительство». Одновременно Троцкий подчеркивал свою выдающуюся роль в подготовке и проведении Октябрьской революции.

Нельзя сказать, что «Уроки Октября» были фальсификацией, хотя определенная тенденциозность этой работы очевидна. Но чем больше точных фактов содержалось в брошюре Троцкого, тем больший гнев она вызвала у Зиновьева и Каменева. На Троцкого и «троцкизм» обрушился поток новых статей и выступлений. Троцкому припоминали теперь все его выступления против Ленина и большевиков в период между 1903 и 1916 годами. Одновременно публиковались резкие отзывы Ленина о Троцком, относящиеся к тому же периоду. Авторы многих публикаций не отрицали заслуг Троцкого в октябре 1917 года. Но они напоминали о том, что Троцкий пришел к большевикам лишь летом 1917 года, когда вся основная работа по подготовке Октябрьской революции была уже проделана. Так начинала складываться легенда о том, что важная роль в организации Октябрьского вооруженного восстания принадлежала не Военно-революционному комитету при Петроградском Совете, возглавляемом Троцким, а так называемому практическому, или партийному, центру по организационному руководству восстанием, в состав которого Троцкий не входил.

Резолюции, направленные против Троцкого и «левой» оппозиции принимались во всех почти партийных организациях. Возглавляемый Зиновьевым Ленинградский губком предложил исключить Троцкого из партии. Многие партийные ячейки, в том числе в армии и на флоте, предлагали снять Троцкого с поста народного комиссара по военным и морским делам. Этот вопрос должен был обсуждаться на Пленуме ЦК, который был намечен на 17 января 1925 года. Не дожидаясь Пленума, Троцкий направил в ЦК пространное заявление, в котором просил освободить его от обязанностей Председателя Революционного Военного Совета. Он писал также, что готов в будущем «выполнять любую работу по поручению ЦК на любом посту и вне всякого поста и, само собой разумеется, в условиях любого партийного контроля».

Пленум ЦК РКП(б) состоялся 17—20 января 1925 года. Он осудил «совокупность выступлений Троцкого против партии» и признал «невозможной дальнейшую работу тов. Троцкого в РВС СССР». Одновременно Пленум постановил дискуссию считать законченной. Троцкий был, однако, оставлен в составе Политбюро. Через некоторое время он получил новые назначения: членом Президиума ВСНХ, начальником электротехнического управления, председателем научно-технического отдела ВСНХ и председателем Главного Концессионного Комитета.

3

Почти сразу после поражения троцкистской оппозиции в партии возникла «новая», или «ленинградская» оппозиция, во главе которой оказались Г. Зиновьев и Л. Каменев.

В Политбюро после смерти Ленина был избран Н. И. Бухарин. Полноправными членами Политбюро стали в конце 1924 года семь человек: Бухарин, Зиновьев, Каменев, Рыков, Сталин, Томский и Троцкий. По основным вопросам внешней и внутренней политики Рыков, Томский и Бухарин поддерживали Сталина, и это создавало для него возможность выйти из-под опеки Зиновьева и Каменева.

По существу, сразу же после XIII съезда партии Сталин начал оттеснять Зиновьева и Каменева от руководящего положения в «тройке». Недавней дружбе приходил конец. Через несколько недель после съезда в «Правде» был опубликован доклад Сталина «Об итогах XIII съезда РКП(б)», прочитанный им на курсах секретарей укомов партии при ЦК. В этом докладе Сталин обвинил Каменева в «обычной беззаботности насчет вопросов теории, насчет точных теоретических определений». Поводом послужило искажение в докладе Каменева ленинской цитаты о превращении «России нэповской в Россию социалистическую». Вместо слова «нэповской» в «Правде» было напечатано «нэпмановской». Сталин пустился в рассуждения о том, что никакой «нэпмановской» России у нас нет и быть не может. В действительности это искажение случилось из-за невнимательности стенографиста и корректора, о чем через несколько дней и сообщила «Правда».

В том же докладе Сталина содержались нападки и на Зиновьева, хотя его фамилия не упоминалась

Зиновьев и Каменев реагировали весьма болезненно. По их требованию в ЦК собралось совещание руководящего ядра партии, на котором присутствовали 25 членов ЦК и все члены Политбюро. Большинством голосов выпады Сталина были отвергнуты и одновременно одобрена статья Зиновьева, опубликованная в «Правде» как редакционная. 23 августа 1924 года Сталин демонстративно подал в отставку, но она была отвергнута. Было принято решение, что все высшие руководители партии должны согласовывать друг с другом свои действия и выступления.

Осенью 1924 года Сталин осторожно провел некоторые перемещения в аппарате, ослабившие блок Зиновьева — Каменева. Их сторонник И. А. Зеленский был направлен секретарем Среднеазиатского бюро ЦК РКП(б). Перед этим он несколько лет возглавлял Московскую партийную организацию, а с 1924 года входил также в Оргбюро и Секретариат ЦК. Его место в Москве занял Н. А. Угланов, вовсе не склонный полностью п ддерживать Каменева и Зиновьева. Секретарями ЦК после XIII съезда РКП(б) были избраны Молотов, Каганович и Андреев, безоговорочно принимавшие руководство Сталина.

Разногласия в Политбюро касались главным образом второстепенных вопросов. Понемногу, однако, стали вырисовываться и принципиальные расхождения. Как раз в 1924—1925 годах начался важный поворот в политике партии в деревне. Суть его сводилась к ликвидации пережитков военного коммунизма и развитию сельскохозяйственного производства в рамках более последовательного проведения новой экономической политики. Был легализован наем батраков, облегчена аренда земли, отменены многие административные ограничения кулацкого хозяйства. Кроме того, снижен сельскохозяйственный налог и уменьшены цены на промышленные товары. Основная цель этих мероприятий состояла в оживлении хозяйственной деятельности середняка — центральной фигуры в деревне. При этом выигрывали и зажиточные крестьяне, но в целом — вся страна, ибо речь шла об увеличении производства продовольствия и сырья для легкой промышленности. Валовая продукция сельского хозяйства почти достигла уровня 1913 года и продолжала увеличиваться.

Новые решения ЦК по проблемам деревни были правильными и вполне укладывались в рамки нэпа. Можно было говорить лишь о преждевременности некоторых решений. Так, например, снижение цен на промышленные товары в условиях сохранения товарного голода и сокращение сельскохозяйственного налога привели к увеличению денежной массы в деревне, то есть к росту неудовлетворенного спроса.

Основная роль в теоретическом оформлении нового курса сельскохозяйственной политики принадлежала Н. И. Бухарину, которому почти во всем вторил и А. И. Рыков. При этом они нередко формулировали свои предложения с последовательностью и откровенностью, которые шокировали многих ортодоксальных большевиков, привыкших считать понятия «кулак», «торговец», «богатый крестьянин» синонимами понятия «враг пролетариата».

Хотя Бухарин и говорил о необходимости всемерно содействовать производственной кооперации, то есть колхозам, он не считал возможным их быстрое развитие из-за привязанности крестьян к своей собственности. Сначала нужно до предела развивать все возможности мелкого крестьянского землевладения, а затем все легче будет переводить крестьян и на рельсы производственного кооперирования, разумеется, при материальной поддержке государства.

К этому времени относится и лозунг Бухарина «обогащайтесь», который вызвал так много ожесточенных дискуссий. Выступая на собрании партийного актива Москвы, Бухарин сказал:

«Наша политика по отношению к деревне должна развиваться в таком направлении, чтобы раздвигались и уничтожались многие ограничения, тормозящие рост зажиточного и кулацкого хозяйства. Крестьянам, всем крестьянам надо сказать: обогащайтесь, развивайте свое хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут».

Очень скоро Бухарин отказался от этой формулировки, но подчеркнул, что это была «неправильная формулировка, ошибочная формулировка... совершенно правильного положения...». Дело в том, что мы «не препятствуем накоплению кулака и не стремимся организовать бедноту для повторной экспроприации кулака».

Ни взгляды и высказывания Бухарина, ни взгляды и высказывания Рыкова не противоречили основным положениям научного социализма, взглядам и высказываниям Ленина. Это не помешало тем не менее Зиновьеву и Каменеву атаковать платформу Бухарина, которую тогда поддерживало большинство Политбюро. И та, и другая стороны опирались при этом на высказывания Ленина. Ленин говорил, например, что нэп является политикой «стратегического отступления пролетарского государства», и Зиновьев напоминал и комментировал эти слова Ленина. Но Ленин также говорил о том, что нэп вводится в нашей стране всерьез и надолго и является специфической формой развития социализма, то есть не только отступления, но и наступления социализма. На эти слова Ленина ссылался и комментировал их Бухарин. Сталин в основном поддерживал Бухарина, хотя и не солидаризировался с ним полностью. Но Сталин решительно возражал Зиновьеву и Каменеву, которые обвиняли большинство ЦК в «кулацком уклоне». Они требо-

вали не ослабления, а усиления административного нажима на кулака, а также значительного увеличения налогов. Каменев предлагал увеличить налоговое обложение зажиточных слоев деревни на 100—200 миллионов рублей в год, а также произвести единовременное изъятие 1 миллиарда рублей из деревни на нужды индустриализации. Зиновьев и Каменев явно преувеличивали удельный вес и влияние кулачества в послереволюционной деревне. К середине 20-х годов кулацкие хозяйства составляли всего 4—5 процентов общего числа крестьянских хозяйств против 20 процентов в 1917 году. Поэтому беспокойство оппозиции насчет кулацкой опасности было явно преувеличено. Страна нуждалась в товарном хлебе, и потому предложение Каменева о частичном возрождении политики «военного коммунизма» было не только неправильным, но и опасным.

Надо полагать, что Сталин с удовлетворением наблюдал за развитием полемики, сохраняя для себя определенную свободу действий. Он четко отмежевался от бухаринского призыва «обогащайтесь» и заставил Бухарина признать свою ошибку. Но по настоянию Сталина ЦК партии не разрешил и публикацию статьи Н. К. Крупской с критикой этого бухаринского лозунга. Решительно отверг Сталин и утверждения Зиновьева о наличии в руководстве партии «кулацкого уклона». Не углубляясь в экономические дискуссии, Сталин в борьбе против зиновьевской оппозиции выступил в первую очередь как защитник тезиса о возможности построения социализма в отдельной стране, то есть в СССР.

Мы уже говорили о позиции Сталина в этом вопросе. Взгляды Зиновьева и Каменева здесь в большей мере приближались к взглядам Троцкого, хотя они и высказывали их со многими оговорками и более осторожно. Тем не менее на одном из заседаний Политбюро они подвергли критике Сталина, обвинив его в недооценке мировой революции и в национальной ограниченности. Большинство Политбюро не поддержало Зиновьева и Каменева. Однако они продолжали защищать свою точку зрения, главным образом в ленинградской печати.

XIV съезд ВКП(б) состоялся в конце декабря 1925 года. В основном политическом докладе на съезде Сталин почти ничего не сказал о разногласиях с зиновьевско-каменевской оппозицией. Таким образом, Сталин сразу поставил себя в более выгодное положение. Он дал Зиновьеву возможность сделать первый шаг в развертывании внутрипартийной борьбы, оставив за собой право подвести итог дискуссии.

Содоклад Зиновьева был, однако, весьма слабым, скучным и неубедительным. Опытный оратор и полемист, он в данном случае не смог увлечь за собой делегатов съезда, и ему аплодировала лишь ленинградская делегация. Положение «новой» оппозиции осложнялось и тем обстоятельством, что по многим теоретическим вопросам ее видные деятели существенно расходились между собой — это нашло отражение и в их речах на съезде.

Конечно, речи оппозиционных делегатов содержали и справедливые замечания. Не была лишена оснований их критика некоторых мероприятий ЦК в области сельского хозяйства. Справедливы были и указания на ужесточение внутрипартийного режима, прикрываемое лозунгом единства партии.

Приходится признать сегодня справедливость предупреждений некоторых оппозиционеров об опасности растущего культа отдельных вождей, и прежде всего культа Сталина. Наиболее решительно высказался на этот счет Л. Каменев:

«Мы против того, чтобы создавать теорию «вождя», мы против того, чтобы делать «вождя». Мы против того, чтобы Секретариат, фактически объединяя и политику и организацию, стоял над политическим органом... Лично я полагаю, что наш Генеральный секретарь не является той фигурой, которая может объединить вокруг себя старый большевистский штаб... Именно потому, что я неоднократно говорил это т. Сталину лично, именно потому, что я неоднократно говорил это группе товарищей-ленинцев, я повторяю это на съезде: я пришел к убеждению, что т. Сталин не может выполнить роли объединителя большевистского штаба».

Если бы эти слова прозвучали на предыдущем, XIII съезде партии в контексте только что ставшего известным «Завещания» Ленина, то Сталин почти наверняка не сохранил бы за собой пост Генерального секретаря ЦК. Но на XIV съезде ВКП(б) эти слова были прерваны негодующими возгласами большинства делегатов. Именно после этого съезда партии Сталина стали особо выделять среди других членов Политбюро.

Как и следовало ожидать, «новая» оппозиция потерпела на съезде полное поражение. Резолюция по отчету ЦК ВКП(б) была принята 559 голосами против 65. Партия отвергла в 1925 году притязания Зиновьева и Каменева на руководство в ЦК, как в 1924 году она отвергла аналогичные притязания Троцкого.

Сразу же после съезда большая группа делегатов во главе с Молотовым, Калининым, Ворошиловым, Андреевым, Кировым, Микояном, Орджоникидзе и другими выехала в Ленинград для разъяснения решений и резолюций съезда. Зиновьев и его сторонники в Ленинграде приняли вызов и защищали на проводившихся собраниях свою позицию. Но они проиграли это неравное политическое сражение. Уже на партийном собрании Путиловского завода была принята резолюция в поддержку решений съезда. Затем аналогичные резолюции стали принимать на большинстве собраний первичных партийных организаций, на районных партийных конференциях и в конечном счете на областной партийной конференции. В целом против оппозиции голосовало 96,3 процента участников партийных собраний. За оппозицию голосовало 3,2 процента, и 0,5 процента участников собраний воздержалось от голосования. Был избран новый состав Ленинградского губкома и Северо-Западного бюро ЦК во главе с С. М. Кировым, переизбраны также все бюро райкомов партии и комсомола.

Изменения произошли и в высшем эшелоне партийного руководства. Г. Зиновьев был отозван с поста председателя исполкома Коминтерна. Этот пост был вообще ликвидирован. Секретариат Исполкома Коминтерна возглавил Н. И. Бухарин. Зиновьев был оставлен в составе Политбюро, однако Л. Каменев был переведен из членов в кандидаты в члены Политбюро. Он был также освобожден с постов председателя СТО и заместителя Председателя Совнаркома СССР. На короткое время Каменев был назначен на пост наркома внутренней и внешней торговли. Полноправными членами Политбюро стали Ворошилов, Молотов и Калинин. Тем самым Сталин обеспечил себе решающее большинство не только в Секретариате, но и в Политбюро.

4

В 1925 году Троцкий и его не слишком многочисленные сторонники не принимали участия в той борьбе, которая развернулась между большинством ЦК и «новой» оппозицией. Хотя Зиновьев и Каменев атаковали Сталина и Бухарина в основном с «левых» позиций, повторяя нередко доводы, сходные с тезисами троцкистов, Троцкий рассматривал Зиновьева и Каменева скорее как «правое» крыло в партии и как своих личных врагов. Являясь членом Политбюро, Троцкий демонстративно держался в стороне от тех острых споров, которые все чаще и чаще с конца 1924 года возникали между Сталиным и его сторонниками, с одной стороны, и Зиновьевым и Каменевым — с другой. Иногда Троцкий приходил на заседание Политбюро с французским романом в руках и погружался в чтение, не обращая внимания на дискуссии. Однако, будучи политиком, он после XIV съезда ВКП(б), конечно, не мог сохранять позицию стороннего наблюдателя, оставаться вне борьбы. От своих ближайших сторонников он получал разные советы. Карл Радек — один из наиболее способных партийных публицистов — советовал Троцкому вступить в блок со Сталиным против Зиновьева и Каменева. Старый большевик Л. П. Серебряков, занимавший тогда видные посты в системе железнодорожного транспорта, рекомендовал Троцкому вступить в коалицию с Зиновьевым и Каменевым. С. В. Мрачковский — старый революционер, отличившийся на фронтах гражданской войны — предупреждал Троцкого против обоих «блоков». Троцкий решил последовать совету Серебрякова.

Еще до формального соглашения Зиновьев, Каменев и Троцкий и их сторонники стали поддерживать друг друга на заседаниях Политбюро и Центрального Комитета. Наконец, не без колебаний с обеих сторон, была организована тайная

встреча Троцкого, Зиновьева и Каменева — первая вне официальной обстановки с начала 1923 года. За ней последовали другие, которые происходили на квартирах в Кремле или на квартире Радека.

Настойчивая инициатива переговоров исходила от Зиновьева и Каменева. Они пытались изобличить Сталина, считая его не слишком опасным противником. Они были полны оптимизма, уверены, что, едва партия узнает о соглашении между ними и Троцким, большинство сразу же встанет на их сторону. Каменев однажды даже воскликнул, обращаясь к Троцкому: «Как только вы появитесь на трибуне рука об руку с Зиновьевым, партия скажет: «Вот Центральный Комитет! Вот правительство!»

И Троцкий поддался на уговоры. Он готов был бороться за власть в блоке с Зиновьевым. Он не говорил теперь, что ему «невыносима» мысль о борьбе за власть. Правда, позднее он многократно уверял, что никогда не разделял иллюзий Зиновьева и Каменева. Но в этом можно усомниться, если проследить за всей историей «объединенной» оппозиции. Принимая руководство ею, Троцкий так же надеялся на успех. Он только призывал своих союзников не надеяться на быстрый успех.

Первое совместное выступление троцкистов и зиновьевцев произошло на апрельском 1926 года Пленуме ЦК, когда они потребовали разработки планов более интенсивной индустриализации страны. Еще через три месяца «объединенная» оппозиция направила в ЦК и ЦКК пространный документ, в котором критиковалась деятельность партийного руководства.

Естественно, что объединение двух группировок в партии сопровождалось взаимным отпущением грехов.

Каких только резких слов не говорили Зиновьев и Каменев в 1923—1924 годах в адрес Троцкого и его платформы! Именно Зиновьев отбрасывал как «клевету» предупреждения Троцкого насчет бюрократизации и перерождения советского и партийного аппарата. Именно Каменев требовал в своих речах, чтобы партия «против мелкобуржуазного влияния Троцкого держала окопы в полном порядке». Даже организовав «новую» оппозицию, Зиновьев и Каменев обвиняли большинство ЦК в примиренчестве к троцкизму, называли политику ЦК «полутроцкистской». Совершенно иные речи стали произносить лидеры оппозиций в 1926 году.

«Было такое печальное время,— говорил, например, Зиновьев.— ...Вместо того, чтобы нам — двум группам настоящих пролетарских революционеров — объединиться вместе против сползающих Сталина и его друзей, мы, в силу ряда неясностей в положении вещей в партии, в течение пары лет били друг друга по головам, о чем весьма сожалеем, и надеемся, что это никогда не повторится».

«Несомненно, что в «Уроках Октября»,— заявлял, в свою очередь, Троцкий,— я связывал оппортунистические сдвиги в политике с именами тт. Зиновьева и Каменева. Как свидетельствует опыт идейной борьбы внутри ЦК, это было грубой ошибкой. Объяснение этой ошибки кроется в том, что я не имел возможности следить за идейной борьбой внутри семерки и вовремя установить, что оппортунистические сдвиги вызывались группой, возглавляемой т. Сталиным, против тт. Зиновьева и Каменева».

Неожиданный союз Зиновьева, Каменева и Троцкого обещал новое обострение внутрипартийной борьбы. Но этот союз не увеличивал возможностей оппозиции. Если бы он был заключен в 1923 или даже в 1924 году, то одолеть его Сталин, вероятнее всего, не смог бы. Однако теперь борьба оппозиции за власть в партии и в стране была обречена на неудачу.

Весной и в начале лета лидеры оппозиции развернули весьма активную работу, значительная часть которой проводилась конспиративно. В десятки городов направлялись представители оппозиции, чтобы знакомить своих сторонников с выработанной платформой. На местах проводились нелегальные собрания, вербовались новые члены оппозиционной фракции. Одно из нелегальных собраний было проведено в лесу под Москвой с соблюдением всех правил конспирации.

Новое столкновение оппозиции с большинством ЦК произошло на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в июле 1926 года. От имени оппозиционного блока выступил Троцкий. Партия увидела Троцкого, Зиновьева и Каменева вместе, но мало кто воскликнул: «Вот оно, правительство!» Подавляющее большинство ЦК осудило оппозицию. Зиновьев был выведен из состава Политбюро,— теперь в нем из оппозиционеров остался один Троцкий.

Несомненно, что многие критические высказывания оппозиции были правильны. Не была, например, мифом далеко зашедшая бюрократизация как советского, так и партийного аппарата. Много справедливого было и в критике некоторых аспектов экономической политики партийного руководства. Промышленное производство в 1925—1926 годах увеличивалось очень быстрыми темпами (до 30—35 процентов в год), однако именно тогда в народном хозяйстве наметились некоторые опасные диспропорции. Несмотря на рост промышленного производства, в стране обострялся товарный голод, ибо еще быстрее возрастал платежеспособный спрос как в городе, так и в деревне. Недостаток товаров затруднял для крестьян продажу излишков зерна. Заметно сократился экспорт, прежде всего экспорт хлеба. Пришлось сократить и импортный план. Уменьшение закупок хлопка создало трудности для текстильной промышленности. Возрастало пассивное сальдо советской внешней торговли, а стало быть, и задолженность иностранным фирмам. Чтобы поддержать доверие к СССР как к торговому партнеру, был увеличен вывоз золота и т. д.

Совершенно справедливым было требование оппозиции осудить теорию «социал-фашизма» — это понятие использовалось тогда при оценке деятельности социал-демократии. Теория «социал-фашизма», к созданию которой причастен был не только Сталин, но и Зиновьев, компрометировала коммунистов в глазах левой социал-демократии, помогала ее правым лидерам и мешала единству действий рабочего класса против наступления фашизма.

Однако, несмотря на многие верные замечания, общая направленность политической платформы оппозиции была ошибочной.

Оппозиция по-прежнему защищала тезис о невозможности построения социализма в такой отдельно взятой стране, как СССР, без помощи победившего западного пролетариата.

Лидеры оппозиции в пылу полемики до крайности преувеличивали недостатки партийной политики, а это вызывало протест партийных кадров. Тенденцию выдавали за уже развернутый процесс; перерождение, которое затронуло лишь часть партийного аппарата, выдавали за перерождение едва ли не всего аппарата. Поэтому и лозунг оппозиции о необходимости «революции в партийном режиме» воспринимался большинством партии как «левацкий». Курс партии представлялся оппозицией как непрерывное отступление. Из факта некоторого роста кулачества и нэпмановской буржуазии, вполне естественного при нэпе, оппозиция делала вывод, что Сталин, Рыков и Бухарин возрождают капитализм.

Неверным было и утверждение оппозиции, будто частный сектор осуществляет накопление более быстрыми темпами, чем общественный. Вообще явно в демагогических целях оппозиция преувеличивала масштабы капиталистического развития в стране и связанные с этим опасности.

Советская промышленность стала действительно получать все больше и больше сырья и экспортных ресурсов из деревни, но это было выгодно не только зажиточной части деревни, а и всему обществу.

Вопреки утверждениям Троцкого, никакого срастания верхов партии с верхами нэпмановской буржуазии в 1926 году не происходило. Поэтому угроза перехода власти в руки буржуазии или кулачества была ничтожна. Перерождение отдельных звеньев партии носило иной, гораздо более сложный характер.

Справедливо критикуя политику снижения оптовых и розничных цен, проводимую в условиях товарного голода, некоторые из лидеров оппозиции предлагали повысить цены на промтовары на 20—30 процентов, что было также неправильно. Хотя некоторое повышение цен на наиболее дефицитные товары и было в тот период необходимо (на перепродаже этих товаров по более высоким ценам наживались частные торговцы), общее повышение цен на промышленные товары было бы нежелательно.

Экономическую программу оппозиции разрабатывал главным образом Е. Преображенский, со стороны большинства ЦК ему противостояли Бухарин и его ученики.

По мнению Бухарина и его школы, ни налоги на частное хозяйство, ни цены на продукцию социалистических предприятий не должны быть столь велики, чтобы мешать развитию частного сектора и индивидуальных крестьянских хозяйств. Иными словами, должен развиваться не только социалистический сектор, но — пусть более медленно — и частный, ибо расширенное воспроизводство в этом секторе выгодно всему обществу и дает дополнительные средства для ускоренного расширенного воспроизводства социалистического хозяйства.

Схема, которую развивал Преображенский, была иной. Он считал, что длительное сосуществование социалистической системы и частнотоварного производства невозможно. Не стесняясь в выражениях, Преображенский писал, что одна из этих систем неизбежно должна «пожирать» другую. Поэтому Преображенский выступал не просто за «перекачку» средств в социалистический сектор из других секторов, а за такую перекачку, которая вела бы к постепенному вытеснению всех несоциалистических секторов из экономической жизни, к их ликвидации. Он применял понятия «эксплуатация» и «экспроприация» и даже сравнивал перекачку средств из деревни в город с перекачкой средств из колоний капиталистических стран в метрополии. Использование пролетарским государством для нужд социалистического развития прибавочного продукта несоциалистических форм хозяйства Преображенский называл «первоначальным социалистическим накоплением» и считал его основным законом советского хозяйства.

Сталин старался не втягиваться в экономические дискуссии с лидерами оппозиции, предоставив это Бухарину и его ученикам. Умело и ловко используя невыгодную для «объединенной» оппозиции ситуацию, Сталин в первую очередь обвинил лидеров этой оппозиции в беспринципности. Это обвинение было нетрудно обосновать, приводя обширные цитаты из недавних резких нападок лидеров оппозиции друг на друга. Кроме того, Сталин объединил в один ряд все прошлые ошибки как Троцкого, так и Зиновьева с Каменевым. А это был довольно тяжелый политический балласт для любой оппозиции. Основной удар в борьбе Сталин перенес на проблему единства партии — он обвинил «объединенную» оппозицию в раздувании фракционной борьбы. Сталин уловил настроения не только партийного аппарата, но и партийных масс, которые устали от бесконечных дискуссий, да еще в условиях сравнительно трудного материального положения.

Практически уже к осени, то есть всего через несколько месяцев после создания «объединенной» оппозиции, стало очевидным, что она не смогла увлечь за собой партийные массы и потерпела политическое поражение.

Добившись победы над оппозицией, Сталин торопился закрепить ее организационно. На состоявшемся 23—26 октября объединенном Пленуме ЦК и ЦКК было принято решение исключить Троцкого из состава Политбюро, а Каменева из кандидатов в члены Политбюро.

Сталин внимательно следил за деятельностью лидеров оппозиции. Там, где информация, поступавшая к нему по партийным каналам, была недостаточна, он без колебаний использовал органы ГПУ, и их новый руководитель Менжинский обычно шел ему навстречу. Не устраивало уже Сталина и перемирие с Троцким. Сознавая свое превосходство и являясь хозяином положения, Сталин стремился полностью разгромить политических соперников и установить полный контроль над партией. Призывая оппозицию к искренности и осуждая ее за лицемерие, Сталин уже тогда сам лицемерил и обманывал партию, скрывая даже от близких ему людей свои истинные цели.

Одним из поводов для разгрома оппозиции стало раскрытие органами ГПУ нелегальной типографии оппозиционеров. Ее работники, а также руководивший типографией Мрачковский были арестованы. Один из арестованных, в прошлом белогвардейский офицер, был тайным сотрудником ГПУ — это позднее признавал и сам Менжинский. Дело о подпольной типографии и «белогвардейском офицере» максимально использовали для компрометации Троцкого и оппозиции. Состоявшийся в конце октября 1927 года Пленум ЦК и ЦКК принял решение исключить Троцкого и Зиновьева из членов ЦК, сохранив их, однако, в рядах партии.

В «Правде» 2 ноября 1927 года была опубликована речь Троцкого на октябрьском Пленуме — последняя его политическая речь на заседании ЦК ВКП(б). Она достаточно ясно показывает всю нереалистичность платформы «левой» оппозиции и самого Троцкого. Такая платформа, в которой критика недостатков партийного руководства преподносилась в предельно заостренной форме и с элементами демагогии, не могла иметь успех не только у руководителей, но и у большинства членов правящей партии. С другой стороны, оставляет тяжелое впечатление и грубость оппонентов Троцкого, таких, например, как Петровский, Скрыпник, Уншлихт, Ворошилов, Голощекин, Чубарь, Ломов, Калинин. Речь Троцкого они прерывали яростными возгласами, не дали ее закончить. Под крики «Долой!», «Вон!» покинул трибуну Пленума и Зиновьев.

В ответ на решение об исключении лидеров оппозиции из ЦК оппозиция предприняла попытку провести свою, отдельную демонстрацию в честь 10-летия Октябрьской революции. Однако то была демонстрация не столько силы, сколько слабости. Рабочих в ее рядах почти не было, преобладала студенческая молодежь, служащие некоторых учреждений. Они несли лозунги: «Выполним завещание Ленина», «Ударим по правым, по кулаку, по нэпману, по бюрократу», «Долой Сталина!», «Да здравствует Троцкий!», «Против оппортунизма и раскола — за единство ленинской партии!», «Да здравствуют вожди мировой революции Зиновьев и Троцкий!». В песне, которую они пели, были слова: «Да здравствует Троцкий — вождь Красной Армии!» Во время этой демонстрации лидеры оппозиции произносили речи с балкона одного из домов на углу Воздвиженки и Моховой улицы.

По сравнению с праздничной демонстрацией трудящихся Москвы «оппозиционная» производила жалкое впечатление. Ее легко разогнали быстро созданные для этого рабочие дружины, а также подразделения милиции. Здесь же, на улице, были произведены и первые аресты. У демонстрантов вырывали из рук лозунги, портреты Троцкого. Многих студентов избили. Еще более неудачной оказалась попытка организовать оппозиционную манифестацию в Ленинграде. Зиновьев, явно переоценивший свое влияние в городе, едва не был избит.

14 ноября за организацию оппозиционных демонстраций Пленум ЦК и ЦКК исключил Троцкого и Зиновьева из партии. Из ЦК и ЦКК были выведены еще остававшиеся в составе этих органов активные деятели оппозиции.

В декабре состоялся XV съезд ВКП(б). На съезде было подтверждено исключение Троцкого и Зиновьева из партии. Одновременно съезд постановил исключить из партии 75 активных деятелей оппозиции, в том числе Каменева, Пятакова, Радека, Раковского, Сафарова, Смилгу, И. Смирнова, Лашевича, а также предложил партийным организациям «очистить свои ряды от всех явно неисправимых элементов троцкистской оппозиции». Съезд завершил организационный разгром оппозиции. На нем царила атмосфера нетерпимости, выступления представителей оппозиции грубо прерывались, отовсюду неслись резкие и оскорбительные выкрики. Многие делегаты съезда требовали принять еще более жесткие меры против сторонников оппозиции и ограничить всякие дискуссии в партии. Раздавались призывы еще более ужесточить партийный режим.

Председатель Совнаркома А. Рыков даже сказал:

«По обстановке, которую оппозиция пыталась создать, сидят в тюрьмах очень мало. Я думаю, что нельзя ручаться за то, что население тюрем не придется в ближайшее время несколько увеличить» (голоса: «Правильно!»).

Делегат из Москвы Г. Михайловский, искажая исторические факты, высказался вообще против дискуссий в партии.

Уже на съезде некоторые видные представители зиновьевской оппозиции заявили о своем отказе от оппозиционной деятельности и просили вернуть их в партию. Съезд принял постановление рассматривать такие заявления лишь в индивидуальном порядке и принимать по ним решения только через шесть месяцев.

После XV съезда Каменев, Бакаев, Евдокимов и некоторые другие «зиновь-

евцы» заявили, что подчиняются его решениям. Вскоре капитулировал и Зиновьев. В середине 1928 года Зиновьев, Каменев и многие их сторонники были восстановлены в партии, им были предоставлены различные должности в советском и хозяйственном аппарате. Что касается активных троцкистов, то они намеревались продолжать борьбу со «сталинской фракцией». ЦК партии решил поэтому усилить репрессии против троцкистов. Почти все троцкисты, не подавшие письменного заявления об осуждении своих взглядов, были арестованы и помещены в политизоляторы или сосланы в отдаленные районы страны. Одним из первых было решено выслать Троцкого. Его уведомили о высылке за четыре дня. Проводить Троцкого на вокзал пришло множество его сторонников, было очевидно, что он еще популярен. По свидетельству М. А. Солнцевой, некоторые из провожающих ложились на рельсы. Отъезд Троцкого был отложен на 18 января. Однако 17 января на его квартиру пришли работники ОГПУ и аппарата ЦК и потребовали, чтобы он уехал немедленно. Троцкий отказался, и его силой вынесли на руках и затолкали в стоявшую у подъезда машину. Затем его отвезли на вокзал и посадили в поезд, отправлявшийся в Алма-Ату. Сын Троцкого, Седов, стал кричать, обращаясь к железнодорожникам: «Смотрите, они увозят Троцкого!» Но никто не вмешался, и поезд отошел от перрона.

В течение года Троцкий вместе с семьей жил в Алма-Ате, продолжая поддерживать легальную и нелегальную связь со своими сторонниками и ведя обширную переписку. Настроен он был еще весьма оптимистически.

В январе 1929 года было решено выслать Троцкого за границу. Вместе с семьей его тайно привезли в Одессу и на пароходе «Ильич» отправили за пределы СССР. По договоренности с Турцией, у которой были в те годы хорошие отношения с СССР, Троцкому было предложено поселиться на одном из Принцевых островов в Мраморном море. Здесь он провел более четырех лет, занимаясь главным образом литературной деятельностью. Кроме нескольких книг и множества статей, которые издавались на Западе, Троцкий написал и большую часть материалов для созданного им «Бюллетеня оппозиции». Он был все еще полон надежд на успех своего движения и утверждал, что «левая оппозиция, вопреки лживым сообщениям официозной печати, идейно крепнет и численно растет во всем мире. Она сделала крупнейшие успехи за последний год».

Эти иллюзии очень скоро стали рассеиваться. Высылка Троцкого из СССР, суровые репрессии против оппозиционеров, начавшаяся борьба с «правым» уклоном, все более жесткая антикулацкая и антинэпмановская политика, ускорение индустриализации и начало сплошной коллективизации, означавшие явный поворот Сталина «влево»,— все это вызвало быстрый распад троцкистской оппозиции. У большинства видных оппозиционеров воля к борьбе со Сталиным была сломлена, под разными предлогами они стали переходить на его сторону.

«Сталинисты,— писал Радек в одном из писем,— оказались достойнее, чем думала оппозиция». Радек и Преображенский решительно отмежевались от теории «перманентной революции», которую ранее поддерживали. Они должны были отмежеваться и от Троцкого. Возвращаясь из ссылки в Москву под конвоем, К. Радек на одной из станций в своей речи, обращенной к собравшимся здесь ссыльным троцкистам, призвал их капитулировать перед ЦК. Он говорил о тяжелом положении в стране, о недостатке хлеба, о недовольстве рабочих и угрозе крестьянских восстаний. В такой обстановке оппозиция должна признать свою неправоту и объединиться с партией. «Мы сами привели себя в изгнание и в тюрьму... Я порвал с Троцким, мы теперь политические враги». Затем от Троцкого отошли И. Т. Смилга, Л. П. Серебряков и И. Н. Смирнов.

Дольше других сопротивлялся Х. Г. Раковский. Однако к концу 1929 года он и его группа (Сосновский, Муралов, Мдивани и другие) направили «Открытое письмо Центральному Комитету», в котором хотя и содержалась критика политики Сталина, а также требование вернуть Троцкого в СССР, вместе с тем был и призыв к примирению. Вскоре большинство членов этой группы полностью капитулировало, и им разрешили вернуться в Москву, где многие из них заняли места и должности, которые до этого занимали участники бухаринской оппозиции. Х. Раковский был, может быть, последним из тех наиболее крупных приверженцев Троцкого, кто упорно стоял на своем, но в начале 30-х годов и он капитулировал.

Фактически из всех лидеров «объединенной» оппозиции пытался продолжать борьбу со Сталиным только один Троцкий. Он вел громадную переписку со своими сторонниками в других странах, стараясь создать троцкистские фракции или группы, пытался наладить доставку троцкистской литературы и «Бюллетеня оппозиции» в СССР. Однако даже тайных сторонников в СССР у него почти не было. Субъективно Троцкий и теперь оставался революционером, а не «фашиствующим контрреволюционером», как заявлял Сталин. Из-за присущих Троцкому догматизма и тенденциозности, а также недостатка информации он не смог понять и оценить те сложные процессы, которые происходили в 30-е годы в СССР и в мировом коммунистическом движении. Поэтому он не сумел не только сформулировать никакой альтернативной марксистской программы, но даже разобраться в причинах своего поражения.

5

Не успели отшуметь острые столкновения с «левой» оппозицией, как начала набирать силу борьба с «правым» уклоном. В ходе этой борьбы ярлык «правого уклониста» был навешен на многих старейших и известных руководителей партии. Ведущей фигурой этой новой группы оппонентов Сталина был Николай Иванович Бухарин, а наиболее последовательными его союзниками — А. И. Рыков и М. П. Томский. Победа над зиновьевской оппозицией выдвинула Бухарина в число наиболее авторитетных членов партийного руководства, он стал официальным теоретиком партии, а также возглавил Коминтерн.

В 1925—1927 годах, несмотря на атаки «левой» оппозиции, проводился курс на общее развитие производительных сил деревни, включая и развитие, если пользоваться терминологией М. И. Калинина, «мощных трудовых хозяйств». Эта политика дала хорошие результаты: по общей валовой продукции сельскохозяйственное производство довольно быстро превзошло довоенный уровень. Однако общее экономическое положение в стране оставалось трудным и сложным. Восстановительный период закончился, и все же предприятия работали не лучшим образом, их оборудование было изношено, а продукция отличалась нередко высокой себестоимостью и низким качеством. Сохранялась значительная безработица, внешняя торговля развивалась медленно, так как государство не располагало достаточным количеством товаров для экспорта. Партия уже провозгласила курс на индустриализацию, но для ее проведения не хватало средств. Нехватка средств мешала и модернизации, и оснащению Красной Армии, хотя международное положение СССР в этот период было еще неустойчивым и вызывало немало опасений. Приходилось думать о расширении источников «первоначального социалистического накопления» также и за счет «капиталистических элементов» города и деревни. Бухарин сам выступил с инициативой пересмотра ряда положений «генеральной линии». Так, например, на VIII московском съезде профсоюзов он заявил:

«Проведение линии XIV конференции и XIV съезда усилило союз с середняком и укрепило позиции пролетариата в деревне. Теперь вместе с середняком и опираясь на бедноту, на возросшие хозяйственные и политические силы нашего Союза и партии, можно и нужно перейти к более форсированному наступлению на капиталистические элементы, в первую очередь, на кулачество».

При участии Бухарина XV съезд ВКП(б) принял ряд решений, направленных на ограничение «капиталистических элементов» города и деревни. Однако вопреки требованиям «левых» это ограничение предполагалось проводить главным образом экономическими средствами, то есть в рамках нэпа, а вовсе не методами «военного коммунизма». К тому же ограничение капиталистических элементов или наступление на них вовсе не означало их «вытеснения» или «ликвидации». Поэтому XV съезд ВКП(б) решительно высказался против предложенного «левыми» принудительного изъятия хлеба у зажиточных слоев деревни. Съезд возражал также против скоропалительной массовой коллективизации, не подготовленной ни субъективными, ни объективными факторами.

Провозглашенная XV съездом сельскохозяйственная политика не была, однако, проведена в жизнь. Еще до съезда, поздней осенью 1927 года, возникли серьезные трудности с хлебозаготовками. Хотя урожай был хорошим, крестьяне, особенно зажиточные, не торопились продавать хлеб государству. У них были его излишки, оставшиеся еще от 1925—1926 годов, и многие хотели дождаться весны, чтобы продать хлеб по более дорогой цене. Часть крестьян требовала не денег, а товаров промышленного производства. Эти трудности во взаимоотношениях с крестьянством не удалось преодолеть и в начале зимы. Свои обязательства по сельскохозяйственному налогу, который был не слишком обременительным и взимался теперь не продуктами, а деньгами, крестьянство выполнило, но продавать хлеб государству по сравнительно невысоким осенним закупочным ценам отказывалось. Между тем у государства не было резервных запасов зерна, так как хлеб был в то время также и важной экспортной статьей. Образовался большой дефицит, который мог серьезно сказаться и на снабжении городов, и на снабжении Красной Армии, и на экспортных поставках.

Стремясь предотвратить последствия этого дефицита в хлебном балансе страны, ЦК ВКП(б) дал ряд директив о применении против кулачества и зажиточной части деревни чрезвычайных мер, включая принудительную конфискацию хлебных излишков. Хотя в директивах и говорилось о временном характере этих мер, речь шла в действительности о резкой и неожиданной для местных работников перемене всей прежней политики партии в деревне, противоречащей только что принятым решениям XV съезда ВКП(б), и скорее соответствовавшей предложениям только что разгромленной «объединенной» оппозиции, чем всей прежней политике.

Новые директивы ЦК были приняты с согласия всего Политбюро, включая Рыкова, Бухарина и Томского. Чтобы ускорить хлебозаготовки, тысячи коммунистов были направлены в помощь сельским партийным организациям. В различные районы страны были командированы и многие члены ЦК. Сам Сталин покинул свой кабинет в Кремле и 15 января 1928 года выехал в Сибирь, где, по данным хлебозаготовительных органов, скопились особенно большие излишки зерна. Он побывал в Новосибирске, Барнауле и Омске. Проводя собрания партийного и государственного актива, он грубо и резко осуждал местных работников за нерешительность в применении чрезвычайных мер к богатым крестьянам.

Нажим на богатых крестьян привел к некоторому увеличению хлебозаготовок. Но в апреле 1928 года поступление зерна на хлебозаготовительные пункты вновь сократилось, и Сталин дал указание еще более широко применять чрезвычайные меры, которые затрагивали теперь и основную массу середняков. Одновременно в ВСНХ под руководством В. Куйбышева были разработаны меры, направленные на ускоренное проведение индустриализации и расширение капитального строительства, а это требовало значительных государственных расходов.

Можно было предвидеть, что новый и резкий поворот в экономической политике Сталина вызовет разногласия в Политбюро и в ЦК ВКП(б). Так оно и произошло. Дебаты в Политбюро весной 1928 года становились все более острыми. В качестве оппонента выступал Бухарин, поддержанный Рыковым и Томским. Еще два члена Политбюро — Калинин и Ворошилов — занимали умеренную позицию. Ворошилов, как нарком обороны, опасался, что разлад с крестьянством отразится на боеспособности Красной Армии. По закрытым каналам ему доложили о «нездоровых» настроениях в некоторых воинских частях. Калинин, как председатель ЦИК СССР, беспокоился о союзе с крестьянством. Он дорожил своей репутацией «всесоюзного старосты», защитника и выразителя интересов трудового крестьянства. Еще два члена Политбюро — Орджоникидзе и Рудзутак — колебались. По существу, из всех членов Политбюро, вошедших в него после XV съезда, Сталина безоговорочно поддерживали только В. Куйбышев и В. Молотов. Недостаточную поддержку имел Сталин и в ЦК, а также в ряде важных региональных организаций партии. Это вынуждало его к маневрированию и выжиданию. На стороне Бухарина решительно выступило руководство Московской партийной организации во главе с кандидатом в члены Политбюро Н. А. Углановым. Аппарат Совнаркома и Госплана СССР также был на стороне «умеренных». Если новый председатель ГПУ В. Менжинский поддерживал Сталина, то два его заместителя — М. Трилиссер и Г. Ягода — высказывались за более умеренную политику.

Бухарин был теоретиком, идеологом, он не боялся вступать в спор ни с Лениным, ни со Сталиным. Но он был человеком слишком мягким, плохо приспособленным к жесткой политической борьбе. Он не стремился, подобно Троцкому или Зиновьеву, к власти в партии. Воспоминания о только что закончившейся острой борьбе с «левой» оппозицией не позволяли Бухарину даже думать о том, чтобы развязать в новых условиях общепартийную дискуссию и обратиться ко всей партии с призывом поддержать его в спорах со Сталиным. Бухарин не хотел создавать новой фракции и разрабатывать оппозиционную платформу. К тому же соотношение сил внутри ЦК позволяло Бухарину надеяться, что он сможет одержать верх, ведя дискуссию в рамках ЦК и Политбюро. Излишне говорить, насколько такая позиция Бухарина была выгодна Сталину.

В мае и июне 1928 года Бухарин направил в Политбюро две записки, которые были поддержаны Рыковым и Томским. В этих записках он отмечал, что многие мероприятия ЦК перерастают в новую линию, отличную от линии XV съезда, и что все это идеологически дезориентирует партию. Бухарин утверждал, не без оснований, что у партийного руководства нет ни общего мнения, ни целостного плана, и требовал, чтобы на Пленуме ЦК, который намечался на 4 июля, была проведена свободная и общая дискуссия. В отличие от писем, которые направлял в Политбюро Троцкий, записки Бухарина не были «открытыми» и не распространялись в партийных организациях. Сталин заявил, что принимает рекомендации Бухарина. Однако он не хотел оставлять за ним инициативу в споре и своими выступлениями и письмами спровоцировал новую вспышку дискуссий. В конце июня было созвано новое заседание Политбюро, и на нем Бухарин, Рыков и Томский огласили декларацию, в которой говорилось об угрозе союзу рабочего класса и крестьянства. Они требовали немедленно прекратить применение чрезвычайных мер и восстановить рынки, предлагали воздержаться от создания таких колхозов и совхозов, которым государство не могло сразу же оказать материальную поддержку. В центре внимания партии, считали они, должно быть стимулирование мелких и средних крестьянских хозяйств. В. Молотов назвал эту декларацию «антипартийной». Сталин был более осторожен. Для преодоления возникших разногласий создали комиссию в составе К. Я. Баумана, Бухарина, Микояна, Рыкова, Сталина. Комиссия подготовила компромиссные тезисы о политике хлебозаготовок, которые одобрило Политбюро на заседании 2 июля. Было решено отменить чрезвычайные меры, повысить закупочные цены на зерно и восстановить сельские рынки.

Через несколько дней в Москве открылся Пленум ЦК ВКП(б). Основной доклад на Пленуме сделал Рыков. Он оценил положение в стране как очень плохое и высказал даже опасения насчет возможности новой гражданской войны с крестьянством. Он повторил требования об отказе от чрезвычайных мер, о повышении закупочных цен, сохранении принципов нэпа и о поддержке мелкого и среднего крестьянства.

Сталин вовсе не собирался отступать. Он убедился в поддержке большинства секретарей обкомов партии и потому посвятил свои речи на Пленуме оправданию проводимой им политики. В центре аргументации был вопрос о необходимости более быстрых темпов индустриализации. Но как Рыков не обвинял Сталина, так и Сталин в своих речах на Пленуме не выдвигал никаких обвинений в адрес Бухарина или Рыкова. Он выступал лишь против некоторых тезисов Троцкого, Преображенского и Фрумкина. На июльском Пленуме ЦК Сталин впервые выдвинул свой тезис об обострении классовой борьбы в СССР.

«...Продвижение рабочего класса к социализму... не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов... не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы».

Сталин призвал не только «исключить необходимость применения каких бы то ни было чрезвычайных мер» — он заявил: «Люди, думающие превратить чрез-

вычайные меры в постоянный или длительный курс нашей партии,— опасные люди, ибо они играют с огнем и создают угрозу для смычки».

Но в той же речи он заметил, что нельзя вообще зарекаться от применения в будущем чрезвычайных, или «комбедовских», мер в деревне, если там возникнут «чрезвычайные условия».

На июльском Пленуме ЦК были приняты компромиссные резолюции, более близкие к позиции «правых», чем к сталинской позиции. Но эти резолюции не были победой Бухарина, так как именно Сталин сумел повести за собой большинство ЦК и привлечь на свою сторону Калинина и Ворошилова. У него теперь оказалось прочное большинство внутри Политбюро, а это было важнее, чем любые резолюции Пленума ЦК. Понимал это и Бухарин.

Сталин сразу же принял ряд мер, направленных на ослабление позиций Бухарина. Развернутая в Коминтерне борьба против «правых тенденций» в коммунистическом движении косвенно задевала и Бухарина, и его сторонников. Ослаблялись позиции Бухарина в органах печати. В редколлегии «Правды» все активнее выступал верный сталинец Ем. Ярославский. В президиум ВЦСПС был введен другой верный сталинец — Л. Каганович. Петр Петровский был снят с должности главного редактора «Ленинградской правды»; Слепков, Астров, Марецкий, Зайцев и Цейтлин удалены из редакций «Правды» и «Большевика». Бухарин все еще оставался главным редактором «Правды», но ему трудно было определять теперь позицию партийной печати.

Сторонники Сталина активизировались в Московской партийной организации. Им удалось добиться переизбрания нескольких секретарей райкомов партии. В середине октября 1928 года, когда Бухарин отдыхал в Кисловодске, был созван пленум Московского обкома и горкома партии. Угланов со своими сторонниками оказался в меньшинстве. На пленуме выступил сам Сталин и обвинил Угланова в правом уклоне. Угланов и его сторонники не были избраны в руководство Московской партийной организации. Ее возглавил секретарь ЦК В. М. Молотов. Это нанесло едва ли не решающее поражение группе Бухарина. Она была деморализована, и даже Рыков пошел на уступки в дискуссиях, которые велись в Политбюро. Только теперь Бухарин прервал свой отпуск и вернулся в Москву, где мог убедиться, что его позиции в партийных верхах значительно ослабели. К тому же положение в стране опять обострилось. Хлебозаготовки шли плохо, и вновь был поднят вопрос о применении чрезвычайных мер. Бухарин, Рыков и Томский выступили против, а когда Политбюро отклонило их протест, подали коллективное заявление об отставке. Но Сталин еще не был вполне уверен в своем превосходстве. Калинин и Ворошилов вновь стали выказывать признаки колебаний. Поэтому Сталин предложил компромисс, на который Бухарин согласился. Сталин обещал, в частности, прекратить преследования бухаринцев и уменьшить капиталовложения в промышленность. Рыков был утвержден докладчиком на предстоящем Пленуме ЦК ВКП(б). В конце января 1929 года именно Бухарину было поручено сделать доклад на траурном заседании, посвященном пятилетию со дня смерти Ленина. В этом докладе, озаглавленном «Политическое завещание Ленина», Бухарин, опираясь на анализ статей и выступлений Ленина в 1921—1923 годах, подробно изложил взгляды Ленина на перспективы строительства социализма в СССР. Для всякого внимательного слушателя или читателя этого доклада было очевидно, что политическая и экономическая линия Сталина весьма далека от ленинских планов социалистического строительства. Но этот косвенный выпад против Сталина оказался не слишком эффективным.

Борьба, так и не вышедшая фактически за рамки ЦК и разного рода аппаратных столкновений, приближалась к развязке. Сталину уже не нужны были компромиссы. Бухарин принял вызов, и острая полемика между ними развернулась на заседаниях Политбюро в январе и феврале 1929 года. В это время Бухарин составил совместно с Томским и Рыковым подробный документ, своего рода платформу «правых» («платформа троих»), которая содержала критику сталинской политики и предлагала альтернативную программу экономического и политического развития страны. Этот документ был зачитан Рыковым на одном из заседаний Политбюро, но не вынесен на обсуждение ни всей партии, ни хотя бы ее Центрального Комитета. Именно в нем Бухарин обвинил Сталина в «военно-феодальной эксплуатации крестьянства». Политбюро отвергло эти обвинения как «клевету» и вынесло порицание Бухарину. Новый компромисс был уже невозможен. Обстановка накалялась, и среди ближайших сторонников Бухарина наметились колебания. Рыков взял назад свое заявление об отставке и вернулся к работе в Совнаркоме. Неожиданно осудил Бухарина один из его учеников — Стецкий.

Развязка наступила в апреле, когда собрался объединенный Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б). Бухарин и ... были в явном меньшинстве. Сталин выступил с развернутой критикой «группы Бухарина, Томского и Рыкова», о существовании которой якобы раньше никто не знал и которая только что обнаружилась в Политбюро. Доклад Сталина был резким, грубым и тенденциозным. Он говорил обо всех ошибках Бухарина чуть ли не с первых дней его политической карьеры. Ошибочными объявлялись и работы Бухарина 1925—1927 годов. В своей обычной грубой манере Сталин обозвал Томского «тред-юнионистским политиканом». Бухарин, как заявил Сталин, «подпевает господам Милюковым и плетется в хвосте за врагами народа», он «недавно еще состоял в учениках у Троцкого», это человек «с разбухшей претенциозностью». Теория Бухарина — это «чепуха», декларация группы Бухарина — «это наглая и грубая клевета» и т. д. и т. п.

Попытки Бухарина, Томского и Угланова смягчить остроту этих высказываний и оценок ссылками на недавнюю личную дружбу со Сталиным тот решительно отверг, сказав, что «все эти сетования и вопли не стоят ломаного гроша».

Бухарин, Рыков, Томский и Угланов не стали каяться на Пленуме, а выступили с защитой своих взглядов и с критикой сталинской политики. Бухарин, в частности, обвинил Сталина в подрыве нэпа и установлении «чудовищно односторонних» отношений с крестьянством, которые разрушают «смычку рабочего класса и крестьянства». Он заявил, что такая политика означает полную капитуляцию перед троцкизмом. Бухарин поддержал планы быстрой индустриализации, но предупредил, что без одновременного развития сельского хозяйства они обречены на провал. Бухарин обвинил Сталина в создании чиновничьего государства и в ограблении крестьянства; при этом осудил сталинский тезис о непрерывном обострении классовой борьбы по мере продвижения СССР к социализму:

«Эта странная теория возводит самый факт теперешнего обострения классовой борьбы в какой-то неизбежный закон нашего развития. По этой странной теории выходит, что чем дальше мы идем вперед в деле продвижения к социализму, тем больше трудностей набирается, тем больше обостряется классовая борьба, и у самых ворот социализма мы, очевидно, должны или открыть гражданскую войну, или подохнуть с голоду и лечь костьми».

Речь Бухарина так же, как и большая часть стенограммы апрельского Пленума ЦК ВКП(б), не была опубликована ни в 1929 году, ни позже. На Пленуме у Сталина было прочное большинство, но он опасался, что в широких кругах партии и особенно у сельских коммунистов программа Бухарина встретит гораздо больше сочувствия, чем среди членов ЦК и ЦКК. Не могло быть сомнения в том, что среди крестьянства, многих рабочих и беспартийной интеллигенции Бухарин в тот период был значительно популярней, чем Сталин. Даже речь Сталина не была тогда напечатана полностью, из нее многое было исключено — главным образом это касалось критики Бухарина и его платформы. Эта речь полностью увидела свет лишь через 20 лет — в двенадцатом томе Собрания сочинений Сталина.

Боязнь Сталина предать гласности полемику с Бухариным отражала его неуверенность в прочности своей идейной и политической платформы. И действительно, мы видим сегодня, что большая часть критических замечаний «правых» в адрес сталинской политики 1928—1929 годов оказалась совершенно справедлива. «Правые» были против превращения чрезвычайных мер в постоянную политику партии в деревне. Резко возражали против ускоренной и принудительной коллективизации, считая, что это может привести лишь к падению сельскохозяйственного производства, к ухудшению снабжения городов и срыву экспортных планов. «Правые» не без основания возражали против гигантомании в инду-

стриальном строительстве, против чрезмерных и во многих случаях экономически не оправданных капитальных затрат. Весьма разумными были предложения «правых» о повышении закупочных цен на зерно,— это побудило бы крестьян увеличить его продажу государству.

Бухарин и его политические единомышленники предлагали в 1928 году не применять повторно чрезвычайные меры, а вместо этого купить за границей товары легкой промышленности и даже зерно. Возможно, в тех условиях это было бы меньшим злом. Совершенно справедливо указывали «правые» на недооценку развития легкой промышленности. При сохранении приоритета тяжелой индустрии легкая промышленность должна была развиваться более быстро, ибо давала большую часть товаров для продажи как в городе, так и в деревне, а стало быть, обеспечивала необходимые средства для финансирования всех государственных проектов и нужд. Без соблюдения должных пропорций в стране неизбежно сохранялись инфляция, товарный голод, а экономические стимулы заменялись административным нажимом.

И в 1928—1929 годах Бухарин был уверен, что нэп, как основная линия экономической политики партии, еще не исчерпал себя, что в СССР еще существует достаточный простор для развития не только социалистических предприятий, включая кооперацию, но и определенных капиталистических элементов. Лишь в более отдаленном будущем развитие социализма должно привести к ликвидации нэпмановского буржуазного сектора и кулацкого эксплуататорского хозяйства. Бухарин считал, однако (и Сталин его в этом поддерживал до 1928 года), что вытеснение капиталистических элементов города и деревни должно происходить в основном под экономическим, а не административным давлением, то есть в результате конкуренции, при которой социалистический сектор одержит верх над капиталистическим. Такая точка зрения могла оспариваться «левыми», призывавшими к новой «революции» и к новым экспроприациям, но имела полное право на существование и практическую проверку.

В своей политике по отношению к крестьянству именно Сталин взял на вооружение (и при этом значительно углубил и расширил) троцкистские концепции «первоначального социалистического накопления» и зиновьевско-каменевские предложения о чрезвычайном обложении зажиточных слоев деревни. Логично поэтому, что к проведению своей новой политики Сталин привлек многих видных деятелей недавней «левой» оппозиции.

С явно «ультралевых» и сектантских позиций критиковал Сталин и деятельность Бухарина как руководителя Коминтерна. Несомненно, что в середине 20-х годов Бухарин разделял ошибочную позицию Коминтерна в отношении социал-демократии и ошибочную формулу «социал-фашизма». Однако в конце 20-х годов, по мере роста фашистской опасности в Европе, Бухарин начал пересматривать эту позицию, находил возможным и соглашения с низовыми социал-демократическими организациями и социал-демократическими профсоюзами против фашизма.

Сталин, напротив, требовал усилить борьбу с социал-демократией. Более того, он предлагал усилить борьбу также против левых течений в социал-демократии, хотя именно они были потенциально наиболее вероятными союзниками коммунистических партий.

Ошибочность позиции Сталина очевидна. Она не только препятствовала единому фронту с левыми силами в рабочем движении Запада. Она вела к тому, что не в одной лишь ВКП(б), но и во многих западных партиях честные коммунисты были произвольно отнесены к числу «носителей правого уклона».

Выступая против Бухарина и его группы, Сталин и его сторонники часто использовали в полемике чуждый марксизму метод вульгарного социологизма. В частности, какие-либо явления в области культуры или политические высказывания связывались непосредственно с позицией и политическими настроениями того или иного класса.

Поскольку в 1928—1929 годах платформа Бухарина не только для широких масс трудящихся, но и для капиталистических элементов города и деревни была предпочтительнее платформы Сталина, тот сразу же прикрепил Бухарину ярлыки

«защитника капиталистических элементов», «выразителя идеологии кулачества», «проводника кулацких влияний в ВКП(б)» и т. п. Кое-кто добавлял сюда еще словечко «объективно», однако впоследствии чаще всего обходились и без него.

Следует отметить, что Бухарин, Рыков и Томский никогда не создавали внутри партии какой-либо строго очерченной фракции. Это признавал и сам Сталин. Таким образом, «правые» даже формально не нарушали резолюцию X съезда о единстве партии. Выступив с репрессиями против «правых», начав с ними организационную борьбу и объявив защиту «правых» взглядов несовместимой с пребыванием в партии, Сталин чрезвычайно сузил, если не уничтожил вовсе, гарантированные Уставом ВКП(б) права каждого члена партии свободно обсуждать вопросы партийной политики.

Только после апрельского (1929 года) Пленума ЦК на партийных собраниях и в печати началась крайне интенсивная кампания против «правого» уклона, причем критика направлялась конкретно в адрес Бухарина, Рыкова и Томского. Все работы Бухарина с начала его политической деятельности подвергались тенденциозному разбору. Между тем сами лидеры «правых» были вынуждены молчать, хотя оставались еще членами Политбюро, а Рыков по-прежнему возглавлял Совнарком. Сталин хотел их публичной капитуляции, которой не дождался на апрельском Пленуме. И добился своего. Уже в ноябре 1929 года на очередном Пленуме ЦК А. Рыков огласил письменное заявление — свое, Бухарина и Томского. В нем говорилось, что «тройка» стоит, безусловно, за генеральную линию партии, отличаясь от большинства ЦК лишь по некоторым методам ее проведения. Вместе с тем отмечалось, что и «на рельсах принятого партией конкретного метода проведения генеральной линии были достигнуты в общем большие положительные результаты». Поэтому Бухарин, Рыков и Томский заявляли, что «разногласия между ними и большинством ЦК снимаются». Но даже и это заявление было признано «неудовлетворительным». Ноябрьский Пленум ЦК вывел Бухарина из Политбюро. Рыков, Томский и Угланов были предупреждены.

Сразу же после Пленума Бухарин, Рыков и Томский подали в Политбюро новое заявление с признанием своих «ошибок». Воля к борьбе у лидеров «правой» оппозиции была сломлена, как и у большинства лидеров «левой» оппозиции. Рассказывают, что в ночь на 1 января 1930 года в квартиру к Сталину, весело отмечавшему с друзьями Новый год, неожиданно постучали. На пороге стояли с бутылками вина Бухарин, Рыков и Томский. Они пришли для дружеского примирения. И хотя примирение внешне состоялось, никто из лидеров «правых» не вернул себе прежнего положения в партии. После XVI съезда ВКП(б) был выведен из Политбюро Томский, а на декабрьском Пленуме ЦК в 1930 году и Рыков. В 1931 году Рыков был снят с поста Председателя Совнаркома (этот пост занял Молотов) и назначен наркомом почт и телеграфа. Бухарин стал руководителем научно-технического управления в ВСНХ СССР, а через несколько лет — также главным редактором газеты «Известия». XVI съезд ВКП(б) еще избрал Бухарина, Рыкова и Томского в ЦК ВКП(б). Однако после XVII съезда партии все они перешли в разряд кандидатов в члены ЦК ВКП(б). И когда в начале 30-х годов происходили новые драматические события, ни Бухарин, ни Рыков, ни Томский уже не подали голоса протеста.

Несмотря на покорность бывших «правых», газеты и журналы в течение всей первой пятилетки продолжали поносить их. Даже в 1935 году журнал «Большевик» по-прежнему называл Бухарина «правым капитулянтом», якобы предлагавшим отказаться от индустриализации СССР и коллективизации сельского хозяйства и предоставить неограниченную свободу частнокапиталистическим элементам. Здесь же говорилось, разумеется, что «кулацкая сущность» этой программы была разоблачена партией под руководством Сталина, и т. п. Все это было в стиле Сталина. Он продолжал сильнее и сильнее поносить даже поверженных оппонентов.

Возникает вопрос: а могла ли победить Сталина «правая» оппозиция? Если в отношении «левой» оппозиции ответ на такой вопрос был отрицательным, то в отношении «правой» столь категорический ответ был бы неверным. У «правой» оппозиции было очень много шансов для победы над Сталиным. При определен-

ных условиях ее платформа могла бы получить большинство и в Политбюро, и в ЦК, и в широких кругах партии, а также поддержку большинства крестьян, рабочих и служащих. Но лидеры «правой» оппозиции оказались неспособны использовать эти шансы. Они были недостаточно твердыми и настойчивыми политиками, и у них не хватило воли бороться за власть в партии и стране, фактически они уклонились от борьбы.

К концу 1929 года у Сталина, казалось бы, уже не было противников и оппонентов в ЦК партии. Но его победа над оппозициями не была победой ленинизма. Это была победа сталинизма, надолго утвердившего свое господство над страной и партией.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

1

После введения нэпа значительно оживилась хозяйственная деятельность во всех секторах и в рамках всех существовавших в стране экономических укладов. Восстанавливалось и расширялось промышленное производство. Развивалось ремесленное производство. Улучшалось положение и увеличивалось производство в десятках миллионов мелких крестьянских хозяйств. Расширялась государственная и частная торговля. Крепло и развивалось более крупное крестьянское хозяйство — кулацкое, применявшее эпизодически или постоянно наемный труд. Небольшие и средние капиталистические предприятия возникали повсюду, как грибы после дождя. В меньшей мере, чем рассчитывал Ленин, но все же развивалось производство на основе иностранных кредитов — концессионное или государственно-капиталистическое. Увеличивались и объемы внешней торговли. Во всем этом был еще значительный элемент стихийности, и неудивительно, что в экономике то и дело возникали различные диспропорции, которые удавалось преодолеть иногда легко, а иногда и с большими трудностями.

К 1926—1927 годам наибольшая диспропорция образовалась между развитием сельского хозяйства и развитием промышленности. При недостатке кредитов и отсутствии какой-либо иностранной помощи экономика Советского Союза могла развиваться лишь на основе внутренних накоплений. Но промышленность давала их слишком мало. Основные надежды возлагались на развитие сельского хозяйства, в первую очередь на увеличение товарного производства, особенно товарного хлеба. А именно в этом отношении успехи были невелики. Общий объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился к 1927 году на 21 процент по сравнению с наиболее урожайным (до революции) 1913 годом. Прирост шел, однако, за счет животноводства и технических культур. Что касается зерновых, то ни по посевным площадям, ни по валовому производству они не достигли довоенного уровня. Значительно уменьшилось производство товарного хлеба. Объяснялось это несколькими факторами. Не слишком стимулировали зерновое хозяйство заготовительные цены. Если индекс заготовительных цен на продукты животноводства составлял в 1926—1927 годах 178 процентов (за 100 процентов принят 1913 год), а на технические культуры — 146 процентов, то на зерно — только 89 процентов. Несоответствие не было вызвано ошибочными действиями заготовительных органов. Ведь повышение заготовительных цен на зерно потребовало бы увеличить поставки деревне различных товаров. Крестьянам нужны были не бумажные деньги, а потребительские товары и машины, которые можно было бы за эти деньги приобрести. Между тем промышленное производство еще не могло ликвидировать товарный голод как в городе, так и в деревне.

Препятствовала производству товарного зерна и структура сельского хозяйства, сложившаяся после революции. Помещичьи хозяйства — в недавнем прошлом основной поставщик товарного хлеба — были уничтожены. В годы «военного коммунизма» был нанесен тяжелый удар и по кулацким хозяйствам, которые также поставляли на рынок в предвоенные годы немало товарного хлеба. Главными производителями зерна теперь стали середняцкие и бедняцкие хозяйства. К концу 20-х годов они давали до 4 миллиардов пудов хлеба (до революции — 2,5 миллиарда), однако товарного зерна — лишь 400—440 миллионов пудов (товарность — 10—11 процентов).

Разъясняя основы нэпа, Ленин достаточно ясно наметил и пути преодоления трудностей на «хлебном фронте».

Прежде всего следовало всемерно помочь мелким индивидуальным хозяйствам. Именно поддержка середняка и бедняка была главной целью новой экономической политики в деревне на первом этапе.

Нельзя было сбрасывать со счета и зажиточные хозяйства. Некоторое развитие кулацкого производства в первые годы нэпа не представляло опасности для диктатуры пролетариата. Поэтому те тревожные заявления, которые делала в этой связи «левая» оппозиция, не были обоснованны. Деревня, как неоднократно говорил Ленин, страдала тогда не столько от капитализма, сколько от его недостаточного развития. И с первых месяцев нэпа Ленин предлагал всячески поддерживать хозяйственную инициативу всех «старательных» крестьян, считал возможным даже премировать их за увеличение производства предметами личного потребления и домашнего обихода. Конечно, никто не предполагал строить сколько-нибудь долгосрочные планы развития сельского хозяйства на основе кулацкого производства. Имея в виду задачи партии в деревне на более длительный период, Ленин предлагал всемерно способствовать всем видам и формам кооперации, включая и производственную, говорил, что именно развитие кооперации при пролетарском государстве тожественно развитию социализма в российской деревне.

Предложенный Лениным кооперативный план был пока еще черновым наброском. Ленин, однако, уже хорошо понимал, что кооперирование деревни невозможно без многих лет напряженного труда, без развития грамотности и культуры, без механизации сельского хозяйства и постепенного приучения крестьян к совместному ведению экономики.

«Но чтобы достигнуть через нэп участия в кооперации поголовно всего населения,— писал Ленин в 1923 году,— вот для этого требуется целая историческая эпоха. Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия. Но все-таки это будет особая историческая эпоха, и без этой исторической эпохи, без поголовной грамотности, без достаточной степени толковости, без достаточной степени приучения населения к тому, чтобы пользоваться книжками, и без материальной основы этого, без известной обеспеченности, скажем, от неурожая, от голода и т. д.,— без этого нам своей цели не достигнуть» [1].

Восстановление разрушенной двумя войнами экономики началось с сельского хозяйства. Однако уже в 1923 году здесь возникли серьезные трудности. У крестьян не было почти никаких накоплений, а промышленные товары стоили дорого. Поэтому, несмотря на слабость промышленности, возникло затоваривание, кризис сбыта. Пришлось даже остановить некоторые заводы и фабрики, задерживать выдачу зарплаты рабочим и служащим; кое-где состоялись забастовки. Стремясь предотвратить развитие кризиса, государство снизило цены на многие промышленные товары и повысило закупочные цены на часть сельскохозяйственной продукции. На селе была развернута система дешевого кредита. Формально получение кредитов и машин предусматривалось для кулацких хозяйств во «вторую очередь», однако реально и машины, и кредиты использовали прежде всего наиболее зажиточные. В 1925 году по предложению XIV Всесоюзной парт-

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 45, стр. 372.

конференции «в целях развития производительных сил деревни» был принят закон о расширении права найма сельскохозяйственных рабочих и аренды государственных и крестьянских земель. Этот закон был выгоден зажиточной части деревни. Но он был выгоден и государству, и в какой-то мере и бедноте, так как легализовал наем батраков, достаточно широко практиковавшийся и до 1925 года, и позволял контролировать условия найма.

Была успешно завершена денежная реформа, советский рубль обрел невиданную ранее устойчивость.

Равновесие сохранялось недолго. Уже в 1925—1926 годах стали возникать новые диспропорции. Промышленное производство развивалось медленнее, чем возрастал платежеспособный спрос деревни; речь шла теперь не о затоваривании, а о товарном голоде. Между тем государство продолжало осуществлять ряд мер, направленных на стимулирование накоплений в деревне. Так, например, сельскохозяйственный налог был снижен в 1926 году с 312,9 до 244,8 миллиона рублей. Налогообложение середняка было снижено примерно на 60 миллионов рублей. Но при высоких урожаях 1926 и 1927 годов выгоду от снижения налога получили и все зажиточные крестьяне, у которых увеличилось количество излишков продукции.

Несмотря на то, что быстрому росту покупательной способности крестьян не соответствовал рост производства нужных деревне товаров, как оптовые, так и розничные цены на промтовары были опять значительно снижены. В условиях товарного голода это снижение доходило до потребителя не полностью, а обогащало торговцев-посредников, которые владели 40 процентами розничного товарооборота. В то же время снижались прибыли промышленных предприятий. А нужда в накоплениях у промышленности резко возросла, так как к 1925—1926 годам восстановление старых предприятий в основном закончилось и начинало развертываться новое строительство.

В 1927 году у зажиточной части деревни скопилось значительное количество бумажных денег, на которые нельзя было купить нужные товары. Поэтому большинство крестьян не спешило продавать хлеб государству, да еще по низким заготовительным ценам: не было заинтересованности в быстрой реализации хлебных излишков. Сравнительно небольшой сельскохозяйственный налог деревня могла покрыть за счет продажи второстепенных продуктов и технических культур. У крестьян хватало денег и для покупки товаров, которые были в продаже. Так что зерно могло полежать в закромах до весны, когда продажная цена его возрастет. И вот осенью 1927 года заготовили гораздо больше, чем в 1926 году, льна, подсолнуха, пеньки, свеклы, хлопка, масла, яиц, кожи, шерсти и мяса. Совершенно иное положение было с заготовкой хлеба.

2

Год 1927-й выдался урожайный, но хлебозаготовки проходили хуже, чем прежде. В государственных закромах не было достаточных страховых запасов зерна. Если к январю 1927 года было заготовлено 428 миллионов пудов зерна, то к январю 1928 года — меньше 300 миллионов пудов. Возникла угроза снабжению хлебом городов и армии.

О том, каким образом следует преодолеть трудности, вносилось немало предложений. Так, «левая» оппозиция считала, что пришло время, применив всю силу государственного аппарата, повести решительное наступление на кулачество — насильно изъять у зажиточной части деревни не менее 150 миллионов пудов хлеба. Предложения такого рода были отвергнуты.

«ЦК и ЦКК считают,— отмечалось в решении Пленума от 9 августа 1927 года,— что эти предложения направлены, по сути дела, на отмену новой экономической политики, установленной партией под руководством Ленина...» ЦК и ЦКК «отвергают вздорные, рассчитанные на создание дополнительных трудностей в развитии народного хозяйства, демагогические предложения оппозиции о насильственном изъятии натуральных хлебных излишков».

Решительно отвергнуты предложения оппозиции были и на XV съезде ВКП(б), состоявшемся в декабре 1927 года. Так, например, Молотов говорил в докладе:

«Тот, кто теперь предлагает нам эту политику... принудительного изъятия 150—200 млн. пудов хлеба...,— тот враг рабочих и крестьян (В этом месте доклада, согласно стенограмме, Сталин воскликнул: «Правильно!»), враг союза рабочих и крестьян; тот ведет линию на разрушение Советского государства».

Однако всего через несколько дней после съезда, исключившего лидеров «левой» оппозиции из партии, Сталин сделал крутой поворот «влево» и стал проводить в жизнь те самые предложения о принудительном изъятии хлеба у зажиточных слоев деревни, которые только что были отвергнуты как авантюристические. Уже в конце декабря он направил на места директиву о применении чрезвычайных мер в отношении кулачества. Местные работники, которые только что ознакомились с решениями съезда и текстами выступлений Сталина, Молотова, Микояна, не торопились выполнять ее, и 6 января Сталин разослал новую директиву, крайне резкую и по тону, и по требованиям, с угрозами в адрес местных партийных организаций. По всей стране прокатилась волна конфискаций и насилия в отношении богатых крестьян.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что решение применить зимой и весной 1927/28 года чрезвычайные меры в деревне было крайне поспешным и ошибочным. Экономическая политика 1925—1927 годов оставляла мало места для политических и хозяйственных маневров, однако все же для преодоления трудностей оставались возможности на путях нэпа, а не на путях «военного коммунизма». Но в «большой» политике свои законы и своя логика, и если сойти здесь с одной дороги, то чаще всего невозможно вступить на нее снова. Так было и с применением чрезвычайных мер против кулачества.

Несомненно, Сталин поначалу не собирался сделать чрезвычайные меры основой политики в деревне на длительное время. Своими директивами он, по-видимому, хотел лишь попугать кулачество, чтобы оно стало более уступчивым. Об этом можно судить хотя бы по тому, что летом 1928 года на места идут уже совсем иные директивы: не применять более чрезвычайные меры, повысить на 15—20 процентов закупочные цены, увеличить поставки товаров в деревню, немедленно прекратить практику обхода дворов, незаконных обысков и всякого рода нарушений революционной законности, открыть закрытые только что местные базары.

«Честное и систематическое проведение этих мероприятий в условиях нынешнего благоприятного урожая должно создать обстановку, исключающую необходимость применения каких бы то ни было чрезвычайных мер в предстоящую хлебозаготовительную кампанию»,— говорил Сталин в июле 1928 года. Однако осуществить этот новый поворот он не сумел, ибо применение чрезвычайных мер зимой 1927/28 года было фактическим объявлением войны богатому крестьянину и окончанием нэпа в деревне. А покончить с войной односторонним прекращением огня трудно. Уже весной 1928 года сотни тысяч зажиточных крестьян в ответ на чрезвычайные меры стали сокращать посевные площади. Многие кулаки «самоликвидировались» — продавали машины, которые у них были, а деньги и ценности прятали. У середняков не было стимула расширять производство, так как они боялись попасть в разряд кулаков, которым партия открыто грозила ликвидацией. Так что осенью 1928 года, несмотря на уступки, заготовка хлеба вновь оказалась под угрозой. Сократились и поставки государству ряда технических культур, и это привело к дезорганизации в текстильной промышленности, нарушило сырьевой баланс страны и уменьшило возможности экспорта, стало быть, и получения валюты. Забыв о своих июльских обещаниях, Сталин направляет в конце 1928 года директивы о применении еще более жестких, чем ранее, административных мер против зажиточных крестьян.

Повторное применение чрезвычайных мер дало возможность за несколько месяцев увеличить поступление зерна. Однако в феврале и марте 1929 года заготовки шли плохо, а в целом к апрелю было заготовлено меньше хлеба, чем

в эти же месяцы 1928 года. Перебои с продажей печеного хлеба были повсюду, даже в Москве. Возросла спекуляция хлебом. К тому же новый нажим на зажиточных крестьян вызвал новое сокращение посевных площадей в этом секторе и новую волну «самоликвидации» кулачества. Были, правда, приняты меры, направленные на расширение посевов в бедняцких и середняцких хозяйствах, но это ненамного увеличило товарное производство зерна. Урожай был хорошим и в 1929 году. Тем не менее пришлось ввести нормированную продажу хлеба и многих других продуктов в городах и рабочих поселках.

Таким образом, к середине 1929 года сложилось опасное положение. Фактическая война с зажиточной частью деревни грозила дезорганизацией всего народного хозяйства и даже голодом. При этом политика Сталина оставляла еще меньше, чем ранее, простора для политических и экономических маневров. Оставались три возможных решения. Можно было признать свои ошибки и пойти на уступки кулачеству и зажиточному середняку. Но теперь уступки требовались весьма значительные, ибо зажиточная часть деревни перестала верить в нэп. Этот путь был, однако, неприемлем для Сталина, да и для большинства ЦК. Можно было пойти на значительные закупки за рубежом. Но это означало сокращение планов индустриального строительства и пересмотр заданий первой пятилетки. Этот путь был также отвергнут. Можно было, наконец, пойти на форсирование производственной кооперации в деревне для создания значительного колхозного сектора и ликвидации монополии зажиточных крестьян на товарный хлеб. Мы знаем, что был выбран именно этот, также очень нелегкий путь.

3

В 20-е годы кооперация развивалась очень медленно. Основной упор делался на поощрение снабженческо-сбытовой кооперации. Даже к середине 1928 года в колхозах состояло менее 2 процентов всех крестьянских дворов, на которые приходилось не более 2,5 процента всех посевных площадей и 2,1 процента посевов зерновых.

XV съезд ВКП(б) постановил ускорить производственную кооперацию. В резолюции съезда говорилось: «задача объединения и преобразования мелких индивидуальных крестьянских хозяйств в крупные коллективы должна быть поставлена в качестве основной задачи партии в деревне».

Однако все делегаты съезда, говорившие о работе в деревне, отмечали, что в деле коллективизации необходимы осторожность и постепенность. Так, например, Молотов в своем докладе сказал:

«Требуется немало лет для того, чтобы перейти от индивидуального к общественному (коллективному) хозяйству... Надо понять, что 7-летний опыт нэпа достаточно научил нас тому, о чем говорил Ленин еще в 1919 году: никакой торопливости, никакой скоропалительности со стороны партии и Советской власти в отношении среднего крестьянства... При проведении новых задач в деревне нам очень пригодится то, чему мы так много учились за первые 7 лет нэпа, а именно: важные в социалистическом строительстве в деревне навыки осмотрительности, осторожности, неторопливости, постепенности и т. п.».

Многие делегаты говорили о недостатке у государства материальных средств для поддержки колхозов, о нехватке сельскохозяйственной техники, о слабости сельских партийных организаций. Учитывая все это, съезд указал, что развитие колхозов должно сочетаться с всемерной помощью индивидуальному бедняцкому и середняцкому хозяйству, так как «индивидуальное собственническое хозяйство... еще значительное время будет базой всего сельского хозяйства». То же самое в 1928 году неоднократно говорил и сам Сталин.

По плану первой пятилетки (оптимальный вариант), принятому на XVI Всесоюзной партконференции, предполагалось за пять лет коллективизировать 20 процентов крестьянских хозяйств, располагающих 17,5 процента всех посевных площадей и способных давать до 43 процентов товарной продукции зерновых. При этом на первый год пятилетки (июль 1928 — июль 1929-го) планы коллективизации были весьма скромными, уровень коллективизации в стране предполагалось поднять лишь до 2,2 процента.

Острота положения и проблем, возникших в деревне к началу 1929 года, потребовала пересмотра этих планов. Известные успехи в колхозном строительстве наметились уже к середине 1929 года: в начале июня в колхозы объединилось более миллиона крестьянских хозяйств (при плане — 560 тысяч). Успехи, правда, очень скромные, так как всего в стране было около 25 миллионов крестьянских хозяйств. В 1929 году менее 10 процентов посевной площади было обработано с помощью тракторов; комбайны исчислялись несколькими сотнями; не существовало еще ни коллективных скотных дворов, ни силосных башен.

Сталин не сумел правильно оценить положение в деревне. Желая получить компенсацию за прежние неудачи и удивить мир великими успехами, он вновь резко и круто повернул громоздкий корабль нашего хозяйства, не потрудившись разведать перед тем всякого рода подводные рифы и мели. Не считаясь с объективными возможностями, Сталин при поддержке Молотова, Кагановича и некоторых других членов Политбюро взял курс на чрезмерно высокие темпы коллективизации, всячески подгоняя при этом обкомы и райкомы. К началу ноября 1929 года было создано уже около 70 тысяч колхозов (преимущественно небольших), которые объединяли около 2 миллионов крестьянских хозяйств — 7,6 процента всего их числа. В подавляющем большинстве это были бедняцкие хозяйства, только в отдельных районах в колхозы вступала и часть середняков. Однако Сталин поспешно обобщил эти факты и объявил о начале коренного перелома в колхозном движении. Его статья об итогах года называлась «Год великого перелома». Более того, осенью 1929 года Сталин выдвинул лозунг сплошной коллективизации, явно тогда преждевременный. Основная масса середняков продолжала колебаться, сохранившиеся кулаки не были нейтрализованы, зажиточные середняки высказывались против колхозов. В такой обстановке лозунг сплошной коллективизации неизбежно вел к извращениям в колхозном строительстве, к административному нажиму, к насилию над середняком. Именно так и произошло в конце 1929-го и начале 1930 года.

В конце 1929 года была создана специальная комиссия ЦК ВКП(б) для подготовки решения о колхозном строительстве. Многие члены ЦК возражали против ненужной гонки, для которой не было ни объективных, ни субъективных предпосылок. Разработанный этой комиссией проект Сталин подверг резкой критике. Замечания и поправки ориентировали на ускорение колхозного движения. Сталин потребовал исключить из проекта указания по таким вопросам, как степень обобществления крестьянского скота и инвентаря, порядок образования неделимых фондов и оборотных средств в колхозах. В окончательном варианте постановления были значительно сокращены сроки коллективизации для Северного Кавказа и Средней Волги, исключены установки о порядке обобществления средств производства, скота, о сохранении у крестьян мелкого скота, инвентаря, птицы. Были исключены также положения о методах ликвидации кулачества и об использовании кулаков в колхозах, если они будут подчиняться и добровольно выполнять все обязанности членов колхозов. Постановление ориентировало закончить коллективизацию в основных зерновых районах к осени 1930 года или к весне 1931 года, а в остальных районах — к осени 1931-го или к весне 1932 года.

Постановление ЦК «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» было принято 5 января 1930 года. Сразу же после его опубликования многие областные и республиканские партийные организации решили перевыполнить намеченные планы и завершить коллективизацию не осенью, а весной 1930 года. Газеты в январе и феврале были полны сообщений на этот счет. Но к такой скоротечной кампании не были подготовлены ни местные партийные и советские органы, ни сами крестьяне. Для выполнения идущих сверху письменных, а чаще устных директив партийные и советские органы на местах были вынуждены прибегнуть к давлению не только на крестьян, но и

на низовых партийных и советских работников. Повсюду возросла роль ГПУ. Фактически в сельских местностях вводился режим чрезвычайного положения.

О добровольности и постепенности при переходе от частной собственности на землю к собственности коллективной говорил еще Маркс. Эти мысли много раз высказывал и В. И. Ленин, и они были закреплены специальными решениями съездов партии. Да и сам Сталин произнес по этому поводу немало правильных слов. Однако под нажимом Сталина и его ближайшего окружения принцип добровольности в колхозно-кооперативном строительстве был почти повсеместно нарушен. Разъяснительная работа подменялась грубым администрированием и насилием по отношению к середнякам и части бедняков, не торопившимся вступать в колхозы. Их заставляли это делать под угрозой «раскулачивания». Во многих областях был выдвинут лозунг «Кто не идет в колхозы, тот враг Советской власти». Прибегали и к разного рода нереальным обещаниям: тракторов, другой техники, больших кредитов. «Все дадут — идите в колхозы». Нередко создавались не колхозы, а коммуны, в которых принудительно обобществлялись мелкий скот, домашняя птица, приусадебные участки. Одновременно с обещаниями в некоторых областях старались «выжать» у единоличников как можно больше. Перед вступлением в колхоз их заставляли расплатиться по всем долгам — кредиту, семейной ссуде, паевым взносам.

В деревне энтузиазм немногих сочетался с недовольством большинства, особенно середняков. Перед вступлением в колхоз крестьяне забивали коров, овец, свиней, даже домашнюю птицу. Только за два месяца — февраль и март 1930 года — были забиты 14 миллионов голов крупного рогатого скота, треть всех свиней и четверть овец и коз. Хотя проценты коллективизации быстро росли, росло и политическое напряжение в деревне. Кое-где состоялись антиколхозные выступления крестьянства.

Обстановка начала разряжаться лишь в марте 1930 года после публикации статьи «Головокружение от успехов», которую Сталин написал по требованию ЦК ВКП(б). В статье критиковались многие «перегибы» в колхозном строительстве. Ответственность за это Сталин возложил на местные органы, обвинив их в «головотяпстве». Обвинение вызвало замешательство местных властей, которые действовали главным образом по директивам центра и областного руководства. Сводки о коллективизации каждые 7—10 дней рассылались всем членам Политбюро. Именно Сталин настаивал на высокой степени обобществления в колхозах, включая мелкий инвентарь, мелкий скот, молочных коров. Да и вся печать была полна сообщений об успешном и быстром ходе коллективизации.

Вскоре после опубликования статьи Сталина ЦК ВКП(б) принял постановление «О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении». Было предложено осудить практику принудительных методов коллективизации, крестьянам разрешалось при желании выйти из колхозов. Сразу начался массовый отлив из колхозов. Еще недавно в них было более 10 миллионов хозяйств, а уже к 1 июля 1930 года осталось около 6 миллионов. В некоторых областях и районах распались почти все колхозы. К осени, однако, нажим на крестьян возобновился. Тем, кто ушел из колхоза, просто не возвращали скот и землю. Так что цифры в сводках о коллективизации снова стали увеличиваться.

Предполагалось, что создание колхозов сразу же приведет к увеличению валовой продукции сельского хозяйства. Директивы первой пятилетки предусматривали ее рост с 16,6 миллиарда рублей в 1927—1928 годах до 25,8 миллиарда рублей в 1932—1933 годах, то есть на 52 процента. В действительности производство продукции сельского хозяйства на протяжении всей первой пятилетки уменьшалось. Если принять за 100 процентов производство сельскохозяйственной продукции в 1928 году, то в 1929 году оно составило 98 процентов, в 1930 году — 94,4, в 1931 году — 92, в 1932 году — 86, а в 1933 году — 81,5. Особенно уменьшилось производство животноводческой продукции — до 65 процентов от уровня 1913 года. Поголовье крупного рогатого скота сократилось в 1928—1933 годах с 60,1 до 33,5 миллиона голов. Более чем вдвое уменьшилось поголовье лошадей, а также овец, коз и свиней. Резко уменьшились в этой свя-

зи ресурсы органических удобрений. В целом валовая продукция сельского хозяйства составила в 1933 году только 13,1 миллиарда рублей. Тяжелые последствия коллективизации в ее сталинском варианте ощущались не только во второй, но и в третьей пятилетке. Так, например, среднегодовое производство зерна во второй половине 30-х годов было меньше, чем в 1913 году (в границах до 17 сентября 1939 года). Не достигло уровня 1913 года и производство мяса. Численность же населения возросла.

4

Коллективизация обострила отношения между Советской властью и кулачеством. Еще до революции оно было большой силой в деревне, а в первые месяцы после Октябрьской революции даже укрепило свои позиции за счет раздела помещичьих земель. Составляли тогда кулаки до 20 процентов всех крестьян и владели 40 процентами пахотных земель[1].

Первое столкновение между Советской властью и кулачеством произошло весной и летом 1918 года, когда началось принудительное изъятие излишков сельскохозяйственных продуктов (продразверстка) и власть в деревне была передана комитетам бедноты (комбедам). Ленин требовал в тот период решительно бороться с кулачеством. Важно отметить, однако, что, даже призывая в 1918 году и позже к беспощадному подавлению кулацких восстаний, Ленин никогда не говорил о полной экспроприации всего кулачества, а тем более о физическом уничтожении или выселении всех кулаков и их семей. Так, 12 марта 1919 года Ленин говорил:

«...Мы за насилие против кулака, но не за полную его экспроприацию, потому что он ведет хозяйство на земле и часть накоплена им своим трудом. Вот это различие надо твердо усвоить. У помещика и капиталиста — полная экспроприация; у кулаков же отнять собственность всю нельзя, такого постановления не было...»[2].

За годы гражданской войны большая часть дореволюционного кулачества была разгромлена и политически, и экономически. В руки бедняков и середняков перешло от кулачества почти 50 миллионов гектаров пахотной земли; 4/5 кулацких хозяйств или перестали существовать, или превратились в обычные середняцкие. Исчезновение не только помещичьих, но и кулацких хозяйств серьезно ослабляло производительные силы деревни и ухудшало ее возможности снабжать города продуктами питания. В условиях нэпа стал снова появляться слой зажиточных крестьян, но он только на 1/6 состоял из кулаков «дореволюционного происхождения». В большинстве своем новый слой зажиточных крестьян, даже и применявших разрешенный законом наем батраков, составляли бывшие середняки или даже бедняки, многие из которых служили два-три года в Красной Армии, а теперь, вернувшись в деревню и поверив в новую экономическую политику, энергично взялись за хозяйство. Вопрос о ликвидации этих новых «кулаков» выдвигался в 1926—1927 годах только наиболее крайними деятелями «левой» оппозиции. Однако он продолжал обсуждаться в партийной печати и в 1928—1929 годах. При этом никто не говорил о насильственной экспроприации и выселении кулачества. Речь шла лишь о том, на каких условиях можно допускать кулака в колхоз и следует ли это делать вообще. Мнения разделились, и на местах поступали по-разному. В Сибири и на Северном Кавказе было решено не принимать кулаков в колхозы. Средневолжский крайком ВКП(б) с некоторыми оговорками высказался за допущение кулака в колхозы. Сравнительно умеренную позицию занимали и такие члены Политбюро, как Ворошилов и Калинин, отнюдь не принадлежавшие к «правому» уклону.

В декабре 1929 года при Политбюро ЦК ВКП(б) была создана специальная комиссия по коллективизации, а также особая подкомиссия о кула-

[1] К кулакам относили богатых крестьян, которые прибегали к систематическому найму батраков и бедняков, а также применяли другие формы эксплуатации (ростовщичество, зерновые ссуды, плату за использование машин, мельниц).
[2] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, том 38, стр. 19.

ке. Но Сталин не стал дожидаться ее рекомендаций. В конце декабря 1929 года в речи иа конференции аграрников-марксистов он выдвинул лозунг ликвидации кулачества как класса и заявил, что раскулачивание должно стать составной частью образования колхозов при проведении сплошной коллективизации.

После речи Сталина почти повсеместно начала разворачиваться кампания раскулачивания. Все последующие решения и телеграммы Политбюро были лишь попыткой внести некоторый «порядок» в эту жестокую акцию.

В своих первых рекомендациях комиссия Политбюро предложила делить кулацкие хозяйства на три группы, при этом большую часть хозяйств отнесла к третьей группе, представителей которой считала возможным принимать в колхозы, но с лишением на три — пять лет избирательных прав.

Сталин решительно возражал против этих рекомендаций, особенно против приема кулаков любой группы в колхозы. Под его давлением в инструкции ЦИК и СНК СССР от 4 февраля 1930 года разделение кулаков по группам излагалось уже в иной редакции.

К первой категории относили контрреволюционный кулацкий актив, организаторов террора и восстаний. Их было предложено немедленно изолировать, не останавливаясь и перед применением высшей меры — расстрела, а всех членов их семей выселять в отдаленные районы. Считалось, что в эту категорию может быть зачислено около 60 тысяч хозяйств.

К второй категории относили остальную часть актива наиболее богатых кулаков. Их вместе с семьями предлагалось выселять в отдаленные районы страны или в отдаленные места в пределах данного края. Указывалось, что таких хозяйств около 150 тысяч.

К третьей категории относили владельцев менее мощных хозяйств. Этих было предложено оставлять в тех районах, где они жили, но переселять за пределы коллективизированных селений, отведя им новые участки земли вне колхозных полей. На эти хозяйства, согласно инструкции, предполагалось возложить определенные задания и обязательства. Считалось, что в этой, третьей категории будет большинство кулацких хозяйств — около 800 тысяч.

Ни о каких «подкулачниках» или зажиточных середняках в инструкциях и постановлениях тогда речи не было.

К сожалению, даже эти весьма суровые рекомендации не выполняли в большинстве областей. Уже в 1930 году было арестовано, расстреляно или выселено в северные районы страны гораздо больше кулаков, чем «планировалось». В 1931 году репрессии проводили еще более широко. Общие масштабы этой жестокой акции установить трудно. Еще на январском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1933 году было доложено, что с начала 1930 и до конца 1932 года выселено в отдаленные районы страны 240 757 кулацких семей. Данные явно заниженные. В более поздних исследованиях можно найти иные цифры. Сообщается, что ликвидация кулачества проводилась в два этапа. На первом этапе — до октября 1930 года — в северные районы страны выселили 115 231 семейство. В феврале 1931 года было принято решение о втором этапе выселения кулачества. В течение года выселили еще 265 795 кулацких семей. Таким образом, общее число выселенных достигло 381 тысячи семей. Это официальные данные. Они не были доложены в 1933 году Пленуму ЦК, но основаны на сообщениях органов ГПУ, проводивших выселение, и на материалах проверки членами Президиума ЦКК ВКП(б) осенью 1931 года. Однако и эти данные не могут считаться исчерпывающими и точными. Они не включают тех, кто был расселен в районах сплошной коллективизации, а также сотни тысяч середняков и бедняков, выселенных как «подкулачники». Кроме того, массовые выселения крестьянских и казачьих семей в северные районы проводились и в 1932 году, то есть после проверки Президиумом ЦКК. По всей вероятности, общее число «раскулаченных» — около 1 миллиона семей, не менее половины которых было выселено в северные и восточные районы страны.

Массовое выселение объясняли обычно обострением классовой борьбы в деревне, причем всю вину за него большинство исследователей возлагало только на самих кулаков. Классовая борьба в деревне действительно стала обостряться уже в 1928 году, но это было связано с применением чрезвычайных мер и с массовым нарушением местными властями законности. Обострялась классовая борьба и в результате тех перегибов и извращений в колхозном строительстве, которые были допущены в 1929—1930 годах и порождали недовольство также и основной массы середняков. Таким образом, кулацкая часть деревни не была изолирована и нейтрализована, и это облегчало и поощряло ее сопротивление. Да и само по себе выселение кулаков было актом гражданской войны, который, естественно, вызывал у части богатого крестьянства активное сопротивление. Террор был обрушен не только на «контрреволюционный кулацкий актив», но и на значительные массы зажиточных середняков, которые лишь эпизодически применяли наемный труд или не применяли его вовсе. К тому же непроизводственное личное имущество богатых семей распределялось среди бедноты и это способствовало зачислению зажиточных середняков в списки на «раскулачивание».

Во многих областях и районах удары властей обрушились и на «маломощных» середняков, бедняков и даже батраков, которые отказывались по разным причинам вступать в колхозы,— их для удобства репрессий зачисляли в «подкулачники».

Жестокая директива о выселении всей семьи экспроприированного кулака была связана в первую очередь с тем, что государство в 1930—1931 годах не располагало материальными и финансовыми ресурсами для помощи создаваемым колхозам. Поэтому и решено было передавать колхозам практически все имущество кулацких хозяйств. Уже к маю 1930 года у половины колхозов кулацкое имущество составляло 34 процента неделимых фондов. Таким образом, форсирование коллективизации толкало к максимально жестоким методам раскулачивания. В холодных, нетопленных вагонах сотни тысяч мужчин, женщин, стариков и детей отправляли на Восток, в отдаленные районы Урала, Казахстана, Сибири. Тысячи их гибли в пути от голода, холода, болезней. Старый член партии Э. М. Ландау встретил в 1930 году в Сибири один из таких этапов. Зимой, в сильный мороз, большую группу кулаков с семьями везли на подводах 300 километров в глубь области. Дети кричали и плакали от голода. Один из мужиков не выдержал крика младенца, сосущего пустую грудь матери. Выхватил ребенка из рук жены и разбил ему голову о дерево.

Во многих случаях арестовывали и ссылали в лагеря, сажали в тюрьмы или расстреливали самого кулака. Семью и хозяйство не трогали, только описывали имущество. Так что родственники считались как бы принявшими хозяйство на сохранение. Выселяли же семьи через несколько месяцев.

Немало бывших кулаков и членов их семей погибло в первые годы жизни в малонаселенных районах Урала, Сибири, Казахстана и Северо-Востока Европейской части СССР, где были созданы тысячи «кулацких» спецпоселений. Положение ссыльных изменилось только в 1942 году, когда молодежь из спецпоселений стали призывать в армию. К концу войны комендатуры здесь ликвидировали и жители бывших спецпоселений получили относительную свободу передвижения.

Продолжение следует

Сергей Чупринин

ПРЕДВЕСТИЕ

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛЬНОЙ ПРОЗЕ 1988 ГОДА

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые —
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир;
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!

Ф. Тютчев.

1

То, что мы переживаем «минуты роковые», или как нынче выражаются, судьбоносные, бесспорно.

То, что призваны «на пир», кажется, тоже. Во всяком случае, буря общественного негодования, вызванная введением лимита на подписку, показала, сколь дорого миллионы, без преувеличения, сограждан ценят уже одну только возможность читать, быть зрителями «высоких зрелищ». Недаром же фраза: «Сегодня читать интереснее, чем жить» — облетела всю страну, и недаром отношением к «Котловану» и «Реквиему», к «Огоньку» и «Нашему современнику», к «Детям Арбата» и «Всему впереди» поверяются в наши дни отнюдь не только вкусовые, эстетические пристрастия.

Наше сознание, наша культура литературоцентричны как, может быть, никогда. Примем сказанное за аксиому, не требующую доказательств. И прежде чем затевать конкретный разговор о конкретных новинках журнальной прозы, попробуем дать для начала самый общий план литературной ситуации, уточним, что же пришло к нам в 1988 году, что — «средь бурь гражданских и тревоги» — в первую очередь привлекло к себе внимание читателей и критиков, что спровоцировало споры, стало предметом как хвалы, так и хулы.

Итак, давайте-ка повспоминаем.

Чем одарила нас в минувшем году «Дружба народов»?

Романами «Чевенгур» Андрея Платонова (№№ 3—4), «Вагон» Василия Ажаева (№№ 6—8), материалами из творческого архива Михаила Зощенко (№ 3), перепиской Бориса Пастернака и Ольги Фрейденберг (№№ 7—9)...

Что поддержало авторитет «Нового мира»?

Романы «Доктор Живаго» Бориса Пастернака (№№ 1—4), «Факультет ненужных вещей» Юрия Домбровского (№№ 8—11), рассказы Владимира Тендрякова (№№ 3 и 9), стихи и проза Даниила Хармса (№ 4), Марины Цветаевой (№ 6), Варлама Шаламова (№ 6), дневниковые записи Бориса Шергина (№ 1), Владимира Вернадского (№ 3), письма Владимира Короленко Анатолию Луначарскому (№ 10)...

Благодаря чему взвинтила свой тираж «Москва»?

Благодаря тому, что из номера в номер печатала «Историю государства Российского» — даже и после того, как в «макулатурной серии» двухмиллионным (!) тиражом были выпущены «Предания веков», а издательство «Книга» направило к подписчикам первые тома карамзинского четырехтомника...

Что появилось в «Октябре»?

Романы «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана (№№ 1—4), «Итога, собственно, нет...» Владимира Померанцева (№ 6), главы из мемуарной книги Нины Берберовой «Курсив мой» (№№ 10—12)...

Какие публикации заставили нас говорить об обновлении «Юности»?

Рассказы «Странствия» и «Железная шерсть» Ивана Бунина (№ 1), «Шестое чувство» Александра Куприна (№ 3), рассказы «Волы» и др. Андрея Платонова (№№ 6, 11), воспоминания Анастасии Цветаевой (№ 1), Ивана Твардовского (№ 3), Евгения Замятина (№ 5), Надежды Мандельштам (№ 8), Евгении Гинзбург (№ 9), «Колымские рассказы» Варлама Шаламова (№ 10)...

Чем запомнилась «Молодая гвардия»?

Тем, что она ничего и отдаленно похожего на эти произведения не напечатала...

Впрочем, случай «Молодой гвардии» тем, может, и выделяется, что он исключение из правила. Правило же состояло как раз в том, что безусловными фаворитами журнального предложения и читательского спроса продолжали оставаться произведения, либо давно у нас не воспроизводившиеся, либо никогда — по крайней мере на родине их авторов — не публиковавшиеся. В этот марафон включились, к немалой читательской радости, и «Наш современник» (неоконченный роман Владимира Чивилихина «Дорога» — №№ 4—7), и «Звезда» («На берегах Сены» Ирины Одоевцевой — №№ 8—12), и «Нева» (роман «Державин» Владислава Ходасевича — №№ 6—8; повесть «Софья Петровна» Лидии Чуковской — № 2), и все практически региональные, республиканские, ведомственные, массовые ежемесячники и еженедельники — от «Волги» до таллинской «Радуги», от «Даугавы» до «Литературного Киргизстана», от «Огонька» до «Родника», от «Науки и жизни» до «Недели»...

И в «Знамени», если вспомнить, тоже ведь в первую очередь выделились романы «Московская улица» Бориса Ямпольского (№№ 2—3), «Мы» Евгения Замятина (№№ 4—5), рассказ «Охота» Владимира Тендрякова (№ 9), книга Константина Симонова «Глазами человека моего поколения» (№№ 3—5), письма Михаила Булгакова Викентию Вересаеву (№ 1), переписка Ариадны Эфрон и Бориса Пастернака (№№ 7—8), воспоминания Бориса Ванникова (№№ 1—2), Георгия Адамовича (№ 4), Алексея Аджубея (№№ 6—7), Анны Лариной (№№ 10—12)...

Можно ли все эти публикации причислить к достижениям современной литературы? Конечно, нет. Но то, что они — во всяком случае, лучшие из них — стали **событием** нашего **чтения**, явились тем фоном, в соотнесении с которым воспринимаются и все остальные публикации года, несомненно.

Как несомненно и то, что в этот ряд встраиваются сегодня — вот оно, отличие именно истекшего года,— другие, неожиданные для многих имена, другие, во многом непривычные вещи.

«Защита Лужина», появившаяся в двенадцатом номере «Москвы» еще за 1986 год, открыла в 1988-м путь «Дару» («Урал», №№ 3—6), «Другим берегам» («Дружба народов», №№ 5—6), «Камере-обскуре» («Волга», №№ 6—8), «Университетской поэме» («Юность», № 5), стихам, рассказам и эссе Владимира Набокова. Бурно после осторожной пробы в декабрьском «Новом мире» за позапрошлый год печатался Иосиф Бродский, оказавшись — кто б мог предположить сие еще в дни его нобелевского триумфа? — желанным автором сразу и «Невы» (№ 3), и «Дружбы народов» (№ 8), и «Юности» (№ 8), и «Иностранной литературы» (№ 9), и таллинской «Радуги» (№ 2), и «Огонька» (№ 31), и «Литературного обозрения» (№ 8), и «Книжного обозрения» (№ 24). Зазвучали на журнальных страницах голоса поэтов-эмигрантов Ивана Елагина, Арсения Несмелова, Александра Галича, Наума Коржавина, Юрия Кублановского. «Городскими прогулками» («Юность», № 7), «Маленькими портретами» («Дружба народов», № 8) вернулся после смерти на родину Виктор Некрасов. Отрывки из романа «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» Владимира Войновича появились в «Неделе». Мелькнул — пока, правда, лишь в «Крокодиле» — Василий Аксенов. Главами из романа «Школа для дураков» был представлен в «Огоньке» Саша Соколов — один из тех немногих, чей талант расцвел уже далеко от Москвы...

Эти публикации вызывают сегодня всеобщий интерес — впрочем, не без некоторого зачастую оттенка настороженности, а в иных случаях и предвзятости. Неудивительно. Если уж, как свидетельствуют баталии в газетах и журналах, даже возвращение на родину таких, казалось бы, безусловно значительных произведений, как пастернаковский «Доктор Живаго», ахматовский «Реквием», платоновский «Котлован», гроссмановская «Жизнь и судьба», слишком многим у нас мешает и слишком многих литераторов, критиков, читателей не устраивает либо по идеологическому, либо по эстетическому, так сказать, счету [1], то что же тогда говорить о тех авторах, кого еще совсем недавно и в печати, и на собраниях в Союзе писателей называли «изгоями», «отщепенцами», «литературными власовцами» и вообще «бывшими»?

Так что спор об этих и писателях и книгах, об их месте и роли в истории русской, русскоязычной литературы XX века, судя по всему, еще впереди. Впереди, надо полагать, и их серьезное, далекое от чисто эмоциональных крайностей и перехлестов осмысление.

2

Ну, а теперь к делу, к тому, что родилось **здесь и сейчас**, что без всякой натяжки можно зачислить в разряд журнальных новинок.

---

[1] Разброс оценок, как и следовало ожидать, велик — по крайней мере внешне. Так, если главный редактор «Вопросов литературы», доктор филологических наук Д. Урнов ограничивает свою задачу попыткой доказать, будто роман у Пастернака получился «слабый», откровенно эпигонский и потому от бесславья «спасти его мог скандал, и большой скандал» («Литературная учеба», № 2, с. 75), то заместитель главного редактора журнала «Наш современник» В. Свининников в беседе с главным редактором «Молодой гвардии» прозаиком Ан. Ивановым подходит к делу с иного бока, простодушно вопрошая, «почему вдруг словно бы резко сместились критерии, и правда тех, кто стоял на обочине, а то и по другую сторону баррикад, вроде бы даже вытесняет правду тех, кто боролся — и страдал — вместе со строителями первого в истории государства рабочих и крестьян?» («Наш современник», № 5, с. 171).

Подходы, как видим, разные. А вот цель, рискну предположить, все-таки одна: если уж не удалось, как раньше бывало, **оградить** советского читателя от «вредных для него книг», то следует хотя бы отечески **предостеречь** его от нездоровых увлечений.

Уже фронтальный просмотр центральных и части региональных ежемесячников убеждает: расхожее мнение, согласно которому так называемая задержанная классика (кое-кто прибавляет к ней еще и так называемую политическую беллетристику) будто бы напрочь вытеснила современную, текущую прозу с журнальных страниц, есть плод либо недоразумения, либо нашей внушаемости, нашей способности верить во всякую широко тиражируемую чепуху.

Если чего и не хватает, то разве только секретарской, как шутят в кулуарах, литературы. Подавляющее большинство руководителей Союза писателей, директоров и главных редакторов издательств, лауреатов и прочая и прочая в самом деле ни единой художественной строкой не напомнили о себе в журналах минувшего года. Иной раз даже мнится отчего-то, что и пространство для того, что привлекло к себе преимущественное читательское внимание, высвободилось лишь благодаря этому.

Зато в остальном!..

В остальном все есть, все, как и во время оно наличествует на журнальных страницах:

романы политические и психологические, повести фантасмагорические и производственные, работы писателей-ветеранов («Рисунок на стекле» В. Каверина — «Знамя», № 4) и писателей-новобранцев («Равновесие света дневных и ночных звезд» В. Нарбиковой — «Юность», № 8), детективы (романы Л. Захаровой и В. Сиренко «Операция «Святой» — «Волга», №№ 1—4; «Петля для полковника» — «Молодая гвардия», №№ 3—4) и социальная фантастика (романы А. и Б. Стругацких «Отягощенные Злом...» — «Юность» №№ 6—7; «Град обреченный» — «Нева», №№ 9—10), беллетризованные «статьи в разговорах» («Стрельба влет» А. Стреляного — «Дружба народов», № 6) и изысканнейшие — для гурманов? — композиции («Роман с героем — конгруэнтно — роман с собой» З. Журавлевой — «Нева», №№ 2—5), произведения строго документированные и основанные на чистейшем вымысле.

Среди героев сегодняшней прозы есть и, так сказать, традиционные (от крестьян до агентов западных спецслужб) и, так сказать, экзотические: Председатель Совета Министров у Д. Гранина (рассказ «Запретная глава» — «Знамя», № 2), лучший, талантливейший поэт советской эпохи у Ю. Семенова (повесть «Версия — 4» — «Нева», № 3), рок-звезда у А. Матвеева (повесть «В поисках ближнего» — «Урал», № 1), валютные проститутки у В. Кунина (повесть, или, вернее, киносценарий «Интердевочка» — «Аврора», №№ 2—3), профессиональные фарцовщики у А. Григоренко (повесть «Дела на октябрь» — «Литературная учеба», № 3) и профессиональный палач у Ю. Гончарова (рассказ «Хлеб наш насущный» — «Литературная Россия», № 6)...

Амплитуда эстетических колебаний текущей прозы велика, как давно уже не бывало: от прямой публицистичности до витиеватых иносказаний, от подчеркнутого жизнеподобия до столь же подчеркнутой, «крутой» авангардности. Амплитуда колебаний политических пока поуже, но и тут расхождение точек зрения на настоящее, прошлое и будущее страны и народа достаточно выразительно.

Словом, материала так много, что кое-что хочется сразу же вывести за скобки — по разным, впрочем, причинам.

Так, отдельного разговора заслуживает проза, связанная с событиями и фигурами давно прошедших лет. В этом ряду и очередной роман из титанического цикла книг Д. Балашова о государях российского средневековья — «Отречение» («Север», №№ 6—9), и романы «Иван Грозный» В. Полуйко («Сибирские огни», №№ 7—9), «Белые гуси на белом снегу» Е. Мальцева («Дон», №№ 3—7), «Честь имею» В. Пикуля («Наш современник», №№ 9—12)... В этом же, ряду будем пока переводить дыхание, ряду и предпринятое В. Кожиновым жизнеописание Ф. И. Тютчева («Подъем», №№ 1—2, 8—9), и повесть Ю. Давыдова «Вечера в Колмове», напоминающая читателям о драматической судьбе Г. И. Успенского («Дружба народов», № 5), и повесть-эссе Р. Киреева об А. П. Чехове — «Приближение к Таганрогу» («Звезда», № 1), и повесть Н. Шмелева «Спектакль в честь господина первого министра», посвященная трудам и дням И.-В. Гете («Знамя», № 3)...

Очевидно и то, что место за чертой (но по совсем другой причине) уготовано прозе, трактующей сегодняшние проблемы в соответствии с канонами, которые уже двадцать — тридцать лет назад считались устаревшими.

Один только пример, далеко не единичный, к несчастью,— повесть Виктора Веретенникова «Беркуты» («Молодая гвардия», №№ 4—5).

Там вот в чем дело. Положительный, хотя, как водится у нас, своенравно-крутехонький, председатель РАПО (в 50-е он был бы назван директором МТС, в 60-е — передового совхоза, а в 70-е — бери выше, генеральным директором чего-нибудь) отважно бросает вызов отрицательному секретарю обкома — естественно, не Первому — и, опять же естественно, побеждает, так как силен он близостью не только к народу (олицетворенному в образе мудрого деда Луки), не только к природе (олицетворенной в образе преданной собаки), но и к партийному руководству нового, «послеапрельского» образца, олицетворенному в образе недавно прибывшего в область Первого секретаря.

В повести, будем справедливы, есть зримые приметы нового. Так, если раньше герой хлопотал бы о торфоперегнойных горшочках, то теперь он озабочен бесчинствами молодцев из Минводхоза; если раньше он колесил бы на газике, то теперь облетает вверенные ему владения на персональном самолете; если раньше автор ни на шаг не отступил бы от одноколейного сюжета, то теперь в параллель к основному действию он вводит «мифологическую» линию, связанную с судьбою четы беркутов — ау, орлы Т. Пулатова, «хозяин Матеры» В. Распутина, волки Акбара и Ташчайнар Ч. Айтматова!.. Зато в остальном и у героя, и у автора все по-старому, все, как в благословенные времена «борьбы с бесконфликтностью»: у героя — жена-мещанка и лизоблюды «из интеллигентов», а у автора — слог. Допустим, вот такой: «Да. Обух ушел на стройку. Он не мог больше примирить в душе вековечную любовь крестьянина к скотине, к земле с откровенным грабежом, облекаемым Скорохватом в тогу барабанных починов, выставляя на потеху справедливость и святость крестьянскую»...

В общем, «Беркуты» смело могли бы претендовать на звание **худшей** книги года, если бы «Наш современник» не отдал сразу три своих номера роману Виктора Иванова «Судный день» (№№ 4—6)[1].

Оперативные еженедельники («Огонек», «Литературная газета» и др.) отозвались на сей опус хлесткими репликами или фельетонами. Солидные издания промолчали — и это, наверное, правильно, поскольку нельзя же всерьез принимать скверно (очень скверно!) изложенную историю некоего шпиона, засланного в СССР неким диверсионно-масонским «Центром», с тем чтобы посредством распространения Библии и порнографических открыток растлевать умы и дестабилизировать обстановку в стране. Комплекс идей и настроений, отразившихся в «Судном дне», способен, мне кажется, заинтересовать социопсихологов, уровень письма — вызвать аллергическую сыпь даже у притерпевшихся ко всему работников Литконсультации, критикам же... критикам здесь делать явно нечего.

И еще одна новинка.

Журнал «Урал» в своих июньском, июльском номерах опубликовал роман Юлиана Семенова «Репортер».

«Репортер», конечно, «Судному дню» не ровня. Во-первых, Ю. Семенов при всей своей вошедшей в легенду торопливости умеет, во всяком случае, быть занимательным. Во-вторых, тут есть живые сценки, выразительные, по крайней мере на взгляд читателей из литературного мира, характеры — чего стоит хотя бы образ некоего гладко обкатанного, в принципе не потопляемого «идеолога»-аппаратчика Ф. Ф. Кузинцова, написанный с отвращением, равным только тому, с каким В. Аксенов воссоздал похожий образ Ф. Ф. Клизмецова в своем недавнем романе «Скажи изюм». В-третьих же и в главных, Ю. Семенов обратился к действительно злободневной, а не надуманной проблеме перерождения святого патриотического чувства в национальный эгоизм и едва замаскированную шовинистичность, так что в этом смысле рассказ о воззрениях и деяниях активистов общества «Старина» (так в романе) наверняка вызовет обостренный читательский интерес.

И тем не менее... Интерес этот будет скорее всего скептическим. Почему? Ведь не жанр же романа-фельетона (сам по себе вполне почтенный) тому виной?

Нет, дело не в жанре, а в несчастной нашей потребности, в стародавней привычке истоки всех отечественных бед (в том числе и идеологических) искать непременно за кордоном: то англичанка гадит, то ЦРУ козни строит, то масоны шебуршат, то «недобитые» власовцы из НТС орудуют. И не только в том горе, что при такой постановке вопроса художественное исследование опасно сближается с «апелляцией к городовому», если не вовсе с докладной в компетентные, как у нас изящно выражаются, органы. Плохо то, что публике навязывается очередной образ врага (то ли Советской власти, как у Вик. Иванова, то ли перестройки, как у Ю. Семенова), а не, допустим, добросовестно заблуждающегося оппонента в честном споре, и тут уж до приглашения принять участие в «охоте на ведьм» рукой подать. И еще. Представляя, как и во время оно, любое инакомыслие, любой экстремизм оплаченным из кармана дядюшки Сэма, не отвлекают ли нас от простой и жуткой в своей простоте мысли, что и на российских черноземах и подзолах способно без всякой, увы, заморской подкормки взрасти все что угодно — вплоть до фашизма? Начинает казаться, что достаточно подзатянуть гайки, прикрикнуть построже, нацелить прокурорский взор куда следует — и хиппари наши отечественные перестанут отпускать гривы до ягодиц, и поэты взамен упадочнических стишков напишут нечто бурнопламенное, и воцарится на страдающей родине мир да любовь!..

Так что, хоть и нов антураж «Судного дня», хоть и пестрит «Репортер» рассуждениями о Бухарине, Сталине, нэпе, иных эмблематических знаках перестройки, а матрица в основе все та же, и все та же она, что в дни, когда писались «Великая сила» и «Суд чести» или, предположим, «Тля» да «Чего же ты хочешь?».

3

Приступая к работе над обзором, я страшился обилия материала, того, что единого слова ради придется извести тысячи тонн словесной руды. Но эта беда, как выяснилось, с полбеды. Хуже то, что обозреватель — в отличие от критика-рецензента, выступающего в печати

[1] Мне, кстати, показался очень многообещающим пример, поданный устроителями кинофестиваля «Золотой Дюк»: называть не только лучшие, но и худшие произведения года, вручая создателям приз «ККК» (конъюнктура, коммерция, кич).

более или менее эпизодически, выборочно,— здесь выбирать не вправе и что нужно, следовательно, давать оценки даже в тех случаях, когда от разговора хотелось бы уклониться.

Что это за случаи?

А вот что. Читая, скажем, романы «Чертово колесо» Георгия Семенова («Наш современник», №№ 1—2), «Аптекарь» Владимира Орлова («Новый мир», №№ 5—7), «Родительский дом» Бориса Екимова («Волга», №№ 5—8), «Роман с героем — конгруэнтно — роман с собой» Зои Журавлевой («Нева», №№ 2—4), «Прощание славянки» Георгия Пряхина («Октябрь», № 5), «Ноль три» Дмитрия Притулы («Нева», №№ 6—7), я был, что называется, априори настроен на весьма сочувственный, благожелательный лад.

Я знаком с большинством упомянутых здесь авторов и ценю их доброе (с этого момента, наверное, былое) расположение. Я глубоко уважаю их гражданские позиции. Я высокого, наконец, мнения об их писательском даровании — оно, кстати, и тут дает о себе знать достаточно часто, проявляясь то в словесной пластике и музыкальности (у Г. Семенова), то в точных, социологически значимых картинах современной жизни (у Г. Пряхина, Б. Екимова, Д. Притулы), то в изобретательных ходах мысли и воображения (у З. Журавлевой, В. Орлова). Я никогда не решусь отнести эти произведения к числу безусловных неудач, к провалам серьезных художников.

Но я не решаюсь, увы, говорить и о победах. Перед нами, если позволительно так выразиться, полуудачи, и отсутствие резонанса в критике, в читательской среде само по себе здесь показательно.

Причины — на первый, во всяком случае, взгляд — столь же различны, сколь различны на любой взгляд эти произведения.

Г. Семенов, Б. Екимов каждый по-своему, каждый на своем материале (в первом случае — городском, во втором — деревенском) находят причины сегодняшних социальных, равно как и личностных недугов в том, что распалась связь времен, порушены семейные, родовые очаги, утрачена вера и вместе с нею чувство непрерывности бытия, когда человека укрепляет мысль не только о «личной автономии» и «личной суверенности», но и о собственной незаменимости, нужности в плотном потоке сменяющих друг друга поколений.

Д. Притула, обратившись к своему опыту врача «Скорой помощи», задается вопросом: почему же, если мы с вами такие хорошие, то начальники у нас так скверны,— и, поразмыслив, высказывает предположение: уж не в том ли дело, что «хорошие люди» по лености, по чистоплюйскому испугу перед самою возможностью «запачкаться», по социальной близорукости, наконец, охотно уступают свои права и полномочия (в том числе управленческие) любому прыткому охотнику повластвовать.

Впрехлест этой мысли движется мысль Г. Пряхина: он рассказывает, что случается с неплохим вроде бы человеком, пошедшим в начальники, как мало-помалу на пути служебных успехов, реализации честолюбивых планов утрачивается и воля к добру, и способность сопротивляться «условиям игры», житейской «самотечности», как утрачивается вообще все светлое, что было в таком человеке в его молодые, лучшие годы.

Беззащитность человека перед временем, обстоятельствами, прихотями случая или — бывает и такое — прихотями собственной натуры занимает внимание З. Журавлевой: ища надежную опору в раскоординированном, рассохшемся мире, ее лирическая героиня прилепляется душою к воспоминаниям о своем Учителе (может быть, даже вероучителе), но и тут не находит утоления духовной жажды.

И, наконец, «Аптекарь». После звонко прозвучавшего «Альтиста Данилова» от В. Орлова ожидали как раз чего-либо в этом же роде. И В. Орлов действительно подтвердил новым своим романом верность всему тому, что раньше принесло ему безусловный, хотя и оспоренный придирчивыми критиками успех. Верность и прежней интонации — иронико-элегической. И прежней манере, укореняющей капризные (иногда даже претенциозные) фантазии в плоти дотошнейшего бытописательства. И прежней теме: исследованию личности в условиях, когда оказывается возможным осуществление самых ее сокровенных, самых несбыточных мечтаний.

Уже по этим — вынужденно схематичным — характеристикам видно, что вопросы, взволновавшие писателей — действительно, повторюсь, талантливых,— не отнесешь ни к пустячным, ни к потерявшим актуальность. Отчего же тогда ощущение полуудачи, отчего рассказываемое столь опытными авторами кажется иной раз читанным-перечитанным настолько, что лишь благодаря обозревательской усидчивости добираешься до финальных сцен?

Оттого, рискну предположить, что в романах этих нет художественной новизны. Поток идей, обуревающих писателей, идет словно бы в одной плоскости, реализуясь по преимуществу в авторских отступлениях, а поток жизненного материала — в совсем, совсем иной, так что размышления писателей (часто и впрямь свежие) худо-бедно оседают в памяти, вызывают эмоциональный отклик в читательской душе, а вот характеры героев, а вот сюжетные перипетии, чуть отведи взгляд, тут же забываются, сливаясь в однородно... нет, не скажу однородно серую, но... однородно бесцветную массу.

Виноват, но если размышления Г. Семенова ни при какой погоде не перепутаешь с размышлениями В. Орлова, то «пересадить» орловского «аптекаря» в среду «Чертова колеса» или, наоборот, семеновского Сергея Рыблова в ситуации, предложенные В. Орловым, большого труда не составит. Так и с остальными, помянутыми в этом ряду романами: герои Д. Притулы и коллизии, в которых они оказываются, выглядят взятыми напрокат из «больничных» повестей Ю. Крелина; персонажи Б. Екимова ничем существенным не отличаются от тех, что уже третье десятилетие исследуются мастерами (и эпигонами!) деревенской прозы; «Роман с героем — конгруэнтно — роман с собой» воскрешает в памяти рационалистические фантазии то ли Г. Гора, то ли В. Шефнера; а «Прощание славянки» и вовсе иной раз предстает диковинной попыткой срастить традиции «секретарской» литературы (с ее преклонением перед партработниками как людьми иного, чем смертные, закваса) и опыт «прозы сорокалетних» (с ее психологическими вибрациями и ее пресловутой амбивалентностью).

Ощущая, наверное, недостаточную «витальность» своих героев, их стертость и взаимозаменяемость, обезболенность их восприятия реальности, писатели нажимают на повествовательный прием, на «технические» изыски — и пережимают, благодаря чему романы Б. Екимова и Д. Притулы замирают на грани, отделяющей литературу от дюжинной беллетристики, а романы В. Орлова, Г. Семенова, З. Журавлевой, Г. Пряхина кажутся уже и не романами, а вот именно что «композициями в прозе», вбирающими в себя, по аттестации В. Орлова, все окружающее. Но, как ядовито заметил, разбирая «Аптекаря», критик П. Ульяшов, «роман — не пылесос», и, при всех симпатиях к «разомкнутым структурам», к жанру «повествования в новеллах», к ассоциативному (а не логическому, причинно-следственному) типу внутритекстовых связей, с невольной грустью вспоминаешь о прописных истинах — о том, например, что искусство есть прежде всего отбор и концентрация отобранного, что прозы без характеров не бывает и т. д. и т. п. И невольно думаешь, что романы эти показательны как раз для дней, когда предыдущий этап творческого освоения действительности уже завершен, а подступы к новому, следующему еще не разведаны.

4

Романы, о которых мы только что говорили, прошли тихо, полузаметно.

Спорили о другом — о том, что с легкой руки Вл. Гусева получило название «политической беллетристики». Год и начался-то ведь, может быть, с пьесы М. Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» (Знамя», № 1) или, точнее, с до сих пор не исчерпавшего себя обсуждения вопроса о том, насколько верна фактическая основа шатровской драматургии, насколько соответствует она партийным постановлениям и данным науки и, наконец, насколько позволительны вымысел и «преображение реальности» при обращении художника к историческим лицам и событиям — тем более если эти события истинно трагедийны.

Пламя спора занялось сразу же, охватило едва ли не всю нашу периодику, но апогея своего дискуссия достигла, пожалуй, тогда, когда В. Кожинов (полемист опытный и гораздо более изобретательный, чем большинство его единомышленников) дал простую и ясную «формулу неприятия», предприняв попытку доказать, что если роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и содержит в себе «правду» узкого интеллигентского круга, то народной, научной, философской и исторической «истине» он безусловно не соответствует.

Я далек от того, чтобы считать нераскаявшимися сталинистами всех, кто нападал и нападает на «Детей Арбата» и пьесы М. Шатрова, на «Новое назначение» А. Бека и «Зубра» Д. Гранина, на «Белые одежды» В. Дудинцева и «Кроликов и удавов» Ф. Искандера. Не склонен я видеть врагов перестройки и в тех, кому скорее всего не понравятся (вместе или порознь) «Запретная глава» Д. Гранина («Знамя», № 2), «Черные камни» А. Жигулина (там же, №№ 7—8), освобожденные из заточения главы искандеровского «Сандро из Чегема» (там же, №№ 9—10), «Непридуманное» Л. Разгона («Юность», № 5), «Версия-4» и «Ненаписанные романы» Ю. Семенова («Нева», №№ 3 и 6), «Овраги» С. Антонова («Дружба народов», №№ 1—2), «Поле брани, на котором не было раненых» Л. Лиходеева (там же, № 9), «Тридцать пятый и другие годы» А. Рыбакова (там же, №№ 9—10), другие вещи активной антисталинистской направленности.

Слишком разные эти произведения, чтобы мазать их одним миром. И слишком многие надежды связываем мы с декретированным, но пока не освоенным плюрализмом, чтобы на первых же порах искушать себя мечтою об единодушии и единогласии — пусть даже и самых что ни на есть прогрессивных. Хотя...

Хотя не может не смущать то обстоятельство, что о дефиците художественности (помните баталии 1986—1987 годов вокруг того, что публицистика-де теснит-вытесняет у нас художественность?) заговорили, во-первых, применительно к антисталинистской и никакой другой литературе, а во-вторых, заговорили по преимуществу именно те, кто, не находя в том сраму, самозабвенно откликался на «Вечный зов», подолгу кружил подле «Свинцового монумента», в «Судьбе» охотно прозревал судьбу народную, а в «Войне» готов был увидеть как минимум 0,5 «Войны и мира». Так и с новым витком полемики вокруг «политической» прозы и драматургии. Разве не на-

водит на размышления то, что истины, научной объективности возжаждал не кто-нибудь, а именно В. Кожинов, исстари славный, как известно, и своим «волевым отношением» к материалу, и своею привычкой, не обинуясь, «подгонять под концепцию» любые факты, цитаты, цифры, любые произведения?..

Суть, впрочем, не в репутациях нынешних охотников сталкивать «правду» с «истиной» и в резкой критике Сталина «со присными» обнаруживать непременно либо попытку отвлечь общество от сегодняшних бед, либо попытку снять историческую вину с интеллигенции (в том числе и партийной интеллигенции) 20—30-х годов Суть даже не в конкретных замечаниях и претензиях по линии, так сказать, фактической достоверности — частью они уже отпарированы в печати, частью, допускаю, вполне справедливы.

Я, если хотите, готов согласиться с тем, что, например, «Дети Арбата», при всей панорамности романа, не охватывают всей действительности, не сообщают всей правды (истины) о том, как и чем жили люди в эпоху сталинщины. Я, пожалуй, готов согласиться и с тем, что рыбаковские оценки, скажем, Кирова или его мнение о нравах сибирских девушек глубоко субъективны. Пусть так. Но я, убей бог, не понимаю, что же здесь худого и что изначально антихудожественного. И, убей бог, не понимаю, почему мы, во-первых, должны требовать от писателя того, что способна дать, может быть, только вся литература в целом, а во-вторых, зачем нужно делать вид, что задачи науки и литературы тождественны.

Истинна ли (по возможности обезличенная и обездушенная, очищенная от личностных наслоений и субъективных акцентов) цель искусства — тем более искусства открыто тенденциозного, не скрывающего своей идеологической, агитационной направленности? Или, может быть, дело писателя, обращающегося к политической проблематике, к историческим фигурам и событиям, не на истину в последней инстанции претендовать, а вырабатывать, формировать нравственное отношение современников и потомков к этим фигурам, к этим событиям?

Предупрежу кривотолки: сказанное не означает, естественно, что писатели вправе лгать, то есть пренебрегать достоверно установленными фактами, сочинять заведомо фальшивые гипотезы и версии, укреплять авторитетом печатного слова распространенные в обществе предрассудки, заблуждения и суеверия. Стремление к истине — обязанность писателя, условие (но и то только как правило, а не всегда) художественной убедительности его созданий. Но обязанность, а не задача, как у ученого; условие, а не цель, как у мыслителя; и эту разницу отлично, кстати, понимал Пушкин — достаточно вспомнить, сколь разными вышли у него образы Пугачева и пугачевщины в создававшихся практически одновременно «Истории пугачевского бунта», сориентированной на выяснение истины, и «Капитанской дочке», где верх берет стремление к художественной правде.

Ну да не ведущему же сотруднику академического Института мировой литературы все это объяснять!..

Конечно, писатели у нас испокон веку привыкли исполнять обязанности и историков, и философов, и социологов, и политэкономов. Такова отечественная норма. Нормально, значит, и то, что именно от писателей, а не от специалистов по-прежнему ждут у нас подробных разъяснений всего на свете: и почему именно Сталин захватил власть, и была ли альтернатива, и в каких соотношениях находится сталинизм с большевизмом и т. д. и т. п.

Писатели — от А. Рыбакова до Ю. Семенова — предлагают свое понимание этих вопросов, свое — наверняка не бесспорное, глубоко личностное — отношение к ним. Заменяют ли их версии научное знание, поиски которого сейчас, кажется, резко активизировались? Нет, не заменяют — так же, как толстовская версия Наполеона не заменяет труды историков-профессионалов. И с другой стороны: отменяет ли знание, добытое «наполеоноведением» за полтора столетия, толстовскую версию? Никоим образом. И то, и другое живет в культуре, в умах полноценной жизнью, исполняет свою необходимую роль.

Эта аналогия — при всей, понятно, несоразмерности честолюбивого корсиканца и «кремлевского усача», автора «Войны и мира» и сегодняшних писателей — кажется мне тем более уместной, что и толстовский Наполеон, и рыбаковский (шатровский, искандеровский, солженицынский...) Сталин возникли не на пустом месте, а в страстной полемике с инерционным восприятием этих фигур, с теми их образами, что десятилетиями доминировали и в культуре, и в обыденном сознании. Следовательно, приходилось круто переламывать традицию, вырабатывать, предлагать читателям принципиально иное отношение к лицам, ставшим эмблематическими.

Я бы очень хотел, чтобы то отношение к Сталину и сталинщине, какое предложила нам в последние два-три года литература, стало в нашем обществе господствующим. Благо, в этом желании нет никакого покушения на принципы плюрализма, на самое существование инакомыслия и иного, в частности, отношения к «корифею всех наук». А. Ланщикова, опасающегося, что рыбаковская, скажем, версия Сталина окажется вдруг столь же единственно наличествующей, сколь единственно наличествующей была во время оно версия «Краткого курса», хочется сразу же успокоить: да нет же, все наоборот, как раз сейчас и только сейчас у читателей, у критиков впервые появилась возможность выбирать — между Сталиным И. Стаднюка и Сталин-

ным А. Рыбакова, между образом коллективизации в «Поднятой целине» и таким же образом в «Мужиках и бабах», между чекистами в изображении Л. Никулина и чекистами в изображении А. Жигулина. И те, и другие книги находятся сейчас, слава богу, в равноправном и свободном обращении, конкурируют, спорят друг с другом, так что вольному, как говорится, воля...

И не будем заблуждаться, принимать желаемое за действительное: выбор еще далеко не предрешен. Все еще есть люди, и много их, мечтающие о том, чтобы «из мглы былого» извлекались не «Котлован», а «Бруски», не «Доктор Живаго», а «Хлеб», не «Факультет ненужных вещей», а «Счастье». Все еще есть — и всегда, наверное, будут — те, кому отраднее, душегрейнее думать, что великой страной и великим народом на протяжении четверти века управляли не «сброд тонкошеих вождей» (О. Мандельштам), а мудрый, хотя и своенравно - деспотичный Хозяин (или КАПИТАН — именно так, прописными литерами, предлагает именовать его А. Ланщиков — «Наш современник», № 7), и почти столь же деспотично - мудрые его сподвижники.

Вот почему мне не кажется избыточным половодье антисталинистских публикаций. Слишком могуча инерция обоготворения или, как сказали бы литературоведы, романтизации всего, связанного с событиями конца 20-х — начала 50-х годов, слишком прочно укоренились в душах сограждан насаждавшиеся десятилетиями иллюзии и предрассудки, чтобы литература могла удовлетвориться уже сделанным.

Она и не удовлетворяется, ища, сколько можно судить по публикациям 1988 года, новые формы, новые средства целенаправленного, формирующего воздействия на умы и сердца. Тут все жанры хороши, тут ни одна возможность не должна быть упущена, и меня не шокирует, как иных ценителей, а радует, что одновременно с потрясающими «нагой правдой» шаламовскими «репортажами» из лагерного ада печатаются «документированные анекдоты» Ю. Семенова о Сталине и его дворне, что рядом с романом-исследованием А. Рыбакова молодой поэт и драматург В. Коркия развертывает бойкое балаганное действо под названием «Черный человек, или Я бедный, бедный Сосо Джугашвили».

Правда не вымыслу противостоит, но лжи, что прикидывается правдой. Вот почему, отдавая должное страстности, с какою А. Жигулин передает свой уникальный жизненный опыт, вот почему считая, что Д. Гранину в его преднамеренно суховатых, «очерковых» воспоминаниях об единственной встрече с А. Н. Косыгиным удалось создать мало с чем сопоставимый по художественной концентрированности образ «пленника собственной судьбы», — я, читатель, вовсе не нуждаюсь в том, чтобы Ф. Искандер непременно указал на документальные источники своих «Пиров Валтасара», ибо не фактической неопровержимостью сильна эта новелла в романе «Сандро из Чегема», а неопровержимостью, с какою заявляет о себе неистребленная, слава богу, народная смеховая культура.

Рискую ошибиться, но мне даже кажется порою, что наибольшие победы в раскрытии этой трагической темы могут быть связаны в дальнейшем отнюдь не с приращиванием «истинности» и панорамности, не с приобретением литературой эпически уравновешенного, объективного взгляда на сталинскую эпоху, а как раз напротив — со взлетом сатиры, с легализацией анекдотов, частушек, других фольклорных жанров, с расцветом того, что М. М. Бахтин называл мениппеей [1].

Впрочем, посмотрим. А пока, признавшись, что наиболее значительным в прозе 1988 года мне представляется массив антисталинистских публикаций, тут же и оговорюсь, что вижу разницу в смысловом «весе», в художественном и нравственном достоинстве этих публикаций. У «Ненаписанных романов» Ю. Семенова и написанного В. Гроссманом романа «Жизнь и судьба» цена, что уж тут спорить, разная. Резко негативное отношение к Сталину и сталинщине — еще не индульгенция, равно тому как признание значительности замысла и суммарно высокая общая оценка произведения еще не освобождает критика от необходимости говорить о недостатках, отделять злаки от плевел.

Уже поэтому я должен, к сожалению, заметить, что, например, начальные главы нового романа Анатолия Рыбакова «Тридцать пятый и другие годы» мне лично показались более бледными, написанными более конспективно и более, может быть, торопливо, чем продуманный в каждой запятой роман «Дети Арбата». Причем, если в «Детях Арбата» читательский интерес возбуждали прежде всего страницы, рисующие Сталина и его окружение, то теперь, случается, даже досадуешь, когда «кремлевские» монологи и сцены в очередной раз отвлекают внимание от слежения за судьбами Саши Панкратова, Вари, Шарока, Вики, других «земных» героев романа.

В чем тут дело? Возможно, в специфике читательского восприятия, в том, что любое, пусть даже и очень убедительное, продолжение, развитие темы впечатляет меньше, чем ее открытие, тем более столь долгожданное. Возможно, действительно дает о себе знать легко объяснимое стремление романиста выго-

---

[1] «Мениппея, — говорится в книге «Проблемы поэтики Достоевского», — полностью освобождается от тех мемуарно-исторических ограничений... она свободна от предания и не скована никакими требованиями внешнего жизненного правдоподобия. Мениппея характеризуется исключительной свободой сюжетного и философского вымысла. Этому нисколько не мешает то, что ведущими героями мениппеи являются исторические и легендарные фигуры...»

вориться сполна, досказать, раздвинуть и без того просторные рамки повествования. Вероятнее же всего причина в том, что образ Саши Панкратова воссоздается в его художественном самодвижении, а образ Сталина внутренне статичен, даже статуарен — как всякая константа. Кровавый генсек — допускаю вслед за А. Рыбаковым,— возможно, и был единственной константой, единственным «утесом» в бурлящей взвеси российской политической действительности 30-х годов. Но... достичь художественно-психологического эффекта исключительно путем все новых и новых подтверждений этого — возможно, повторюсь, и в самом деле верного — тезиса автору удается, мне кажется, далеко не всегда.

5

И еще одно важное обстоятельство.

Саша Панкратов становится нам по-настоящему интересен и дорог с того момента, когда из «продукта» социальной среды и «объекта» бесстыдных идеологических манипуляций он начинает постепенно превращаться в независимую личность, осознавая себя уже не только жертвою, но и противником преступного режима.

Мне вообще кажется очень симптоматичным, многое говорящим о переменах в общественном сознании то, что от преимущественного внимания к «жертвам необоснованных репрессий» (чем, напомню, почти исчерпывались «антикультовые» публикации периода «раннего реабилитанса») наша литература явно повернула сейчас к разговору о героях нравственного сопротивления сталинизму Место безвинных страдальцев, слепо веривших Отцу народов, слепо шедших на заклание с его именем на устах и абсолютно не понимавших, отчего же власть к ним так безжалостна и так несправедлива, все решительнее заняли в нашей прозе, поэзии, публицистике образы людей сильных духом, сумевших не сломиться, сохранить свой гражданский и человеческий облик даже под пытками, даже на Соловках или на Колыме.

Причины этого поворота, свидетельствующего о том, что нынешняя «весна» не повторяет, как кое-кому кажется, ту давнюю, хрущевскую «оттепель», а является принципиально важным этапом на пути осмысления трагических коллизий советской истории — не литературного или не только литературного порядка.

Благодаря тому, что мы по-иному оцениваем сегодня коллективизацию, нэп, военный коммунизм и гражданскую войну, образ мысли и образ поведения оппозиционеров-партийцев, «старательных», как выражались в 20-е годы, крестьян, кооператоров, «буржуазных спецов», «внутренних эмигрантов», раздвинулось наше представление о числе и качественном составе тех, кто жизнью своей оплатил четвертьвековое как минимум торжество тирании. Стало ясно, что не щепки летели от сталинского топора, а целенаправленно, последовательно выбивался цвет нации или точнее цвет всех наций, всех народностей нашей страны. Стало ясно, что надо говорить не об ошибках, а о преступлениях, не на «нарушения социалистической законности» пенять, а разоблачать всю подлую фальшь того, что именовалось «социалистической законностью», не только самому Сталину и отдельным, наиболее ретивым исполнителям его предначертаний предъявлять обвинительный акт, а созданной им системе. И стало наконец ясно, что необъявленная война, которую власть десятилетиями вела против народа, не могла быть только односторонней, что не все, слава богу, не все, кто безоружным и оболганным пал на этой войне, были одинаково доверчивы и слепы.

Спору нет, сталинская артиллерия била и «по своим» — по палачам, попавшим вдруг в списки жертв, по тем, что и совесть и честь отдали бы за то, чтобы тоже встать в «стальную шеренгу» опричников. Понятно, что основную массу населения «архипелага ГУЛАГа» составляли люди безвинные, ничем и никак не опасные для тирании. Были, знаем, и те, кто даже в лагерях ничему не научился и даже после лагерей как зеницу ока хранил и хранит трогательно рабскую преданность если не самому Хозяину, то его системе, его идеологии. Но ведь и те были, кто либо с самого начала не заблуждался, либо прозрел благодаря жуткому социальному опыту, усилием духа исторг из себя сталинистские иллюзии.

Именно поэтому мы хотим сегодня верить, что сопротивление сталинизму было.

Мы хотим знать имена героев этого сопротивления.

Мы хотим не только сострадать «отцам» и «дедам», но и гордиться ими, ибо что же останется от нашего патриотизма, нашего человеко- и народолюбия, если мы, как и во время óно, будем представлять лучших сынов и дочерей Отечества толпою замороченных, насмерть перепуганных статистов, которые по мановению мизинца верховного режиссера сами с обреченной покорностью возводили напраслину и на себя, и на других, сами совали свои головы в петлю!..

И обратите внимание: нравственным ореолом окружены сегодня в наших глазах не те, кто, подобно Ионе Якиру, погибал со славословием Сталину на устах, а те, кто, подобно Федору Раскольникову, не убоялся стать «государственным изменником», чтобы словом гнева и ненависти ударить по тирану; те, кто, подобно одному из безымянных героев автобиографического повествования А. М. Лариной (Бухариной), тюремной азбукой все отстукивал и отстукивал из камеры смертников: «...Главный преступник — Сталин!» («Знамя», № 10, с. 158). Не, например, М. Кольцов — поэт сталинских планов переустройства человека, страны и мира, а О. Мандельштам, между ссылками и каторгой, в ожидании неминуемой гибели предрекавший: «...На земле, что избежит тленья, будет губить разум и жизнь Сталин».

И посмотрите, кого в последние дватри года вернули нам страницы журнальной прозы. Вот они принципиально и, я бы сказал, революционно новые герои советской литературы. Студенты, старшеклассники из Воронежа, догадывавшиеся, на что они идут, создавая свою коммунистическую партию молодежи («Черные камни» А. Жигулина). Мужики, с дрекольем в руках попытавшиеся развязать бунт против насильственной коллективизации («Овраги» С. Антонова). Генетики, которые, будто во времена инквизиции, нелегально продолжали вести запрещенные опыты с сортовой картошкой и мухой-дрозофилой («Белые одежды» В. Дудинцева). Рыбаковские ссыльнопоселенцы, обдумывающие, как жить в условиях все сгущающегося и сгущающегося мрака...

Они не победили.

Они, похоже, и не могли победить — уже потому, что не узнавали друг друга в колоннах ликующих демонстрантов, в уличной толпе, на партийных собраниях и избирательных участках. Потому что были трагически разобщены, разделены идеологическими предрассудками и «сословными» амбициями. Потому, наконец, что их ежесекундно точил страх не только перед возможностью попасть в расстрельные списки, но и перед опасностью оказаться в стане «врагов народа». Причем «врагов народа» не в метафорическом толковании Вышинского или Ермилова, а в самом что ни на есть реальном — в стане «врагов» тех, кто, надрываясь, возводил Магнитку и Днепрогэс, пытался накормить детвору жменей зерна, уворованного с колхозного тока, дружно сходился на митинги, где клеймили уклонистов, вейсманистов-морганистов, националистов и низкопоклонников...

Человеческая задача отечественной литературы, я уверен, еще и в этом — попытаться понять, почему сталинскому монолиту противостояли только одиночки — тысячи, сотни тысяч, может быть, миллионы, десятки миллионов одиночек. Их сопротивление режиму — в подавляющем большинстве случаев — было нравственным, сводясь, как правило, к сохранению человеческого в себе, в своих близких, в своей работе, но оно, к нашей патриотической гордости, все-таки было, и это открытие, мне кажется, перевешивает сегодня все остальные.

Литература любит арадоксальные решения или те, что кажутся парадоксальными. Разве не диво, например, то, что в ответ на требования живописать положительных героев, исследовать «кардинальные проблемы современности», давать публике высокоморальные примеры для подражания литература (настоящая, конечно, а не конъюнктурная) ответила усилением внимания к частной жизни и подробностям быта, интересом к «амбивалентному», нравственно зыбкому герою, к разного рода неудачникам и аутсайдерам. Разве не диво и то, что теперь, когда угрюмая и жестокая правда жизни в таком, казалось бы, почете и у издателей, и у читателей, литература развертывает широкий спектр характеров, которые (не будь это слово столь скомпрометированным) действительно стоило бы назвать положительными: от Юрия Живаго до Саши Панкратова, от вымышленного В. Дудинцевым Федора Дежкина до вполне реального критика Александра Макарова, каким он явился под пером В. Астафьева в повести «Зрячий посох»,— смело ставит не только нравственно-мировоззренческие, но и чисто политические вопросы, стремится нести в себе не одну лишь боль, но и утоление ее, не один лишь гнев, но и надежду.

Так в отношении к дальнему прошлому. Но так же и в отношении к прошлому столь недавнему, что оно еще не перестало быть настоящим.

6

Написав эти слова, я невольно подумал: может быть, мой прохладный отзыв о новых произведениях неоспоримо талантливых Г. Семенова, В. Орлова и т. д. отчасти объясняется как раз этим обстоятельством. Тем, что ламентации и глухие укоризны времени и человеку, столь существенные в кругу настроений «Аптекаря» или «Чертова колеса», сегодня как-то не звучат, кажутся запоздалым отголоском вчерашних споров. Я вовсе не уверен, что «сегодня надо кастетом кроиться у мира в черепе», надрывать голосовые связки, оглушать читателей многодецибельными призывами к идеалу, духовности, нравственному самоочищению и т. д. и т. п. Я уверен скорее в обратном, но...

Но отчего же тогда к скромному рассказу Натальи Сухановой «Делос» («Новый мир», № 3) потянулись, отмякая, оттаивая, не только душа обычно сурового Виктора Петровича Астафьева (он — автор предисловия к этой публикации), но и моя душа, и души, слышал, многих иных читателей? Там, в этом рассказе, написанном от лица старого акушера, и содержания-то вроде бы всего ничего, но столь щемяща поведанная писательницей история, столь явственно дышат в ней доверие к жизни, благоговение перед чудом ее явления на свет, столь родствен нам оказывается образ самого героя-рассказчика — российского интеллигента чеховской пробы, что, лишь дочитав до конца, понимаешь, сколь же скуден без такого рода витаминных добавок эмоциональный паек нашей часто насупленной донельзя прозы, сколь узок спектр наших переживаний без светоносных линий неагрессивного добра, застенчивой любви и не подточенной изнутри надежды.

Оттого же, я надеюсь, внимательный читатель даже и на нынешнем звездном фоне не пропустит, признает роман Анатолия Афанасьева «Последний воин» («Москва», №№ 8—10). В нем, не станем скрывать, не все ладно, и я не буду спорить, если кого-то раздражит ерничающая фельетонность страниц, обращенных к тысячекратно уже охаянным «поворотчикам рек», а кому-то покажется наивно-лобовым аллегорическое соотнесение сегодняшних характеров и проблем с характерами и проблемами тысячелетней, дохристианской давности. И тем не менее роман этот, на мой взгляд, явился весьма кстати, напомнив и о том, какие не востребованные литературой ресурсы таит в себе жанр авантюрного романа, и о том, что люди поступка, действия нужны обществу ничуть не меньше, чем люди сосредоточенной мысли и духовной углубленности.

Н. Суханова, А. Афанасьев обходятся без хэппи эндов. И все-таки главный вывод и этого рассказа, и этого романа не в том, что герои так и не победили, а в том, что они боролись. Этика *неучастия*, брезгливой самоотстраненности нравственной личности от подлой злобы дня — а именно такая этика по понятным причинам выглядела в годы застоя наиболее привлекательной — еще не сменяется (до смены ориентиров, положим, далеко), но уже корректируется, оспаривается интересом искусства к натурам деятельным, способным на поступок.

Речь идет пока, повторюсь, только о порыве, но и он многозначителен. Тем более если учесть, что занятия в «школе неучастия», растянувшиеся на несколько десятилетий, не прошли и для общества, и для литературы бесследно. Плохо это или хорошо, но акции так называемых сильных личностей, всегда готовых — для пользы ли дела, для торжества ли своих принципов — пускаться в социальное экспериментаторство, прибегать к волевому нажиму на обстоятельства, навязывать окружающим собственные представления и собственные поведенческие стереотипы, вряд ли поднимутся в предвидимом будущем. Слишком часто литература обжигалась у нас на романтизации силы и воли, слишком тесно негативные социальные эмоции связаны у нас с экспериментаторами и «р-р-революционерами» разного рода, чтобы в герои могли выйти сегодня лихие рубаки, властолюбивые пастыри или «человеки со стороны».

Даже Александр Проханов, едва ли не в полном одиночестве на протяжении полутора десятилетий певший хвалу и славу «сильным», «пассионарным» (как, вычитав это слово у Л. Н. Гумилева, выражается критик В. Бондаренко) героям, с киплингианским шиком возвышавший интересы то «имперской геополитики», то научно-технической революции над интересами народа, общества и личности, — так вот, даже Александр Проханов и тот в романе «Шестьсот лет после битвы» («Октябрь», №№ 8—9), во-первых, развенчал-таки наконец тех, кто паровым катком проминает путь в светлое будущее, а во-вторых, усомнился — кажется, впервые — в том, что насилие над природой, над человеческими душами, над собственным и другими народами может быть оправдано с точки зрения высшей нравственности и исторической целесообразности.

После «Дерева в центре Кабула», после целой серии романов-репортажей и публицистических выступлений у А. Проханова неважная репутация. Этого, по остроумной характеристике А. Латыниной, «соловья Генштаба» серьезные люди почти не читают — мне кажется, напрасно. И не потому напрасно, что эта репутация основана на недоразумении, а потому, что А. Проханов — не конъюнктурщик вовсе, как принято считать, но последний, быть может, из могикан «революционаризма»: поэт социального и технократического экспериментаторства в нашей литературе.

Читать его всегда полезно. Четче, чем обычно, видишь, например, что нынешний, не одному А. Проханову свойственный «государственцентризм» есть не что иное, как перверсированная (т. е. перенесенная на иной объект), но сохранившая прежний мессианский пафос идея о мировом господстве «р-р-революционной» идеи. Что живая кровь, десятилетиями питавшая, кормившая собой эту идею, уже запеклась, отошла в предание, сменилась разного рода умственными эрзацами. Что прохановские филиппики по адресу «социальных пораженцев» есть опять-таки не что иное, как отрыжка «баррикадного» мышления с его «все, как один...» и его же «кто не с нами...». Что за горячечными страхами одних прохановских героев: «Сможем или нет отбиться? Пустим к себе врага на порог? В свой дом, в свою хату. В Смольный, в Кремлевский Дворец. Или станем драться за каждый проулок, каждый подвал и чердак? За звезду на башне. За флаг над дворцом»,— угадывается неизжитая психология «осажденной крепости», а за эсхатологическими угрозами других его героев («Вы нам СОИ на голову? Вы нас лазером на сто частей?.. А не хотите где-нибудь на Чукотке, на разломе коры — ядерный заряд в миллиард мегатонн! И себя взорвем, и ваш континент! Всю цивилизацию, и свою, и вашу, в пар, в белый дым, в огонь небесный! Ни вас, ни нас не останется. Не хотите?») угадывается что-то столь уж болезненно-бесовское, что впору глаза отводить...

Ну так вот. Уж если А. Проханов, чей слух издавна распахнут навстречу речам и мнениям такого рода, оспаривает нынче идеи и практику отечественного «гиперпрогрессизма», домодельного «неоглобализма», уж если А. Проханов связывает свои симпатии и надежды не только с высоколобыми реформаторами и вы-

кованными из легированной стали генералами от индустрии, но и с «черным людом», но и с теми, чья душа уязвлена страданиями человечества, то рисунок силовых линий в нашем общественном сознании, похоже, и впрямь иной, чем во время оно.

Конечно, прошлое не сдается без борьбы, новые настроения уютнее чувствуют себя в прежних одеждах, и читателя этого романа не раз, я думаю, оторопь возьмет. То тогда, когда руководитель крупнейшей стройки позавидует вдруг «летчикам, ведущим бомбардировщик»: отбомбиться бы, мол, «в точный, заложенный в программу момент...», а там — пусть хоть трава не растет!.. То тогда, когда на роль спасителей Отечества будут предложены юные ветераны войны в Афганистане...

Кстати, об «афганцах». Мысль о том, что именно они, те, кто крещен своей и чужой кровью в Герате и Кандагаре, станут передовым отрядом общенациональной перестройки, овладела нынче не одним А. Прохановым. Послушайте, чтобы убедиться, с каким энтузиазмом радио- и телекомментаторы рассказывают об организуемых повсюду военно-патриотических клубах и обществах, прочтите в газетах, в молодежных журналах о том, как будто бы дружно, сплоченно вчерашние «воины-интернационалисты» выступают против бюрократизма, коррупции, вещизма, социальной инертности, других рудиментов застоя в нашей общественной жизни.

Я могу понять чувства, движущие пропагандистами. Тут, конечно, и чувство вины (мы, мол, сами выбирали, что делать и как жить в эти годы, отсиживались в тепле, пока эти ребята расхлебывали кашу, не ими заваренную). Тут и традиционная наша (никак нет ей износу!) вера в то, что человек, побывавший там, где до смерти четыре шага, непременно будто бы нравственно очищается, возвышается, наращивает бойцовскую мускулатуру и теперь уж точно не даст потачки ни глупости, ни мерзости...

С эмоциями, словом, все ясно, и я согласен, что любая наша оценка государственной мудрости тех, кто втянул страну в эту войну, не распространяется на тех, кто, повинуясь присяге, участвовал в боях.

Вот почему так страстно хочется, чтобы они поскорее вросли в мирную жизнь. И вот почему такую тревогу вызывают — у меня по крайней мере — попытки отъединить «афганцев» от всей остальной молодежи, натравить парней в голубых беретах на рокеров, панков, металлистов, хиппи, очкариков и прочую, как изящно выражались когда-то, плесень. Увы, но, играя на ощущениях обиды и социальной обделенности, превращая воспитанное боями чувство товарищеской взаимовыручки в дух корпоративности, кастовости, давя, что называется, на психику «афганцев», кое-кто надеется, похоже, что молодые ветераны, намаявшись в отстаивании своих прав и своего достоинства, возьмут на себя функции «санитаров» общества.

Эти страхи кажутся вам пустыми? Тогда прочтите роман Евгения Туинова «Человек бегущий» («Звезда», №№ 8—9), опубликованный, как сказано в редакционном предуведомлении, вопреки протестам многих работников журнала.

Я понимаю протестовавших, хотя и считаю, что роман должен был быть опубликован. Во-первых, потому что написан он страстно, а во-вторых, если уж гласность так гласность. Господствующий в этом романе взгляд на сегодняшнюю молодежь как на плесень, как на нуждающееся в очищении огнем сборище наркоманов и рокоманов сегодня достаточно распространен, и туиновским картинам, сценам, рассуждениям нетрудно найти параллель в выступлениях публицистов «Нашего современника», «Молодой гвардии», «Советской России», которые тоже, как известно, утверждают, что нынешние музыкальные увлечения подростков сродни наркомании, что рок опаснее СПИДа, что семье и школе не по силам справиться с этой бедой и т. д., и т. п.

Кому же по силам? Вы угадали: «афганцам». И еще: витиям, чьи речи в романе подозрительно напоминают широко цитировавшиеся в печати, знакомые по по стычкам в отечественных «Гайд-парках» откровения агитаторов «Памяти».

Эти «здоровые» — по воззрениям не одного, увы, Е. Туинова — силы пока еще не нашли друг друга в романе «Человек бегущий». Бывший десантник пока что в одиночку творит скорый суд и кулачную расправу над теми, до кого не дотягиваются (не хотят, значит, дотянуться?) ни родители, ни учителя, ни правоохранительные органы, а самозваный блюститель национальных устоев пока что тоже в одиночку сеет разумное, доброе, вечное с телеэкрана...

А что, если они друг друга все-таки найдут? Или выразимся точнее: что если «памятники» наши неугомонные сумеют-таки заморочить головы хотя бы малой части двадцатилетних ветеранов?

Не скажу, что роман Аркадия и Бориса Стругацких «Отягощенные Злом, или Сорок лет спустя» («Юность», №№ 6—7) написан именно об этом. Но, вычленяя в проблематике романа, в чрезмерно, как мне показалось, прихотливых ходах авторской мысли наиболее актуальное, живое звено, могу утверждать, что он и об этом. О том, как опасны разбуженные инстинкты толпы. О том, с какой легкостью клюет толпа на любую приманку, с какой беспечностью дает она себя науськать на «врагов внутренних» — будь то евреи, неформалы, интеллигенты или просто, скажем, рыжие. О том, что врачевание насилием еще никогда пользы обществу не приносило.

Круг идей, как видим, не нов для Стругацких. И недаром же, начиная с повести «Трудно быть богом» (1964) эти чуткие к требованиям дня писатели бьют в одну и ту же точку. Недаром доказы-

вают, что недопустимы, нравственно преступны эксперименты над человеком и обществом, даже если экспериментаторы движимы самыми вроде бы добрыми побуждениями (выразительная картина такого зловеще благородного Эксперимента развернута, в частности, в их романе «Град обреченный», с первой книгой которого познакомились читатели журнала «Нева» — №№ 9—10). Недаром, не боясь повториться, убеждают, что добро, породнившееся с насилием, неминуемо перерождается в зло — и тем более опасное, что оно-то по-прежнему считает себя добром.

Есть, выходит, оппоненты у этих, казалось бы, простых, казалось бы, очевидных истин. И есть, значит, кого учить науке социальной терпимости, искусству *доверия* к жизни и к человеку, к естественному ходу вещей.

7

Читатель видит, я надеюсь, и то, что основной массив журнальных публикаций минувшего года составляют произведения с отчетливо выраженной социально-гражданственной и — часто — идеологической нотой. И то, что автору обзора именно такие произведения представляются и наиболее своевременными, и наиболее существенными в плане воздействия на умы и сердца — вне зависимости от того, ведут ли авторы разговор о действительности в терминах самой действительности, стремясь к максимально возможному жизнеподобию, или склоняются к иносказанию, к формам притчи, социальной фантастики, художественной аллегории.

Но... И спектр современной литературы и, главное, представление читателей о ее завтрашней (может быть, послезавтрашней) перспективе будут сужены и деформированы, если мы вовсе обойдем вниманием *другую* прозу — другую и по проблематике, и по нравственным акцентам, и по художественному языку.

О ком речь? О Людмиле Петрушевской (рассказы «Свой круг» — «Новый мир», № 1; «Грипп» и «Али-Баба» — «Аврора», № 9; «Такая девочка» — «Огонек», № 40) и Татьяне Толстой (рассказ «Сомнамбула в тумане» — «Новый мир», № 7), Венедикте Ерофееве (журнал «Трезвость и культура» начал с двенадцатого номера знакомить читателей с его поэмой в прозе «Москва — Петушки») и Викторе Ерофееве (регулярно печатаясь как критик, как историк литературы, он впервые заявил о себе как рассказчик («Галоши», «Письмо к матери» — «Юность», № 11), о Валерии Нарбиковой (повесть «Равновесие света дневных и ночных звезд» — «Юность», № 8) и Евгении Попове (рассказы в «Литературной газете», № 36, «Юности», № 9, «Волге», № 10), о, наконец, молодых литераторах, чьи произведения составили первый номер журнала «Урал»...

Судьба этих писателей сложилась по-разному. Вик. Ерофеев и Е. Попов на несколько лет были выброшены из литературной жизни в отместку за участие в наделавшем немало шума альманахе «Метрополь» (1979). А вот Т. Толстая как раз в эти годы, в самую что ни на есть «глухую пору листопада», активно печаталась, мгновенно войдя в разряд советских писателей с международной известностью. О Л. Петрушевской, о Вен. Ерофееве мы знали давно, хотя больше по слухам, чем по опубликованным в стране текстам, а вот с В. Нарбиковой, с авторами «Урала» познакомились только что...

Да и пишут эти прозаики по-разному, настолько по-разному, что нужно прежде всего объяснить, почему их вещи воспринимаются — пока, во всяком случае,— как явления одного литературного ряда, если не противопоставленного, то по крайней мере внеположного общему контексту современной прозы. Нужно, иными словами, попытаться понять, почему они за единичными исключениями прежде не печатались, да и сейчас, по правде говоря, вызывают как издательскую, так и читательскую настороженность. Недаром же редакция «Урала» сочла необходимым предупредить, что январский номер журнала «составлен в основном из таких произведений, которые прежде к публикации не принимали. В принципе не принимали».

Причины идеологические или, вернее сказать, конъюнктурно-политические? «Нет-нет,— тут же заверяет главный редактор «Урала» В. Лукьянин,— речь идет не о том, о чем вы, возможно, подумали, не об отклоненных некогда «по идейным соображениям», а теперь «разрешенных» рукописях». И действительно. Уровень собственно политической крамольности в текстах этих прозаиков обычно невысок (в сопоставлении с тем, во всяком случае, что недавно оценивалось как «компромат», достаточный для обвинения в антисоветской пропаганде, а теперь невозбранно, слава богу, печатается в газетах и журналах). Авторов, если уж на то пошло, можно упрекнуть скорее в нежелании знать, «какое тысячелетье на дворе» и кто нынче заседает в Кремле, чем в покушении на закон и основы власти.

Какие же тогда причины? Тематические? Да, уже, пожалуй, теплее. Эти авторы и в самом деле почти не касаются общественных, производственных отношений, сосредоточиваются по преимуществу на том, что критики любили раньше называть узким мирком и сферой эгоистических интересов, рассказывают прежде всего о неудачниках, аутсайдерах, о тех, кто выброшен в «придонный слой» современного общества. Но после прозы «старого» «Нового мира», после Ю. Трифонова, после, наконец, «сорокалетних» (от В. Маканина до А. Русова, от Р. Киреева до Г. Абрамова) нам и это не в новинку. Так что, если уж чем «другие» прозаики здесь и выде-

ляются, то разве лишь подчеркнутостью, эпатажной утрированностью своего творческого интереса к «помойкам», к «грязному белью», к людям, ушибленным то ли богом, то ли социальным укладом.

Что же еще тогда мешает адекватному восприятию этих авторов? Их язык, «художественные особенности» их произведений? Тут вроде бы уж вовсе горячо, поскольку и названные мною прозаики, и их толпящиеся у парадного издательского подъезда единомышленники действительно любят поиграть со словом. Высказывание В. Набокова о том, что литература есть «феномен языка, а не идей», им явно ближе, чем привычные наши рассуждения о познавательной функции искусства, его воспитательном заряде, его тенденциозности, партийности и т. д., и т. п. Их проза — действительно «депо метафор», да и не только метафор: времена смещаются, наползают друг на друга в пределах одной фразы; характеры персонажей бликуют, двоятся, оборачиваясь то мерзкой рожей, то ангельским ликом; следствия отнюдь не вытекают из причин, а глубокомысленные, рафинированно светские рассуждения спотыкаются в точно рассчитанный момент то о какую-нибудь тошнотворную подробность, то — случается и такое — о «табуированное», как изящно выражаются лингвисты, словцо или, допустим, срамную частушку...

Все это, бесспорно, до сих пор шокирует наших стыдливых редакторов и наших целомудренных читателей. Хотя... И тут, мне кажется, надо говорить по преимуществу о вызывающей акцентированности авторских усилий, а не об их направленности. Нынче ведь только самые ленивые и нелюбопытные среди наших беллетристов не смещают времена, не играют со словом и смыслом, не занимаются мифотворчеством, не прибегают к сюжетным метафорам, к стилистическим изыскам и бранной лексике...

Корень расхождения, значит, в ином. В чем же? Попробуем сопоставить два художественно незаурядных, но психологически, морально не совместимых друг с другом явления: рассказ Анатолия Курчаткина «Пикник» («Литературная Россия», № 23) и рассказы Людмилы Петрушевской.

Внешняя схожесть этих явлений налицо. И Л. Петрушевская, и А. Курчаткин, уклоняясь от прямых авторских оценок происходящего, говорят об исключительно «неприглядных» сторонах современной реальности, рисуют образы людей настолько обездуховленных, оскотинившихся, что любые рассуждения об этическом самоконтроле, об иерархии нравственных ценностей и ответственности человека за свою судьбу покажутся в их присутствии смешными до ужаса. Именно до ужаса, поскольку безбоязненная невозмутимость, с какою А. Курчаткин рассказывает о подлых забавах сегодняшних недорослей-недоумков, а Л. Петрушевская воссоздает постыдный образ жизни нашей люмпен-интеллигенции, призвана вот именно что ужаснуть, шокировать нравственное чувство каждого, даже и самого стойкого читателя.

Но что за безбоязненностью и невозмутимостью? У А. Курчаткина холодное, брезгливое бешенство: люди не должны, не имеют права быть такими!.. А у Л. Петрушевской горькая, но и снисходительная жалость: люди, увы, именно таковы, и тут уж ничего не поделаешь...

За разностью стилистических «модальностей» — коренное различие авторских концепций человека и человеческой природы. То, что для Курчаткина, для других писателей, верных принципам традиционного гуманизма, *еще аномалия*, еще патология и отклонение от нормы, то для Л. Петрушевской, Вен. и Вик. Ерофеевых, В. Нарбиковой и др. *уже норма*. Нормально и то, что любовник может после ласк обмочиться во сне («Али-Баба» Л. Петрушевской). Нормально и то, как — с шизоидной изобретательностью — героиня-рассказчица «Своего круга» устраивает будущее собственного ребенка. Нормально и то, что безусый студентик, захмелев, пристает к 52-летней матроне, и та его не отталкивает («Тетя Муся и дядя Лева» Е. Попова). И то, что одуревший от выпитого «лирический герой» Вен. Ерофеева, стремясь на Красную площадь, оказывается отчего-то на Курском вокзале, а нацелившись попасть на вокзал, очухивается подле памятника Минину и Пожарскому, тоже нормально, тоже соответствует человеческому естеству...

Уклонениям от нормы можно и должно противостоять, бичуя общество, допускающее или провоцирующее превращение добропорядочных граждан в выродков, взывая к человеческому, к божественному в самом человеке.

Норму же можно только принять как данность — и либо оплакать ее, либо всласть поглумиться над теми читателями, кто не растерял еще «гуманистических иллюзий».

Вот почему по прочтении даже самых забавных и самых замысловатых (что тоже по-своему забавно) произведений, созданных в русле «другой» прозы, остается, как правило, чувство горестной растерянности, безысходности и стыда, подсвечиваемое — да и то не всегда — разве лишь чисто эстетическим удовольствием от знакомства с качественным текстом. И вот почему так часто не только в бурбонах-редакторах, но и в нас с вами просыпается, бунтует внутренний моральный цензор, преграждая путь тем оскорблениям, которым подвергаются привычные наши понятия о человеческом достоинстве и предназначении.

Что возразить моральному цензору в себе? Только то, быть может, что «другая» проза, как и вообще литература, не подряжалась ни беречь наш душевный покой, ни обеспечивать нам духовный комфорт. Кто знает, не окажутся ли, как уже случалось в истории культуры, эти

поношения и оскорбления своего рода доказательством от противного, то есть более эффективным способом мобилизации человеческого в человеке, чем те, что уже были испробованы?

Это во-первых. Во-вторых же, не исключено, что не только в литературе, но и в общественных науках, в гуманитарном знании центр тяжести с социально-политической критики, с раздумий о нашем общественном устройстве переместится в предвидимом будущем на критику человеческой природы, на исследование ее ресурсов, ее возможностей и ее, увы, пределов. Эти пределы, как заметил недавно на страницах «Литературной газеты» видный ученый и писатель Н. Амосов, тоже нельзя больше не учитывать при выборе путей, методов и средств утверждения в жизни идеалов социального равенства и социальной справедливости.

И, наконец, третье... Авторы «другой» прозы действительно не предъявляют, как правило, прямой иск ни сталинщине, ни брежневщине. Они озабочены иным и к условиям существования относятся как к некоей данности, изначально не зависящей от нашей воли,— ну, как к климату, например: его можно, коли есть охота, клясть и проклинать, но наивно и смешно думать, что от этого он изменится хотя бы на йоту...

Все так. И тем не менее... Разве само возникновение и широкое распространение этой отложившейся в душах, запечатлевшейся в текстах, глубоко пессимистической по своему духу и сопряженной с нравственными потерями концепции человека не является само по себе суровым обвинением и идеологической стагнации, и общественного застоя?

8

Итак, что же пришло к нам в «минуты роковые», что определило духовный и литературный облик 1988 года?

Выступая по телевидению, Юрий Карякин заявил как-то, что по объему, по серьезности и значительности обрушившейся на нас правды, по числу и качеству одновременно явившихся к читателю литературных шедевров последние двадцать лет ни с чем в истории не сопоставимы.

С Ю. Карякиным нельзя не согласиться, если снова вспомнить «Мы» и «Чевенгур», «Доктора Живаго» и «Жизнь и судьбу», «Факультет ненужных вещей» и «Колымские рассказы», «Дар» и «Замок», если снова за пядью пядь пройти путь от «письма Нины Андреевой» в «Советской России» до дискуссии о творчестве и судьбе А. И. Солженицына в «Книжном обозрении», от гражданской реабилитации Н. И. Бухарина до торжеств по случаю 100-летия со дня его рождения, если заново перебрать в памяти выступления лучших наших публицистов, писателей, историков, экономистов, критиков, философов, политических деятелей.

Вот только надо ли с прежней поспешностью и прежней горячностью зачислять в актив нашей литературы то, чем мы обязаны прежде всего политике гласности? Теперь, когда эйфория начального периода перестройки уже улетучилась и жизнь начинает с трудом входить в деловое русло, полезнее, мне кажется, не восторгаться, а разбираться и взвешивать, не завышая, но и не занижая, впрочем, достоинство того, что открылось взору.

Так как же выглядит с о в р е м е н н а я литература, если усилием воли все-таки вывести за скобки и Карамзина, и Набокова, и Платонова, и Мандельштама, и Замятина, и Пастернака, и Флоренского, и Гроссмана, и Домбровского, и Шаламова, и Симонова, и Тендрякова, и иных, самых, быть может, дорогих для нас собеседников?

Она выглядит так, как и должна выглядеть литература переходного периода.

Не сдали еще (да и сдадут ли?) своих позиций писатели-конъюнктурщики, хотя и спрос на «секретарскую» литературу и предложение ее резко упали. Еще более выразительным стал перепад в уровнях между, допустим, В. Веретенниковым, Вик. Ивановым и, предположим, Ф. Искандером, А. Жигулиным. Лидерство по-прежнему держит проза социального, идеологического звучания, но явственны уже и иные голоса, предвещая, надеюсь, торжество принципов плюрализма не только в сфере идей, но в области художественного многоязычия. Заметна, наконец, воля к преодолению стереотипов и прежде всего стереотипа компромиссного творческого поведения, хотя и тут гражданские намерения опережают, кажется, внутреннюю готовность писателей к их реализации.

Обещания, словом, пока богаче свершений. Но по-иному, наверное, и не бывает в «минуты роковые».

«— А что же дальше?

— Куда пойдет литература?

Но и «что же» и «литература» — совсем не такие простые понятия. Литература идет многими путями одновременно — и одновременно завязываются многие узлы. Она не поезд, который приходит на место назначения. Критик же — не начальник станции. Много заказов было сделано русской литературе. Но заказывать ей бесполезно: ей закажут Индию, а она откроет Америку».

Так — в аналогичной ситуации — заканчивал свою статью «Литературное сегодня» Юрий Тынянов.

Прислушаемся же к его совету.

Будем действительно наконец-то доверять и жизни, и литературе.

В мире журналов и книг

На правах свидетеля

Историческая беллетристика? А, собственно, что это такое?

В такой или подобной форме все чаще звучит этот вопрос с журнальных и газетных страниц. Вопрос по сути непраздный, вопрос, на который в конечном счете отвечает только писатель. Отвечает страницами своих произведений. Варианты тут немногочисленны и сводятся даже без специального изучения проблемы к нескольким наиболее распространенным: а) род занимательного путешествия в историю; б) «нормальная проза», только на специфическом материале; в) «проекция политики» или мировоззрения данного автора, поиск корней той или иной социальной идеи в материале минувшего.

Историческая беллетристика с каждым годом становится все притягательней для массового читателя, уже как будто перешагнула через остывающее тело поверженного ею детективного жанра, частично вырядилась в доспехи некогда грозного противника и усвоила даже далеко не лучшие его манеры. Вот она приникает к замочной скважине покоев сиятельной особы и по-лакейски смакует альковную хронику; вот, одержимая неизлеченной шпиономанией прежних десятилетий, маниакально разоблачает антинародные происки иноверцев и масонов, задумавших будто бы еще и тысячу, и две тысячи лет назад извести великороссов и прочих «арийцев»; вот молодой романист делится с читателем сокровенным замыслом: он будет доказывать, что была у нас письменность и до введения христианства, а факты, если их поискать, обнаружатся. Мол, почему замалчивается «Влесова книга»?

Но стоит ли, право, об этом в журнальной заметке по поводу действительно хорошей книги?

Уверен, что стоит, ведь исторические повести Владислава Михайловича Глинки, появившись сейчас, когда их автора уже нет среди живых, по сути, вступили в противоборство с псевдоисторическими спекуляциями.

Точная и суховатая бытописательность. Скромная история царского солдата. Прекрасная и печальная человеческая жизнь, «реконструированная», нет — воссозданная по властному закону писательского сопереживания.

Но сначала об авторе. Не повторяя биографических данных, изложенных петитом в конце книги, приведу лишь один анекдот, характеризующий саму личность этого писателя, историка и знатока XIX столетия.

«Говорят, будто Владислав Михайлович осердился на одного автора, упомянувшего в своем вообще талантливом романе, что Лермонтов «расстегнул доломан на два костылька», в то время как («кто ж не знает!») «костыльки» — особые застежки на гусарском жилете-доломане — были введены в 1846 году, через пять лет после гибели Лермонтова: «Мы с женой целый вечер смеялись...»

Сообщенный Н. Я. Эйдельманом анекдот этот — явно с «двойной заточкой», ведь на первый взгляд трудно различить, кто же истинный объект смеха? Романист, который, может быть что и умышленно пожертвовал исторической скрупулезностью ради самой возможности расстегнуть два костылька, или педант-ученый, смеющийся над совершенным пустяком «целый вечер»?

Вспомним горячую полемику вокруг кремневого пистолета в одном из исторических романов Булата Окуджавы. Там строгий критик тоже не поленился справиться в энциклопедии и уличить автора в незнании систем русского и иностранного оружия. Что же ответил автор? Назвал справочник, которым и он, и его оппонент воспользовались, и объяснил, что в руках героя был «опытный образец». (Насколько мне известно, критик вынужден был проглотить это не слишком серьезное разъяснение.)

Почему же В. М. Глинка в своих претензиях к лермонтоведу все же не смешон? Да потому, что феноменальные познания Глинки — не казус исторического всезнайства, не блохоловство любителя и не придирка узкого специалиста. Представьте совершенно иную ситуацию. Весной 1917 года в Петрограде на Голодае рыли траншею и обнаружили полуистлевший гроб с останками военного «александровского времени». Через несколько лет к раскопкам вернулись и извлекли из земли еще четыре мужских костяка. Казалось, сомнений не было: найдена могила казненных декабристов! Вот и «ремни на ногах» (или что-то на них похожее), и мундир «того времени».

В ленинградском архиве кинофотодокументов сохранились фотографии, сделанные знаменитым К. Буллой. В гробу «декабриста» ясно различимы эполеты.

В. Глинка. Исторические повести. Л., Советский писатель, 1987.

Но ведь казнили, сорвав и эполеты, и мундиры. А вдруг все-таки это Пестель или Сергей Муравьев-Апостол? Все решила крохотная киверная пуговица с орлом, появившаяся на форме русской гвардии спустя несколько лет после трагедии на кронверке Петропавловской крепости.

Да, памятник на Голодае был заложен в 1926-м и в 1939-м установлен. Но о том, что найдены останки декабристов — на нем ни слова. Не памятник — памятный знак и только. Потому что, как ни хотелось найти, не нашли и до сих пор этой тайной могилы. И потому что, пока существуют «узкие специалисты», самые ярые поборники «эмоциональной науки», обращаясь к истории Отечества, будут испытывать крайние затруднения в своих спекуляциях.

Три повести, сведенные в посмертном томе В. М. Глинки, неравноценны. Хотя «Старосольская повесть» написана уже зрелым человеком (авторская помета под текстом: «Ленинград, 1943—1946»), Глинка-историк в ней все же затеняет Глинку-прозаика. Затруднюсь объяснить, как и почему это происходит: то ли автор стеснен подробностями сюжета и идет за реальными документами слишком обстоятельно, то ли канон повестей Пушкина и Гоголя давит ему на плечи шинелью с классического плеча, и литературность замысла проступает слишком очевидно, но история о том, как разошелся по разные стороны социальных баррикад дворянский род Вербо-Денисовичей, все-таки остается стилизацией. Тайны литературного чуда не возникает: поверх добротного рассказа, поверх сюжетных ходов постпушкинской прозы заметен и налет недавней эпохи, где поступки героев принято объяснять социологизированными выкладками, где «положительный» тип с первого своего появления в голос заявляет о «положительности», а «отрицательный» пишется черными красками.

Две другие повести разительно отличаются от «Старосольской» достоинствами собственно художественными.

«История унтера Иванова» и «Судьба дворцового гренадера» — по существу, одна, и значительная, повесть исторического прозаика. Лишь в эпилоге автор приоткрывает лабораторную завесу замысла: «Весной 1949 года, просматривая в Центральном историческом архиве материалы, связанные с пожаром Зимнего дворца, выгоревшего дотла 17—19 декабря 1837 года, я вставил дело, озаглавленное «О выдаче пособий и пенсий вдовам погибших...». И далее — прошение унтер-офицерской вдовы вкупе с резолюцией, на него наложенной. То, что мы узнали из романа, сфокусировано в двух-трех официальных бумагах, и нельзя не поражаться естественности рассказанного: так вот из чего это произошло!

Оговорюсь: допускаю, что документы из эпилога мнимые (хотя по-читательски и не могу в это поверить!), все равно то самое благодарное «ах!», которое сопутствует последней странице настоящей книги, вырывается из груди. Итак, документ: «Имея в помещичьем владении родного отца своего с матерью, двух братьев с их женами и детьми сих последних, а также сестру, всего же 12 душ мужеска и женска пола, и желая облегчить участь означенных родных своих, муж мой многие годы в свободное от службы время занимался различными ремеслами /.../ вследствие чего смог приобресть всех вышепереченных родственников покупкою с принадлежащими им одиннадцатью десятинами земли и постройками у помещика Вахрушова /.../ с тем, чтобы впоследствии отпустить всех их на волю...»

Нет, такое не измыслишь... Но ведь все остальное все-таки сотворено не жизнью, а писателем — весь двадцатилетний путь крестьянского рекрута, все эти десятилетия александровской и николаевской службы, все пятиалтынные и целковые, откладываемые государевым солдатиком на выкуп родных из крепости. И случай, и фортуна, и двенадцатый год, и год двадцать пятый, и Пушкин, и Жуковский...

Как это получается, что и главные герои отечественной истории входят на страницы какими-то обновленными, словно впервые увиденными? Пушкин, но живой, потому что особенный и с особого ракурса высвеченный. Грибоедов и Одоевский, но узнаваемые не вдруг и не по одежке.

14 декабря? Но из рядов правительственных войск, идущих в атаку на мятежное каре. И глазами ветерана Отечественной, глазами воина, волей исторического жребия оказавшегося «по ту сторону...».

Унтер Иванов ведом по жизни одной идеей — выкупить *своих* из рабства крепостной зависимости. Но как-то так пишет автор, что на саму «идею» нет ни малейшего нажима: она возникает и развивается вполне естественно, в соответствии с логикой жизни и поступков героя. А человеческие поступки неоднозначны, и логика жизни куда извилистей унылой прямой беллетристического резонерства. Вот тогда-то и оказывается, что дело не в знании киверных пуговок да костыльков на доломане, но и без этого начального и обязательного знания историческому прозаику никак невозможно. Поскольку от единственного костылька так часто зависит и память о людской судьбе. А то, что герой целиком создан воображением прозаика, не снимает с него ответственности вести себя, как в жизни, а не как в плохом романе.

«Владиславу Михайловичу Глинке веришь, как свидетелю, как мемуаристу, как человеку описываемой им эпохи». Этим признанием Д. С. Лихачева можно и закончить рецензию.

Андрей Чернов

Возвращение в истинный театр

В Вильнюсе вышла наконец книга о замечательном литовском режиссере Юозасе Мильтинисе; ее главное достоинство — сам Мильтинис. Книга называется «Монологи». Ее вторая половина состоит из монологов Мильтиниса, записанных театроведом Томасом Сакалаускасом.

Читать их интересно и поэтому легко. Трезвость видения жизни у Мильтиниса соединена с ее философским осмыслением: здесь есть неожиданное, много неожиданного, есть что-то из того, о чем читаешь впервые.

И тем не менее самое увлекательное, конечно, это беседы о театре, не воспоминания, а теория. Воспоминания интереснейшие, что и говорить, но важнее все-таки теория. Выводы из практики пятидесяти с лишним лет, выводы из всей жизни.

Мильтинис говорит так, как должен говорить человек театра. Совершенно очевидно, что он встречается с Сакалаускасом и беседует с ним не потому, что ему нужна эта книга; более того, рискну предположить, что Мильтинису не так уж важно даже, услышат его или не услышат, поймут или не поймут — не безразлично, конечно, но и не так важно. Для него книга Сакалаускаса только эпизод, он в ней не заинтересован (а может быть, он не заинтересован уже и в самом театре?). Сегодня люди искусства обычно «просчитывают» варианты, быстро прикидывают, что «можно», а что «не стоит», и только потом говорят о театре. Очень трудно быть откровенным. Все слишком не просто. Откровенных тоже, между прочим, не всегда понимают. Но что до этого Мильтинису! Он живет в Паневежисе. А Паневежис и от Вильнюса, и от Каунаса стоит в стороне. До Вильнюса или Каунаса отсюда одинаково далеко, но еще дальше — до Москвы. И Мильтинис всегда был в стороне, причем не только был, а *жил*.

Образ жизни маленького городка идеально соответствовал его мыслям и мечтаниям. И точно так же, как нелепо, невозможно представить здесь, в Паневежисе, Ефремова или Гончарова, Марка Захарова или Плучека, точно так же нелепо отрывать Мильтиниса от Паневежиса. Это связь на всю жизнь. Мильтинис провел юность в Париже, он мог бы жить где угодно и где угодно работать, но только так, чтобы ему не мешали. Лучше всего — в Литве. Так в его жизни появился Паневежис.

Здесь не мешали. Разное, конечно, случалось за минувшие годы, и все-таки здесь было легче.

Т. Сакалаускас. Монологи. Вильнюс, Минтис, 1987.

Откроем «Монологи»:

— Истинный художник — это такое оригинальное по духу существо, которое не в состоянии ни следовать за кем-то, ни допустить, чтобы кто-либо следовал за ним...

— Можно ли утверждать: «Я пишу стихи только по поэтике Буало... Я играю, режиссирую по системе Станиславского?» Конечно, можно. Но что это значит? Это сущая бессмыслица...

— Моя система — это отсутствие системы.

— Наш метод — заново научиться жить...

Мы к таким словам и формулировкам не привыкли.

Но сказанное сказано. Опубликовано. Остается признаться: мы так не говорим. Не принято. И действительно, как часто приходится слышать: наши актеры играют по «системе», а режиссеры — режиссируют. Путаница страшная. Да и как же ей не быть, если политика в области театра с середины 30-х годов и вплоть до начала 60-х была такова, что творческий метод великого Станиславского — его «система» — был объявлен «единственно приемлемым» и для советского театра. Еще десять лет назад Марианна Строева, например, заключая свою книгу о режиссуре Станиславского, говорила: «На каждом примере он учил актеров играть не одну роль, а все роли, показывал, как надо ставить не одну пьесу, а все пьесы». Как это понять — неизвестно. Как можно на примере роли Курослепова учить играть роль Фигаро, а на примере «Отелло» показывать, как надо ставить «Бронепоезд 14-69»?

Общеизвестно: канонизация Станиславского в конце концов привела к тому, что «система» была объявлена стилем советского театра. МХАТ полагалось брать за образец. А то, что «система» Станиславского — это не стиль и она в принципе не может рассматриваться как стиль, в расчет не принималось. А то, что в Московском Художественном театре работали совершенно не похожие друг на друга актеры — Качалов и Леонидов, Хмелев и Добронравов, Тарасова и Андровская — и каждый из них действительно *искал* на репетициях по «системе», предложенной Станиславским, искал и находил, конечно, но воплощал найденное уже через себя, через свою актерскую индивидуальность, ибо (а теперь это, слава богу, уже не нужно доказывать) стиль актера зависит прежде всего от самого актера, от особенностей его внутреннего склада, его психики, психологии, реже — от структуры мышления, — так вот, все это было не понято и отброшено. Великий репетиционный ме-

тод, созданный для развития творческих возможностей актера, его профессионального диапазона, но совершенно не предназначенный для того, чтобы все бесчисленные, принципиально различные представления об актерской игре повернуть только в одну сторону, был объявлен — вдруг — методом игры. А поскольку такого «метода» просто не существует, был найден самый простой выход из положения: не существует, но должен существовать! И началось слепое подражание мхатовским постановкам. Не «Горячему сердцу», не «Женитьбе Фигаро» (они считались для Художественного театра спектаклями не типичными), а в основном его чеховским и горьковским спектаклям. Как и следовало ожидать, вокруг этого недоразумения бурно развивалась учебная тарабарщина.

Тогда все было наяву, в жизни, а сейчас все осталось только на бумаге, на словах — но осталось. «Спектакль сыгран по системе Станиславского» — это же общее выражение, ходовое, причем слово «система» в этом случае идет без кавычек, будто и в самом деле существует какая-то раз и навсегда проверенная система постановки спектаклей и режиссер всегда может воспользоваться ею как готовым ключом. Мильтинис называет это «бессмыслицей».

— Искусство актера не искусство исполнения, он должен заново родить автора, сделать его текст своим... Текст передается не как информативный... материал, он должен стать подлинным творчеством.

— Драматург не может ни предвидеть, ни записать одну вещь — фонетику. Интонацию. Это не тронутая автором область. Следовательно, актер может менять ритм, импровизировать синтаксис, паузы, переставлять знаки.. Почему мы так много говорим о логических ударениях? Да потому, что вы произносите текст графически... Если вы упустите из виду импровизационную тонкость и фонетическую глубину, будете молотить текст, слова, как цепами...

— Репетиция — лишь информация. Никаких результатов здесь не покажешь. Ни интонацией нельзя показать, ни пластикой — ничего. Можно только информировать, нащупать направление, сделать наметки...

Так он работает. А самое трудное, между прочим, работать именно так.

Ставить спектакль, ничего в нем не закрепляя, — это очень сложно. Актеры есть актеры, им — при всем желании — не так-то просто «заново родить автора», согласиться с тем, что «репетиция — лишь информация», и вообще: так доверять актерам — это опасно.

Гастроли театра из Паневежиса в Москве в середине семидесятых почти всех повергли в глубокое разочарование. Иронизировали над Н. Крымовой и ее статьей, от которой (так считалось) пошла «легенда о Мильтинисе». Хотя всем было понятно и другое — театр этот совсем не прост и есть в нем все-таки что-то загадочное.

Понимать-то понимали, но серьезный разговор в печати так и не состоялся. А мог бы. Что-то происходило с актерами. Они играли грубо и театрально. Они не слышали друг друга. Когда актеры теряют (на сцене) ощущение реальности, они всегда играют плохо, это закон. Так вот, складывалось впечатление, что театр из Паневежиса сознательно отворачивается от современности, от сегодняшнего дня, от его культуры. Но при этом сам театр был не в силах высказать себя до конца, до полной и абсолютной ясности, обдумав и закруглив в уме собственную эстетическую концепцию. Разрыв между тем, что задумывается, и тем, что реально получается, здесь, у Мильтиниса, был настоящей драмой. (Это всегда, в любом случае драма, но в этой ситуации чувствовалось просто что-то роковое. Безнадежное.) И роковое — было. Роковое несовпадение театральных интересов Мильтиниса и законов времени — общественных и художественных. Это подсознательно чувствовали (не могли не чувствовать) и сами актеры. Его теория театра, складывавшаяся — камешек к камешку — десятилетиями, вдруг оказалась лишней. Не ненужной, а именно лишней. Никто не знает, о чем Мильтинис думал тогда, в Москве, как все это переживал. Мы только знаем, что еще через несколько лет он из театра ушел.

Любой взгляд на сценическое искусство интересен. Театральные теории не умирают. Если их отодвигает время, они не становятся хуже, а в театре никогда не известно, каким он будет завтра. Книга Мильтиниса доказывает это еще и еще раз. Мильтиниса спрашивают, он отвечает, коротко и лаконично, я бы даже сказал — сухо, а книга от себя не отпускает. И сегодня, именно с е г о д н я читается с большим интересом. Совершенно очевидно, в наши дни такую книгу мог написать только Мильтинис. В 70-е годы она читалась бы иначе, времена меняются, и мы уже не удивляемся, например, «Холопам» Гнедича, изысканно поставленным Борисом Львовым-Анохиным, как должное принимаем серьезный зрительский успех пьесы Юджина О'Нила «Долгий день уходит в ночь», идущей там же, на сцене Малого театра, и с интересом встречаем едва ли не каждый спектакль, напоминающий о театре минувших лет. Современное театральное искусство оказалось слишком однообразным, сегодня мы точно так же устали от авангарда, как когда-то не знали, куда деваться от рутины. Книга Мильтиниса — возвращение в «чистый» театр, в театр как таковой. А еще можно сказать и так — в истинный театр.

А. Караулов

Искусство добывания истины

«Поэт издалека заводит речь. Поэта далеко заводит речь»... Эти слова уже давно сделались для меня чем-то вроде эпиграфа к творчеству критика и литературоведа Бенедикта Сарнова.

Он может начать статью, например, так: «Все знают знаменитую сказку Андерсена, в которой тень обрела самостоятельное существование, оттеснив на второй план бывшего своего владельца, а потом, заняв его место, просто-напросто уничтожила — казнила — его. Печальный конец этой сказки так ужасен, торжество ничтожной тени над человеком так возмущает душу, что советский писатель Евгений Шварц решил переделать старую сказку Андерсена». Далее критик вспомнит роман Сервантеса, разговор Воланда с Левием Матвеем из «Мастера и Маргариты», ироническое рассуждение Мопассана о ревнителях чистоты жанров... Догадались, о чем, вернее, о ком, пойдет речь? Правильно, об известном авторе литературных пародий Александре Иванове.

Вот иной, очень сжатый перечень: стихи капитана Лебядкина, суждения К. Чуковского о читателях Ната Пинкертона, письма читателей к Зощенко, диалог между Асеевым и Маяковским, рассказ о том, как Есенин написал стихи «Слушай, поганое сердце...», цитаты из Горького, Державина, Платонова, Ходасевича, Мандельштама... Можно не продолжать?.. Статья, как вы поняли, посвящена творчеству Николая Заболоцкого.

Но — шутки в сторону. Как бы сам собой напрашивается естественный упрек критику: не слишком ли кружным путем движется его мысль? Уж не заблуждается ли критик на наш, читательский счет, разводя «ликбез» там, где этого не требуется?

Читая книгу Сарнова (впрочем, по отношению ко многим вошедшим в нее статьям уместнее было бы употребить: «перечитывая»), я, признаться, несколько раз испытывал соблазн предъявить автору такой упрек. Но что-то мешало.

Что же именно?

Наверное, то субъективное обстоятельство, что читать было и н т е р е с н о. Даже тогда, когда в подтверждение какой-нибудь мысли приводилось что-то вполне общеизвестное.

Но — стоп! — похоже, я невольно оговорился. На самом деле Сарнов очень редко приводит что-нибудь «в подтверждение». Весь этот веер пространных цитат, чужих оценок, мнений, суждений, весь этот «пестрый сор» литературной конкретики нужен ему не для аргументов и доказательств: посмотрите-ка, вот и Толстой подтверждает мою правоту! Мысль критика не опоры в материале ищет, а скорее рождается, вырастает из него. Читатель призван соучаствовать в самом процессе «добывания истины».

Отсюда, мне кажется, — и непрямой, ассоциативный ход мысли критика, ее мнимая непоследовательность. На самом же деле, как бы далеко Сарнов ни уходил от «темы», он постоянно держит ее в уме. Он именно в л а д е е т материалом — вот почему блуждания по окрестностям, выход на ассоциации, вроде бы весьма далекие от «предмета», нередко помогают ему нащупать связи глубинные, наталкивают на выводы отнюдь не тривиальные.

Вот, скажем, статья о Заболоцком — «Восставший из пепла». Думаю, если взять и посчитать, сколько страниц в этой статье отведено ее центральному персонажу, а сколько иным представителям литературы, — счет выйдет явно не в пользу Заболоцкого.

Между тем статья именно о Заболоцком. Точнее, о своеобразии его «поэтической речи». Еще точнее — о личностной и, так сказать, социально-философской природе этого своеобразия. А если уж быть совсем точным — о «неосознанной необходимости» (выражение Сарнова), которая сделала Заболоцкого — Заболоцким.

Положим, человеку сведущему не так уж трудно обнаружить некоторое сходство стихов раннего Заболоцкого со стихами знаменитого капитана Лебядкина — то, от чего отталкивается Сарнов в своей статье. Для этого даже не обязательно быть критиком. Но важно, однако, не сходство само по себе. Важно, что́ за этим стоит и что из этого следует.

Вот тут-то и обнаруживается на сцене великое множество персонажей — от Гумилева до Шостаковича, тут-то и начинается Сарнов со своим неизменным: «В действительности, однако, дело обстояло совсем не так просто».

Но зачем оно Сарнову, эдакое «многоголосие»? Затем, что художник творит не в вакууме, что движущая им «неосознанная необходимость» связана с тем, что мы называем силовым полем литературы, токами времени. Поэтому ключ к разгадке того или иного явления литературы может отыскаться и далеко за его пределами.

Поэта Заболоцкого Сарнов «объясняет» главным образом через... Зощенко. Что же тут общего? По Сарнову, это — «новое зрение», «новый язык», связанные с переменой исторических обстоятельств. Эти обстоятельства вызвали на авансцену новых, «неописуемых» (Зощенко) людей — людей, которые «до революции жили, как ходячие растения», и были в прежние времена в лучшем случае объектом сочувственного наблюдения со стороны литературы, но не обладали

Б. С а р н о в. Время таланта. Портреты и памфлеты. М., Советский писатель, 1987.

возможностью заговорить, явить свою суть. Первым выразителем их сознания критик называет пресловутого капитана.

«Тут,— замечает автор статьи, процитировав одно из стихотворений «Столбцов»,— хочется говорить уже не о сходстве лирического героя с капитаном Лебядкиным, а о прямом их тождестве... Видно, что Заболоцкий хочет не просто запечатлеть явление нового человека, но заговорить его языком, посмотреть на мир его глазами».

Я, разумеется, сильно упрощаю мысль критика. Она, однако, еще далека от финала. Высветив с разных сторон это «новое зрение», Сарнов продолжает: «Усвоив з р е н и е капитана Лебядкина, Заболоцкий невольно должен был усвоить и его м и р о в о з з р е н и е». А оно, такое «растительное» мировоззрение, грозит художнику неминуемой безысходностью и тупиком...

Но стоит ли пересказывать статью, коль скоро ее можно прочитать? Замечу лишь, что, прослеживая эволюцию поэта, сумевшего избежать творческого тупика, критик отнюдь не склонен соглашаться с распространенным представлением, согласно которому поздний Заболоцкий, вернувшийся в лоно классического стиха, якобы «перековался», коренным образом «изменился», отринул «грехи и заблуждения» своей поэтической молодости. Нет, утверждает Сарнов, поэты так просто не меняются. «Вернувшись к истокам так называемой традиционной поэтики, он (Заболоцкий — Л. Б.) ни на йоту не изменил себе, своим давним, изначальным, сразу весьма определенным, резко избирательным привязанностям и вкусам».

Вырастающая из внимательного анализа структуры стиха позднего Заболоцкого, эта мысль выглядит более чем убедительной.

Статья — о поэте. Но она же — и вообще о поэзии, о тех сложных, подчас очень замысловатых путях, какими историческая реальность, строй личности и сознания художника, вопросы, которыми болеет его душа,— как все это преобразуется в стихотворную строку, образ, метафору. И как все это на самом деле сплавлено, сплетено, нерасчленимо...

Как критик Б. Сарнов сформировался в конце 50-х — 60-х годах, в ту пору, когда едва ли не главной, первоочередной, г р а ж д а н с т в е н н о й задачей критики была задача просветительская. Требовалось прежде всего расчистить сознание читателей от въевшихся в него сталинско-ждановских постулатов, освободить дорогу живому, н о р м а л ь н о м у восприятию. И начинать приходилось буквально с азов, с той, скажем, простенькой мысли, что литература существует вовсе не для того, чтобы обслуживать свою либо чужую «мельницу» (увы, с рецидивами подобных воззрений встречаемся и поныне).

Конечно, в известном смысле Сарнов все-таки занимается «ликбезом». Но не в том, что просвещает читателя по части «высказываний» и «цитат». Автор книги «Бремя таланта» раскрывает перед нами м и р литературы — особый мир с его особыми законами, связями, переплетениями связей. Следуя за мыслью критика, читатель — попутно — учится постигать законы этого мира.

Говорят, Слуцкий, прежде чем взяться за чтение какой-нибудь современной рукописи, спрашивал: «А п р о т и в ч е г о эта вещь?» Так вот, книга Сарнова тоже — «против». Нет, не против «серой» литературы — автор не обольщается насчет способности своей и своих собратьев по жанру ослабить мощь этого потока. И даже не против того, что искусно выдает себя за литературу. Она, если попытаться определить в нескольких словах, против упрощенных, «массовых» представлений о литературе, против невоспитанного вкуса, неразборчивости, эстетической и нравственной глухоты.

Да, речь идет именно о нас с вами, читателях. Ибо не только литература творит соответствующего читателя, но и читатель — в своей массе — питает литературу. Так что от того, какие мы есть, зависит и сегодняшний, и завтрашний ее день.

Вот почему, исследуя, например, феномен Александра Иванова («Плоды изнурения») или размышляя о критиках и литературоведах, не умеющих отличить подлинное от подделки («Семена, летящие на асфальт»), Сарнов ведет речь, быть может, даже не столько о них, сколько о состоянии наших умов и вкусов. Вот почему он так настаивает на высоте эстетических и нравственных критериев, обращенных к литературе, не делая поблажек ни для Валентина Катаева («Угль пылающий и кимвал бряцающий»), ни для Беллы Ахмадулиной («Привычка ставить слово после слова»).

С его оценками, разумеется, можно спорить (критика ныне прямо-таки бурлит после его «огоньковских» статей). Можно, допустим, упрекать его в излишней резкости суждений по конкретным поводам (хотя, признаться, у меня с у щ е с т в о его споров с нынешними «охранительными» тенденциями не вызывает больших сомнений). Но важно не упустить главное.

Да, Сарнов воюет. Но не против тех или других писателей. Он воюет з а. За читателя — умеющего думать, разбираться, предъявлять искусству высокие требования. За него, а стало быть, и за литературу.

Леонид Бахнов

Век телевидения

К своей книге «Под знаком ТВ» Всеволод Вильчек взял в качестве эпиграфа высказывание публициста Анатолия Стреляного: «С появлением телевизора... будущий историк свяжет гораздо больше явлений нынешней жизни, чем связываем мы. Того народа, который был до телевизора, уже нет и никогда не будет, народ с телевизором — другой народ».

Зададимся вопросом: чем же так знаменательно телевидение в жизни народа? На этот счет автор книги не строит гипотез, а опирается на данные социологических исследований: сила телевидения в его всеохватности. «Регулярно смотрят телевизионные передачи 83,3 процента горожан в возрасте от 15 лет и старше (еще 11,8 процента — спорадически, от случая к случаю)». Цифры эти интересны и сами по себе, но еще важнее, что стоит за ними. Что значит регулярно? «Зритель, четырежды в год посетивший театр, склонен полагать себя театралом; посмотрев четыре фильма в кинотеатре, считает, что бывает в кино очень редко; четыре раза в году включивший телеприемник не считает себя телезрителем вовсе». Среднестатистический кинозритель проводит в кинотеатре примерно 2 часа в месяц. «Но тот же зритель — по самым осторожным, возможно, даже несколько заниженным данным — проводит у телевизора 2 — 2,5 часа в день».

За этими цифрами просматриваются и выводы. Социологи знают, что «не менее половины (а по более решительным утверждениям — до трех четвертей) всех контактов аудитории с миром художественной культуры опосредовано ТВ». Автор находит образное выражение для этой роли телевидения — «центральная диспетчерская культуры». С телевидения начинается приобщение человека к миру искусства, да и сами искусства ныне существуют иначе, чем прежде. Ныне у них как бы двойное бытие — оригинал и телекопия или телеинтерпретация.

Как соотносятся два эти бытия? И стоит ли говорить о девальвирующих искусство копиях, если подлинное бытие произведения, конечно же, в оригинале. Но с точки зрения социологической, исследующей не само произведение, а его воздействие на общество, значение копий (а в особенности — копий телевизионных, ибо аудитория их — практически все население страны) бесконечно важно: встреча с оригиналом доступна горстке избранных, копии — каждому. Произведение, не получившее телевизионного бытия, вроде как и не существует вовсе. Данные социологических исследований, увы, не оставляют места для утешительных иллюзий, свойственных каждому из нас: «Принято думать, что если не все, то хотя бы многие читали Трифонова и Айтматова, Распутина и Белова, Гессе и Маркеса и т. д., однако социологи не могут «поймать» этих «многих» в мелкоячеистую (опрашивался, например, каждый шестидесятый житель района) сетку статистической выборки». Зато в числе бестселлеров по опросу 1977 года оказался «Вечный зов» А. Иванова, экранизированный во многих сериях телевидением.

Как бы ни оценивать эту и подобную продукцию ТВ, в целом приведенные в книге факты не дают повода для неутешительных выводов. Развитие телевидения не помешало росту спроса на книгу. Театров со времени появления ТВ стало в стране не меньше, а больше. Ну, а что касается кино, то хотя оно и потеряло часть зрителей, они же, благодаря телеэкрану, смотрят сегодня в два-три раза больше фильмов, чем прежде. И не вообще фильмов: можно было бы вспомнить о прекрасных лентах, обойденных нашим прокатом (скажем, «Дерево для сабо» Эрманно Ольми, одна из вершин реалистического кинематографа Италии) или же обделенных его заботой, как, скажем, «Мой друг Иван Лапшин» Алексея Германа. Или фильмов собственно телепроизводства, таких, как «Пятно» Александра Цабадзе или документальная лента Артура Пелешяна «Наш век».

Как известно, на местах областные и городские инстанции, и это случаи не единичные, накладывают вето на показ неугодных им фильмов. Привычка «не пущать», ох, как еще живуча! Телевидение обнажает бессмысленность подобной «угрюм-бурчеевщины». Если в былые годы из каких-то районов люди ездили к ближним и дальним соседям, чтобы посмотреть «Гараж» Рязанова, то сегодня он показан по Центральному телевидению. То же и с «Темой» Глеба Панфилова, и во времена перестройки наткнувшейся на шлагбаум местничества, который не одолеть никакими приказами и письмами из центра, но из центра же, имеется в виду телевизионного, оно пресекается простым показом картины. Телевидение напоминает и ретивому бюрократу, и каждому из нас, что мы живем в единой стране, с едиными идеалами.

Речь идет о духовной интеграции общества, как называет эту функцию Вильчек. Благодаря ТВ интегрируется не только общество, но и вся художественная культура — и сегодняшняя, и предшествующая. «Каждое новое средство коммуникации — это как бы новый источник света, вносимый под многотысячелетние своды всечеловеческого «храма культуры».

Телевидение все более осознается как

В. М. Вильчек. Под знаком ТВ. М., Искусство, 1987.

предмет, интересный и необходимый не только специалистам-телеведам, но и искусствоведам любой специализации, филологам, философам, социологам, социопсихологам, культурологам, коммуникаторам, прогнозистам.

Книга Вильчека дает всем им немало пищи для размышлений. Как изменился, например, театр в эпоху ТВ: именно оно привело на сцену вместо традиционной драматургии «сценарий», «композиции» из стихов, прозы, документов. Или, скажем, проблема — телевидение и документальность: именно телеэкран обострил наш интерес к «зрелищу жизни», заставил воспринимать запечатленную телекамерой реальность эстетически, живых людей — как художественные образы-обобщения.

Возможно, что-то из авторских утверждений покажется и спорным. Например, цитата из Р. Юренева, с которой Вильчек солидаризируется: «Двадцатый век начался как век кино, заканчивается как век телевидения».

Не преждевременен ли вывод? Ведь сегодня следом за телевидением пришло новое средство массовой коммуникации — видео, и темпы его распространения в мире (к сожалению, пока не у нас) ошеломляющи. Скажем, в Японии, по достаточно уже не новым данным, на страну приходилось 75 миллионов видеомагнитофонов, то есть больше, чем по одному на семью. А есть еще и персональные компьютеры, которые тоже составляют коммуникационную сеть, с помощью которой можно получить доступ к информационным богатствам, поистине безграничным. Из века телевидения мы вступаем в век видео.

Вильчек, естественно, это учитывает, но, возможно, есть своя логика в том, что телевидение он ставит по его социокультурной роли выше, чем видео. Именно ТВ актуализировало в культуре то, что в видео малосущественно, да и трудноосуществимо. Речь идет о «программности», меняющей и сам характер восприятия любых художественных или информационных передач, и их внутреннюю структуру.

Программирование не есть некая технологически-диспетчерская операция по сколачиванию удобной потребителю сетки передач. Автор рассматривает программирование как вид творчества, завоевывающий себе права гражданства. И не только в телевидении. Пример: фотовыставка «Род человеческий» выдающееся произведение Эдвара Стайхена, хотя здесь нет ни кадра, ни строчки, ему принадлежащих. Создание художественного образа из готовых текстов, считает Вильчек, аналогично работе составителя программ телевидения, использующего готовые художественные и нехудожественные (хотя всегда художественно оформленные) передачи для воплощения своего публицистического замысла.

В этой модели творчества, полагает Вильчек, заключена основополагающая тенденция дальнейшего развития культуры, где роль программного начала будет гораздо более значимой, чем ныне, а составление программ станет главным творческим актом. Прав автор или нет, покажет время. Впрочем, прогнозисты считают, что если прогноз оказался верен всего на пять процентов, то он уже оправдал себя. Не побоюсь поэтому говорить о плодотворности прогнозов и концепций Вильчека. Телевидение и прежде не оставалось вне серьезного теоретического осмысления. В книге сделан еще один существенный шаг: явления культуры, сегодняшней, прошлой и будущей, увидены в ней под новым углом зрения — «под знаком ТВ».

Александр Липков

Понять человека

Небольшой рассказ И. Грековой, думаю, — один из лучших, появившихся в последние годы. Рядом с ним вспоминаются «Дикий пляж» Н. Москаленко, «Свой круг» Л. Петрушевской, «Факир» Т. Толстой.

Что в них? Пристальный взгляд на обычные житейские отношения. Мы ведь до сих пор не решаемся спокойно и трезво оглянуться на самих себя, на времена нынешние и недавние, захлебываемся словами, утешаемся старыми и новыми иллюзиями. То, что пока сказано о наших современниках, о нашей истории, — ничтожно мало и робко по сравнению с тем, что нужно. А литература сказала гораздо больше. Она упрямо пытается понять человека. И пронять его. В нынешнем, в общем-то размеренном ходе жизни люди быстро привыкают к самым, казалось бы, немыслимым ситуациям, положениям, отношениям. И уже самое страшное не выглядит страшным: привыкаем. Кожа словно обрастает защитной оболочкой; действуют, конечно, инстинкт самосохранения, желание поберечь нервы...

Мы уже попривыкли считать жертвы репрессий на миллионы, на десятки миллионов, если вспомнить разорение крестьянства в годы коллективизации, массовый голод в начале 30-х... Прочитаны жутковатые истории издевательств, пыток, террора. Уже слышны голоса: «Хватит, сколько можно?..» Но ведь за этими цифрами, толком не опубликованными по нашей трусости, скрыты до сих пор миллионы личных трагедий и судеб, и каждая — да, каждая! — вопиет к нашей памяти. Это ведь в России более ста лет назад прозвучали слова писателя о том, что людей, конечно, надо считать на миллионы, но с точностью до единицы (Ф. Достоевский).

И. Грекова в меру своего таланта продолжает эту совестливую традицию отечественной литературы, идущую от «Хождения Богородицы по мукам», от Радищева и Достоевского. Писательница вгляделась в судьбу своих героев — так появился рассказ «Хозяева жизни». Название, конечно, безликое; не каждый возьмется читать рассказ с таким названием.

Но не в этом дело. Несколько журнальных страничек вместили в себя глубину человеческой боли и жизнестойкости...

«Неизрекомы суть муки» — сказано в старой русской рукописи. Действительно, не расскажешь про те муки. И если верно, что глубина страдания определяет духовные возможности человека или целого народа, то поистине бездонны они в людях, в нашем народе. Горьковатые признания! Легко говорить о пределах духа и его страданиях; совсем другое дело — испытать. Боли, лишения отзываются в потомках. Дух и сила человека и даже народа целого не беспредельны, а национальный генофонд не бесконечен: многое не восстанавливается.

Читая рассказ И. Грековой, думаешь: что сталось с человеком за последние семь десятилетий — после кровавой гражданской войны, после физической ликвидации миллионов работающих, талантливых людей в деревне и городе, после смертных схваток Великой Отечественной? Неужели так просто отряхнем прах прошлого с ног и после нескольких десятилетий полудремоты общественного сознания дружно перестроимся и по призыву впередсмотрящих двинемся опять в светлое будущее?

Рассказ И. Грековой не претендует на широкое обобщение, да и не входит это в задачу серьезного писателя — претендовать на что-либо; писателю потребно одно: сказать, что его мучает. И вписать в память живущих и будущих поколений то, что некоторые хотели бы забыть, а забывать нельзя.

Сегодня, в конце 80-х, не многие в состоянии представить почти мистическую картину: перед вами человек, полный сил, умный, талантливый, но на самом деле его «вовсе нет». Он вроде бы существует, вот же, сидит перед вами, но он, как говорят спокойные ученые товарищи, вне социума. Такое положение действительно не передать словами.

Рассказ И. Грековой ненавязчив; повествовательница, едущая в купе поезда дальнего следования с двумя своими попутчиками, совсем не расположена к обычным в длительной дороге разговорам. У нее на сердце своя нелегкая забота. Но вот перед ней раскрывается душа человеческая, звучит исповедь и — собственная ее боль отступает.

В рассказе есть характеры и приметы эпохи. Отмечу лишь две детали. Упоминание о высылке из Ленинграда после убийства Кирова без суда и следствия тысяч ленинградских семей. Высылали главным образом интеллигенцию: «А пуще всего — старую, потомственную интеллигенцию, с крепкими ленинградскими корнями. Рвали с корнем». «В порядке массового оздоровительного мероприятия».

И еще — портрет некоего следователя 30—40-х годов с его «песьим» смехом: при допросе он разевал рот и смеялся беззвучно, как собака. От такого смеха — мороз по коже.

Что-то запредельное слышится в рассказе «Хозяева жизни». Но нужно помнить, что было и как оно было. Многие, пережившие то время, еще живы. Но возникает вопрос: только ли они пострадали, только ли их судьбы изуродованы?

Удар нанесен по нашей истории, по нашему обществу. Каждый выбитый из жизни человек — потеря невосполнимая, тяжкая. Последствия мы ощущаем на каждом шагу, на себе. Если же этот человек Вавилов или Флоренский, Тухачевский или Бабель — что говорить, потери еще более велики.

Литература 80-х годов исследует трагедии современности, продолжая отстаивать достоинство людей. С. Залыгин в романе «После бури» показал, как много теряет общество, когда сметает со своего пути бывшего приват-доцента Корнилова или бывшего генерала Бондарина: они, талантливые, энергичные, хотели и могли сделать так много хорошего в нашей жизни.

Под чужим именем десятилетиями пришлось существовать и герою повести С. Кураева «Капитан Дикштейн»: горестна, драматична его судьба!..

О многом побуждает задуматься рассказ И. Грековой «Хозяева жизни» — рассказ о трагедиях и благородстве, о низости «псов жизни» и свободе духа... Об этом будут писать еще и еще, чтобы понять себя и нашу историю.

Вл. Воронов

И. Грекова. Хозяева жизни. Рассказ. Октябрь, № 9, 1988.

Только факты

Тема «Узбекистан и дети войны» не нова в литературе. Еще в годы войны Ю. Арбат в очерке «Щедрое сердце» рассказал о судьбе ташкентского кузнеца Шаахмеда Шамахмудова и его жены Бахри, усыновивших в годы Великой Отечественной войны четырнадцать детей разных национальностей. Узбекский писатель Рахмат Файзи посвятил подвигу семьи Шамахмудовых роман «Его величество Человек».

Эту тему продолжает Григорий Марьяновский. Его книга — документальное повествование о судьбах ста тысяч обездоленных, осиротевших детей и подростков, занесенных вихрем войны в Узбекистан. Предваряя книгу, автор пишет: «...в ней только факты, действительно имевшие место, сцены, документально подтвержденные, герои, в большинстве своем живущие среди нас и сегодня... время и основное место событий: Узбекистан, 1941—1945 годы».

Шаг за шагом восстанавливает писатель далекое, ставшее уже историей, но для многих еще обжигающее память время, когда днем и ночью шли и шли изрешеченные пулями и осколками эшелоны с тысячами детей. И всех их надо было принять, обогреть, накормить, оказать помощь, распределить по детским домам, зарегистрировать в учетных книгах, сыгравших впоследствии огромную, незаменимую роль при розыске родителями своих детей.

Бывшая в годы войны заместителем начальника Управления детскими домами республики Наталья Павловна Крафт вспоминала: «У каждого из тех, кто прибывал к нам в этих вагонах, была уже своя тяжелая, а порой и трагическая судьба. Но что удивляло: на первый взгляд все они выглядели одинаково — одинаково испуганными, измученными, ободранными, молчаливыми и малоподвижными. На этом сером, вернее, жутко сером фоне помнятся и видятся только ребячьи глаза — глаза полные ужаса, горя, усталости и... надежды. Эти глаза не описать, не забыть...».

Не погасить детской надежды, вернуть детям радость — вот главное, чем руководствуются герои книги Г. Марьяновского, все те, кто отдал себя спасению маленького человека от голода, холода, болезней, кто возвращал детям физическое и душевное здоровье. Педагоги, медицинские работники, общественные деятели каждодневно совершали подвиг, тем более удивительный, что для них он был обычным и незаметным.

Г. Марьяновский воссоздает полную драматизма и в то же время пронизанную теплом человеческого сострадания жизнь детского эвакопункта, карантинного дома, службы спасения, вагонов-приемников, детских домов.

Положенный в основу повествования авторский принцип — следовать фактам и только фактам (начиная работу над книгой, писатель изучил сотни тысяч архивных документов, отчетов, списков, приказов, справок, постановлений, прочитал множество писем детей и тех, кто самоотверженно участвовал в их спасении) — диктует и композицию книги. История создания того или иного детского дома, рассказ о его повседневной жизни, проблемах, заботах, радостях и огорчениях перемежаются рассказом о том, как сложилась жизнь каждого ребенка. Многим из них автор посвящает отдельные главы («Судьба Фаины Юсуповой», «Судьба сестер Слуцких», «Трудная судьба Евангелины Кашуро»).

Потрясают документы, приводимые Г. Марьяновским, и его рассказ о том, как тысячи семей брали на воспитание осиротевших детей. Какое великое чувство милосердия руководило Бахрихон Аширходжаевой, воспитавшей трех собственных и девятнадцать приемных детей! Или вот Хамит Саматов. После тяжелого ранения потеряв руку, он вернулся весной 1944 года в родной Каттакурган. Тринадцать детей разных национальностей взял Хамит на воспитание, всех вывел в люди. Судьбы Бахрихон Аширходжаевой, Хамита Саматова — исследование взаимосвязи национального и интернационального в узбекском характере, истоков его гуманизма, великодушия, доброты.

Г. Марьяновский не затушевывает и тех негативных явлений, которые отличали работу некоторых сотрудников детских домов и медицинских работников — тех, кто в годы войны объедал и обворовывал беззащитных детей. Эту главу писатель так и назвал — «Черная глава», но не она определяет нравственный климат повествования. Его определяют прежде всего тепло и сердечность, на которых взрастали и духовно формировались дети войны... «Это тепло и сердечность они, как наследство, сохранили в себе навсегда и теперь, люди зрелого возраста, сами уже обильно и щедро их излучают на тех, кто вокруг. Цепная реакция чувств».

Т. Лобанова

г. Ташкент

Григорий Марьяновский. Книга судеб. Ташкент, Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1988.

Из почты «Знамени»

Уважаемая редакция!

Автор «Севастопольских рассказов» Л. Н. Толстой, как всем нам известно, был участником Крымской войны — командовал IX артиллерийской батареей на Малаховом кургане. Известны и слова его о той войне: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский».

Тем значительнее звучит оценка великим писателем исторического романа моего отца, Михаила Михайловича Филиппова «Осажденный Севастополь».

Вот история знакомства Л. Н. Толстого с ним.

Вскоре после смерти отца (1903 г.) книга, впервые увидевшая свет в 1889 году, была передана писателю моей матерью, приехавшей в Ясиую Поляну, чтобы посоветоваться и узнать мнение о романе, в надежде переиздать его. От кого же, как не от автора «Севастопольских рассказов» можно было ждать объективного суждения о произведении, посвященном Крымской войне? Однако мать не учла, что в то время Толстой находился во власти идей «непротивления злу насилием», в свете этих идей оценивал и собственный роман «Война и мир». Очевидно, не без их влияния 10 июня 1904 года Лев Николаевич ответил и матери в Петербург, что не может рекомендовать для переиздания «Осажденный Севастополь» в связи со своими «неоднократно высказанными мыслями о патриотизме». Тем не менее в том же письме были и такие слова: «Я прочел роман Вашего покойного мужа «Осажденный Севастополь» и был поражен богатством исторических подробностей.

Человек, прочитавший этот роман, получит совершенно ясное и полное представление не только о севастопольской осаде, но и о всей войне и причинах ее» («Лев Толстой об искусстве и литературе», ч. II. М., 1958 г., стр. 488).

Роман «Осажденный Севастополь» долгое время принадлежал к числу незаслуженно забытых произведений русской литературы. Изданный при жизни автора один раз, да притом ничтожно малым тиражом, он вскоре стал библиографической редкостью. И сегодня уникальные его экземпляры, по моим сведениям, находятся лишь в двух библиотеках — Государственной исторической в Москве и Морской в Севастополе.

Осенью 1954 года я обратился с предложением о переиздании романа к П. И. Чагину, возглавлявшему в те времена Гослитиздат.

Ответ пришел в январе 1955 года. К любезному письму прилагалась рецензия литературоведа А. Садовского более чем на 200 страницах машинописного текста. В нем сравнивались два романа — «Осажденный Севастополь» М. М. Филиппова и «Севастопольская страда» С. Н. Сергеева-Ценского. Исследование, которое я бережно храню, неопровержимо доказывало, что почтенный академик, лауреат Сталинской премии многое, деликатно говоря, бесцеремонно «заимствовал» из романа отца.

Максима Горького, который также тепло писал о Филиппове как об ученом в «Беседах о ремесле», уже не было на свете, и Сергеев-Ценский, еще здравствующий в те годы, по-видимому, полагал, что именно ему принадлежит право первенства освоения этой темы в литературе.

Чагин советовал не затевать ссоры с известным деятелем. И вопрос о переиздании «Осажденного Севастополя» снова, как 50 с лишним лет назад, повис в воздухе. Автор рецензии, Садовский, очевидно, тоже не мог не считаться тогда с авторитетом «академика — сталинского лауреата», но совесть, слава богу, не лишила его объективности. И сегодня, в эпоху гласности, пришла пора обнародовать выводы, сделанные им. Привожу дословно текст заключения.

1. Сопоставление эпопеи С. Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда» с романом М. М. Филиппова «Осажденный Севастополь» показывает, что эти произведения по своему характеру глубоко различны: первое, как известно, представляет монументальную эпопею большой познавательной ценности, в которой находят отражение и эпоха, и все события, связанные с Крымской войной 1854—1855 гг., во всем их общенациональном и международном значении, дается последовательное, повествовательное по преимуществу, описание и социально-полити-

ческая характеристика этих событий, представлено огромное количество исторических и реально существовавших, известных по историческим, литературным или фольклорным источникам персонажей этой войны, наряду с основной сюжетной линией, вытекающей из хода событий, имеется множество других сюжетных линий ее героев, и для которой характерны обобщения широкого порядка, даваемые главным образом в публицистической форме; второе представляет собою роман чистого жанра с относительно небольшим количеством лишь главных исторических персонажей Севастопольской обороны и героев-образов, с весьма ограниченной панорамой событий и картинным изображением, но недостаточным охватом их, с единой и достаточно крепкой романтической линией сюжета и преобладанием образного метода и художественной формы обобщений.

2. Несмотря на различия в форме, роман Филиппова явно послужил Сергееву-Ценскому в качестве одного из основных первоисточников, о чем свидетельствует огромное количество совпадений в деталях обоих произведений. Приведенные выше около 70 текстуальных сопоставлений неопровержимо доказывают наличие в эпопее Сергеева-Ценского всех форм заимствования — от идеи и подражания до прямого плагиата,— а также наиболее отрицательных форм плагиата, выражающихся в механическом перенесении готовых деталей и текстов вне творческого переосмысливания и переработки их, что зачастую делает эти детали в новом контексте, при иных ситуациях фальшивыми.

3. Обнаруженные у Сергеева-Ценского формы заимствования заставляют предполагать, что его произведение при всей его художественной и познавательной ценности в известной степени носит компилятивный характер и что роман Филиппова мог оказаться не единственным из литературных произведений, которое в этих формах было использовано. Это требует в случае переиздания эпопеи Сергеева-Ценского более серьезного критического анализа ее содержания и творческой переработки от автора тех элементов (деталей) его произведения, в которых обнаружена (или дополнительно будет выявлена) плагиаторская форма заимствования материала чужих произведений (31 декабря 1954 г., г. Москва).

Вскоре после появления романа «Осажденный Севастополь» в 1889 г. отец закончил работу и над обширным биографическим очерком о знаменитом «белом генерале», как называли Скобелева его современники. Отдавая должное военным способностям генерала, исторической роли, которую тот сыграл в освобождении Болгарии от турецкого ига, в обеспечении независимости Румынии, Сербии и Черногории, он весьма критически в то же время подошел к оценке его политической деятельности в целом.

Необычайно широк был круг научных и литературных интересов отца. Подлинная глубина его знаний нашла отражение в трехтомном энциклопедическом словаре (изд. П. П. Сойкина, СПб., 1901 г.), где он выступал не только в качестве редактора, но и автора многих статей. Необходимо отметить, что именно в этом «Словаре» впервые появилась справка о В. И. Ульянове-Ленине (псевдоним «Владимир Ильин») как авторе труда «Развитие капитализма в России». В журнале «Научное обозрение», который основал отец и был его главным редактором, публиковались работы Ленина. Заметное влияние на общественные взгляды Филиппова, его деятельность оказали труды К. Маркса и Ч. Дарвина.

Своеобразной «пробой пера» явился для М. Филиппова рассказ из древнегреческой жизни «Прометей», опубликованный в журнале «Век» в Петербурге в 1883 г. Идея его, по существу, выявляла и литературное кредо писателя: подлинное вдохновение художника может быть рождено лишь «в результате знания и видения жизни».

В 1887 г. написана историческая повесть «Остап», выдержавшая два издания. В архивах Пушкинского дома в Ленинграде сохранилась краткая аннотация основных беллетристических произведений Филиппова, составленная им самим. Автор сообщает, что созданию этой повести способствовала глубокая неудовлетворенность, которую он испытывал от исторических романов Сенкевича, изображавшего казаков и Хмельницкого в самом непривлекательном виде.

Все это время Филиппов продолжал накапливать материал и для начатого им исторического романа о Крымской войне. Автора романа отделял от описываемых событий исторически небольшой срок. В то время еще были живы многие участники героической обороны Севастополя, и драматические коллизии войны продолжали волновать умы русского общества. М. М. Филиппов собирал воспоминания, записывал рассказы участников и очевидцев военных событий, изучал отечественные и иностранные печатные источники, документы.

В «Осажденном Севастополе» достоверно показана обстановка не только в русской армии, но и в лагере противника, запоминаются образы талантливых военачальников Нахимова и Корнилова, их соратников. Но главным героем романа стал народ, представители его, русские солдаты и матросы, в основном крестьяне по происхождению, в которых даже тяжкая эпоха крепостничества не уничтожила душевного благородства, любви к Родине. И приходится только удивляться, как пропустила свирепствовавшая в те времена цензура роман, поведавший суровую правду войны, бичующий пороки, порожденные царским режимом.

Сегодня известны работы Филиппова и в области гуманитарных и естественных наук. В связи со столетием со дня его рождения (13 июля 1958 г.) состоялось торжественное заседание трех институтов АН СССР под председательством Героя Социалистического Труда, академика С. Г. Струмилина. Под его же редакцией и с его предисловиями Академия наук выпустила двумя изданиями научную биографию отца, третье издание ее вышло в 1982 г. под редакцией и с предисловием Героя Социалистического Труда, академика Б. М. Кедрова.

В том же издательстве за последние годы выпущены три сборника философских и литературоведческих трудов М. М. Филиппова: «Этюды прошлого», «Мысли о русской литературе», «Очерки о западной литературе XVIII—XIX вв.».

«Осажденный Севастополь» второй раз увидел наконец свет в 1976 году: его выпустили Воениздат, а затем крымская «Таврия». К столетию создания романа о Крымской войне и одно из наших столичных издательств выпускает его. В 1981 году роман в переводе пришел к читателям Болгарии.

Вторую жизнь обрел «Осажденный Севастополь», с неослабевающим интересом читают люди о событиях отечественной истории более чем вековой давности. И, честно говоря, не хотелось бы нынче вспоминать о виновнике столь долгой задержки издания романа — писателе-плагиаторе в наше советское время. Однако правда должна быть обнародована.

В заключение мне хотелось бы привести слова героя гражданской и Великой Отечественной войн адмирала Ю. А. Пантелеева, командовавшего Тихоокеанским флотом, который писал моему брату, старшему сыну М. М. Филиппова 8 июля 1965 г.: «...я давно увлекаюсь военной историей, с юных лет, и, конечно... «Осажденный Севастополь» я запоем читал еще гимназистом в 1912—1914 гг. и затем перечитывал, когда служил в Севастополе. Тогда, в 1926 г., один экземпляр книги был в библиотеке.

Мне кажется, это самое живое, самое справедливое описание Севастопольской эпопеи. Лучше, человечнее я не встречал...»

Борис Филиппов,
заслуженный деятель искусств РСФСР, член СП СССР,
г. Москва

В журнале «Знамя» (рецензия С. Коваленко на книгу Ал. Михайлова о Маяковском, 1988 г., № 11, с. 225) читаю: «В популярной серии «ЖЗЛ», как это ни парадоксально, до сих пор нет книги об А. С. Пушкине».

Парадоксально, уверен, другое. Достаточно заглянуть хотя бы в многократно издававшийся каталог серии «ЖЗЛ», чтобы узнать, что в серии три раза (в 1939, 1958 и 1960 гг.) выходила книга «Пушкин», принадлежащая перу известного литературоведа, доктора филологических наук Леонида Петровича Гроссмана...

С уважением

Крылов Игорь Викторович,
кандидат исторических наук

Советуем прочитать

Если по совести. Сборник статей. Составление В. Капунниковой. М., Художественная литература, 1988.

Эта книга вышла накануне XIX Всесоюзной партконференции. В нее включены работы известных писателей и публицистов— давних и последовательных сторонников перестройки: Ч. Айтматова, В. Распутина, Е. Евтушенко, И. Друцэ, Ю. Карякина, А. Гельмана, Д. Гранина, Ю. Черниченко, Н. Шмелева, А. Стреляного...

Публицистика сегодня — самый читаемый и актуальный жанр литературы, каждый из авторов сборника высказывает свою точку зрения, но все материалы объединяет горячее стремление—обновить, улучшить жизнь.

«Нам еще многое нужно, чтобы восстановить нашу, понесшую такой урон, человеческую породу. Рабскую кровь сегодня надо не выдавливать по капле, а вычерпывать ведрами. Мы не можем позволить себе терпеть собственное терпение. Притерпелость — главный тормоз перестройки» (Евг. Евтушенко); «Не будем обманываться, сегодня решается судьба Отечества» (Г. Бакланов); «...мы должны, мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно,— безнравственно и, наоборот, что эффективно — то нравственно. Экономически неэффективная обстановка всеобщего дефицита.. Экономически неэффективный затратный механизм планирования... Экономически неэффективное сдерживание трудовой активности и предприимчивости населения... Длительная борьба против всех форм индивидуального и кооперативного труда — это, уверен, главная причина обострения таких социальных проблем, как безделье и пьянство, угрожающих нашему национальному будущему» (Н. Шмелев)...

Споры, столкновение мнений — свидетельство духовного обновления общества.

С. Липкин. Жизнь и судьба Василия Гроссмана. Страницы из воспоминаний. Литературное обозрение, №№ 6—7, 1988.

«Я не переживаю радости, подъема, волнений. Но чувство хоть смутное, тревожное, озабоченное, а уж очень серьезное оказалось. Прав ли я? Это первое, главное... А дальше уж второе, писательское — справился ли? А дальше уж третье — ее судьба, дорога... я как-то очень чувствую, что это третье, судьба книги, от меня отделяется в эти дни. Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может и не быть».— писал Василий Гроссман другу, поэту и переводчику Семену Липкину в октябре 1959 года, когда была завершена работа над романом «Жизнь и судьба».

Бережно, сохраняя важные подробности, рассказывает С. Липкин об истории создания романа Гроссмана и дальнейшей судьбе автора: «арест» романа, озлобленные нападки коллег иа писателя, его беседа с Сусловым, которая явилась результатом письма Гроссмана к Хрущеву. Полный текст этого письма публикуется впервые.

С. Липкин вспоминает о современниках В. Гроссмана, прежде всего об Андрее Платонове. Любопытны размышления о романе «Жизнь и судьба». Для почитателей таланта Василия Гроссмана эти воспоминания — ценное дополнение к портрету писателя.

Из литературного наследия. Николай Клюев в последние годы жизни: письма и документы. По материалам семейного архива. Новый мир, № 8, 1988. Публикация, вступительная статья, подготовка текстов и комментарии Г. С. Клычкова и С. И. Субботина.

«Дорогая Варвара Николаевна — получил Ваше письмо, облил его слезами, благодарю за память, за утеху словами, они так мне нужны. Говорят, 8 сентября уходит последний пароход, и, быть может, мой стон с этим листком дойдет до Москвы. Я погибаю от недоедания...» (1934 г.).

Это строки «поэта великой страны, ее красоты и судьбы» Николая Клюева, высланного органами ОГПУ из Москвы по ложному обвинению в «кулацкой агитации», взяты из его письма к В. Н. Горбачевой, жене Сергея Клычкова, чьи поэзия и проза стали заметным явлением в русской литературе первой трети нашего столетия. Оба новокрестьянских поэта — и Клюев, и Клычков — подвергались ожесточенным преследованиям. Клюева выслали еще до I съезда писателей,— в это время он был уже в Сибири, в Колпашеве, а Клычкову вплоть до ареста в 1937 году «разрешили» заниматься лишь переводами да редактурой.

Сибирские письма Клюева, подготовленные к печати сыном Клычкова, которого сегодня уже нет в живых, ложатся в русло жанровых и стилевых традиций Древней Руси: среди них и «челобитная», и «моления», и фрагменты житийного характера. Журнал публикует все найденные к настоящему времени письма Клюева из Сибири. Установление же точных дат места и времени кончины поэта — наверное, дело будущего. Сегодня известны по крайней мере три независимых мемуарных свидетельства, которые сходятся в одном: Николай Алексеевич Клюев погиб в томской тюрьме.

Джордж Оруэлл. Скотный двор. Перевел с английского Илан Полоцк. Родник, Рига, №№ 3—6, 1988. Виктория Чаликова. Размышления о «Скотном дворе». Там же, № 7, 1988.

Наконец один из знаменитейших романов Джорджа Оруэлла пришел к советскому читателю под названием «Скотный двор» (другие переводы — «Ферма животных», «Скотский хутор» — точнее передают английское название).

Антиутопия Оруэлла увидела свет в 1945 году, и критика единодушно заговорила о «новом Свифте».

В романе показаны основные события истории нашей страны в послереволюционное время; своеобразно преломляются эпизоды, фигурировавшие на «московских процессах» второй половины 30-х годов (стенограммы этих грубо сработанных инсценировок тогда же были переведены на английский и другие европейские языки). Так что для советского читателя, в отличие от западного, персонажи «Скотного двора» не абстрактно обобщающи, а легко узнаваемы. Но роман Оруэлла, отталкиваясь от конкретных исторических образов, идет ко всеобщему осуждению любых проявлений тоталитаризма в существующих политических режимах, мнимым равенством прикрывающих самое вопиющее неравенство: «Все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие животные».

Виктор Некрасов. Городские прогулки. Повесть. Юность, № 7, 1988.

Спустя почти двадцать лет наши читатели вновь могут прочесть прозу, написанную автором «В окопах Сталинграда». К сожалению, публикация отрывка из цикла «Городские прогулки» — посмертная, до ее появления писатель так и не дожил. «Если ты, читатель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, интересных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подробные, сотканные из деталей романы или, наоборот, сжатые, как пружина, новеллы — сразу предостерегаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты здесь не найдешь.

Но если ты, кроме чтения и других полезных или даже бесполезных занятий, не прочь просто так, без дела походить по улицам, руки в брюки, папиросу в зубы, задирая голову на верхние этажи домов, которые никто никогда не видит, так как смотрят только вперед (или направо, налево, витрины, киоски), присаживаясь у столика кафе или иа скамеечке в скверике среди мам, бабушек, ребятишек и пенсионеров, если ты любишь заводить случайные, обычно тут же обрывающиеся, но запоминающиеся знакомства, если тебе нравится без плана бродить по улицам незнакомого города, предпочитая им шум или тишину тишине прославленных музеев,— если ты такой, то, может быть, ты найдешь кое-что близкое, переворачивая эти странички». Хочется верить, что с полным текстом «Городских прогулок», как и с другими произведениями Виктора Некрасова, вскоре смогут познакомиться советские читатели.

Русский романс. Составление, вступительная статья и комментарии Вадима Рабиновича. М., Правда, 1987.

Это собрание — подлинная коллекция жемчужин. Романсы писали Тредиаковский и Карамзин, Пушкин и Дельвиг, Пастернак и Цветаева, Есенин и Вертинский, десятки и сотни других, известных и малоизвестных, а то и вовсе оставшихся безымянными поэтов. В этом жанре создали выдающиеся музыкальные произведения Алябьев и Балакирев, Глинка и Чайковский, Танеев и Рахманинов, достигшие чудного синтеза музыки и поэзии. В «Слове к читателю» И. С. Козловский так определяет основной замысел книги: «Представляемый здесь поэтический материал может сослужить добрую службу для грядущего поколения, тем более что о звездах, о солнце, о луне, о шелестящем камыше, о том, как бьется сердце, ныне почти не пишут. Сегодня уже не прибегают к таким словам, как «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю...». Если человек побывал уже на Луне, то материальный мир выискивает проверенное веками художественное слово. Это введет в поэтическое равновесие». Думаю, что читатель согласится и с мнением составителя, который считает, что романс как общекультурная человеческая ценность, необходимый фрагмент человеческого существования и представляет собой естественное сочетание достоверности и мечты.

Георгий Жженов. Омчагская долина. Библиотека «Огонёк», № 33, 1988.

Имя Георгия Жженова, актера московского театра имени Моссовета и киноактера, широко известно,— он сыграл около двухсот ролей: помнятся многосерийный фильм о «Резиденте», а также «Комсомольск», легендарный «Чапаев»...

А сколько еще встреч с артистом могло состояться, если бы не насильственно вырванные из жизни годы!

Г. Жженова арестовали в тридцать восьмом — двадцатитрехлетним. На приисках Колымы, в ссылках и лагерях Таймыра, Норильска он провел шестнадцать лет.

Талант и мужество этого человека сделали, казалось, невозможное: он сумел «наверстать» упущенное.

Повесть народного артиста СССР Г. Жженова — о судьбе поколения, о людях, сумевших сохранить достоинство и честность в тяжелейших, порой невыносимых условиях.

Нонна Мордюкова, народная артистка РСФСР. Вот так и живем. Записки актрисы. Октябрь, № 7, 1988.

Когда на вступительных экзаменах во ВГИК «московские профессора» предложили рассказать ей случай из жизни, «...так я кинулась рассказывать,—вспоминает Н. Мордюкова,— что было и чего не было, в такой раж вошла, что аж «тырса полетела». Они уже все покотом покатились, платочками слезы вытирают от смеха... Седой красивый дяденька стал красный, как рак, не то смеется, не то плачет: «Достаточно, девушка, достаточно!». «Нет,— крикнула я.— Я еще петь буду...»

Уже потом, много лет спустя, на традиционных встречах-вечерах она со своими

однокашниками и товарищами не раз вспомнит, как явилась когда-то, после окончания десятилетки, из далекой кубанской станицы, где оставила мать и пятерых мал мала меньше сестер и братьев,— «брать Москву» в старом ситцевом платье и мальчиковых галошках...

И работать, и дружить, и понимать горе людское умела, как только помнить себя стала. И вместе со всеми пережила войну, оккупацию, делилась последним с ленинградскими детьми, попавшими в станицу, видела смерть от голода... Наверное, поэтому подкупают ее роли в кино, как будто каждый раз заново проживает она собственную жизнь. Воспоминания Нонны Мордюковой проникнуты юмором, но отдают и горечью прожитого и пережитого.

Юрий Пахомов. Дерево духов. Повести и рассказы. М., Молодая гвардия, 1988.

«Если бы известный американский исследователь Карлтон Гайдушек не обратил внимания на бамбуковые палочки, которыми фори — аборигены Новой Гвинеи — лакомились после похорон родственников, тайна болезни «куру» так и осталась бы нераскрытой...» Что же вызвало эпидемию, истребляющую людей маленького племени, живущего в Центральной Африке? Как помочь им?..

Подвергаясь опасностям, рискуя жизнью, ищет ответы на эти вопросы герой повести «Дерево духов» советский эпидемиолог Степан Еремин, «человек, изгоняющий злых духов», как с почтением назвали его воины из народности карамоджо.

Выручить из беды — это гуманное чувство руководит и моряками в повести с интригующим названием «Сигуатера». Ситуация загадочная, трудно объяснимая: в океане дрейфует неуправляемое судно, часть экипажа которого в панике покинула траулер. Что с остальными?..

Герои Ю. Пахомова — советские специалисты, работающие в развивающихся странах Африки и во Вьетнаме. Высокие нравственные качества помогают им выстоять в сложных, опасных ситуациях.

Собиратели книг в России. Составитель Л. М. Равич. М., Книга, 1988.

Неустанная просветительская и собирательская работа русских библиофилов XIX столетия немало способствовала образованию плодотворной почвы, взрастившей великие произведения отечественной литературы. Да и достижениям русского искусства, науки. Некоторые библиофилы в России прошлого века и сами были известными учеными (как фольклорист А. Н. Афанасьев), литераторами (как поэт, переводчик, журналист, критик М. Л. Михайлов), издателями (Г. Н. Геннади), библиографами (П. А. Ефремов).

Читателя в сборнике привлекут полузабытые ныне книговедческие публикации, но не менее того и литературные портреты-жизнеописания библиофилов—деятелей нашей культуры. Вместе с предисловием и обширным справочным аппаратом они придают изданию целостность, завершенность. Помимо всего — это крупный оригинальный труд составителя Л. М. Равич, выступающей в роли ведущего автора книги. Сборник выпущен в свет в серии «Деятели книги».

К сведению уважаемых авторов:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.

Рукописи менее двух печатных листов редакция не возвращает.

Главный редактор **Г. Я. БАКЛАНОВ.**

Редколлегия: **Ю. С. АПЕНЧЕНКО, Д. А. ВОЛКОГОНОВ, В. П. ГЕРБАЧЕВСКИЙ** (зам. гл. редактора), **Ю. В. ДРУНИНА, С. Н. ЕСИН, Г. А. ЖУКОВ, В. Я. ЛАКШИН** (первый зам. гл. редактора), **В. С. МАКАНИН, В. Г. НОВОХАТКО, В. Д. ОСКОЦКИЙ, В. Ф. ТУРБИНА, Я. А. ХЕЛЕМСКИЙ, Ю. Д. ЧЕРНИЧЕНКО.**

Адрес редакции: 103863, ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-91, отдел публицистики — 923-75-82, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 04.11.88. Подписано к печати 02.12.88. А 03329. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Учетно-изд. л. 23,27. Тираж 970 000 экз. Заказ № 3325.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.